Р.С.Ф.С.Р.

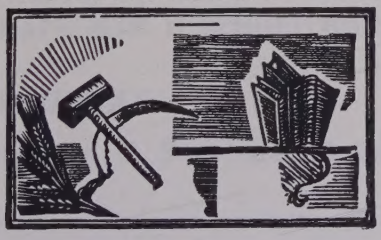
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПЕЧАТЬ
И
РЕВОЛЮЦИЯ

ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА
КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ

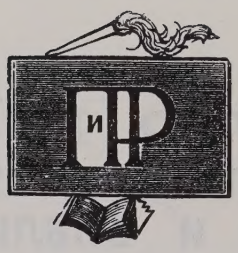
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА.
М. Н. ПОКРОВСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО,
И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.



КНИГА ПЯТАЯ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1924



Редакция
номера закончена
1-го сентября.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ.

1—6. К СПОРАМ О ФОРМАЛЬНОМ МЕТОДЕ.

1. Б. Эйхенбаум. ВОКРУГ ВОПРОСА О «ФОРМАЛИСТАХ» 1
2. П. Сакулин. ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА 12
3. С. Бобров. МЕТОД И АПОЛОГЕТ 16
4. А. Луначарский. ФОРМАЛИЗМ В НАУКЕ ОБ ИСКУССТВЕ . . . 19
5. П. Коган. О ФОРМАЛЬНОМ МЕТОДЕ. 32
6. В. Полянский. ПО ПОВОДУ Б. ЭЙХЕНБАУМА 35

7. Л. Гроссман. БАКУНИН В «БЕСАХ» 39
8. Вяч. Полонский. БАКУНИН И ДОСТОЕВСКИЙ 66
9. Я. Тугендхольд. ОНОРЭ ДОМЬЕ 101

10—14. ОБОЗРЕНИЕ ИСКУССТВ и ЛИТЕРАТУРЫ.

10. В. Переверзев. НОВИНКИ БЕЛЛЕТРИСТИКИ 134
11. Б. Денике. ИСКУССТВО ВОСТОКА 139
12. П. Марков. НАКАНУНЕ СЕЗОНА 150
13. М. Эйхенгольц. ИСТОРИЯ НОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 158
14. Ф. Капелюш. МАРКСИЗМ И ЕГИПЕТСКИЙ СОННИК 164

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

I. Социализм и коммунизм. М. Зеликмана, И. Браславского, В. Адоратского. 167
II. Экономические науки и народное хозяйство. М. Зеликмана, Ф. Капелюша, Д. Кашинцева, Ю. Спасского, И. Звавича 171
III. Литература о Германии. М. Брагинского 178
IV. Рабочее и профессиональное движение. М. Константинова, В. Дитякина, А. Мильштейна 183
V. Научная организация труда. Л. Рабиновича, Р. Гальперина, И. Гельмана, Р. Минца, И. Шпильрейна, А. Нейфаха 187
VI. Вопросы текущей жизни. А. Сигорского, Я. Шафира 192
VII. История:
1. Русская история. М. Клевенского, Ю. Спасского, Б. Павлова 199

Стр.

2. История революционного движения в России. А. Сергеева, В. Дитякина, Г. Лелевича, М. Клевенского, Б. Козьмина, К. Злинченко, В. Невского, Д. Фурманова, С. Пионтковского 203

3. История революционного движения на Западе. А. Ольшевского, Г. Гордона, И. Ильинского 219

VIII. **История культуры.** П. Преображенского, Г. Пригоровского, Н. Щербакова 221

IX. **Философия и психология.** И. Луппола, Г. Гордона, Г. Баммеля, С. Васильева, А. Залкинда 225

X. **Народное просвещение.** С. Гурова, В. Чарнолусского, Б. Кронина, В. Костицына, С. Минца 241

XI. **Народы и страны.** И. Ильинского, С. Минца, А. Крубера, С. Будкевича 246

XII. **Науки о природе.** А. Тимирязева, Н. Изгарышева, А. Михайлова, Я. Шпильрейна, Б. Житкова, С. Покровского 253

XIII. **Науки о языке.** М. Петерсона, М. Кенигсберга 261

XIV. **Теория и история литературы.** Н. Гудзия, Л. Войтоловского, Н. Кашина, И. Кубикова, К. Локса, Р. Шор, А. Смирнова-Кутаческого, А. Лежнева 267

XV. **Художественная литература.** А. Лежнева, Л. Войтоловского, В. Волькенштейна, Н. Фатова, Л. Розенталя, А. Юрлова, Л. Некора, Е. Херсонской, И. Маца, И. Аксенова 280

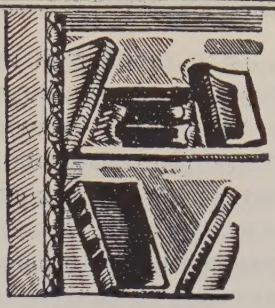
XVI. **Искусства.** Ф. Шмита, Л. Розенталя, Федорова-Давыдова, Н. Яворской, П. Маркова, В. Яковлева, С. Бугославского, А. Углова, А. Некрасова, А. Греча, М. Базыкина 292

XVII. **Разные.** М. Константинова, Ю. Спасского 308

Литературная хроника 314

В книге 34 иллюстрации в тексте.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ



К СПОРАМ О ФОРМАЛЬНОМ МЕТОДЕ.

I. ВОКРУГ ВОПРОСА О «ФОРМАЛИСТАХ». — Б. Эйхенбаум. II. ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА. — П. Н. Сакулин. III. МЕТОД И АПОЛОГЕТ. — С. Бобров. IV. ФОРМАЛИЗМ В НАУКЕ ОБ ИСКУССТВЕ. — А. В. Луначарский. V. О ФОРМАЛЬНОМ МЕТОДЕ. — П. С. Коган. — VI. ПО ПОВОДУ Б. ЭЙХЕНБАУМА. — В. Полянский.

I. ВОКРУГ ВОПРОСА О «ФОРМАЛИСТАХ».

(Обзор и ответ).

Б. Эйхенбаум.

1.

В литературных статьях, предисловиях, рецензиях и критических фельетонах последних двух лет особенно много внимания уделяется вопросу о так называемом «формальном методе». Нет положительно ни одного литературного журнала, где бы не обсуждался, с большей или меньшей страстностью, этот вопрос, ставший почти злободневным, хотя, казалось бы, он чрезвычайно далек от проблем «первой необходимости». Не только журналы («Красная Новь», «Печать и Революция», «Книга и Революция», «Литературные Записки», «Жизнь Искусства», «Мысль», «Начала», «Литературная Мысль», «Искусство» и т. д.), но и газеты то и дело поднимают вопрос о «формальном методе», о «формалистах», об «Опоязе». Самые разнообразные авторы — от почтеннейших литераторов и ученых до бойких барышень—изощряют свое остроумие или свое глубокомыслие на критике или на обсуждении «формального метода». Из литературной сферы вопрос этот перекинулся и в сферу педагогическую, захватив широкие круги студенчества и учительства и тем самым превратившись в вопрос методический. Наконец, не очень давно высказался о нем Л. Троцкий (московская «Правда», 1923 г., № 166, и «Жизнь Искусства», 1923 г., №№ 30 и 31 [1]) и привлек к нему внимание новых кругов, до сей поры, вероятно, не подозревавших, что существуют какие-то «формалисты».

[1]) См. также книгу Л. Троцкого «Литература и Революция». Москва, 1923, изд. «Красная Новь».

В истории этой многообразной литературы о формальном методе (пишу без кавычек, но их подразумеваю) намечается два периода: период обывательского вышучивания и период академического обсуждения. Вначале формальный метод, как он определился в работах «Опояза», казался дерзкой выходкой, и каждый фельетонист, привыкший писать на злобу дня, считал себя в праве и в силах поиздеваться над наглостью формалистов. Но прошло некоторое время—и положение изменилось. Фельетонисты ничего, кроме своих фельетонов, не написали, а формалисты издали ряд работ, с которыми пришлось серьезно считаться. Испытанные критики и многоопытные профессора заволновались. Молчаливое презрение стало невозможным, хотя бы по тактическим соображениям. Пришлось спешно устраивать свою позицию, соединять старое с новым, хотя бы только номинально. Началось самоопределение и расслаивание. Появились, как полагается в истории каждого движения, эклектики-ревизионисты, которые занялись разъяснениями, поправками, примирением и проч. Все заговорили о «методах» и «подходах»,—даже те, кто никогда прежде и не думал об этом. Процесс этот пойдет, конечно, еще дальше и глубже, но первоначальная группировка, повидимому, закончилась. Уже появились «фор-соцы», которые, не понимая своей комической роли в руках Истории, идут по линии наименьшего сопротивления и предлагают соединить вместе два «метода»—формальный и социологический. Ближайшая очередь за молодым поколением, уже выступающим на сцену. Как бы оно ни повело себя, надо ему помочь разобраться во всей этой запутанной «истории».

2.

Прежде всего никакого «*формального метода*», конечно, нет. Кто придумал это название—восстановить трудно, но придумано оно не очень удачно. В качестве упрощенного боевого лозунга оно было, может-быть, удобно, но как объективный термин, определяющий собою деятельность «Общества изучения поэтического языка» («Опояз») и Словесного Разряда Института Истории Искусств, оно не годится. Название само по себе вещь, конечно, второстепенная, но если оно приводит к недоразумениям и нелепым спорам, то приходится и к нему относиться серьезно.

Вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах построения литературной науки—об ее содержании, основном предмете изучения, об организующих ее как особую науку проблемах. Стало, наконец, ясно, что наука о литературе, поскольку она не является только частью истории культуры, должна быть наукой самостоятельной и специфической, имеющей свою область конкретных проблем. Стало ясно, что превращение исторического параллелизма разных рядов культуры (их «соответствий») в функциональную (причинно-следственную) связь насильственно и потому не приводит к плодотворным результатам. Делаемый при этом выбор одного ряда, как порождающего собой остальные,

диктуется не научными, а миросозерцательными потребностями и вносит в науку тенденциозную предпосылку. Явления упрощаются, схематизуются, теряют именно то, что отличает их от других явлений.

Стремление к *спецификации* литературной науки выразилось прежде всего в том, что основной проблемой изучения была объявлена «*форма*», как нечто именно специфическое — нечто такое, без чего искусства нет. Слово «форма» имеет много смыслов; это, как всегда бывает в подобных случаях, и привело к целому ряду недоразумений. Надо понять, что мы употребляем это слово в особом значении—не как нечто соотносительное понятию «содержания» (соотносительность, кстати сказать, ложная, потому что понятие «содержания» на самом деле соотносительно понятию «объема», а вовсе не «формы»), а как нечто основное для художественного явления, как организующий его принцип. Нам важно не слово «форма», а лишь особый его оттенок. Мы не «формалисты», а уж если угодно — спецификаторы.

Это о слове «формальный». Теперь о слове «метод». Признание, что основной проблемой литературной науки является специфическая форма словесных произведений и что все элементы, из которых она строится, имеют формальные функции, как элементы конструктивные, есть, конечно, *принцип*, а не метод. Понятие «метода» за последние годы несообразно расширилось — все стали называть «методом». («формальный *метод*» есть такое же бессмысленное сочетание слов, как бессмысленно выражение—«историко-материалистический *метод*». Дошло до того, что «методология поглотила собою самую науку»,—тупик, к которому привела нас старая история литературы.) Слову «метод» надо вернуть его прежнее скромное значение приема исследования той или другой конкретной проблемы. Методы изучения формы могут быть самые разнообразные при едином принципе, в зависимости от темы, от материала, от постановки вопроса. Методы изучения текста, методы изучения стиха, методы изучения определенного автора, эпохи и т. д.,—вот естественное употребление слова «метод». Метод биографический, социологический, психологический, эстетический,—все это не методы, а разные точки зрения на науку или даже разные науки. Ясно, что настоящая «методология» (т.-е. методология изучения конкретных проблем) может существовать и нормально развиваться только тогда, когда существует и нормально развивается сама наука, иначе получается «методология методологии». Вопрос о «формальном методе» стал таким острым и злободневным именно потому, что формалисты заговорили о принципах. Если бы дело шло действительно только о методах, то такое волнение было бы по меньшей мере странным. Пришлось бы думать, что Россия стала страной по преимуществу «методологической», а это, конечно, не так.

Итак, мы не формалисты и не «метод». Сказанным я сразу освобождаю себя от полемики с теми, кто упрекает нас в узости, в нетерпимости и проч. Если формальный метод и полезен, говорят они, то почему же исключать другие методы, не менее полезные? Почему в науке должен существовать непременно *один* метод? Эти миролюбивые или беспри-

ципные эклектики начинают обсуждение вопроса с середины. Уважаемые коллеги, поймите, что речь идет не о методах, а о принципе. Выдумывайте сколько угодно методов — лучший метод тот, который вернее всего ведет к цели. У нас самих сколько угодно методов. Но не может быть мирного сосуществования десяти принципов, не может быть и двух принципов. Принцип, устанавливающий содержание или предмет определенной науки, должен быть один. Наш принцип — изучение литературы, как специфического ряда явлений. Рядом с ним, само собой разумеется, не может стоять другой—что литература должна изучаться как психологический или биографический документ, как эманация души поэта, или что литература есть «отражение жизни» и т. д. (я говорю, конечно, не о вспомогательном пользовании литературой в других науках, а о содержании литературной науки, как таковой). Если бы оказалось возможным мирное сосуществование у нас подобных принципов, то пришлось бы сказать, что Россия есть страна по преимуществу беспринципная, что, повидимому, тоже не совсем верно.

3.

Но все-таки что же написано о формальном методе? Написано очень много, но я остановлюсь только на самом характерном. До 1922 г.— почти ничего, хотя первый сборник «Опояза» вышел в 1916 г. Революция выбила из работы многих литераторов и ученых. Формалисты работали в эти годы очень деятельно, с натиском. За годы 1917 — 1921 вышло несколько книжек и статей основателей «Опояза» (Викт. Шкловского, О. Брика, Л. Якубинского и др.). В обществе было много толков—происходили лекции и диспуты в «Доме Искусств», в «Доме Литераторов». В 1919 г. В. Жирмунский напечатал в «Жизни Искусства» статью «Задачи поэтики», в которой, излагая основные принципы авторов «Поэтики» (сборник «Опояза»), отстаивал свою среднюю позицию. Эта статья была симптоматична, как попытка сгладить остроту проблем. С начала 1922 г., вместе с некоторым оживлением периодической печати, стали появляться статьи и рецензии о формалистах. Высказались разные стороны — люди разных традиций и поколений: потебнианец *А. Горнфельд*, марксист *П. Коган*, центрофугист и ученик А. Белого *С. Бобров*, пушкинист *М. Гофман* (фельетонистов в роде В. Ирецкого я оставляю в стороне). Большинство авторов было плохо осведомлено о действительном положении дела, статьи их поэтому полны недоразумений и курьезов. Бобров и Коган считают В. Жирмунского главным формалистом, а статью его о «Задачах поэтики» («Начала», № 1)—кодексом формального метода, тогда как на самом деле эта статья, как и выше указанная, является ответом на работы формалистов и по существу своему отвергает основные их принципы. Бобров называет В. Шкловского «единомышленником Жирмунского», Коган считает, что формальный метод «научно обосновывается В. Жирмунским и его единомышленниками». Кроме неосведомленности,

Бобров проявляет тенденцию к упрощению всего вопроса; он принимает высокомерную позу арбитра, превращая формалистов в несмыслены шей: «Деятели кружка «Поэтика» весьма наивные реалисты, и общий ход их рассуждений сводится к каламбуру: стихотворение есть ряд конкретно связанных между собою слов, а больше там ничего нет» («Красная Новь», 1922, № 1). Осуждая Жирмунского, он тут же внезапно оказывается его единомышленником против Шкловского и Якобсона, соглашаясь, что «обнажение приема» — фокус. Еще более неосведомлен П. Коган. Он так взволнован и так возмущен (хотя трудно понять, чем именно), что с горя объявляет великим ученым и родоначальником формализма... К. Чуковского: «Чуковский старше современных ученых «формалистов». Критическое чутье и художественный вкус помогли ему предупредить многие выводы (?), к которым приходят теперь различные лингвистические кружки и «Опояз». Он практически применял к поэтам (?) тот критический метод, который в настоящее время научно обосновывается В. Жирмунским и его единомышленниками. Но он не только старше их. Он шире их» («Печать и Революция», 1922 г.. кн. 2-я). В другой статье («Известия ВЦИК'а», 1922, № 166) он становится в революционно-диктаторскую позу и бросает гневную фразу, указывая на нас перстом: «Бедные, наивные спецы, потерявшие последние остатки чутья современности» и т. д. На этом нечего задерживаться — все это уже достаточно устарело. До курьеза неосведомленным и легкомысленным оказался и Гофман, по словам которого выходит, что формалисты уничтожают «историко-сравнительную поэтику и историю литературы... Как мыслимо построение поэтики вне изучения смен и развития литературных школ и литературных традиций вне разрешения вопроса о том, как *данная* готовой поэтической школой и поэтической традицией, как *данная* предшествующим поэтическим опытом дает толчок к созданию творчески-новой формы, творчески-новой поэтической традиции?» (книжка «Пушкин». Атеней. 1922). Начав возражать и увлекшись собственным красноречием, Гофман не заметил, как стал повторять слова формалистов, только искаженные свойственным ему пафосом дурного тона.

Иной характер имеет статья А. Горнфельда (Формалисты и их противники. «Лит. Записки», 1922, № 3), являющаяся редакционной поправкой к нелепому фельетону В. Ирецкого (Максималисты —там же). Об Ирецком говорить нечего — его достаточно «поправил» сам Горнфельд, заявив, что «наука может позволить себе роскошь не считаться с раздражением В. Я. Ирецкого». Но став в позицию третейского судьи между Ирецким и формалистами, Горнфельд решил воспользоваться этим поводом и на правах старого, опытного литератора прочесть формалистам нотацию. Он предъявляет им три обвинения: 1) «вопросы чисто научного метода они сделали темами для крикливой публицистики»; 2) «приемы, давно известные западной науке, изобразили как открытие смелых российских Невтонов»; 3) «свой кружковой жаргон они представили как научную терминологию». На первый пункт я ответил выше—дело идет не о «чисто научном методе», а о принципе. «Выход на улицу» явился

стихийным и совершенно естественным так же, как до этого выход на улицу футуристов. Горнфельд должен согласиться, что вопрос о существовании науки или искусства выходит за пределы вопросов академических, кабинетных; ведь сам он всю жизнь пишет не в академических «Известиях», а в журналах и газетах. Второй пункт просто неверен. Я предлагаю Горнфельду посмотреть в «Сборн. по теории поэт. языка» статьи о трудах Ниропа, Граммона и Сиверса, в «Поэтике»—библиографию иностранных работ о стихе (не указанных раньше ни им, ни А. Белым, ни Брюсовым) и т. д. Имена Сиверса, Сарана, Дибелиуса и т. д. ввели в русскую науку формалисты. Факты говорят за себя — иду дальше. О «кружковом жаргоне» странно слышать из уст Горнфельда, написавшего книжку о новых словах. А что же надо делать — изобретать термины индивидуально или испрашивать на них благословения Парижской Академии Наук? Все дело в том, что Горнфельд привык занимать позицию «борьбы на два фронта» (его слова о себе в предисловии к сборнику статей «Пути творчества», 1922 г.). Содержание высказываемого меняется в зависимости от того, кого мыслит перед собой Горнфельд. В предисловии к указанному сборнику, обращенном уже не к формалистам, а к публике, Горнфельд говорит нечто другое: «*Когда-то* могло казаться, что это изучение (т.-е. изучение поэтической формы) в лучшем случае не должно выходить за пределы мастерской художника и кабинета узкого специалиста по стилистике, истории текста, лингвистике. *Теперь* совершенно очевидно, что новая поэтика — независимо от самодовлеющего научного интереса — есть одна из самых общеобразовательных наук» и т. д. Что значит эти «когда-то» и «теперь»? Предисловие подписано 31 августа 1922 г., а «Лит. Зап.» вышли 1 августа того же года. Как видим, Горнфельд черезчур взволновался и, несмотря на свою осведомленность (он первый заявил, что формалисты очень различны, и выделил В. Жирмунского, как «осторожного эклектика»), оказался неподходящим судьей. Позже он, вероятно, сам пожалел об этом, когда А. Тиняков истерически завопил о том, что формалисты «с высокомерием невежд, с жестокой грубостью тупиц возвышают свои голоса, соблазняют широкие круги молодежи и считают, и бормочут, и громоздят свои выкладки, свои «бесспорные» выводы, плодя вокруг себя сушь, тлен, самомнение, графоманию, буквоедство и крохоборство» («Посл. Новости», 1923, № 1) и, произнеся эту тираду, заявил о своем «горячем сочувствии» статье Горнфельда (Художественное слово и научная цифра. «Лит. Мысль», № 1). Да, история делает иногда неожиданные сочетания имен: Коган-Чуковский — Горнфельд-Тиняков...

4.

Перехожу к литературе 1923 г. Пред нами — нечто новое: проф. *А. Белецкий* (предисловие к перев. «Поэтики» Р. Мюллер-Фрейенфельса), проф. *А. Смирнов* (Пути и задачи науки о литературе. «Лит. Мысль»), проф. *П. Сакулин* (К вопросу о построении поэтики. «Искусство», № 1),

проф. *Н. Пиксанов* («Новый путь литературной науки», там же) и т. д. Как видим, за вопрос о формальном методе взялись настоящие ученые. Когда у «Опояза» будет свой журнал, мы скажем об этих статьях (если они к тому времени не станут анахронизмом) подробно, как они этого заслуживают,—здесь я принужден говорить только о самом главном и притом осторожно, потому что нахожусь в чужом обществе.

Основная цель этих статей — сгладить остроту вопросов. Убедившись, что игнорировать формалистов нельзя, почтенные ученые решили уничтожить засилие «Опояза» другим способом: объявить себя тоже «формалистами», или, по крайней мере, глубоко сочувствующими этому молодому движению, а вместе с тем повернуть дело так, что от «формального метода» ничего не останется. Способ тонко-дипломатический, знакомый нам из истории другого рода движений. Каждому историку литературы приходилось хоть изредка иметь дело с «формой» — почему же не назваться «формалистом», если таков каприз эпохи? Можно сохранить все старые навыки и принципы, но называть это «поэтикой». И окажется, что «Опояз» совершенно напрасно шумел и волновался — ученые все это давно знают и смотрят гораздо глубже в самый корень вещей.

Белецкий, например, всегда сочувствовал «формально-стилистическим штудиям», но только не стремился, как деятели «Опояза», «во что бы то ни стало получить патент пионера в необследованных никем чащах, создавать свои системы, не подозревая или не желая подозревать о существовании других, нередко весьма солидных систем» и т. д. Для образца прилагается безнадежно-эклектическая, но написанная с полным немецким глубокомыслием книжка Р. Мюллер-Фрейенфельса, которая рекомендуется читателям вместо «живых и задорных статей В. Шкловского». Смирнов настроен совсем благодушно по отношению к формальному методу, но надо, оказывается, отличать литературу от поэзии. Жюль Верн или Дюма — литература, Шекспир — поэзия. Одно дело — наука о литературе, другое — наука о поэзии. Добро, истина и красота — только в поэзии, а в литературе этого удивительного триединства нет. Формальный метод совершенно законен при изучении литературы, а для изучения поэзии нужна интуиция. Такую наивно-благодушную форму приняла «мудрость Гершензона», переведенная на язык университетской науки. Сакулин тоже всей душой за поэтику, за изучение стиля, композиции, приемов — надо только подбавить к этому немного социологии, немного эстетики, немного биографии и т. д. Тогда все будет необыкновенно хорошо и благополучно: «Организм произведения будет трепетать жизнью, ибо жива душа поэта». Такой на редкость красноречивой фразой заканчивается статья. Пиксанов, оказывается, все время только и занимается «поэтикой», но более углубленной,—не той, которая имеет в виду «дескрипцию дефинитивного текста» (этим занимаются рядовые формалисты), а другой, главная задача которой — установление «творческой истории шедевров». Под этим разумеется изучение черновых рукописей на основе материала из биографии, социологии, психологии, а когда нужно—и психопатологии. Прежде это называлось просто изучением

текста, теперь можно назвать «поэтикой», или «формальным методом». Оказывается, что Пиксанов (а не Чуковский, как утверждает Коган) является настоящим родоначальником формализма. Указывая на спор по вопросу о телеологичности приема, Пиксанов заявляет: «мне приятно отметить, что молодая и энергичная группа теоретиков поэзии поддерживает мысль и формулу поэтической телеологии, которые положены мною в основу анализа творческой истории «Горя от ума». Нам, с своей стороны, приятно отметить, что проф. Пиксанов так радуется этому совпадению (кстати сказать, совершенно несущественному для формального метода); окончательное же суждение об этом вопросе отложим до выхода в свет обещанных им трудов, где все положения будут подробно развиты, и, выражаясь его языком, подкреплены «экземплификациями».

Что касается *В. Жирмунского*, то его предисловие к книжке О. Вальцеля («Проблема формы в поэзии») уже совершенно ясно показывает, что, конечно, считать его основоположником формального метода и главным его теоретиком невозможно. Конечно, Жирмунский — человек нашего поколения, и формальные вопросы его глубоко интересуют. В его устах слово «поэтика» звучит не как модный ярлык, а как настоящий термин. Но когда он выходит из области частных тем в область общих принципов построения истории и теории литературы—перед нами типичный эклектик, примиритель крайностей. Оказывается, что спорить совершенно не о чем — надо только «поставить вопрос о границах применения «формального метода», о взаимоотношении формально-эстетических проблем с другими возможными проблемами науки о литературе». Рядом с формулой «Опояза» (искусство, как прием) могут, оказывается, мирно существовать другие «равно законные формулы, напр., искусство—как продукт душевной деятельности, искусство—как социальный факт и как социальный фактор, искусство—как факт моральный, религиозный, познавательный и т. п.». Оказывается, что не только «законно», но и правильно «при изучении поэта Некрасова исходить из влияния идей Белинского и его круга». Эволюция стиля тесно связана (?) с «мироощущением эпохи» и т. д. Как видим, пафоса к обострению и к уяснению такого рода проблем у Жирмунского нет. Он вяло повторяет старые академические «истины», и остается не совсем понятным, зачем он говорит об этих вопросах, когда для их постановки у него просто нет достаточного теоретического темперамента. Немудрено, что он (как и Горнфельд) осуждает формалистов за «недостаточно обдуманные выступления на диспутах и митингах». Ну, а мы осуждаем Жирмунского за его слишком обдуманное и потому лишенное всяких принципов предисловие. Пусть история разбирает, кто из нас действовал правильнее.

Наконец, статья Л. Троцкого «Формальная школа поэзии и марксизм», о которой я упомянул вначале [1]). Статья эта сыграла серьезную роль в деле укрепления общественно-педагогической позиции формаль-

[1]) Перепечатана в книге «Литература и революция», по которой и цитирую (стр. 119—135).

ного метода, поскольку Троцкий, в противоположность многим другим, признал «известную часть изыскательской работы формалистов вполне полезной». Но если оставить в стороне вопрос о пользе или вреде и подойти к статье Троцкого просто с точки зрения научной истины, то она вызывает ряд недоумений. Обычно точный и ясный, Троцкий высказывается здесь то туманно, то нерешительно, а то слишком решительно, но ошибочно.

Начать с того, что, по мнению Троцкого, «формализм изо всех сил противопоставляет себя марксизму». Это не совсем так—дело и проще и сложнее. Проще потому, что формализм и марксизм «противопоставлять» нельзя: формализм — система частной науки, марксизм — философско-историческое учение. Нельзя марксизму противопоставлять теорию относительности, потому что это вещи несоизмеримые. Сложнее потому, что между марксизмом и формализмом есть точки соприкосновения, поскольку обе эти системы имеют дело с фактом эволюции. Формальная школа изучает литературу как ряд специфических явлений и строит историю литературы как специфическую, конкретную эволюцию литературных форм и традиций. Вопрос о генезисе литературных явлений (их связь с фактами быта и экономики, с индивидуальной психологией или физиологией автора и т. д. без конца) сознательно отводится не как праздный вообще, но как ничего не уясняющий в пределах одного ряда. Указать генезис значит констатировать связь явлений, а не их *причинную* обусловленность. Связь всего со всем — это факт и жизни и культуры, но связи бывают разные. Совершенно верно говорит Троцкий: «Надо полагать, что завитушки и шишки действительно находятся в известной связи с характером, но связь эта не непосредственная, и человеческий характер ею нимало не исчерпывается». Необходимо отличать понятие *эволюции* от понятия *генезиса* не только как разные проблемы, но как проблемы разных наук. Марксисты, изучая политику, изучают эволюцию, а не генезис, именно поэтому они, как и мы, отводят личности и связанным с нею случайностям совершенно второстепенное место; именно поэтому каждую войну они рассматривают не как факт чистой политики со всеми привходящими «связями» (генетически), а как факт социально-экономический (эволюционно). Здесь точка нашего органического соприкосновения. Когда Плеханов пишет, что «если бы какие-нибудь механические или физиологические причины, не связанные с общим ходом социально-политического и духовного развития Италии, еще в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо-да-Винчи, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его развития в эпоху Возрождения осталось бы то же». Мы согласны с ним, потому что он говорит об эволюции, о законах развития. Но в том-то и дело, что, подходя к изучению искусства, и особенно литературы, марксисты начинают говорить не об эволюции, а о генезисе. Специфическое, конкретное выпадает, потому что не помещается в системе. Литература становится либо «иллюстрацией», либо эстетическим придатком (отсюда своеобразный «эстетизм» многих марксистов).

Формализм не «противопоставляет» себя марксизму, а лишь возражает против простого перенесения социально-экономических проблем в область изучения искусства. Материал сопротивляется этому, потому что он имеет свою специфическую социологию. А если его насилуют, то вместо эволюции получается генезис, вместо конкретной причинности — далекие «связи». Перенесение общих схем из одной научной области в другую неизбежно приводит к схоластике.

Характерно, что Троцкий, возражая формалистам, отступает не только от эволюционной точки зрения, но и от марксистских принципов. Воздерживаясь от так называемого «вульгарного марксизма», он силою вещей приходит к чему-то уже ни на какой марксизм не похожему. Он, например, предлагает нам изучать «мироощущение художника» (стр. 120), т.-е. то самое, чем упорно занималась «идеалистическая» наука, против которой восстает не только Троцкий, но и мы. Ведь «мироощущение» нельзя изучать объективно, как мы изучаем стих или стиль, а можно только постигать «интуитивно». Этого ли хочет от нас Троцкий? Характерно, с другой стороны, что в некоторых случаях ему приходится кое-что уступить формализму — опять-таки чтобы не впасть в «вульгарный марксизм». Но тут он становится в столь несвойственную ему позицию эклектика. Пользуясь, например, достаточно затертой в старой науке и насквозь генетической формулой—«новая форма для нового содержания жизни», он вместе с тем принужден признать, что «словесная форма не пассивный отпечаток предвзятой художественной идеи, а активный элемент, воздействующий на самый замысел» (стр. 127). В другой статье («Искусство революции и социалистическое искусство») он даже признает, что форма «в известных пределах развивается по собственным законам, как всякая техника» и что каждая новая литературная школа «вытекает из всего предшествующего развития, из наличного уже мастерства слова и красок» и т. д. (стр. 173). Это — большая уступка формализму. Ведь в том-то и дело, что так называемые у эклектиков «известные пределы» в сущности неизвестны. А что если в них-то и есть вся суть?

Основная причина всей этой неопределенности, всей этой нерешительной решительности в том, что Троцкий неверно представляет себе, что такое формализм. По его мнению, формальная школа (не в поэзии, конечно, как почему-то значится в заглавии, а в науке) сводит основную свою задачу к «анализу (по существу описательному и полустатистическому) этимологических и синтаксических свойств поэтических произведений, подсчету повторяющихся гласных и согласных, слогов, эпитетов». Таково, действительно, общераспространенное в читательской среде представление о формализме, очень удобное для критики и полемики, но весьма далекое от действительности. Усилия формалистов направлены не на описание отдельных произведений (этим занимались когда-то А. Белый и С. Бобров), а на построение теории и истории литературы как самостоятельной науки. Троцкий, повидимому, судит по мимолетным впечатлениям от разного рода книг и статей, быть-может, вовсе не характерных для формализма — иначе он не говорил бы об анализе каких-то «этимоло-

гических свойств» (что это такое?) или о подсчете слогов и эпитетов (в каких это работах?), не приписывал бы нам определения поэмы как «сочетания звуков», не ставил бы В. Жирмунского в один ряд с В. Шкловским и Р. Якобсоном и т. д. А что касается статистики, то, как известно, никакая наука ею не гнушается.

Естественно, что при таком понимании формализм представляется Троцкому чем-то в роде микроскопа—не научным принципом, освобождающим науку и делающим ее конкретной и специфической, даже не методом, а просто полезным техническим орудием. Естественно также, что главный его упрек состоит в том, что формалисты «не хотят мириться на вспомогательном, служебно-техническом значении своих приемов». Упрек этот хорошо знаком нам — мы слышали его и от Вольфилы, и от целого ряда почтенных ученых и читателей, взволнованных формальным методом. Также хорошо знакома нам и общая оценка, сделанная Троцким: известная часть изыскательской работы формалистов «вполне полезна», но их методологические приемы надо ввести «в законные пределы». Ах, эти «известные» и «законные» пределы! Троцкий оказывается единомышленником эклектиков-ревизионистов, и это совпадение не случайно. Революция охватывает всю культуру в целом, но конкретные ее проявления в каждой области своеобразны. Марксизм сам по себе не обеспечивает революционной позиции в астрономии или в искусстве. В пределах литературной науки формализм есть движение революционное, поскольку он освобождает ее от старых изжитых традиций и заставляет заново пересмотреть все основные понятия и схемы. Не считаясь со своеобразием литературной науки и исходя из готовых предпосылок, Троцкий оказывается защитником старой науки и единомышленником примирителей. Такова сила вещей.

Революционность формального метода выражается в обострении и спецификации основных проблем литературной науки, в стремлении придать ей наукообразный характер и избавиться от пустых разговоров «по поводу». Я думаю поэтому, что общий суровый приговор Троцкого, сделанный им в конце статьи и как-то не совсем согласованный с ее началом («формальная школа есть гелертерски препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства»), глубоко ошибочен и несправедлив. Если мы «идеалисты», то только в том смысле, что у нас есть кое-какие свои «идеи», но ведь в этом смысле Троцкий, пожалуй, тоже до некоторой степени «идеалист». А что касается «недоноска» (в другом месте — «крайне заносчивый недоносок»), то это—ораторский жест, на который правильнее всего не реагировать никак.

5.

Говорят о «победе» формалистов. Дело не в том, кто победил,— побеждают не формалисты, а наука. И с этой точки зрения положение литературной науки сейчас опаснее, чем оно было в годы первоначаль-

ной борьбы. Создается иллюзия академического равновесия. Идет натиск эклектиков, канонизаторов, соглашателей и эпигонов. Временами борьба приобретает уже не столько научный, сколько морально-общественный характер. Замутнению основных вопросов способствуют накопившиеся за эти годы недоразумения—в роде того, что борьба за построение науки понимается как борьба за «метод», а отсюда следуют всевозможные рецепты примирения и соединения разных методов. Этой статьей мне хотелось только разъяснить настоящее положение вопроса.

II. ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА.

П. Н. Сакулин.

Два обстоятельства огорчают Б. М. Эйхенбаума. Во-первых, это—не прекращающиеся кривотолки о формальном методе, который на поверку оказывается вовсе не формальным и даже не методом. Во-вторых, это—опасный для литературной науки «натиск эклектиков, канонизаторов, соглашателей и эпигонов».

Думается, что талантливый ученый сильно преувеличивает положение вещей. Ему представляется, что так наз. формальный метод есть центр, вокруг которого вращается вся наука о литературе. Как только появился «Опояз», так «все заговорили о «методах» и «подходах» — даже те, кто никогда прежде и не думал об этом». Да, выступление опоязовцев внесло большое оживление в нашу науку; их работы дали много безусловно ценного. Но смешно утверждать,—как это, к сожалению, делает Б. М. Эйхенбаум,—что ученые, решив уничтожить засилие «Опояза», пустились на «тонко-дипломатическую» хитрость: прикинулись сторонниками «формалистов» и коварно стали повертывать дело таким образом, чтобы от формального метода ничего не осталось. Удивительные, подумаешь, политики! Не правдоподобнее ли думать, что подозреваемые в коварстве ученые имеют и свои собственные взгляды, и что разработка методологии идет не только по тому руслу, которое пролагают опоязовцы? Сводить счеты на этой почве просто не стоит. Хотя Б. М. Эйхенбаум уделяет несколько строк и моей статье «К вопросу о построении поэтики», но я ничего не буду говорить pro domo sua. Меня интересует сущность вопроса.

О «формальном» методе, жалуется Б. М. Эйхенбаум, судят вкривь и вкось. Неосведомленные люди считают В. М. Жирмунского представителем «формальной» школы и легкомысленно ставят его «в один ряд с В. Шкловским и Р. Якобсоном», тогда как Жирмунский — «типичный эклектик». «Пусть история разбирает, кто из нас действовал правильнее», скромно заключает Б. М. Эйхенбаум. Однако, не дожидаясь суда истории, он все же уверяет нас, что подлинным выразителем опоязов-

ской идеологии является не Жирмунский, а именно он, Эйхенбаум Признаться, этот «домашний спор» не представляется мне особенно существенным. Мы судим по печатным работам каждого; видим у представителей одной школы известное различие в научных приемах на ряду со сходным пониманием главных задач; видим даже, как эволюционируют некоторые из них (В. М. Жирмунский и сам Б. М. Эйхенбаум) [1]); считаем все это вполне естественным в каждом научном движении и ценим достигнутые результаты. В этом отношении В. М. Жирмунский, для меня, напр., стоит рядом не с В. Шкловским, а с Б. М. Эйхенбаумом. О Жирмунском нельзя не говорить с особым ударением: он не только дал нам несколько талантливых исследований в стиле «формальной» школы, но, кроме того, научно систематизировал свои теоретические взгляды. Вот и теперь. Б. М. Эйхенбаум выступает от имени «Опояза» и «Словесного Разряда Института Истории Искусств», а между тем в Сборнике Института «Задачи и методы изучения искусств» (1924) руководящая статья по поэтике написана тем же В. М. Жирмунским. Новый повод для недоразумений. Но я охотно признаю, что Б. М. Эйхенбаум правовернее В. М. Жирмунского, и обращаюсь к его статье. Всегда приятно бывает получать сведения из первоисточника. Жаль только, что статья эта — полемическая и что автор не развивает своих даже наиболее ответственных мыслей.

Что же нового узнаем мы о «формальном» методе?

«Прежде всего,—по мнению Б. М. Эйхенбаума,—«никакого формального метода», конечно, нет. Кто придумал это название — восстановить трудно, но придумано оно не очень удачно... Вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах литературной науки — об ее содержании, основном предмете изучения, об организующих ее как особую науку проблемах... Слову «метод» надо вернуть его прежнее скромное значение — прием исследования той или другой конкретной проблемы... Лучший метод тот, который вернее всего ведет к цели. У нас самих сколько угодно методов». Не знаю, как отнесется Б. М. Эйхенбаум к моему заявлению, но в основном я совершенно согласен с его взглядом. Совершенно независимо от Б. М. Эйхенбаума и от кого бы то ни было, недавно, во время московской дискуссии о социологическом методе, я выставил и защищал свой *давний* тезис, который был формулирован мною так: «Метод есть совокупность приемов научного исследования, которые базируются на определенных принципах, вытекающих из понимания природы изучаемого объекта и, стало-быть, задач исследования. Классификация методов должна строиться на классификации задач, при наличности, однако, единого понимания природы объекта».

Я не стану сейчас развертывать своего тезиса (осенью надеюсь выпустить книжку по методологии): Б. М. Эйхенбаум сумеет понять, в чем сходство и в чем различие наших взглядов. Скажу лишь, что для

[1]) На свою эволюцию указывает сам Б. М. Эйхенбаум, см. предисловие к сборнику «Сквозь литературу» (1924).

меня все дело также в понимании природы изучаемого объекта и задач исследования.

Переходя далее к этому пункту, я опять должен констатировать во всем существенном свою солидарность с Б. М. Эйхенбаумом. Боюсь причинить ему какую-нибудь неприятность, но в его «принципах» литературной науки я не усматриваю чего-либо абсолютно нового.

Называя себя и своих единомышленников «спецификаторами» (технический термин издательств), Б. М. Эйхенбаум доказывает, что наука о литературе «должна быть наукой самостоятельной и специфической, имеющей свою область конкретных проблем», и что «основной проблемой изучения» служит так наз. форма, понимаемая, «как нечто основное для художественного явления, как организующий его принцип». В этом Б. М. Эйхенбаум полагает «революционность формального метода»: «в пределах литературной науки формализм есть движение революционное, поскольку он освобождает ее от старых, изжитых традиций и заставляет заново пересмотреть все основные понятия и схемы». Я не склонен умалять бесспорных заслуг «формальной» школы, но как не вспомнить, что еще задолго до появления первого выпуска «Сборников по теории поэтического языка» (1916) уже много говорили как раз о специфических задачах литературной науки. Сошлюсь хотя бы на I том книги А. М. Евлахова «Введение в философию художественного творчества» (1910) с ее выводами, что «история литературы есть история поэзии», а история поэзии есть «история форм». Замечу кстати, что на I Всероссийском Съезде Словесников 1916—1917 гг. уже велись горячие дебаты именно в этой плоскости.

Конечно, за всем тем еще остается вопрос, какой смысл следует вкладывать в понятие формы. Тут начинаются наши расхождения, потому что проблема формы еще не изучена до конца. Б. М. Эйхенбаум вскользь намекает на свое понимание проблемы. Зная его научные работы, мы в праве, повидимому, утверждать, что если некоторые «опоязовцы» до сих пор не изжили того понимания формы, какое было подсказано ранним футуризмом и нашло себе обоснование в формально-лингвистической поэтике,—то Б. М. Эйхенбаум и немногие другие (в том числе,—да позволено мне будет сказать,—В. М. Жирмунский) значительно расширили содержание понятия «формы». Как бы то ни было, эта проблема еще требует дальнейшего научного уточнения.

Но, может-быть, самым существенным пунктом, где, действительно, остается большое разногласие между нами, является вопрос о социальной природе литературного процесса. Б. М. Эйхенбаум протестует против подчинения литературной науки истории культуры. В этом отношении ему нетрудно найти себе союзников среди литературоведов. Не довольствуясь этим, Б. М. Эйхенбаум стремится как бы обособить литературу от общего процесса социальной жизни, отвергая все, что относится к области «генетики» (по моей терминологии, каузальности) литературных явлений. Он прав, поскольку борется с односторонним детерминизмом. Мне кажется, однако, что и тут дело обстоит не столь безна-

дежно, что возможно социологическое истолкование литературных фактов без всякого посягательства на самостоятельность литературной науки и на специфичность литературы, как искусства. Если мы, словесники, откажемся от этой задачи, ее никто не возьмет на себя, да и никто другой не в состоянии выполнить.

Опять не пускаясь в подробные рассуждения, позволю себе привести еще один тезис из моей работы, а именно: «Социологический метод в литературоведении предполагает *специальную разработку некоторых проблем* в их применении к специфическим особенностям литературы, в частности разграничение *эволюционного* и *каузального* моментов в диалектическом развитии явлений». Последнему положению я придаю большую важность.

Что нам чрезвычайно трудно обходиться без «социологии», это, мне кажется, чувствует и сам Б. М. Эйхенбаум. Характеризуя, напр., стиль Некрасова, он признал поэта «явлением исторически неизбежным и необходимым»: «Некрасов, как и Беранже, понимал, что в этот момент голос толпы, а не «избранных», был голосом истории... Надо было искать новых приемов, новых методов и в области стиха, и в области жанра. Надо было создавать новый поэтический язык и новые поэтические формы, потому что искусство живо восприятием» [1]). Не правда ли: еще один небольшой шаг и — мы вступаем в область социологии. Нас увлечет сюда та самая «толпа», которая своими вкусовыми требованиями так мощно определяла стиль поэта. Почему именно «толпа» приобрела столь решающее значение? и что это за толпа? как складывались отношения поэта к этой толпе? Все подобные les pourquois не могут быть разрешены в пределах одних литературных явлений: экскурс в область «социологии» неизбежен. Если мы отклоним от себя решение намеченных вопросов, то, конечно, они останутся без ответа: дать компетентный ответ может только тот, кто владеет специальными знаниями по литературе. В данном случае—Б. М. Эйхенбаум.

Итак, рискуя оказаться в глазах Б. М. Эйхенбаума эклектиком, я держусь того мнения, что социологический метод в истории литературы не только возможен, но и необходим, и что, оперируя им, мы не уступаем ни одной пяди той автономной области, которая по праву принадлежит науке о литературе. Эти мысли также развиты мною в обещанной книжке. Может-быть, это и будет та «специфическая социология», которую, кажется, готов допустить Б. М. Эйхенбаум.

---

[1]) Сборник статей «Сквозь литературу», 1924; цитируемая статья относится к 1922 году. Аналогичную задачу решаю и я в книжке «Некрасов» (издательское т-во «Земля». М. 1922), которая отпечатана еще до юбилея, но, вследствие банкротства издателей поступила в продажу в ничтожном количестве экземпляров.

III. МЕТОД И АПОЛОГЕТ

С. Бобров.

Было бы странно, если бы кому-нибудь пришло в голову требовать от человека, избирающего себе ту или иную специальность, точного обоснования его пристрастий, а тем паче существенных обоснований того, чем он собирается заниматься. Все это так; однако, философическая муть и терминологическая дрызготня вокруг формального метода должна бы когда-нибудь рассеяться, и казалось бы, что это должны были сделать именно товарищи формалисты, а не кто-либо иной. А вместо этого Б. Эйхенбаум предлагает нам весьма первокурсническую фанаберию и ряд собственной Его Формалистического Величества Б. Эйхенбаума особы милостивых движений по адресу его критиков. Когда-то (1922. «Красн. Новь», № 1) я имел удовольствие писать о синтетической (по крайней мере, она думала быть таковой) работе Жирмунского, и полагаю, что на ряд моих замечаний Жирмунский дельных ответов дать не сумеет,—и тогда интересовался: что же вы, товарищи, называете вашим методом, принципом (назовите, как хотите) и в чем, собственно, дело?—У Жирмунского я ответа на это не получил, и получить его от Жирмунского, по всей вероятности, невозможно, ибо этого Жирмунский не знает. Из статьи Эйхенбаума выясняется, что и Эйхенбаум не знает,—и это весьма огорчительно. Никто, повторяю, не требует от Эйхенбаума разработанной философии его научной доктрины, но в пределах азбучных положений неизбежно требуется нечто прочное, а не разговорчики вокруг да около. Это оч-чень мило, когда удается выяснить, что заслуженный Горнфельд попадает в компанию с переметной сумой и порнографом Тиняковым, не менее пикантен мезальянс Когана с Чуковским, но это — дребедень, вздор, чам некогда заниматься этим хихиканьем и подмигиваньем, а насчет чего-либо фундаментального у Эйхенбаума—хоть шаром покати.

Не «метод» важен, говорит Эйхенбаум, а принцип, новый принцип, под углом зрения коего изучается литература. Что это за принцип, точно не сказано; из рассуждений, перебитых полемическими эскападами, кажется (не ручаюсь), выясняется, что принцип этот сводится к тому, «что основной проблемой изучения была объявлена *форма*». Или: принципом формалиста является форма. Повидимому (приходится делать некоторые выводы из недоговоренностей, хотя за них и было бы трудно отвечать), предполагается, что метод непосредственно вытекает из этого принципа. Если это так, то очевидно, что т. Эйхенбаум проповедует нам некоторое чисто дедуктивное миросозерцание, которое по тому самому уже наукой быть не может. Когда дело идет о философии, то тут уместны умозрение и диалектика, поскольку же предметами, входящими в круг эйхенбаумовской доктрины, являются чистые феномены, метод является критерием и единственным критерием всего совершенного. Принцип

(мыслительный, когносценди) есть первооснова—и точка. Затем метод, совершенно независимо от принципа, может быть и сравнительным, и генетическим, и описательным, и каким угодно. Далее говорится, что формалисты изучают эволюцию формы; это говорится совсем в другом месте и независимо от вышеприведенного,—но если эволюция формы тоже входит в принцип, то это не принцип, а философская система, а если так, то—чго это за система? Эйхенбаум старательно отмахивается от метода, никакого-де метода у нас нет и не в нем дело, и «усилия формалистов направлены на построение теории и истории литературы, как самостоятельной науки». Из всего этого решительно ничего не явствует, и если формалистам желательно все же выйти из пределов полемических жестов и говорить о своем деле серьезно, то они должны это сделать,— они, а не их критики. Ругня с критиком — одно, а теория формализма — другое, ругни и фанаберии мы видели более чем достаточно, а о теории еще и не слыхать... Виноваты ли в этом критики?

Вся статья Б. Эйхенбаума переполнена различными кокетливыми импрессиями: иным придается вид глубокомыслия, иным—умолчания, иным—торжественного негодования и пр., об деле — ни гу-гу. Говорится, напр., что исторический параллелизм литературы и иных отраслей культуры указывает на соответствия (коррелятивная связь), а не на причинность (функциональная связь), на что можно возразить, что практически коррелятивная связь есть связь причинная, и что пока еще не доказано, что исторический процесс находится в ложной корреляции с литературной эволюцией. Это, разумеется, ничего не говорит о споре между формалистами и «социологами», но показывает, какими пустяковыми фразочками думает отделаться Эйхенбаум от серьезных проблем. Далее объявляется, что содержание соотносительно не форме, а «понятию объема», но объем понятий есть сумма тех понятий, предикатом которых является суммарное понятие, а форма есть связность соотношений, определяющих объект, — постольку форма и является противоположением содержанию, содержание же по отношению к объему понятия является просто его детерминантом: чем больше объем, тем меньше содержание и наоборот. Б. Эйхенбауму не плохо было бы выяснить, что он хочет сказать.

Дальше: «все элементы, из которых строится специфическая форма словесных произведений, имеют формальные функции, как элементы конструктивные», и положение это тоже является принципом. Повидимому, эта загадочная фраза имеет в виду выяснить следующее положение: существует словесная конструкция, схема, произвольные операции над которой и дают в результате словесное произведение (Гераклит—просто отрывной календарь в сравнении с философией Эйхенбаума!); что такое «формальная функция» Эйхенбаум не говорит, и ни в одной энциклопедии про это не прописано, там этого не проходили. Мы знаем, что ордината кривой есть функция ее абсциссы, т.-е. что всякому положению абсциссы соответствует совершенно определенное и единственно возможное положение (точка) ординаты, и говорить о содержании и форме функции

несколько странно («мы называем вещественное переменное игрек однозначной функцией вещественного переменного икс, если существует закон, по которому каждому значению икса, о котором вообще может быть речь, соответствует одно, и только одно, значение игрека». Макс Розе: «Введение в теорию функций»). После этого объявляется, что скоро, повидимому, методология поглотит науку... после чего ничего не остается, как добавить, что нельзя объять необъятного, и процитировать Аксенова:

Благодетели, зовите пожарных—
Начинается мировая скорбь...

Далее список отверженных, подъявших свои нечистые руки на храм формальной функции; про скромного автора сих строк сказано, что он-де, принявши «высокомерную позу арбитра», превратил «формалистов в несмысленышей». Автор очень извиняется; он никак не думал, что его скромная поза и любознательность отличаются такими разрушительными свойствами, сверх того он никак не мог предполагать, что имеет дело со столь неустойчивым материалом, который теряет смысл немедля после лицезрения чужого, так сказать, высокомерия. Теперь, прочтя статью Эйхенбаума, приходится в этом убедиться, при чем очень удивительно, что действие моей позы не прекращается уже ровно два года; признаться, я на такой головокружительный успех не рассчитывал. Жаль кстати, что Эйхенбаум не видал других моих статей о формалистах, при чем одна из них была написана лично об его персоне (или это опять умолчание?). Обидел я Эйхенбаума, переписав по-русски его фразу о конструктивных элементах и спутавши Жирмунского со Шкловским, когда это, оказывается, совсем разное, так как они разного прихода. Дела семейные и тонкие, — из Москвы этого разобрать никак нельзя; однако, сопоставивши мои отзывы о книгах Жирмунского и Эйхенбаума, можно было обнаружить, что даже и я это заметил, несмотря на то, что многие недостатки Жирмунского разделяют и иные формалисты. Но вот Горнфельд (он петербуржец, ему легче) выделил Жирмунского и все-таки нехорош, так как он ругнул изобретателей формальной функции за фельетонистскую развязность, гениальничанье и кружковский жаргон. Откуда вся история сводится к сказочке о том, как бедных сироток обидели страшные дяди, а они, сиротки, их все-таки не боятся. Сделаем из песочка грешничек и побежим играть в пятнашки, сегодня мама сказала, что будет мороженое—и все это принципы великой науки. Кстати об одной из сироток, Жирмунском: в статье Эйхенбаума впервые говорится точно и ясно, что он-де не наш. Так и будем знать.

Статейка эта с великой ясностью доказывает, что формалисты не знают, что они делают и чего хотят, а также должна послужить некоторым из них определенным указанием на то, что им пора было бы разобраться в этом. Из того, что их обругал Тиняков, не следует, что они правы. Из того, что они не знают, что такое функция и исторический материализм, тоже этого не следует, а как раз наоборот. Из того, что они крикуны и ломаки, тоже ровно ничего путного не проистекает. Если профессора-

спецы не находят ничего лучшего, как погладить их со всей им свойственной неуклюжестью по головке, то опять-таки не это докажет право формалистов на существование в тех границах, каких они домогаются.

IV. ФОРМАЛИЗМ В НАУКЕ ОБ ИСКУССТВЕ.

А. В. Луначарский.

1.

Нам, марксистам, никоим образом не приходится отрицать существование чисто формального искусства.

В просторечьи такое чисто формальное искусство давно носит непышное, но выразительное и точное наименование: искусства бессодержательного.

Я теперь же оговорюсь, потому что нельзя себе представить более педантически придирчивых людей, чем формалисты всех видов и родов. Бекмессеры, отмечающие скрипучим мелом на черной доске ошибки поэтического вдохновения, Бридуазоны, то и дело твердящие о «ф-о-о-рме», или Эйхенбаумы, блестяще доказывающие, что Гоголь сделал свою «Шинель» точь в точь так и для того, как любой фасонистый закройщик на вкус тонкого любителя замысловатого покроя.

Чтобы избежать бридуазоновских придирок, скажу прямо, что далеко не всякое бессодержательное искусство лишено ценности.

Толстой, являющийся одним из последовательнейших защитников содержания в искусстве, остановившись перед таким явлением, как чистый орнамент, и, задумавшись над тем, какими же чувствами, согласно его теории, «заражает» этот род искусства, ответил, что возбуждаемое им чувство есть «чистое любование».

Был бы совершенно прав тот, кто заметил бы Толстому, что в таком случае можно подвести под «чистое любование» целый ряд статуй и картин, музыкальных пьес и даже стихов, которые он сурово отрицал за отсутствие эмоционального и идейного содержания.

Все дело в том, что форма в искусстве, или, что то же, способ сочетания элементов произведения искусства, основана на некоторых психофизиологических особенностях нашего восприятия, коренящихся частью в строении и фукционировании наших органов чувств, частью в наклонностях, свойственных центральному воспринимающему аппарату.

Всем известно, что если поставить кляксу на листе бумаги, сложить лист вдвое и сдавить, а затем раскрыть его, то благодаря точному удвоению бесформенного пятна, на каждой половине листа (симметрия) получится нечто в роде узора, орнамента, то-есть нечто, включающее в себя уже какую-то долю способностей вызывать любование.

По существу говоря, вся формальная работа художника аналогична этому простейшему виду. Художник то упрощает всю массу организуемых им элементов, упорядочивая в пространстве, во времени, в поле мысли или в поле чувства свой материал, либо, наоборот, усложняет этот исходный материал, таким образом, однако, чтобы, придав ему интерес, пикантность, живописный беспорядок, отнюдь не перейти границу, за которой наступил бы действительный беспорядок.

Когда мы имеем дело с элементарным искусством, пользующимся просто красками, линиями, звуками и тому под., то именно эти элементы, как таковые, как чистые ощущения, комбинируются, компонируются художником, чем достигается эффект любования.

Если же мы имеем перед собой художника, богатого сложными и могучими идейно-эмоциональными переживаниями, то задача меняется. Перед таким художником имеется два рода материала: с одной стороны, созревшее в его сознании переживание, с другой стороны, та материя (будь то камень или слово), в которую он должен перелить свое переживание и которую он должен вследствие этого «оформить».

Оформить для такого художника значит, с одной стороны, действовать наподобие Аристотелевой Энтелехии, то-есть до той поры относительно бесформенный материал как бы воодушевить изливаемым в него внутренним творческим переживанием.

Есть могучие художники пророческого типа, для которых этого совершенно достаточно. Их внутреннее волнение даст их произведению ритм, а мощь их переживания, отраженная в произведении, ударит по сердцам тех, к кому оно обращено.

Однако, совершенно очевидно, что художник, в собственном смысле слова, мастер, как носитель определенной общественной функции, является в первую голову мастером выразительности.

Выразительность — явление чрезвычайно широкое, не вполне объемлемое этим термином. В конце-концов, здесь дело сводится к достижению широчайшего и глубочайшего психического захвата произведения искусства, рассчитанного обычно на определенный круг лиц (свой народ, свой класс и т. п.).

С этой точки зрения художник принимает во внимание и особенности материала, в котором работает, и особенности среды, которая его воспринимает.

Вообразите же себе теперь, что у художника нет никакого переживания, что в его голове нет ни одной мысли, достойной быть публично высказанной, что в нем не горит ни одно чувство, которым стоило бы «заразить» ближних, что он берет чужое или банальное, но умеет изложить его, прекрасно пользуясь хорошо изученным и осиленным материалом, а также умением производить максимально увлекательное впечатление на свою публику. Получится искусство чисто формальное, которое, быть-может, даже за пределами специфической публики будет сохранять известную приятность.

Отсюда еще раз вывод: формальная работа присуща всякому искусству; в некоторых случаях искусство может целиком свестись к формальной работе.

Когда же это бывает?

Как я уже сказал, это бывает, во-первых, когда искусство имеет элементарный характер, другими словами, вращается в сфере ощущений и их организации. Здесь явление это вполне законно и находит широкое применение во все эпохи расцвета искусства, главным образом, в той области, которую называют прикладным искусством, или художественной промышленностью.

По аналогии можно представить себе наивные и по-своему прекрасные, но ровно ничего не выражающие звуковые построения; к ним можно отнести и всякого рода игру словами: присказки, припевы или заумь.

Существенно, однако, то, что искусство далеко не останавливается на этой ступени: оно захватывает своей особой манерой организации вещей (организация их для самого легкого и самого богатого впечатлениями восприятия) также мир высших и сложнейших эмоций и их комплексов, идей и их систем.

Здесь искусство уже целиком относится к области идеологии. Здесь оно уже не часть человеческой промышленности, направленная на достижение любования вещами, а настоящее, могучее орудие воздействия на все человеческое сознание, на «психику» человека, огромной силы воспитательный и агитационный прием.

Поскольку какому-нибудь обществу необходимы пророки, трибуны, публицисты, поскольку они являются на зов этой потребности, постольку они, часто бессознательно, находят искусство, в первую очередь поэзию, как наиболее естественное и могучее выявление их воспитательных тенденций.

Для пророка Иеремии, для Солона в его гекзаметрах, для Толстого в ярко выраженный пророческий период его деятельности (нарочно беру явления, отделенные тысячелетиями) художественная форма является второстепенной по сравнению с тою проповедью, которую они несут миру.

Очевидно, однако, что не только Толстой понимал острую заразительность проповеди, организованной художественными приемами, ибо художественная проповедь,— порою целиком переходящая в притчу, где увлекательная фабула и искусство рассказчика как будто вполне заслоняют замысел к вящшей выгоде, однако, для его «заразительности»,—встречается нами во все мужественные, прогрессирующие, богатые силами эпохи или, что то же, у всех классов, являвшихся общественными водителями в такие эпохи.

Имеется целый ряд градаций этого идеологического искусства. Проповедь может преобладать, художественность ее может сводиться к изысканному узору метафор и музыкальному построению периодов (например, Цицерон). Это, конечно, еще не искусство, но чем больше проповедником владеет чувство, тем больше в живой проповеди центр тяжести переносится на интонацию, тембры, жесты.

Чем больше проповедник ищет воздействовать не на разум, а на весь организм, волнуя его, тем более самые слова теряют свой точный смысл, тем более в самом звучании их и в комбинации их проповедник ищет на первый взгляд кажущихся чародейными сил, как бы помимо прямого смысла подчиняющих себе слушателей, околдовывающих их. Мы окончательно вступаем в область поэзии и одновременно с этим замечаем тенденцию к художественному синтезу: поэтическое слово устремляется, с одной стороны, к живописно пластической выразительности и, с другой стороны, к выразительности музыкальной. Слово стремится само создать себе яркие, как бы вполне зрительно-тактильные иллюстрации и в то же время действовать на нервную систему силою ритма, тона, тембра, поднимаясь порою к мелодии.

Я останавливаюсь только на литературе, но не трудно распространить все сказанное на другие искусства.

Для того, чтобы мы имели перед собою настоящее произведение идеологического художества и притом не как простой акт личного творчества художника, а как явление общественное, очевидно, необходимо, чтобы художник был одержим своим переживанием, другими словами, всем существом своим ощущал его, как огромно-важное, а слушатели его были бы в состоянии проникнуться сознанием таковой важности. Только при этих условиях само переживание естественно становится мощным комплексом идей и чувств, зовущих образы и музыку.

Когда с неодобрением говорят о тенденциозном искусстве, бессознательно имеют в виду произведения, порожденные недостаточно сильным переживанием, которое не в состоянии из собственных соков родить свои цветы и плоды, так что музыка и образы оказываются привешенными к его сухим ветвям. К этому разряду «искусств» относится все почти, что порождается честным желанием — развлекая, поучать.

Художник истинный не хочет развлекать. Он не хочет и поучать, он хочет потрясти и через соприкосновение душ, — вызванное тем, что мы называем искусством,—с его собственной, изменить их, обогатить, просветить. Художественность естественно определяется силою переживания и жаждою найти способы как можно полнее перелить его в других.

Читатель подумает, быть-может, что тем самым я признаю абсолютно необходимым присутствие в идеологическом искусстве именно идеи. Такое предположение будет правильно лишь при одной важной оговорке.

Бетховен, например, лукаво улыбаясь, говаривал: «В наше время понимали, что нет музыки без идеи... теперь это перестают понимать» (Беккер «Бетховен»).

Конечно, Бетховен имел здесь в виду не программную музыку, не музыку, написанную для иллюстрирования идеи-мысли.

Безусловно существуют идеи полностью музыкальные, полностью живописные, пластические, или архитектурные. Обрадованный таким признанием формалист может сказать, что чисто музыкальная или чисто архитектурная идея есть не что иное, как композиционное, формаль-

ное задание. Это будет совершенно неправильное понимание. Если идея, являющаяся доминантой в произведении искусства, в самом акте творчества есть только композиционное задание, то данное произведение творчества не является идеологическим, а, так сказать, чисто художественно-ремесленным. В самом деле, чем же они могут заразить, скажем, слушателя, если в них нет ничего, кроме элементарных звуков и их формального сочетания?

Чем же должна быть художественная идея, чтобы, не будучи мыслью, относиться к области идеологической?—Очевидно, что она должна носить характер чувства.

То или другое разрешение сопротивления колоннады и давления кровли в подлинной художественной своей сути непереводимо на слова, или может быть только слабо обозначено описанием и отмечено в мыслящем сознании, как выражение спокойствия, грациозной легкости, грозной и мрачной силы и т. д. и т. п... при чем слова эти ни в какой мере не отражают овладевающего нами чувства при виде данной колоннады, как никакими словами нельзя объяснить слепорожденному, что такое синий или красный цвет.

Инстинктивно или, вернее, социологически выросшая задача идеологий вообще заключается в укреплении и расширении собственного сознания, создающего эту идеологию класса в порабощении ей сознания других классов, в ослаблении и разрешении принципов бытия враждебных общественных сил.

Совершенно очевидно, что в задачи идеологии входят отнюдь не только организации мыслей, но, пожалуй, еще более того организации чувств, а стало-быть, и волевых импульсов.

Когда какое-нибудь племя или военный отряд идут в бой под грозное завывание и ритмические удары, опьяненные этой музыкой, то в музыке этой, конечно, нет никакой мысли, но есть совершенно определенная и могучая эмоциональная идея: в нее перелито, быть-может, чувство кровожадной стремительности воинственно настроенного музыканта или сознание коллективного могущества однообразно движущейся в бой массы. Это «заражает». Резюмирую: идеологическим является всякое искусство, вытекающее из сильного переживания, толкающее как бы невольно художника к экспансии, к захвату душ, к распространению власти своей доминанты на них.

Мы, марксисты, полагаем, что доминанты эти имеют классовый характер, поддерживаются, принимаются и отвергаются определенными классами, в определенный период их развития и при определенных условиях.

А искусство формальное?

Может-быть, оно является внеклассовым или сверхклассовым? Отнюдь нет.

На законных стадиях его развития и на законном месте формальное искусство есть, в сущности, организация форм быта. То, чем и как любуются люди, отнюдь не произвольно; правда и чужой костюм, или орнамент, особенно в международный и эклектический век, может

доставить любование, но первоначально все это возникало как «свое» и служило скрепой для своего народного или сословного быта.

Когда же формальное искусство становится доминирующим, вторгается как полчище масок без лиц во все области искусства—вплоть до поэзии,—оно начинает играть совсем другую роль: оно вообще развлекает, точнее говоря—отвлекает, оно целиком и полностью сознательно или бессознательно действует по рецепту Меттерниха, достаточно чуткого классового политика, обронившего такое слово: «Дайте венцам развлекаться, правительство — друг искусства, но оно не допустит внесения в него какой бы то ни было серьезности».

Но тут опять надо оговориться. Повар Людовика XIV повесился потому, что ему не удался какой-то соус. Так и художники-развлекатели могут до трагизма серьезно относиться к своей роли развлекателей. Для того, чтобы повысить свою собственную ценность, они сами или их кузены-теоретики заявляют, что развлекающее искусство есть искусство «чистое»—«звуки сладкие», что оно гораздо выше какого-то там служебного искусства. Одни добавляют к этому, что чистое формальное мастерство есть самый тонкий продукт культуры и что не умеющие ценить его—дикари и олухи; что к тому же доставляемое мастерством любование есть высшая форма жизнерадостности, и что человек живет для радости, а потому искусство, легконогое и смеющееся, бесконечно выше и нужнее потеющей тенденциозности, впрягающейся в плуг рядом с такими волами, как мысль и труд.

Другие, неудовлетворенные таким веселым разрешением вопроса, апеллируют к метафизике и открывают в своем развлекающем или отвлекающем искусстве нити, связующие его с потусторонним миром и божеством. Их формальные песни — «молитвы»

Какой класс и в какое время может чувствовать потребность в таком искусстве и всемерно стараться об его распространении во всех других классах?

Класс господствующий, не нуждающийся в улучшении своего положения, внутренно безыдейный, то-есть переставший верить в свое призвание и не рассчитывающий импонировать кому бы то ни было своими переживаниями. Класс, как огня боящийся, чтобы рядом с ним не возник другой, полный веры в себя, страстно стремящийся к улучшению своего положения и пересозданию общественного уклада, богатый запасом увлекательных идей и чувств. Развлечь и отвлечь такой класс, отвлечь от него другие классы,очевидно, будет важной задачей для соответственной государственности, для сознания и инстинкта выветрившихся господ.

Бисмарк говаривал: «Если ты сильнее соседа — бей его: всегда найдется профессор, который докажет законность твоего нападения с точки зрения вечного права».

Хуже всего, что такой профессор очень часто всем своим нутром отдается этой задаче, вытягивает из себя жилы с добросовестностью собаки, развозящей молоко молочника.

Современная буржуазия может любить и понимать только бессодержательное и формальное искусство. Она желала бы привить его всем слоям народа. В ответ на эту потребность мелко-буржуазная интеллигенция выдвинула фалангу художников-формалистов и другую—формалистов-искусствоведов.

Менее всего можно было бы ожидать, что отдельные отряды этих фаланг могут иметь успех в почти безбуржуазной России.

Постараемся понять, как вышло, что сильнейшим конкурентом растущего революционного искусства и намечающего свои контуры марксистского искусствоведения оказался художественный и художественно-научный формализм? Как могло случиться, что гр. Эйхенбаум, напр., даже говорит об его победе, правда, безосновательно, но, повидимому, субъективно честно?

2.

Россия при некотором своеобразии своей литературы в XIX столетии, к концу его, подпала решительно под господство западно-европейских мод и течений. Это началось с первого появления литературного символизма, живописного импрессионизма и т. д.

Чем объясняется этот переход от литературы и искусства изобразительного, в высшей степени самобытных, к бросающейся в глаза европеизации их? Это объясняется резким изменением в положении русской интеллигенции, откуда происходили почти все наши художники.

Вербуя сначала своих носителей в среде передового дворянства, а потом среди разночинцев, русское искусство нашло в народничестве свою основную ось. Подобной силы народнических тенденций на Западе не было. А народнические источники, питавшие творчество, были достаточно сильны, чтобы создать Мусоргского и «кучку», русский роман, Репина и Сурикова, Антокольского и Стасова с весьма слабой опорой на Запад.

Вслед за сумерками 80-ых годов выяснилась крепнущая позиция русского капитала, начавшего создавать новые формы общественности. Расширение частно-капиталистического хозяйства и государственного капитализма создало большую группу зажиточной интеллигенции, в бытовом отношении постепенно сливавшейся с капиталистической буржуазией и постоянно впитывавшей в себя все наиболее талантливое из рядов разночинной интеллигенции.

Главной культурной осью интеллигенции сделался кадетский либерализм в политике, курс на европейскую культуру и конституцию.

Россия, как в зеркале, может-быть, слегка кривом, стала отражать Запад. Чистое искусство высоко подняло свой флаг. Постепенно созревали и теоретические позиции формализма. Все это абсолютно в порядке вещей.

Февральская революция сама по себе отнюдь не грозила опрокинуть этот порядок вещей, поскольку руководителями ее оказались

как раз вожди европеизированной буржуазии и вся эс-эрствующая и меньшевиствующая интеллигенция, практически втянутая в буржуазно-интеллигентскую организацию, в роде младо-русской по своим тенденциям, при чем внутренние разногласия нисколько не мешали единству практических лозунгов.

Если бы совершилось социальное чудо и тонкая пленка вышеуказанного состава сдержала бы извержения революционного вулкана, то можно бы сказать с уверенностью, что в России в области искусства и искусствоведения восторжествовали бы чистые формалисты.

Вероятно, мы имели бы в искусстве и изузоренный реализм, и пышноцветный акмеизм, и трубно-барабанный футуризм,—все это на началах полного пренебрежения к «содержанию», т.-е. препустейших, бледнейших, а подчас и дряннейших переживаниях художников, заслоненных тем более виртуозным слово-фокусничеством.

Октябрьская революция и гражданская война на время почти совершенно приостановили наши культурные ручейки. Когда пришла пора постепенного восстановления культурной жизни, многое казалось измененным. Народ, т.-е. пролетариат и передовое крестьянство, стал создавать свою собственную интеллигенцию. Потенциально эта интеллигенция имеет в себе все необходимое для развития искусства, выражающего великие переживания и «заражающего» ими. Принципиально, инстинктивно эта интеллигенция чувствует антипатию к чисто формальному искусству. Однако, этой еще весьма молодой интеллигенции пока не удалось уяснить себе самой свои позиции и тенденции, ей не удалось также обрести более или менее подходящую форму для своего художественного содержания. Она переживает еще своего рода косноязычное младенчество и, может-быть, в стихотворениях Безыменского впервые создает нечто, могущее остаться в русской литературе.

Все это определяет некоторую беспомощность и слабость позиции новой интеллигенции, которая проявляется как в сильном влиянии на нее старой интеллигенции, так и в сердитом брыкании «напостовцев».

С другой стороны, колоссальная сила позиции пролетариата сказывается в том, что часть интеллигенции оказывается «попутчиками» этой новой формации. Само собой разумеется, что я не только ни на минуту не отрицаю возможности самых полезных заимствований для новой интеллигенции в старой культуре, но настаиваю на неизбежности и необходимости их. Мало того, я признаю, что заимствования эти могут производиться не только у классиков и народников, но в отдельных случаях в деталях и у художников-формалистов.

Не надо думать, однако, что старая интеллигенция согласна на манер доброй коровы питать своим млеком растущего богатыря. Не только заграничная ее часть, но правый фланг и центр ее у нас с возрождением культурной жизни возродились со всеми прежде присущими тенденциями. Только можно сказать, что до Октября формализм был просто овощью по сезону, а сейчас это живучий остаток старого, это палладиум, вокруг которого ведется оборона буржуазно-европейски мысля-

щей интеллигенции, знающей притом, что наступление есть лучший способ обороны. Нельзя представить себе открытой борьбы кадетизма с коммунизмом, но совершенно допустима открытая борьба формализма с марксизмом, и это очень хорошо: марксизм, в этой области еще молодой, может лишь окрепнуть в этой борьбе. Но он, марксизм, любит точно знать классовую подоплеку всякой идеологии и поэтому, прежде чем вступить в борьбу по существу, определенно утверждает: формализм как в искусстве, так и в искусствоведении есть порождение поздней зрелости или ранней перезрелости буржуазии, перенесенной в родственную среду, в Россию.

Целью настоящей статьи является, в сущности, главным образом, это более или менее точное установление социального места формализма. Но мне хочется высказать еще несколько суждений об отдельных положениях Эйхенбаума, как самого воинственного застрельщика русского формализма.

3.

В статье «Вокруг вопроса о формалистах» гр. Эйхенбаум отводит довольно много места доказательству того, что никакого формального метода нет. При чем выясняется, что под методом автор разумеет частный прием исследования, считая, что формализм в искусствоведении (впрочем, автор имеет в виду только науку о литературе) представляет собою основной конструктивный принцип науки.

Если бы спор шел о словах, то можно б было игнорировать эти рассуждения Эйхенбаума,—никто еще не установил точно, что такое метод и что такое конструктивный принцип. Мы, марксисты, говорим о диалектическом методе, хотя он гораздо шире всякого основного принципа отдельной науки, ибо является конструктивным принципом всякого знания вообще. Можно было бы привести десятки примеров суждений больших авторитетов о том, что каждая наука, если она хочет быть обособленной, должна выявить свой, только ей присущий *метод*.

Если я хочу остановиться несколько на этом вопросе, то по двум причинам.

Во-первых, гр. Эйхенбаум не скрывает того, что его «принцип» параллелен, напр., принципу историко-материалистическому. Мы бы очень хотели большей ясности в этом отношении.

В начале своей литературно-критической деятельности гр. Эйхенбаум любил искать основную философскую доминанту у каждого поэта. Если формализм параллелен историческому материализму, то значит, это — целое миросозерцание. Какое?

Но гр. Эйхенбаум не дает на это ответа, он заслоняется другими соображениями; он пишет: «Стало, наконец, ясно (?), что наука о литературе, поскольку она не является только частью истории культуры, должна быть наукой самостоятельной и специфической, имеющей свою область конкретных проблем. Стало ясно, что превращение истори-

ческого параллелизма разных рядов культуры в функциональную связь насильственно и не приводит к плодотворным результатам. Делаемый при этом выбор одного ряда, как порождающий собой остальные, диктуется не научными, а миросозерцательными потребностями и вносит в науку тенденциозную предпосылку».

Прежде всего невольно спрашиваешь себя, кому же все это стало ясно? Когда? Почему?

Наука о литературе не есть только часть истории *культуры*. Что, собственно, значит это утверждение? Хочет ли Эйхенбаум сказать этим, что возможно существование *теории* литературы вне ее *истории*. Конечно, грамматику, стилистику, поэтику и т. д. и т. п. можно брать вне всякой связи с историей, а как совокупность правил, всегда, между прочим, весьма схоластических, выведенных из произведений, принятых за образцовые или построенных на основании разных мнимоаприорных аксиом.

Мы чрезвычайно мало интересуемся этим подходом к литературе, но во всяком случае для нас давно уже «ясно», что этот подход стоит вне истории *культуры*, так как он с самого начала вообще стоит вне *истории*.

Но гр. Эйхенбауму хочется доказать совсем не то; не даром он говорит о параллельных рядах и их взаимной независимости. Очевидно, ему хочется доказать, что именно *история* литературы лежит вне области истории культуры.

Какие же он приводит доказательства, кроме, поистине, возмутительно развязного утверждения, что это стало «ясно»!

Доказательство такое: история литературы имеет особые конкретные задачи, а потому должна быть обособлена и т. д.

Вообразите себе биолога, который рассуждал бы таким образом: «так как физиология мозга имеет особые конкретные задачи, то она должна совершенно обособиться от физиологии вообще, и не может быть ничего более возмутительного и насильственного, чем рассмотрение ее в зависимости от физиологии дыхания или пищеварения».

Каждый биолог, как настоящий ученый, знает, что организм есть единое целое, что разделение изучения его на отдельные науки искусственно, что нельзя представить себе гистолога или анатомо-патолога, который не смотрел бы на свою науку, как на ветвь, никоим образом не могущую быть разрабатываемой вне глубочайшей связи со всем целым.

Гистолог может иметь некоторые специфические добавочные методы в своей науке, но это—детали по сравнению с общим арсеналом основных методов биологии.

Но то, с чем согласится немедленно любой врач, любой зоолог, вызывает горячий протест со стороны социолога (буржуазного, конечно). Буржуазный социолог как огня боится единой истории культуры. Ему мало понастроить там разных взаимно-независимых рядов, ему еще хочется превратить изучение каждого такого ряда в науку с особым принципом, решительно несводимую на соседние науки. Для чего ж это?

Посмотрите, как хитро строит Эйхенбаум свое утверждение: «Превращение исторического параллелизма в функциональную связь насильственно».

Оказывается: считать, напр., что право данной страны в данную эпоху вырастает из ее хозяйства—это насильственно, это не наука, это тенденциозность, это угождение «миросозерцательным потребностям». А утверждать, что право искони-де самостоятельно и никак не зависит от хозяйства—это наука,—это «стало ясно».

Нет, простите, гр. Эйхенбаум, допустим на минуту, что та или другая функциональная зависимость двух рядов гипотетична. Но, если вы честный ученый, вы должны согласиться, что отсутствие функциональной зависимости между ними есть не только гипотеза, но гипотеза явно вздорная, ибо какой же не только ученый, а грамотный человек поверит, что между отдельными сторонами культуры нет взаимозависимости?

Конечно, гр. Эйхенбаум ответит, что он не отрицает объективной взаимной зависимости, а что он лишь постулирует эту независимость, как условие правильной научной работы.

Он будет прав постольку, поскольку буржуазные социологи метафизическое расчленение единого социального процесса кладут в основу своей безжизненной науки.

Разрушить эти средостения, вернуть науке единый культурный поток, оплодотворить изучение каждого отдельного ряда, каждого отдельного факта, сопоставлением с общей культурной картиной,— вот задача подлинной научной мысли. По нашему мнению, именно это стало ясно.

Теперь еще пару слов о том, законно или незаконно внесение в науку «миросозерцательных» начал.

Можно, конечно, представить себе некоторые научные операции скорее, чем науки, которые не освещены никаким миросозерцанием. Можно собирать научные коллекции монет или устанавливать номенклатуру муравьев, не задумываясь о миросозерцании. Но, как только мы подходим к настоящей науке, какая б она ни была, мы тотчас же видим, что в основе ее лежит миросозерцание.

Возьмем естествознание. Естественников можно разделить приблизительно на три группы, из которых одна исходит из совершенно незыблемого принципа количественной причинности всех явлений. Она не только полагает, что ex nihilo nihil, но и устанавливает или, по крайней мере, стремится установить всюду абсолютно точные формулы перехода одной энергии в другую, перемещения и превращения материи. Она отрицает какое бы то ни было бытие вне материи и энергии, в конечном счете сводящихся одна к другой. Это — монизм реалистический, который может быть назван и материализмом.

Другая группа естественников считает научно более осторожной точку зрения скептического критицизма. Она полагает, что все установленные разумом законы вплоть до самых последних, т.-е. до мате-

матических аксиом, в сущности необязательны для объекта познаний и что дело науки накоплять опыт и суммировать его по удобным для познания рубрикам, наиболее просто и точно формулировать его, не пытаясь конструировать никакой системы мира, ибо задача эта недоступна человеческому разуму.

Наконец, третья группа допускает причинность духовную, т.-е. происхождение некоторых фактов с точки зрения материалистической (перемещения и превращения материальных частиц и квант-энергии) необъяснимое, но зато находящее объяснение при допущении действия сил, аналогичных так называемым психическим явлениям.

Вне этих трех миросозерцательных плоскостей никакое естествознание немыслимо, при чем бросается в глаза, что первое уже дало необычайно богатые результаты, третье представляет собою, в сущности, отказ от чисто опытного познания вселенной, а второе, прикрываясь особой строгостью и беспристрастием, открывает лазейки для третьего. Чем дальше, тем больше каждое из этих миросозерцаний приобретает классовый характер. Пролетариат энергично настаивает на первом, во многом получив его из рук буржуазии революционного периода. Ученые, являющиеся сознательными прихвостнями господствующих классов, жаждущих сохранить религию, как удобное орудие обороны, всеми силами защищают третье.

Многие представители колеблющейся интеллигенции окутывают свое социальное и научное малодушие выигрышной тогой скептицизма и агностицизма.

Приблизительно то же видим мы в области социальных наук, равно и в истории литературы.

Время, когда социальные науки будут сведены к физико-химическим законам, еще очень отдаленно. Но точный материалистический метод, принятый, конечно, только пролетариатом, сделал в этом отношении огромный шаг вперед, благодаря диалектическому и экономическому материализму. Этот метод, во-первых, признает единство общественной жизни, во-вторых, классовую структуру общества и борьбу классов как доминирующее общественное явление, в-третьих, способы производства и производственные отношения как силу, определяющую характер классовой структуры общества.

Этот гениальный подход дал фактически ключ к пониманию общественной жизни во всех ее проявлениях. Как в естествознании, так и здесь главным аргументом противников является то, что еще не все сделано, не все разрешено.

Этим возражением злоупотребляет и Эйхенбаум, но мы можем только посмеяться над таким возражением, как делал это Тимирязев в своей области. Да, в истории литературы марксистами сделано еще мало. Еще бы! Они только завоевали пока $^1/_6$ часть суши и заняты разрешением маленькой задачи завоевать остальные $^5/_6$. Естественно, что они с трудом могут уделить какие-то единицы, а в сущности даже дроби человеческие на разрешение серьезнейших научных вопросов вне поли-

тики и экономики. И все же, если положить на одну чашу весов всю болтовню формалистов вместе с некоторыми крупицами разных полезных частностей, а на другую—хотя бы книжку тов. Переверзева о Гоголе, то результатами взвешивания мы, марксисты, по крайней мере, можем быть вполне довольны.

В истории литературы можно представить себе совершенно идеалистические подходы. Когда гр. Эйхенбаум говорит, что употреблять выражение «формальный метод» так же нелепо, как говорить «историко-материалистический метод», и когда вслед за тем он утверждает, что исторический материализм есть миросозерцание, то этим самым он и формализм признает за миросозерцание, но мы не можем на этом настаивать, ибо такие противники марксизма, как гр. Эйхенбаум, предпочитают позицию мнимо-строгонаучного скептицизма.

Мы, мол, о миросозерцании и не думаем. Это только испортит нашу науку, мы отграничиваем область литературы и копаемся в ней, как черви в земле: факт к факту, наблюдение к наблюдению, а какое значение имеет данное литературное произведение в целом жизни общества — это от лукавого.

Но эта позиция есть тоже миросозерцание, это тот своеобразный агностический плюрализм, который является миросозерцанием эпох и людей, лишенных творчества, растерявшихся, децентрализованных, но гордо выдающих свою дурную болезнь за самое подлинное здоровье.

Отчасти по причине желания моего знать противника, отчасти потому, что в кучах щебня иной раз находишь у формалистов интересный факт или здоровую мысль, я читал большинство этюдов гр. Эйхенбаума. Это превосходный тип для социального патолога, в самом деле он не может (а может-быть, не хочет) видеть в творчестве даже классической эпохи живого переживания, которое ведь всегда есть социальный акт.

Помните анекдот о господине, который на Бетховенском концерте на вопрос: «Что сейчас будут играть?» ответил: «Будут скрипеть конским волосом по кошачьей кишке». Так же точно и Эйхенбаум сводит всякое литературное произведение к словесному фокусу, все писатели слово-штукари, забавники, только и думают о том, как бы сделать «Шинель», и в произведениях их можно искать только непосредственнейшего удовольствия в роде щекотания пяток или удовольствия более глубокого от анализа способов, при помощи которых этот ловкач проделывает свои гокус-покусы.

Вы воображаете, напр., что «Шинель» есть шедевр юмора, как огромной силы трогательного характера, что это есть та смесь смеха и слез, о которой торжественно говорил сам автор, что это есть своеобразное, пережитое другими странами, просыпающееся демократическое чувство протеста,—какой же вы старомодный человек, ничего подобного— Гоголь просто словосочетает из невинного желания усладить себя и других складным сказом.

Вы думаете, что Толстой перешел от своих романов к христианско-народническим притчам в силу потрясения своей совести, которая сама

была производным от необъятного огромного столкновения культур в России. Вы допотопный троглодит! Ведь теперь «ясно стало», что Толстой просто переменил манеру рассказывать за исчерпанием старой. Вероятно, и сюртук на блузу он переменил, чтобы освежить несколько моду.

Между прочим, характерно для гр. Эйхенбаума его постоянное заявление: «это старо, это избито!». Модничанье и жажда новизны— необходимые спутники формализма. Парадокс, курьез — вот чем дышит эпоха формализма, т.-е. бессодержательная эпоха, культура классов, потерявших содержание.

Я охотно ответил бы гр. Эйхенбауму и на его полуликование по поводу полустремления некоторых половинчатых людей признать формализм, несколько сдобренный уступками, за удобную позицию для самообороны от марксизма. Но это завело бы меня далеко. В рамки этой статьи вопрос о группировках и перегруппировках нашей профессуры и интеллигенции вообще не вмещается. Не отвечаю я и на ту часть статьи гр. Эйхенбаума, где он критикует писателей-марксистов, в особенности т. Троцкого. Они сами за себя ответят.

V. О ФОРМАЛЬНОМ МЕТОДЕ.

П. С. Коган.

Когда я получил от редакции «Печати и Революции» статью Б. Эйхенбаума и прочел ее, то сразу понял, что переубеждать в чем-нибудь Эйхенбаума—занятие бесполезное. Не будучи формалистом, я, однако, благодаря долголетнему опыту, привык по форме изложения определять основные свойства автора. Б. Эйхенбаум из всех тропов и фигур облюбовал гиперболу. По его мнению, если, наприм., мы будем продолжать говорить о методах, а не о принципах, то придется «думать, что Россия стала страной по преимуществу методологической, а это, конечно, не так».

Далее оказывается, что России угрожает еще бо́льшая опасность. Если мы рядом с формальным методом поставим еще другие, скажем, социологический, психологический и т. п., то придется сказать, что «Россия есть страна по преимуществу беспринципная, что, повидимому, тоже не совсем верно». И на том спасибо! Россия еще не окончательно погибла в глазах Б. Эйхенбаума, есть надежда, что она с честью выйдет из споров о формализме и поймет всю глубину различия между «методом« и «принципом». Конечно, любовью к гиперболам объясняется и сообщение автора о том, что профессора заволновались, что «история делает иногда неожиданные сочетания имен: Коган-Чуковский — Горнфельд-Тиняков», и т. д.

Если бы Б. Эйхенбаум не был так забронирован в своей счастливой уверенности, он, конечно, заметил бы, что формальный метод или принцип (если так больше нравится Б. Эйхенбауму) России не сотрясает и русских рабочих и крестьян от дела строительства никуда не отвлекает, и что если Коган-Чуковский—Горнфельд-Тиняков и пр. случайно назовут день днем, а ночь—ночью, то стоит ли видеть в этом чуть ли не исторически-неожиданное сочетание имен.

Одно замечание по поводу полемических выпадов автора против меня лично. В одной из моих рецензий в «Печати и Революции», действительно, указывалось на то, что эстетическое чутье К. Чуковского помогло ему из анализа формы того или иного поэта делать выводы, очень ценные и для социолога, что в этом смысле он и старше и шире формалистов. Я и теперь думаю, что видеть в стихотворении только «ряд конкретно связанных между собою слов» (как четко определил формализм Бобров) значит ничего не видеть. И вот эти мои скромные мысли о Чуковском показались Б. Эйхенбауму, в его гиперболических увлечениях, воплем отчаяния. Он (т.-е. я) «так взволнован и так возмущен», что «с горя объявляет великим ученым и родоначальником формализма... К. Чуковского». Повидимому, в глазах Эйхенбаума прадед формалистов должен быть непременно великим ученым. Я не так ослеплен опоязовским кружком, поэтому великим ученым Чуковского не считаю, родословным деревом формализма вообще не интересуюсь, но продолжаю думать, что формальный анализ Чуковского ценен, а подсчет рифм ради подсчета не нужен.

Теперь несколько слов по существу. В последней главе своей книги «Литература этих лет», освобождающей меня от детального ответа здесь, я выяснил, почему, с моей точки зрения, формальный метод осужден на бесплодие [1]).

В статье Б. Эйхенбаума я нахожу полное подтверждение своих мыслей. Дело вовсе не в том, заниматься ли формой или содержанием, а в том, *как* заниматься, *как* анализировать, *с чем* подходить. Б. Эйхенбаум противопоставляет «потребности научные» «потребностям миросозерцательным»; и «превращение исторического параллелизма разных родов культуры (их «соответствий») в функциональную (причинно-следственную связь) представляется ему «насильственным».

Вот несколько изумительных по наивности мыслей о формализме и марксизме: «Формализм и марксизм противопоставлять нельзя; формализм — система частной науки, марксизм — философско-историческое учение», «нельзя марксизму противопоставлять теорию относительности, потому что это вещи несоизмеримые», «вопрос о генезисе литературных явлений, их связь с фактами быта и экономики... сознательно отводится

---

[1]) Должен оговориться, что я все время имею в виду ложный формализм, т.-е. тот, который культивируется Эйхенбаумом и его товарищами. Такой, напр., подход к изучению формы, как у Переверзева или Пиксанова, я считаю в высокой степени плодотворным.

не как праздный вообще, но как ничего не уясняющий в пределах одного ряда», и т. п.

Всякая попытка противопоставить науку миросозерцанию сама по себе есть результат миросозерцания. Ученый оперирует с определенным кругом явлений. Его интерес к этим явлениям, а следовательно, и его метод (если речь идет о науке, а не схоластике) диктуется интересом к окружающему миру, в наше время — к общественным явлениям. Всякая попытка оторвать специфические особенности данной области явлений от всей совокупности явлений, конечно, метафизическое наследие, от которого нам пора уже освободиться. Тот, кто совершает подобный отрыв и верит, что можно изучать форму, стиль, конструкцию и пр. вне социальных отношений,—тот, несомненно, является представителем определенного миросозерцания, но миросозерцания отжитого, реакционного и постепенно умирающего. Ученый, заявляющий: «необходимо сначала обособить предмет моей науки от всего мира, чтобы изучить эту науку, как таковую (бессмысленное выражение), нужно на время забыть, что я человек с плотью и кровью, окруженный другими людьми, и заняться только своим уголком»,—такой ученый, конечно, обречен на бесплодие. Отсюда не следует, что каждая ветвь обществоведения не имеет своих специальных методов исследования. Но одно дело—специальные навыки и методы при изучении частного явления, звена единого целого. Другое дело — метафизический жупел, в который превратили формалисты литературу, правда, самую капризную и сложную, но все-таки надстройку.

По Эйхенбауму выходит: марксизма мы не трогаем, а вы не трогайте литературных явлений. Мало ли есть разных, даже не безынтересных рядов культуры, но зачем устанавливать «причинно-следственную» связь между ними. Какой он назойливый, этот марксизм: всюду суется, куда не следует. Так спокойно жилось без него. Исключаются из сонма «ученых» и причисляются к лику «миросозерцателей» (да простят нам это слово, хотя бы во имя того, что Б. Эйхенбауму мы прощаем «миросозерцательные потребности») даже Горнфельд, усмотревший в поэтике «одну из самых общеобразовательных наук», и Жирмунский, впавший в ужасные ереси и постигший, что искусство можно рассматривать «как социальный факт и как социальный фактор», что «эволюция стиля связана с мироощущением эпохи». Ведь если «предатели» и «отступники» пойдут дальше по этому пути, то трудно предусмотреть, до чего они договорятся. Начнут разбирать, что это за «общеобразовательная» наука и что это за «мироощущение» эпохи. И вдруг окажется, что над выяснением источника этого «мироощущения эпохи» уже работали разные Марксы и Плехановы и много умов, не менее ученых, чем Шкловский и Эйхенбаум.

А может быть, в своем отступничестве «предатели» пойдут и дальше по пути логики и фактов. И вдруг поймут, что марксизм, это — не одно из полезных занятий, а прежде всего монистический взгляд на историю, что это — единственный научный подход ко всем общественным пробле-

мам, к числу каковых принадлежит и изучение литературы, и что всюду он будет путаться, пока все «ряды» не свяжет «причинно-следственной связью». Правда, противопоставлять марксизм формализму не следует (да Троцкий этого и не делает, Б. Эйхенбаум ничего не понял в его статье), как не следует противопоставлять марксизм закону относительности. Но Троцкий блестяще объяснил и генезис формализма и место, занимаемое им в современном сознании,—объяснил блестяще именно потому, что подошел к нему с отточенным ножом марксистского анализа. Пусть прочтет Б. Эйхенбаум то, что пишут марксисты о законе относительности, и он увидит место этого закона среди «рядов», причинно-следственной зависимости которых ему пока не видно в пределах его, поистине, счастливой «учености». Горнфельду и Жирмунскому, по счастью, дано выйти за эти пределы. Удастся ли Б. Эйхенбауму—не знаю. Может-быть, и на его сознание повлияет все шире и шире развертывающееся «бытие» наше.

Вывод, к которому я и раньше склонялся и в котором меня окончательно убедила статья Б. Эйхенбаума, следующий: формализм не есть метод, не есть даже принцип, а не что иное, как открытая Эйхенбаумом «миросозерцательная потребность». А «миросозерцательная потребность» эта сродни особой болезни спецовского гурманства,—болезни, хорошо разъясненной в марксистской литературе. Да, господа формалисты, все дело в миросозерцании. Без этого нет науки. И спецовский бесплодный и неумеренный пыл —увы! — имеет тоже свой социальный генезис. Этот пыл скоро угасает за отсутствием материала, раз источник его не в той общественной психике, которая возникает в созидающих и развивающихся классах общества.

VI. ПО ПОВОДУ Б. ЭЙХЕНБАУМА.

В. Полянский.

Эйхенбаум недоволен Жирмунским. Это—«типичный эклектик, примиритель крайностей». Он, видите ли, «вяло повторяет старые «академические» «истины» и «осуждает формалистов за недостаточно обдуманные выступления на диспутах и митингах»

Мы прекрасно понимаем свойство человеческой природы быть недовольным, когда человека ругают. Вопрос, однако, не в этом. Вопрос глубже, серьезнее. Если статья Эйхенбаума «как сделана «Шинель» Гоголя» свидетельствует о «переломе» в сознании и направлении автора, то последние выступления Жирмунского есть показатель «перелома» в лагере формалистов, и более косные из них и менее гибкие, естественно, кричат об «эклектизме и примирительстве крайностей». Этим заявлением мы ни в какой степени не защищаем Жирмунского. В своих методологи-

ческих утверждениях он также неприемлем для марксизма, как Эйхенбаум, Шкловский и другие. Мы полагаем, что начинающийся кризис в лагере формалистов, стирая «крайности», покажет всю теоретическую беспомощность формализма — и больше, он может их подготовительную, черновую, статистическую работу, очищенную от сумбурных теоретизирований, сделать более полезной и целесообразной при марксистском анализе литературных явлений. Надо способствовать этому кризису. Не потому, что мы сторонники потасовок, хотя они часто проходят не без пользы, а в видах очищения морфологического метода от всяких кривых наростов и в целях наилучшего его приспособления к потребностям времени.

Автор статьи настойчиво повторяет, что «вопрос идет не о методах изучения литературы, а о принципах построения литературной науки— об ее содержании, основном предмете изучения, об организующих ее как особую науку проблемах». «Мы—не «формалисты» и не «метод». Мы «уже, если угодно—спецификаторы».

Марксизм прекрасно отличает метод от принципа, но он не менее прекрасно сознает и тесную связь принципа при проведении его в жизнь с тем или иным методом. Нередки случаи, когда принцип душит метод, а метод выхолащивает принцип. История борьбы революционного марксизма со всякого рода оппортунизмом может дать разительные примеры. Нет необходимости распутывать полусхоластические суждения автора, важно указать и подчеркнуть одно, что они нужны автору, чтобы убедить малоопытного читателя, будто бы формальный метод не противоречит марксизму. Если формалисты откажутся от методологических измышлений, а всерьез возьмутся за ту черновую работу, которую им отводит Л. Д. Троцкий, они не только не будут врагами марксизма, но и принесут ему известную пользу. Поскольку же они выдвигают абсолютную «научную истину» и «литературную науку» сводят к изучению «*формы*», как бы особо это слово ни понималось, формальный метод глубоко враждебен марксизму, он реакционен, и корни его лежат, несомненно, в общественных настроениях, родственных тем, что породили футуризм, имажинизм, теорию чистого искусства и пустышку «серапионовцев», что искусство безыдейно. После статьи Троцкого, поскольку формалисты не дали нового материала, мы считаем себя в праве ограничиться одним решительным и твердым заявлением о враждебности формализма марксизму. Нет никакой необходимости повторяться, раз это вскрыто другими и в блестящей форме и с исчерпывающей полнотой.

Относительно метода нам хотелось бы сделать одно маленькое, но существенное замечание.

Эйхенбаум пишет: «Метод изучения текста, методы изучения стиха, методы изучения определенного автора, эпохи и т. д.,—вот естественное употребление слова «метод». Метод биографический, социологический, психологический, эстетический,—все это не методы, а разные точки зрения на науку или даже разные науки».

Из этих рассуждений видно, что автор от метода, как живого, активного, одушевляющего работу начала, органически связанного с принципом, подходит к методу, как к сухому, бездушному, формальному, в худшем смысле слова, приему, оторванному от живой жизни, от принципа, а потому и никчемному, бесполезному и даже, при возведении в догму, сугубо вредному, особенно в наше диалектически-материалистическое время.

Что это так, видно из того, что автор на ряду с социологическим, психологическим и эстетическим методом поставил биографию. Ну, кто же, здравомыслящий, поверит, что биография есть метод, а тем более «взгляд на науку». Не следует ставить себя в комическое положение! Автор невыносимо путает вопросы и понятия, в которых легко разбирается рабфаковец, не знающий ни Эйхенбаума, ни Шкловского, ни формального метода вообще. Если биография метод, то метод—роман, рассказ, драма и т. д. Или лучше: роман есть точка зрения на науку. Чепуха это, Б. Эйхенбаум!

Зная, что в наше время всякое указание, что автор не марксист, а тем более — антимарксист, убивает у молодежи желание читать и слушать его, Эйхенбаум, прячась за голые и тощие кусты своих рассуждений о методе, хотел скрыть свое антимарксистское нутро, и вышел конфуз, да еще какой! Попытки с негодными средствами в литературном мире не раз кончались скандалом.

И этот автор, возражая Троцкому, силится доказать, что он отступает от «марксистских принципов» и «силою вещей приходит к чему-то уже ни на какой марксизм не похожее». Мы были весьма сдержанны, когда автор говорил о вещах ему известных, хотя и не совсем понятных, но когда он начинает притоптывать на Л. Д. Троцкого, не имея ни малейшего представления о марксизме, перо становится нервным. Всякой смелости должен быть положен предел. Мы это и сделали бы, но ведь Троцкий в этом ничуть не нуждается.

Свою попытку парализовать анализ Троцкого, ясно доказавшего, что формальный метод не совместим с марксизмом, Эйхенбаум пробует подкрепить с другой стороны. Он пускается в анализ эволюции и генезиса. При этом вопрос «о генезисе литературных явлений (их связь с фактами быта, экономики, с индивидуальной психологией или физиологией автора и т. д. без конца) сознательно отводится». По понятиям Эйхенбаума, эволюция и генезис — «проблемы разных наук». «Указать генезис—значит констатировать *связь* явлений, а не их *причинную* обусловленность». Марксисты, по автору, изучают литературу, к сожалению, только генетически и не эволюционно, а потому и не выясняют причинную связь. Тут верно одно: марксисты—не эволюционисты, они революционеры. А то, что они не выясняют «причинную обусловленность», превращая литературу в «иллюстрацию» или в «эстетический придаток», то... тут с автором повторяется та же тяжелая история, что в вопросе о методе и принципе. А ведь Эйхенбаум клеймит Троцкого эклектиком!

Пробует автор затушевать и выявленную Троцким сущность формального метода, который он сводит «к анализу (по существу описатель-

ному и полустатистическому) этимологических и синтаксических свойств поэтических произведений, подсчету повторяющихся гласных и согласных, слогов, эпитетов». Это, видите ли, «весьма далеко от действительности».

«Усилия формалистов направлены не на описание отдельных произведений, а на построение теории и истории литературы как самостоятельной науки». Это заявление не подрывает анализа Троцкого. Положим, хотят создать науку, но сгроится эта наука на «анализе этимологических и синтаксических свойств поэтических произведений» и т. д. Разница не в принципе, не в методе, а в масштабе. Троцкий в одном не прав. Почему только поэтических произведений? В равной степени и прозы Но это недоглядка, описка, не разрушающая основного взгляда.

Суровый приговор Л. Д. Троцкого, что «формальная школа есть гелертерски препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства», остается в силе и после статьи Б. Эйхенбаума. Она — яркое свидетельство путаницы и идейной беспомощности формалистов «на переломе».

БАКУНИН В «БЕСАХ».

(Окончание).

Леонид Гроссман.

IV. Информация художника.

1.

Переходим к следующей группе возражений. Мой оппонент считает указанные мной источники знакомства Достоевского с Бакуниным неверными. Впрочем, как и в первом вопросе, автор возражения не считает нужным рассмотреть мои аргументы полностью и из доброго десятка доказательств выбирает самую незначительную часть.

Напомним поэтому вкратце приведенные нами источники информации Достоевского в биографии Бакунина: 1) кружок Белинского в ту пору, когда критик жадно ловил «хорошие слухи о Мишеле»; 2) кружок Петрашевского, в котором, по позднейшему свидетельству Достоевского, «мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением за потрясающими тогдашними европейскими событиями»; 3) сибирская ссылка, одновременная для Бакунина и Достоевского; характерно, что в своих сибирских письмах Бакунин называет Достоевского; 4) беседы с Герценом в начале 60-х годов, когда с ним жил Бакунин; 5) знакомство Достоевского с видным бакунистом Жакларом; 6) характеристика Бакунина в «Московских Ведомостях» Каткова; 7) встреча Достоевского с Бакуниным на Конгрессе Лиги Мира и Свободы; 8) встречи Достоевского с Огаревым в Женеве и близкие отношения; 9) воспоминания о Бакунине старообрядческого архиепископа, напечатанные в «Русском Вестнике» рядом с «Преступлением и наказанием»; 10) чтение Достоевским статей и брошюр Бакунина в заграничных читальнях и библиотеках запрещенных книг, которыми особенно интересовался Достоевский; 11) отчет о процессе нечаевцев [1]).

Из этих одиннадцати указаний В. П. Полонский с вдохновенным произволом художника, отбирающего от прототипа лишь немногие черты,

[1]) Мы далеко не исчерпали в нашей первой статье источников информации Достоевского по Бакунину. В другом месте мы представим дополнительный материал по этому вопросу.

нужные ему для выявления своего творческого замысла, отбирает лишь три: 1) Женевский Конгресс; 2) Огарев; 3) процесс нечаевцев. Все остальное «опровергать нет охоты... потому что игра, как говорят, не стоит свеч». Но мы продолжаем считать, что исследователь, заявивший о своем намерении разрушить вредную легенду, наложил на себя неустранимое обязательство: ответить на все аргументы своего противника. Ученый полемист, не удостоивающий внимания целые десятки тезисов и доводов опровергаемой им работы, разумеется, оставляет их в силе. Фигура умолчания не может в условиях диспута сойти за доказательство.

Но обратимся к тем немногим пунктам, которые удостоились внимания моего критика (о Женевском Конгрессе, см. выше 1 главу [1]).

V. Огарев и Достоевский.

I.

Сделанное мною указание на то, что «чрезвычайно существенны в истории заочного знакомства автора «Бесов» с Бакуниным, *встреча* и *близкое отношение* Федора Михайловича с Огаревым в Женеве в 1867 году» встретило особенно бурные возражения со стороны В. П. Полонского. Рассмотрев во всех подробностях вопрос, он приходит к заключению, что «у нас нет никаких оснований полагать, будто один из женевских вождей, друг Бакунина, друг Герцена, заставивший его передать Нечаеву остатки бахметьевского фонда,—будто Огарев мог оказаться вдруг, природе вопреки, другом Достоевского».

Отметим прежде всего «историчность» этого аргумента: близкие отношения Достоевского с Огаревым относятся к осени 1867 г., передача бахметьевского фонда Нечаеву произошла *два года спустя*. Но, оказывается, Достоевский уже в 1867 г. не мог по этой причине дружить с Огаревым.

Напомним далее, что мы говорим в нашей статье о встречах и беседах Достоевского с Огаревым, как об одном из главных источников информации нашего писателя по Бакунину: «Нет такого фактического или биографического вопроса о личности Бакунина, на который бы Достоевский не мог бы получить исчерпывающего ответа от Огарева. Мы имеем здесь обширнейший источник информации нашего писателя о заинтересовавшем его герое»... Это указание наше строго фактично, и мы на нем настаиваем всемерно.

Оно основано на нескольких весьма авторитетных свидетельствах. Сюда относится прежде всего совершенно бесспорное указание Анны Григорьевны из рукописи ее «Воспоминаний»: «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же

[1]) «Печ. и Рев.», кн. 4 за 1924 г.

деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого душевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению»...

Это ясное, категорическое, не вызывающее никаких сомнений свидетельство А. Г. Достоевской подводится В. П. Полонским под глубочайшее подозрение; оказывается, у него имеются свидетельства «в большой степени смягчающие, если не *совсем отрицающие, факты, приведенные А. Г. Достоевской*». «Прежде всего в черновике «Воспоминаний» сказано о том, что Огарев заходил не часто, а «изредка». Но, не говоря о том, что черновик не имеет никакого преимущества перед окончательной редакцией — скорее, напротив, — это указание, даже если его принять в малейшей степени, не колеблет факта бесед Достоевского с Огаревым и проистекающие отсюда информации; вспомним в придачу, что Огарев приносил Достоевскому книги, газеты, а это весьма красноречиво свидетельствует о характере их отношений, проникнутых литературными, интеллектуальными, культурными интересами и, стало-быть, такие же беседы между двумя писателями.

Воспоминания А. Г. Достоевской рассеивают и другое сомнение. В своих письмах этого периода Достоевский не перестает жаловаться на одиночество: стало-быть, он не встречался с Огаревым, заключает В. П. Полонский. Но Анна Григорьевна дает нам, несомненно, верное, весьма правдоподобное и глубоко жизненное объяснение этому: «знакомых в Женеве у нас не было *почти никаких;* Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств».. С отъездом Огарева «мы потеряли *единственного в Женеве знакомого*, с которым приятно было встречаться и беседовать»... Если в чужом городе, в чужой стране, не имея родных, чуждаясь новых знакомств, совершенно лишенный общества, Достоевский и встречался единственно с Огаревым, это, конечно, нисколько не нарушало его общего впечатления о своем одиночестве на чужбине.

Мемуары Анны Григорьевны разъясняют здесь все недоумения.

Но мой оппонент решительно не верит этим правдивым указаниям правдивого летописца жизни Достоевского. Из его слов следует заключить, что Анна Григорьевна просто сочинила целый эпизод их общей биографии—женевское знакомство с Огаревым. Нечего и говорить, конечно, что это совершенно не в духе и не в привычках нашей добросовестной мемуаристки, которая может иногда ошибаться в мелочах (напр., спутать заглавие французских книг), но никогда не выдумывает и даже не прикрашивает самых неприглядных страниц своего рассказа. Да и к чему бы ей было сочинять такую небылицу? С какой целью она б это сделала? Где здесь вообще основание для недоверия?

В. П. Полонский усматривает его в том, что Анна Григорьевна писала свои «Воспоминания» не ранее как через двадцать лет после жизни в Женеве. Другими словами, точность «Воспоминаний» может быть установлена лишь после основательной их критической проверки. Мы уже указывали, что рукопись А. Г. Достоевской—не просто «Воспоминания», написанные по истечении нескольких десятилетий, а литературная обработка ее старинных стенографических дневников, исключающих вся-

кую возможность ошибок в датах или личных событиях (ошибки Анны Григорьевны относятся почти всегда к литературным заглавиям, которые могли и в свое время заноситься ею в дневник неточно и приблизительно). Но, по желанию моего оппонента, я готов проверить это показание Анны Григорьевны.

В образцово написанных «Воспоминаниях» Н. Н. Страхова, где все тщательно проверено и строго обосновано—в этой превосходной биографии Достоевского, написанной по достовернейшим первоисточникам и часто даже с непосредственных слов самого Достоевского, читаем: «*Знакомых в Женеве не было никого, кроме Огарева*, который иногда захаживал и даже выручал Достоевских, в случае крайней нужды, давая взаймы пять или десять франков» [1]). Таким образом, осторожный, строго проверяющий факты, привыкший к научным методам Страхов всемерно подтверждает и без того несомненное показание Анны Григорьевны.

Факт этого знакомства прочно утвердился в семейных воспоминаниях Достоевских. Так, дочь писателя, Любовь Федоровна, свидетельствует в своей книге об отце: «родители мои вели в Женеве весьма уединенную жизнь. В начале их пребывания в Швейцарии они встретили здесь одного русского друга, который часто посещал их. Но вскоре он уехал в Париж, и мои родители не искали никаких новых знакомств...» Отметим кстати, что и в изложении Л. Ф. Достоевской «весьма уединенная жизнь» Достоевских в Женеве («sehr einsames Leben») нисколько не исключала частых посещений одного русского друга [2]). Разумеется, эти отношения с одним лицом в далеком, заграничном городке не в силах были рассеять общего ощущения заброшенности и одиночества.

Таким образом, имеющиеся у нас свидетельства Анны Григорьевны Достоевской и Н. Н. Страхова, подкрепленные рассказом Любови Федоровны Достоевской, не допускают никаких сомнений в факте тех добрых приятельских отношений между Огаревым и Достоевским в Женеве, осенью 1867 г., которые в общежитии принято называть дружеским.

II.

Это обстоятельство вполне подтверждается всем, что́ мы знаем об отношениях Достоевского к Огареву. Историко-литературные справки и с этой стороны в полной мере подтверждают правдивость показания Анны Григорьевны. Ее свидетельство: «Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого душевного поэта», оказывается совершенно безошибочным. Уже в статье о «Выставке в Академии Художеств» 1860 —

[1]) *Н. Н. Страхов.* Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского. «Биография, письма и заметки», стр. 296 (1-я пагинация).

[2]) «Dostojewsky geschildert von seiner Tochter A. Dostojewski», München, 1923, стр. 170.—Л. Ф. Достоевская сообщает это, разумеется, не по личным воспоминаниям (она родилась два года спустя—в сентябре 1869 г.), но рассказ ее свидетельствует, насколько этот факт прочно утвердился в семейных воспоминаниях Достоевских.

1861 г.г., напечатанной во «Времени» 1861 г., Достоевский с глубоким сочувствием отзывается об одной поэме Огарева. По поводу картины Якоби «Партия арестантов на привале» Достоевский замечает: «Нашелся художник, который в известной поэме—«Рассказ этапного офицера» сумел в своем черством герое откопать человека»... Поэма Огарева «Рассказ этапного офицера» была в то время запрещенной, появилась за два года до того за границей в «Полярной Звезде» за 1859 г. (стр. 260 и сл.).

«Любимейшие» стихи Достоевского были, по его собственному свидетельству, уже в 70-х годах—некоторые строфы Огарева. В воспоминаниях о Достоевском точно запечатлен один вдохновенный вечер в конце 1873 года, когда Федор Михайлович читал поочередно свои любимые стихи о *пророках* Пушкина, Лермонтова и Огарева. Он начал с рассказа о своей смертной казни, затем заключении в крепости, о полученной библии и духовном перерождении:

«И он вполголоса, с мистическим восторгом на лице, тут же прочел тогда *свои любимейшие стихи Огарева*:

Я в старой Библии гадал
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...

За Огаревым последовали другие. Ф. М. встал, вышел на середину и со сверкающими глазами, с вдохновенными жестами, точно жрец пред невидимым жертвенником, читал нам «Пророка» сначала Пушкина, потом Лермонтова...» [1]) Вот лучшее свидетельство о том, как недосягаемо, как высоко ценил Достоевский Огарева-поэта.

Отметим, что таково было отношение к этому лирику в журнально-редакционных кругах, близких Достоевскому. Так, напр., высоко ценил Огарева и даже ставил его рядом с Фетом, Аполлоном Григорьевым, эстетические воззрения которого имели такое решающее влияние на литературные вкусы и мнения Достоевского; по мнению Григорьева, Огарев—певец, по преимуществу подкупающий искренностью чувства, «тоскою сердца бесконечно нежного»; стихи его—«самые искренние песни эпохи»... Это мнение всемерно разделялось Достоевским.

Таким образом, давнишнее заочное знакомство Достоевского с Огаревым и глубокая читательская симпатия к нему (отзыв о «Рассказе этапного офицера» относится к 1861 г.) подготовила самую благоприятную почву для личных отношений обоих писателей в Женеве в 1867 г.

Исключительное личное обаяние Огарева (вспомним о нем отзыв Бакунина: «страдалец милый и тихий»), редкая доброта и задушевность поэта, горячая увлекательность его беседы, насыщенной насквозь литературными, философскими и политическими темами,—все это не могло не

[1]) *В. В. Т-ва (Починковская)*. Год работы с великим писателем. «Ист. Вестн.», 1904, 11.

расположить к нему нашего женевского отшельника. Неудивительно, что Достоевский так радовался посещениям Огарева и так сожалел об его отъезде из Женевы.

III.

Другое возражение В. П. Полонского сводится к вопросу: почему Достоевский не называет в своих письмах Огарева, если он встречался с ним? Мне уже дважды (во время наших устных прений) пришлось отвечать на этот вопрос: Достоевский прекрасно знал, что за ним зорко следит III Отделение и вся его переписка тщательно прочитывается петербургскими жандармами.

Но как же Достоевский в таком случае не боялся встречаться с Огаревым, спрашивает В. П. Полонский? Одно дело было принимать у себя эмигранта (что, впрочем, оказалось гораздо опаснее, чем это предполагал Достоевский), другое дело—писать об этом в царскую Россию, зная наверняка, что эти сообщения подвергнутся перлюстрации в III Отделении. Иллюзорная безопасность встречи и беседы с «политическим» за тысячу верст от русской границы совершенно отпадает при отправке письма, которое до адресата будет наверняка тщательно прочитано в верховном управлении политического сыска. Нужно было быть безумцем, чтоб в своих заграничных письмах рассказывать о своих добрых отношениях с тем, кого Вяч. Полонский называет «одним *из женевских вождей*, другом Бакунина, другом Герцена, заставившем его передать Нечаеву остатки бахметьевского фонда». Настолько у Достоевского хватало элементарной осторожности, чтоб не строчить на самого себя доносы в III Отделение. Тем более, что он получал подчас и весьма точные указания на серьезность своего положения.

Посылая Майкову письмо не по почте, а с представившейся случайно верной оказией, Достоевский изливает ему накипевшее раздражение: «Я слышал, что за мной приказано следить. Петербургская полиция вскрывает и читает *все* мои письма, а так как женевский (неразобр. слово) по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам) служит в тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем мною получаемых задерживались. Наконец, я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают (чорт знает в чем), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать... Но каково же вынесть (это) человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя,—каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с «Колоколом»!.. Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас из виновных, а Достоевского подозревают». Думаем, что эта цитата—лучший и вполне исчерпывающий ответ на все полемические вопросы В. П. Полонского, почему в многословных (?) письмах Достоевского нет «ни звука о Баку-

нине, ни полслова об Огареве»... Слишком дорого могли обойтись Достоевскому подобные звуки и полуслова.

Приведем один довольно показательный пример. Достоевский не только в письмах своих тщательно избегал называть эти одиозные фамилии, но даже в статьях, где это подчас было совершенно необходимо. Так, в приведенном выше отрывке из статьи Достоевского об Академической выставке, называя полностью поэму Огарева, выписывая со всей точностью ее заглавие и сообщая свой отзыв о ней, он не называет все же имени ее автора, создавая явное впечатление недоговоренности и вызывая полное недоумение читателя. Мог ли он поступить иначе в документе, непосредственно поступающем на прочтение в III Отделение собственной его величества канцелярии? [1]).

IV.

Но все это не убеждает В. П. Полонского: мои указания на перлюстрацию и поднадзорность, как на причины отсутствия в письмах Достоевского имен Бакунина и Огарева, по мнению моего оппонента, прежде всего «опасны для меня самого». «Ведь трудно предположить, чтобы «поднадзорный» Достоевский в Женеве, где кишмя-кишели русские шпионы, дружил бы с тем самым Огаревым, самое имя которого, даже начальную его букву, со страхом изгонял со страниц своей переписки».

Трудно ли, легко ли предположить этот факт, мы видели, что, согласно критически проверенному сообщению А. Г. Достоевской, он не подвержен ни малейшему сомнению. «Поднадзорный Достоевский» встречался с Огаревым в той самой Женеве, «где кишмя-кишели русские шпионы»—это не подлежит никакому спору.

Но мы совершенно согласны с В. П. Полонским, что со стороны Достоевского это было явной неосторожностью, способной вызвать в нас впечатление нелогического и непоследовательного поступка. В биографии Достоевского это далеко не единственный случай полного нарушения нашей безошибочной «эвклидовской» логики. В данном случае за это отклонение от ее законов Достоевский, как это вполне логично предположил мой оппонент, поплатился весьма неприятными последствиями. Русские шпионы, которыми кишела Женева, оказывается постояли за себя и вполне оправдали ожидания В. П. Полонского.

Встречи Достоевского с Огаревым происходили в течение трех месяцев—в сентябре, октябре и ноябре 1867 г. Достоевские приехали в Женеву 13—25 августа 1867 г., и в самом начале своего пребывания там, еще до Женевского Конгресса, открытого 27 августа (9 сентября) («в начале их

---

[1]) Для Достоевского вообще характерна такая осторожность при упоминании запретных имен революционеров. В заграничной «Записной книжке» он не выписывает полностью имени Каракозова.—«Донесли ли бы вы за ¼ часа на К-зова?» «Записная книжка» к «Бесам» (Историч. музей) МДЗ ⁴/₆, стр. 60—62.

пребывания в Швейцарии» отмечает и Л. Ф. Достоевская), возобновили старинное знакомство с Огаревым, с которым Федор Михайлович познакомился у Герцена, вероятно, в 1863 г.». «К нашему большому сожалению, — рассказывает Анна Григорьевна, — *месяца через три* посещения этого доброго и хорошего человека прекратились» (Огарев заболел и уехал из Женевы). Таким образом, время этого знакомства определяется сроком с конца августа по конец ноября 1867 г. (старого стиля).

Как раз в этот интересующий нас момент о Достоевском неожиданно и весьма нервно вспоминает в Петербурге III Отделение. 28 ноября 1867 г. оно рассылает всем пограничным властям секретный циркуляр о производстве «самого тщательного осмотра» вещей Достоевского (в случае его переезда границы) и немедленного препровождения его арестованным в III Отделение в случае нахождения у него чего-либо предосудительного. Таким образом, в ноябре 1867 г. III Отделение получило о Достоевском какие-то сведения из Женевы, сильно встревожившие его. Достоевский уехал за границу еще 4 апреля 1867 г. и ничто не предвещало властям его длительного пребывания там; однако, ни весной этого года ни летом, когда Достоевские живут в Дрездене и Бадене, никаких тревожных циркуляров о нем русские пограничные власти не получают. Но вот Достоевский в Женеве, принимает у себя Огарева, получает от него книги и газеты (о подпольном характере этой литературы не приходится сомневаться при повышенном интересе Достоевского к заграничной революционной печати), и из этого центра революционной эмиграции, которая «кишмя-кишит шпионами», соответственная информация поступает в III Отделение и внезапно вызывает, после 8 месяцев невозмутимого спокойствия, тревожный и столь грозный циркуляр. По этому именно поводу Достоевский пишет Майкову, что эти меры вызваны также подозрениями в *сношениях с «Колоколом»*. Не ясно ли, что в сношении с «Колоколом» Достоевского можно было в то время обвинить только на основании его встреч, с главным столпом «Колокола»—Огаревым?

Таким образом, наши указания на Огарева, как на источник бакунинской информации Достоевского, вполне подтверждаются всеми документами по вопросу об их женевском знакомстве.

Указание В. П. Полонского, что ряд бакунинских писем был получен Огаревым после того, как Достоевский уехал из Женевы, совершенно правильно, Огарев мог непосредственно сообщать Достоевскому лишь письма Бакунина до 1868 г. Таким образом, при настоящем состоянии источников обосновать документально поразительные совпадения бакунинских писем 1868—1869 г.г. с подготовительными записями Достоевского к «Бесам» нет возможности. Мы пока и не будем настаивать на этом пункте, считая, что в данное время он не разрешим, что, впрочем, еще не значит, что он уже разрешен в отрицательном смысле.

Во всяком случае непосредственная роль Огарева в изучении Достоевским Бакунина остается, как мы показали выше, в полной силе, и сделанная поправка нисколько не колеблет нашего утверждения о широ-

ком и многостороннем знакомстве Достоевского с личностью поразившего его современника.

Не будем забывать указания Достоевского в «Бесах»: «Ник. Всев-ча я изучал все последнее время, и *по особым обстоятельствам* знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов».

VI. Процесс нечаевцев.

I.

В ряду важных источников Достоевского по Бакунину мною отмечен отчет по делу нечаевцев, напечатанный в русских газетах летом 1871 г.: «Ряд чрезвычайно существенных сведений (Бакунин), автор «Бесов» почерпнул из отчета о процессе нечаевских сообщников, за которым он следил с жадностью художника, напавшего на благодарнейшую творческую руду».

Это указание решительно оспаривается В. П. Полонским. По его мнению, из процесса нечаевцев почти ничего нельзя было узнать о Бакунине вообще и об его отношениях к Нечаеву в особенности.

> Но «если бы даже,—продолжает мой оппонент,—в процессе и заключался богатый материал для характеристики взаимоотношений Бакунина и Нечаева, указать своего влияния на характеристику отношений Ставрогина и Петра Верховенского он не мог—по той простой причине, что не только значительная часть романа успела быть написана до начала процесса нечаевцев, но даже была напечатана. В этом можно без труда убедиться, взяв книжки «Русского Вестника» за 1871 г.
>
> «В первых книгах (январь—июль 1871 года) было напечатано около половины романа (255 страниц из 603), т.-е. до опубликования отчета о процессе нечаевцев оказались *опубликованными все те главы, в которых были окончательно обрисованы взаимоотношения Верховенского и Ставрогина*.
>
> «Отчет о процессе нечаевцев начал печататься в «Правительственном Вестнике» с 1 июля 1871 г., т.-е. после того, как добрая половина романа была опубликована. Печатанье отчетов растянулось на 2 месяца с №№ 155 до № 276, так что можно предположить, что и третья глава второй части, напечатанная в сентябрьской книге, была написана до окончания отчетов процесса.
>
> «Утверждение Л. П. Гроссмана было бы правильным лишь в том случае, если предположить, что Достоевскому могли быть известны отчеты процесса месяцев за шесть до начала его разбирательства. Но на такое допущение наш автор, мы полагаем, не пойдет. Таким образом, *совершенно отпадает источник*, на который с таким упованием рассчитывает Л. П. Гроссман. Других источников у Достоевского, как увидим ниже, не было. Вся же история отношений Бакунина и Нечаева сделалась доступной широким слоям общества лишь из работы Драгоманова, т.-е. много лет спустя после смерти Достоевского».

Дорожа этим тезисом, В. П. Полонский снова повторяет его в своих «Итогах»: «С отчетами о нечаевском процессе Достоевский познакомился *после того, как добрая половина романа была напечатана*».

Ответим на столь категорический приговор. Итак, «добрая половина романа (по подсчету моего оппонента 255 страниц из 603) была опубликована» до первых отчетов процесса нечаевцев. Мы прежде всего по-

лагаем, что если одна половина целого выражается цифрой 255, а другая—358, то первую никак нельзя назвать «доброй»; напротив, она весьма худосочна и сильно смахивает на треть (200 : 600). Оставим поэтому подсчет страниц, который оказывается таким ненадежным показателем, и обратим внимание на действительно важный принцип при сечении романа—его композиционные разделы.

Но прежде всего установим один важный хронологический факт. Как правильно указал В. П. Полонскому Б. П. Козьмин, говорить о двух месяцах печатания отчетов (июль—август) в данном случае не приходится, ибо Достоевского интересовала для «Бесов» лишь первая группа подсудимых (обвиняемых по убийству вместе с Нечаевым студента Иванова). Дело этой группы слушалось с 1 по 15 июля 1871 г. и отчеты в «Правительственном Вестнике» об этом деле печатались со 2 по 16 июля (№№ 156—168). К этому моменту, т.-е. к *первой половине июля*, и необходимо приурочивать все хронологические вычисления по связи «Бесов» с процессом нечаевцев. Слушание прочих дел, на которые раскололся этот крупный политический процесс (преступления против законов о печати, подготовительные действия к заговору и проч.), никакого отношения к роману Достоевского не имело. Интересующий его отчет закончился печатанием 16 июля, и момент окончания печатания всех прочих отчетов для нас безразличен.

Перейдем к вопросу о разделах романа. Запомним, что из трех частей романа только первая часть и две главы второй появились в печати до начала процесса. Почти вся вторая часть (десять глав из двенадцати) и вся третья часть появились значительно позже, при чем последняя часть романа, где образ Ставрогина получает наибольшее разъяснение, была *написана* через пятнадцать месяцев после начала процесса нечаевцев: интересовавшие Достоевского отчеты о 1 группе подсудимых были напечатаны в «Правительственном Вестнике» в начале июня 1871 г., на рукописи же третьей части «Бесов» стоит дата: *октябрь 1872* г. [1]). Целая треть романа (вся последняя часть) была напечатана в «Русском Вестнике» 1872 г., ноябрь—декабрь, т.-е. *через полтора года после процесса нечаевцев*. Кажется, с лета 1871 г. прошло достаточно времени, и романист мог обстоятельно ознакомиться с материалами процесса.

Но В. П. Полонский решительно отводит все мои ссылки на процесс нечаевцев. Он утверждает, что мое заявление (об этом процессе, как об одном из главных источников бакунинской информации Достоевского) «было бы правильно лишь в том случае, если предположить, что Достоевскому были известны отчеты процесса месяцев за шесть до начала его разбирательства»; а так как этого невозможно допустить, то «совершенно отпадает» указанный мною источник. В придачу, доверяясь, видимо, П. Е. Щеголеву, В. П. Полонский объявляет без всяких доказательств, что мне-

[1]) Глава «Многотрудная ночь» (печатного текста) помечена в рукописи 20 октября 1872 г. См. рукопись романа «Бесы» Ф. М. Достоевского. Всеросс. Историч. Музей, МДЗ$^{4}/_{1}$, стр. 533 (пагинация карандашом).

ние о Нечаеве, как прототипе П. Верховенского, «*неверно*» [1]). Таким образом, связи романа с первым русским политическим процессом подрываются со всех сторон.

Для разрешения этого спора не худо обратиться к забытым отзывам нашей старой критики.

Для современников Достоевского было совершенно очевидно то, что представляется невозможным В. П. Полонскому. Поучимся же у них толкованию знаменитого романа.

Задолго до окончания романа, после появления в печати только «доброй половины» его в «С.-Петербургских Ведомостях», 1871 г., № 250, появилась статья, в которой критик за подписью Z признает за романом «Бесы» реальную основу в смысле связи между изображаемым в романе «тайным обществом» и действительным фактом русской жизни—«нечаевским процессом».—«Надо заметить,—говорит критик,—что г. Достоевский, сочиняя это общество, воспользовался кой-какими внешними фактами нечаевского общества: у него главный руководитель сбирается принесть в жертву одного оставшегося члена на манер того, как был убит Иванов. Некоторые члены общества тяготятся своей ролью, сознавая бесплодность и дикость его целей; наконец, общество имеет связи с Internationale и якшается с мошенниками в роде того «лихого разбойничьего люда», о котором упоминается в нечаевских прокламациях. Встречаются также указания и на некоторые детали, очевидно, взятые из действительности» [2]).

Мнение это единодушно высказывается всеми современными журналистами под свежим впечатлением поразившего всех процесса нечаевцев.

«Роман Достоевского,—пишет критик «Голоса» [3]),—взят целиком из стенографических отчетов готовых героев и готовых речей нечаевского процесса». Критик «Русского Мира» указывает: «*Говоря о первых частях «Бесов»*, мы уже *указывали на то, что многие подробности этого романа напоминают... оригинал, послуживший автору темой для романа—известное нечаевское дело.* В последних главах автор уже совсем приблизился к своему оригиналу, и убийство Шатова обставлено подробностями до такой степени верными обвинительному акту, что... и т. д.» [4]).

В своих известных статьях о «Бесах» Н. К. Михайловский категорически заявляет, что Достоевский избрал для своего романа известное «нечаевское дело».

Наконец, весьма важно свидетельство Н. П. Ткачева, одного из подсудимых по делу нечаевцев и, стало-быть, весьма компетентного в су-

---

[1]) П. Е. Щеголев предложил считать прототипом П. Верховенского не Нечаева, а Ишутина («Каракозов в Алексеевском равелине». Музей Революции. Сб. I, П. 1923). Против этого решительно возражал Б. Козьмин («Печать и Революция»). Во всяком случае этот отвод П. Верховенского от Нечаева требует еще доказательств.

[2]) «С.-Петербургск. Ведомости», 1871, № 250.

[3]) «Голос», 1873, № 18, статья *А. Г. Ковнера*. Литературные общественные курьезы.

[4]) «Русск. Мир», 1873, № 5.—*А. О. (В. Г. Авсеенко)*. Очерки текущей литературы.

ждениях о нем. «В «Бесах»,—говорит критик «Дела»,—окончательно обнаруживается творческое банкротство автора «Бедных людей»: он начинает переписывать судебную хронику, путая и перевирая факты». В дальнейшем Ткачов по поводу романа Достоевского произносит свое суждение о нечаевцах и их деле [1]).

Это мнение современников было санкционировано позднейшими исследователями. Критика утверждала, «что в сущности это какая-то реляция о нечаевской истории в форме романа», пишет Орест Миллер. «Достоевского обвиняли в том, что фабулу своего романа он всецело извлек из нечаевского процесса, притом намеренно изуродовав его главных «участников», замечает К. Головин.

«Некоторые слова Петра Степановича являются прямым отголоском нечаевских слов (из его прокламаций «Народная расправа»),—свидетельствует А. Л. Волынский.—Все эти мысли Нечаева, весь революционный бред этой загадочной натуры,—все это перелилось в роман и заговорило в нем языком Достоевского».

По свидетельству Ан. Гр. Достоевской, Федор Михайлович, со слов ее брата, слушателя Петровской академии, приехавшего к ним за границу, решил «в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение, и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым». Еще определеннее свидетельство дочери писателя: «Нечаевский процесс произвел сильное впечатление на воображение Достоевского и послужил сюжетом для его знаменитого романа «Бесы». Его читатели тотчас узнали нечаевское дело, хотя мой отец перенес роман в другую обстановку» [2]).

И, наконец—ultimo ratto—заявление самого Достоевского: «Некоторые из наших критиков заметили, *что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела;* но тут же заявили, что, собственно, портретов у меня нет (указание на типизацию действительности в романе); *все это, скажу от себя, совершенно справедливо*». Таким образом, пользование Достоевским материалами нечаевского процесса для «Бесов» засвидетельствовано самим автором [3]).

Против В. П. Полонского в данном случае красноречиво свидетельствует единодушное мнение русской критики в ее самых разнообразных ответвлениях, несокрушимая в силу своей подлинности традиция, подкрепленная полным признанием ее правильности самим Достоевским.

---

[1]) «Дело», 1873, III, IV.—См. *Б. Козьмин.* «Н. П. Ткачов и революционное движение 1860 годов». М. 1922, гл. VIII.

[2]) «Der Netschaewprozess als Vorbild von «Die Dämonen».—Dostojewski, geschildert von seiner Tochter. S. 179.

[3]) Соч., IX, 331.

II.

Продолжая спор по этому вопросу, В. П. Полонский решается утверждать, что до процесса нечаевцев были опубликованы «все те главы», «в которых были окончательно обрисованы взаимоотношения Верховенского и Ставрогина». Это утверждение поистине поражает своим кричащим несоответствием с фактами. Взаимоотношения Верховенского и Ставрогина не только не обрисованы окончательно в первой части романа, но почти совершенно не затронуты в ней. Верховенский появляется лишь к самому концу первой части, в V главке последней пятой главы 1 части. Разыгрываются знаменитые эпизоды скандального утра: сцена Ставрогина с хромоножкой, разоблачение Степана Трофимовича, пощечина Шатова, обморок Лизаветы Николаевны. Во всей сцене нет ни одного хотя бы самого крохотного диалога между Верховенским и Ставрогиным, имеется лишь глухое указание на то, что Петр Степанович о чем-то быстро зашептал Ставрогину, который лениво и нетерпеливо слушал его. До процесса нечаевцев были напечатаны еще две главы 2-й части. Можно ли их считать «окончательной» обрисовкой взаимоотношений Верховенского и Ставрогина? Если в конце первой части отношения двух вождей революционного подполья даны, как непонятная и неразрешимая загадка, их первая беседа, в продолжение которой Ставрогин почти все время молчит или же отделывается незначащими репликами, едва только начинает намечать характер их близости. Сложные, необычные, исключительно напряженные отношения этих героев, отмеченные характерным презрением крупной личности к своему «двойнику», «самозванцу», «обезьяне» (отношения, напоминающие, как указывалось критикой, трагическую связь Ивана Карамазова со Смердяковым), разумеется, не могут быть «окончательно обрисованы» в самом начале их истории. Они, действительно, отчетливо очерчиваются лишь в VI главе второй части, напечатанной в *октябрьской* книжке «Русского Вестника» за 1871 г., и окончательно обрисовываются лишь в знаменитой VIII главе второй части «Иван-Царевич», появившейся *в ноябрьской* книжке «Русского Вестника» за 1871 г., т.-е. значительно позже интересующего нас процесса (начало июля). Утверждение В. П. Полонского, что «до опубликования отчета о процессе нечаевцев оказались *опубликованными все те главы, в которых были окончательно обрисованы* взаимоотношения *Верховенского и Ставрогина*» [1]), совершенно голословно и неверно. Так же ошибочно утверждение, что материал процесса нечаевцев *не мог* оказать своего влияния на характеристику отношений его центральных фигур. Процесс нечаевцев, оказавший решительное влияние на развитие действия и образов романа (в его 2-й и 3-й частях), явственно сказался и на характеристике этих отношений.

---

[1]) Сохраняем курсив подлинника.

Отметим, что первая часть романа, появившаяся лишь с двумя главами второй части до процесса нечаевцев, является вообще только введением к роману, т.-е. к его главной теме—русской революции—и его центральным характерам—Ставрогину, П. Верховенскому, Шатову, Кириллову. Все это дается только во 2-й и 3-й частях, а в первой еле намечается. Сам Достоевский в начале романа заявляет, что история Степана Трофимовича, захватившая целиком 1 часть, «послужит лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди». В подготовительных записях имеется такая помета: «Роман имеет вид поэмы о том, как хотел жениться и не женился Гр[ановски]й». На это, как известно, и ушла первая часть романа, попутно наметившая образы главных персонажей и их дальнейшее взаимодействие. Кроме образа Степана Трофимовича, получающего, впрочем, тоже в конце романа новое прекрасное озарение, в первой части «Бесов» ничто не обрисовано окончательно. Здесь только брошены намеки, кинуты гениальные черты, поставлены великие загадки, первые интригующие и еще непонятные штрихи сложных и мощных характеров, чье развитие в будущем. Достоевский, как это видно из записных книжек к «Бесам», ставил себе заданием с начала рассказа заинтриговать читателя образами своих революционеров, внести загадочность в развитие их фигур, долгое время даже держать их на втором плане: «Не делать как другие романисты, т.-е. с самого начала затрубить о нем, что вот это человек необычайный. Напротив, скрывать его и открывать лишь постепенно сильными художественными чертами». Это новаторское задание, мы знаем, превосходно выполнено романистом. Первая часть «Бесов»—только введение к роману. Сам роман в смысле выявления его основного замысла, выступления на первый план его центральных фигур, развития главного действия и окончательной обрисовки характеров дан во 2 части (появившейся почти целиком—10 глав из 12—после суда над нечаевцами) и в 3 части, опубликованной через полтора года после знаменитого процесса.

III.

Но В. П. Полонский упорно настаивает на нашей ошибке в этом вопросе.

«*Никаких сложных взаимоотношений двух знаменитых деятелей на процессе нечаевцев оглашено не было* просто потому, что никто из обвиняемых (Нечаев ведь судим был в 1873 году) не был в курсе этих отношений. Были оглашены лишь бумага, выданная Нечаеву за подписью Михаила Бакунина, и «Катехизис революционера», *при чем авторство этого катехизиса и причастие Бакунина к его составлению осталось для суда нераскрытым.* Это одно обстоятельство уничтожает какую бы то ни было возможность для Достоевского детально ознакомиться по отчетам со сложными взаимоотношениями двух знаменитых деятелей».

Итак:

1) никаких сведений об отношениях Бакунина и Нечаева на процессе оглашено не было;

2) авторство Бакунина в «Катехизисе революционера» и даже участие его в составлении этого документа остались для суда нераскрытыми;

3) Достоевский никак не мог узнать из отчетов процесса об отношениях Бакунина и Нечаева.

Таковы тезисы моего оппонента. Но, к счастью для нас, от нечаевского процесса, как и от Женевского Конгресса, сохранились стенограммы.

Обратимся же к этим бесстрастным и достоверным свидетелям. Уже обвинительный акт устанавливает, что Бакунин сделал Нечаева членом своего международного альянса и назначил его организатором русского отдела; Нечаев передал на хранение Успенскому документ, в котором значилось, что предъявитель его есть доверенное лицо революционного Комитета в Женеве и стояла подпись «*Михаил Бакунин*» [1]).

Показания обвиняемых с различных сторон освещали и устанавливали несомненную связь Нечаева с Бакуниным.

Подсудимый Успенский объяснил, что бланк, оставленный ему Нечаевым для ревизора революционного союза, и был «вышеупомянутый бланк с французской надписью, писанный рукою Бакунина» [2]).

Подсудимая Томилова показала, что в письме, посланном ей из-за границы, Нечаев писал ей: «Скажите дяде Владиславу (Владимиру Орлову), что настоящее вино без подмесей здесь только у Б. (надо думать Бакунина) и можно достать; он сейчас велит бочки готовить, как только сделку большую с Зубатовым (Зубковым) сделает...» [3]).

По показанию подсудимого Кузнецова, Нечаев дал ему «прочесть прокламацию Бакунина и Нечаева, а при дальнейшем разговоре и *устав международного общества*. На этом уставе была приписка Бакунина такого содержания: «Если вы сочувствуете этой программе, то дайте знать через кого следует».—На конспиративном собрании Кузнецов читает с товарищами прокламации, переданные ему Нечаевым, и в первую очередь—прокламацию Бакунина, затем «народной расправы» и устав международного общества [4]).

Бакунинским вопросом на процессе особенно интересовалась защита. Адвокатам первой группы подсудимых было весьма важно доказать, что никакого русского заговора не было и что не только нечаевцы, но даже сам Нечаев был руководим вождями заграничного подполья. Дело вовсе не в Успенском, Кузнецове и Прыжове—подразумевалось в речах защиты—а в грозном вожде европейской революции Бакунине, который

---

[1]) «Правительственный Вестник», 1871, № 156, стр. 2, столбец 6.

[2]) Там же, стр. 3, столб. 3.

[3]) Там же, стр. 4, столб. 1.

[4]) Там же, стр. 5, сталб. 5.

из Женевы разжигал доверчивую русскую молодежь своими прокламациями, воззваниями и катехизисами. Отсюда в вопросах и речах защиты — явственное стремление выдвинуть на первый план Бакунина. Так, во время допроса обвиняемых произошел следующий диалог:

Защитник Спасович. Позвольте спросить объяснения по поводу одного обстоятельства: не известно ли Успенскому из рассказов умершего Негрескула о сношениях Нечаева с Бакуниным в Женеве?

Успенский. Я желал бы, чтобы вопрос был поставлен несколько точнее. Угодно ли вам получить только сведения, сообщенные Негрескулом, или вообще сведения об отношениях Нечаева с заграничными эмигрантами?

Спасович. Я желал бы иметь сведения вообще

Успенский. Я могу указать на два факта. Мне известен переданный самим Нечаевым отзыв о нем Бакунина. «Вот какие у нас люди есть», сказал Бакунин, хлопая Нечаева по плечу. Этот отзыв был рекомендациею Нечаеву в моих глазах, когда я узнал его в сентябре месяце; но Негрескул его видел у меня в августе месяце, так что отзыв о Нечаеве предшествовал самому Нечаеву. Второй факт тот, что Нечаев рассказывал о существовании у Герцена книги с автографами разных лиц, посещавших Герцена. Книгу эту, по уверению Нечаева, рассматривал он с Бакуниным, при чем Герцен показывал ее, как доказательство того множества лиц в России, которые ему сочувствуют, и Нечаев, с своей стороны, представлял мне это как доказательство широкого развития дела.

Спасович. Я просил бы предложить тот же вопрос другим подсудимым — Прыжову и Николаеву, т.-е. вопрос о том, что им рассказывали о сношениях Нечаева.

Председатель. Подсудимый Прыжов! Не угодно ли вам объяснить, в каких отношениях находился Нечаев с женевскими эмигрантами?

Прыжов. Я считаю долгом отвечать на этот вопрос с полною откровенностью. Известные мне факты—такого рода, что из них прямо видно, что многие так называемые соумышленники Нечаева были простейшими жертвами обмана (Нечаев убедил Прыжова ехать за границу). Цель поездки была следующая. Я должен был поехать в Женеву к Бакунину, отвезти ему конверт, получить от Бакунина прокламации, привезти их в Россию... Поездка моя за границу была явным обманом,—не ради обмана только, но вообще ради системы, положенной во всех действиях Нечаева; эта поездка была обманом для русского общества и, сколько я думаю, также и для заграничного. Поручая явиться к Бакунину, я не должен ни слова говорить о России, о том, что здесь делается, о действиях правительства, об общественном мнении, о том, есть ли агитация, и т. д. Он говорил мне: «Вы должны отвечать, что не знаете никаких подробностей, что вам неизвестен Нечаев». Так как он тогда назывался Павловым... Но затем оказалось, что поездка, сопряженная с таким для меня трудом, была больше не нужна... Потом я хотел сам ехать за границу и лично представить отчет Бакунину (но и эта поездка не состоялась).

. . . . . .

Председатель. Николаев, не угодно ли вам удовлетворить желанию защиты и объяснить, в каких отношениях Нечаев находился к женевским эмигрантам?

Николаев. Сколько я могу припомнить, Нечаев говорил, что когда он познакомился с Бакуниным и с Искандером-Герценом, то он с Бакуниным сошелся очень скоро, а с Искандером, или Герценом, долго не соглашался с его взглядами. Потом он говорил, что успел его убедить и что он был вполне ему предан. Больше он ничего не говорил.

(«П. В.», № 160, стр. 2, столб. 1—3).

Эта тенденция защиты доказать, что невидимая душа процесса—Бакунин еще решительнее сказалась в речах адвокатов. Так, Урусов заявил:

«Из дела видно несомненно, что план политической организации тайного общества вывезен Нечаевым из-за границы, а вовсе не созрел здесь, в России... Вся внешняя формальная, можно сказать, бюрократическая сторона заговора не могла быть создана одним Нечаевым; это есть известная революционная рутина, которая выработана в течение продолжительной революционной практики. Это есть уже готовая форма, о которой можно не думать, а получить в совершенно окончательном, выработанном виде. Заручившись этими правилами, этим катехизисом, который может быть только *плодом чрезвычайного и продолжительного озлобления, достигающего своего крайнего развития уже в старческом возрасте*, запасшись этими сведениями, Нечаев приезжает в Россию в сентябре 1869 г.». («П. В.» 165, стр. 3, столб. 3).

В связи с вопросами защиты о Бакунине намек этот получает совершенно определенное значение.

Еще категоричнее оказался другой защитник, Спасович. Умнейший и культурнейший юрист высказал совершенно верную мысль—о решительном влиянии Бакунина на Нечаева, об идейном подчинении последнего личности знаменитого эмигранта. Спасович совершенно открыто приступил к этому трудному «Бакунинскому вопросу» процесса, особенно деликатного в виду отсутствия самого Бакунина на суде: «Собственно, следовало бы и не говорить об эмигрантах, так как их здесь нет, они не могут отвечать и защищаться, но я не могу обойти молчанием этого предмета»... И Спасович решительно приступает к этой теме:

«Мне кажется, что на исключительно русской почве дело это не могло бы сложиться, что для него необходим был привходящий элемент, что много заимствовано Нечаевым самого существенного, того, что помогло ему действовать на русскую молодежь, что он позаимствовал от эмиграции известный образ действий, известные идеи, известную даже организацию».

Спасович тут же дает персональное разъяснение своей мысли и называет Бакунина: в Женеве Нечаев познакомился с Бакуниным и, вернувшись в Россию, очень много рассказывал своим сообщникам о своих связях с Бакуниным, Огаревым, Герценом.

«Но если Нечаев действительно много сочинял,—продолжает Спасович,—то нет никакого сомнения, однако, что он находится в тесной связи с некоторыми выходцами, например, с Бакуниным. На суде была прочитана записка, писанная рукою Бакунина, с № 2, 771, в которой рекомендуется агент, долженствующий изображать собою этот нумер русской революции первым. Есть сведения, что в Москве по рукам ходит устав интернационального общества с собственноручною припискою Бакунина, извлеченною из одной его прокламации. К Бакунину должен был посылаться, по словам Успенского, подсудимый Прыжов для передачи отчета. Всего важнее, наконец, рассказ Успенского (о приезде в Россию летом 1869 г. некоего Негрескула). Этот человек, нимало не сочувствовавший Нечаеву и ненавидевший его, рассказывал, что быв в Женеве, видел Бакунина и Нечаева вместе, и что Бакунин, трепля Нечаева по плечу, говорил: «вот какие у нас в России люди есть». Эти данные не оставляют сомнения, что с некоторыми из эмигрантов Нечаев имел сношения».

Стенограммы процесса дают, таким образом, полную возможность судить, насколько верно категорическое заявление В. П. Полонского: «Никаких сложных взаимоотношений двух знаменитых деятелей (т.-е. Бакунина и Нечаева) *на процессе нечаевцев оглашено не было...*»

IV.

Но приведенные места из речи Спасовича далеко не исчерпывают материалов процесса по этому вопросу. Сущность их раскрывается еще полнее на анализе Спасовичем знаменитого «Устава» или «Катехизиса революционера». Роль этого документа на процессе отчетливо обнаруживает, насколько материалы процесса отразились в «Бесах», определяя прежде всего характер отношений Ставрогина и Верховенского и роняя попутно лишнее указание на подлинный прототип главного героя «Бесов».

Знаменитый «Устав» или «Катехизис», напечатанный полностью в «Правительственном Вестнике», предполагает ряд особых функций и обязанностей отдельных членов. Таковы: организатор кружка, уполномоченный от сети, член комитета, член отделения, «лицо, заведывающее письмоводством, составлением отчетов, приемкой и отправлением членов комитета, хранящее вещи, бумаги и адреса», члены, ведущие подготовительную работу, их помощники, ревизоры подчиненных кружков и т. д.

Этот пункт революционного устава («общие правила сети для отделений») находит явственное отражение в заявлении Петра Верховенского Ставрогину: «Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности; у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи—очень нравится и отлично принялось».

Особое развитие в разговоре Ставрогина с Верховенским получают два указания процесса: во-первых, пункт 10 «правил сети» (о ревизорах), в котором говорится, что «Отделение посылает членов для ревизии подчиненных кружков и отправляет в свежие места для заложения новых организаций». И затем указание обвинительного акта на высших членов организации, пребывающих за границей и ведающих важнейшими задачами («всемирный революционный комитет в Женеве», посланным от которого называет себя Нечаев). В романе читаем:

«— Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с «Internationale», ревизором?—спросил вдруг Ставрогин».

— Нет не ревизором; ревизором будете не вы; но вы — член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны,—вот ваша роль».

Сложная система «Устава», предполагающая центральный комитет и подчиненную ему сеть главных кружков, ответвившихся от них кружков второй степени, отделений из уполномоченных, членов кружков самостоятельных групп, на которые распадаются отделения и т. д.,—вся эта

усложненная схематизация также отчетливо отражается в заявлении Верховенского: «Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и «бесчисленными разветвлениями». Вы сами раз этим меня корили, а какое тут надувание: центральный комитет—я да вы, а разветвлений будет сколько угодно».

Для устранения возможных споров (увы! они возможны по самым бесспорным основаниям) считаем нужным напомнить:

1) Революционный катехизис (правила организации, обязанности революционера и проч.) был напечатан полностью в «Правительственном Вестнике» в первых числах июля 1871 г.

2) Глава «Бесов» с приведенным разговором Верховенского и Ставрогина о центральном комитете, бесчисленных ответвлениях, революционных чинах и должностях и проч. («Петр Степанович в хлопотах», гл. 6-я 2-й ч.») была напечатана в «Русском Вестнике» в *октябре* 1871 г.

Мы находим в этой главе и ряд других важных указаний на связь романа с процессом и особенно на явную связь Ставрогина с Бакуниным. В том же разговоре двух главных героев по пути «к нашим» имеется исключительно важное для нас по своей прозрачности указание на непосредственную связь образа Ставрогина с Бакуниным.

Знаменитый «Катехизис революционера», или, как он назывался иногда в процессе, «Устав международного общества», как теперь бесспорно установлено, принадлежал перу Бакунина [1]). Это нетрудно было обнаружить при первом же чтении этого документа, чрезвычайно характерного со стороны как стилистической, так и идеологической. Достаточно нескольких строк этого неподражаемо-выразительного стиля, чтоб определить его автора: «Наше дело—страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России» (25). Можно ли было сомневаться в личности автора этого документа, вывезенного Нечаевым из-за границы, в придачу еще с собственноручной припиской Бакунина: «Если вы сочувствуете этой программе, то дайте знать через кого следует».

Никто на процессе и не сомневался в авторстве Бакунина. Спасович, не желавший высказываться категорически об отсутствующих эмигрантах, совершенно определенно высказал свое мнение особой риторической фигурой: «Я не смею приписывать его Бакунину». Но из всего контекста мысль защитника выступала с полной ясностью. Спасович признает катехизис «самым характерным из всех имеющихся в деле документов». Является ли его автором Нечаев? Спасович признает полную солидарность Нечаева с принципами «Катехизиса» и решительно отвергает его авторство. Нечаев мог осуществлять на деле теории «Катехизиса», «многое оттуда по-

---

[1]) Б. Козьмин указывает, что «ближайший сотрудник Бакунина, М. П. Сажин, лично знавший Нечаева и видевший рукопись катехизиса, удостоверил, что автором этого документа был Бакунин» («Н. П. Ткачов», 193). Того же мнения придерживается В. П. Полонский («Бакунин», 380).

заимствовал», подчинялся ему в своей практике, охотно его цитировал. Но между автором катехизиса и Нечаевым есть и громадная разница, а именно, такая, какая существует между революционером дела и революционером мысли. Нечаев был прежде всего революционером дела... Между тем в авторе катехизиса мы видим теоретика, который на досуге, вдали от дела, сочиняет революции, графит бумагу, разделяет людей на разряды по этим графам, одних сбрекает на смерть, других полагает ограбить, третьих запугать и т. д. Это чистейшая отвлеченная теория... «Таким образом,— заключает Спасович,— я полагаю, что катехизис есть эмиграционное произведение, произведшее на Нечаева известное впечатление и принятое им во многих частях в руководство. Я не смею приписывать его Бакунину, но во всяком случае происхождение его эмиграционное».

Можно ли при наличности таких документов утверждать, как это делает В. П. Полонский, будто «авторство катехизиса и *причастие Бакунина к его составлению* осталось для суда нераскрытым»?

Опытные современники смотрели на дело иначе. Доклад Утина, написанный в 1871—72 году, так формулировал итоги процесса:

«Согласно всем показаниям и бесспорным доказательствам, приведенным адвокатами, этот катехизис был написан Бакуниным, который нигде не посмел отрицать своего авторства». Тот же доклад, на основании отчетов о нечаевском процессе в «СПБ. Ведомостях», обстоятельно доказывает, что судебное разбирательство многократно и полно обнаружило теснейшую связь Нечаева с Бакуниным, доказало тождество нечаевского «революционного комитета» с бакунинским «альянсом» и с несомненностью раскрыло в Нечаеве «агента Бакунина» (76—78). Мы видели, что все эти заявления совершенно соответствуют сущности дела.

Таково, конечно, было и впечатление Достоевского. В знаменитой 6-й главе 2-й части «Бесов», напитанной материалами процесса (здесь именно воспроизводится чрезвычайно близкая вариация к стихотворению Огарева «Студент», полностью напечатанному в отчетах), имеется такое заявление Петра Верховенского Ставрогину по поводу организации подполья:

— «*Вы сами устав писали, вам нечего объяснять*».

Это совершенно явственный отзвук судебных прений о Бакунине— авторе «Катехизиса». Это вместе с тем весьма отчетливое указание на лицо, послужившее прототипом Ставрогину. «Не я, Верховенский, автор устава—его писали вы, Ставрогин», как бы раздается в романе. Это точный перевод указаний процесса: не Нечаев автор «Катехизиса», а Бакунин.

Мы считаем в силу всего вышеизложенного совершенно непререкаемым, что Достоевский при написании «Бесов» (2-й и 3-й части романа) широко пользовался данными процесса нечаевцев, извлекал отсюда весьма обильное количество сведений, которые послужили ему как для развития фабулы, так и для характеристики главных героев и их взаимных отношений. Утверждение В. П. Полонского, что Достоев-

ский мог бы воспользоваться процессом нечаевцев для своего романа только в том случае, если б отчеты об этом процессе были знакомы ему еще в конце 1869 г., «месяцев за шесть до начала его разбирательства», т.-е. до печатания «Бесов», совершенно категорически опровергается фактической историей романа, докатившейся до самого конца 1872 г.

Предоставляем судить читателю, насколько обосновано и верно утверждение В. П. Полонского, что «таким образом совершенно отпадает источник, на который с таким упованием рассчитывает Л. П. Гроссман», и далее: «самое же главное, источники, послужившие фундаментом всей работы—отчеты нечаевского процесса... оказываются, при ознакомлении, мифом».

Мы продолжаем утверждать, что на этом «мифе» должно и будет строиться всякое научное исследование по истории «Бесов».

VII. По поводу «Истории Николая Ставрогина».

I.

В последней части своего доклада, названной почему-то «История Николая Ставрогина», В. П. Полонский считает нужным весьма обстоятельно доказать никем не оспариваемый факт: замысел романа «Бесы» возник значительно позднее Женевского Конгресса.

Но, как это уже указывалось мною В. П. Полонскому в наших устных прениях, в статье моей говорится вовсе не *о замысле романа*, будто бы возникшего благодаря встрече Достоевского с Бакуниным (поистине было бы странно подобное утверждение!), а лишь о возникновении художественного образа, романического героя, будущего художественного типа. Так именно, встретившись с отцом Александра Блока в салоне Философовой, Достоевский, пораженный его зловещей красотой, сразу прозрел в нем благодарную фигуру для романического героя. Но это не значит, конечно, что замечательная внешность нового лица навеяла ему идею, сюжет или философскую тенденцию целой романической композиции.

Так, разумеется, было и с Бакуниным; мы говорим лишь о зарождении образа, а вовсе не о замысле романа.

Это вполне подтверждается сообщением Достоевского в письме к Каткову от 8/20 октября 1870 г.—«Я сел за поэму об этом лице, потому что слишком давно уже хочу изобразить его». *Лицо* является зерном творческого процесса и за несколько лет предшествует «поэме» о нем.

II

Следует далее глава под заглавием: «*Подлинный прототип Николая Ставрогина*», в которой В. П. Полонский доказывает, что таковым был не Бакунин, «а тот «русский человек нашего общества», которого

ставил Достоевский в центре романов «Атеизм» и «Житие великого грешника».

Но прежде всего для успешности спора необходимо пользоваться терминами, вкладывая в них одинаковое значение. Не станем поэтому обозначать один из ранних замыслов художника термином «прототип». Сохраним его для обозначения живого реального лица, послужившего художнику первоисточником его образа. «Русский же человек» из романа «Атеизм» есть просто один из героев Достоевского, в придачу еще неосуществленный, не родившийся, а только задуманный. 11/23 декабря 1868 г., т.-е. через год с небольшим после Женевского Конгресса, Достоевский сообщает Страхову о зреющем замысле романа («Атеизм») и слагающемся образе его главного героя. Некоторые черты этого лица могли отразиться на Ставрогине, но ни о каком прототипе — тем более о каком-то «подлинном»—здесь не может быть и речи.

Но мы не вменяем себе в обязанность «разрушать легенды»—пусть существуют, особенно, когда они так удачно подкрепляют наше утверждение: ведь В. П. Полонский этим соображением относит зарождение образа Ставрогина к 1868 году, т.-е. к эпохе, весьма близкой к Женевскому Конгрессу (в конце 1868 г. Достоевский сообщает Страхову об этом продуманном и сложившемся образе, который возник и подвергся обработке, очевидно, значительно раньше). Таким образом, В. П. Полонский незаметно для себя сходится довольно близко со мной в определении момента возникновения образа Ставрогина.

III.

Третье соображение В. П. Полонского сводится к следующему силлогизму. Так как я еще в 1921 г. признал, что замысел ненаписанных романов «Атеизм» и «Житие великого грешника» *отразился* на истории и образе Ставрогина, я должен неукоснительно признать, «что «Атеизм» и «Житие великого грешника» связаны с личностью Михаила Бакунина, что герой «Атеизма» и «Жития», частично осуществленный в романе «Бесы», прототипом своим имеет личность знаменитого анархиста».

Но оттого, что *некоторые черты* героя «Атеизма» и «Жития» *отразились* на образе Ставрогина, отнюдь не следует, что Михаил Бакунин был прототипом этого раннего героя.

Повторение некоторых черт старых образов не имеет никакого отношения к вопросу о новом прототипе: все это может сосуществовать. На образе Ставрогина отразились не только черты этих задуманных героев 1868 г., но и черты осуществленных и законченных образов Достоевского, несравненно более ранней поры—1866 и даже 1861 г.г.—Свидригайлова и князя Валковского. Это указывалось критикой, это совершенно несомненно, и едва ли кто-нибудь решится отрицать такую связь Ставрогина с героями «Преступления и наказания» и «Униженных и оскорбленных». Полагаю, что это нисколько не обязывает меня признать Михаила Бакунина прототипом князя Валковского и Свидригайлова.

Отражение черт раннего образа на позднейшем совершенно независим от вопроса о живом прототипе героя. В первом случае мы имеем проблему общего стиля и художественной манеры писателя, во втором — только момент из истории данного героя.

Это особенно очевидно из эволюции других образов Достоевского. Так, Владимир Соловьев был прототипом Алеши Карамазова; но это не мешает Алеше повторять некоторые черты князя Мышкина, созданного задолго до знакомства Достоевского с Вл. Соловьевым. Прототипом Зосимы был старец Амвросий; но черты Тихона или Макара Ивановича, созданных Достоевским до поездки в Оптину, отразились на образе Зосимы. Повторение излюбленных черт типа не исключает наличности нового прообраза.

Так, в Ставрогине могут возродиться черты Валковского, Свидригайлова, даже Вельчанинова или героев «Жития» и «Атеизма», но это нисколько не мешает ему иметь свой индивидуальный прототип в лице Михаила Бакунина.

IV.

И, наконец, последнее соображение: «князь», ближайший предшественник самого Ставрогина, в «Записных книжках» к «Бесам», по мнению моего оппонента, весьма мало походит на Бакунина. А так как В. П. Полонский совершенно отождествляет образы «князя» и Ставрогина, относя к одному то, что неотъемлемо приурочено автором к другому, то это соображение кажется ему наиболее убедительным опровержением моей гипотезы.

Здесь возникает принципиальный вопрос о приемах изучения образов Достоевского. Имеет ли право исследователь отождествлять без различия и сливать воедино глубоко несхожие этапы развития определенного типа нашего автора? Здесь, конечно, не может быть двух мнений. Подобное отождествление совершенно игнорирует в творческой динамике Достоевского своеобразные законы эволюции задуманного героя. Оно оставляет без внимания тот тонкий, сложный, живой и вечно изменчивый процесс созидания, разрушения и возрождения образа, который раскрывается нам во всем своем изумительном богатстве в подготовительных записях к романам Достоевского.

Задуманный герой проходил у него обычно сложнейшую линию развития, отклоняясь подчас до полной неузнаваемости от своего первоначального прототипа или же снова прихотливо возвращаясь к нему. В разгаре работы, создавалась целая серия глубоко различных стадий слагающегося образа, так что между первой и последней его формацией нет почти никакого сходства. Как показал в своем интересном докладе о рукописях «Идиота» П. Н. Сакулин, прототипами главных героев романа были натуры им полярно противоположные. Так, прототипом Настасьи Филипповны была героиня громкого процесса 60-х годов не-

кая Ольга Умецкая, 16-летняя девочка, измученная физическими истязаниями, без каких-либо черт эротизма, с явными признаками дегенерации. Ее брат—идиот, ставший прообразом Мышкина, представлял собой тип отвратительного сладострастника, жестокого, озлобленного, мстительного. Из таких-то фигур, путем сложнейшей и тончайшей их перегонки, пройдя через девять редакций, вступили, наконец, в окончательный текст романа евангельский «рыцарь бедный» и его трагическая возлюбленная.

Аналогичную эволюцию прошел и образ Ставрогина, и нелегко было бы поэтому воспроизвести его историю. Отметим только, что один образ «князя» расслояется на такие многочисленные и несхожие меж собой формации, что уже один этот герой создает целую галлерею типов. Не даром эти записи полны помет: «вариант замечательный», «еще характеристика», «последний образ князя», «окончательное» и т. под.

Из этой эволюции образа «князя» можно выделить отдельные фразы: *князь—труженик и стоик* («хочет трудиться, готовится в мировые судьи»); *князь—Дон-Жуан и преступник* («убивает своего соперника, растлевает воспитанницу»); *князь—великий провокатор* (сходится с нигилистами, выпытывает все у Нечаева и всех предает); князь—*пресыщенный скептик* (человек, которому скучно); *князь—новый христианин* (смирение и энергия, «молится, мирится с обиженными» и проч.). Эти пять стадий «князя», вероятно, еще далеко не исчерпывают всей огромной массы вариантов, планов, набросков, которые с такой щедростью брошены в эти записные тетради неутомимым конструктором образов.

Каждую из этих стадий необходимо рассматривать индивидуально, считаясь с ее глубоким своеобразием; нельзя сливать это исключительное разнообразие типов в одну сплошную массу на том основании, что все эти формации обозначены одним термином — «князь», тем менее можно сливать их с законченным образом Ставрогина.

Между тем для В. П. Полонского здесь нет никаких границ и отличий. Роман «Бесы», записные книжки, план «Жития», замысел «Атеизма», письма Достоевского,—все это, по его мнению, говорит об едином, однородном и цельном герое; можно безоговорочно и безнаказанно относить к этому единственному образу всю изумительную щедрость лабораторных опытов Достоевского за целое пятилетие. Отсюда поистине поразительные выводы.

Так, по мнению Полонского, Достоевский хотел привести *Ставрогина* «сквозь грехи и преступления» — «к покаянию и просветлению». Это ни на мгновение не относится к Ставрогину. Так, по мнению В. П. Полонского, «Достоевский *устами Ставрогина хотел высказать свое мнение о православии*». Мы знаем, что Достоевский никогда не думал высказывать устами Ставрогина своего мнения о православии, и то, что относится к одной из многочисленных формаций «князя», никоим образом нельзя относить к герою законченных «Бесов».

К моменту окончательной установки романа этот многоликий князь подготовительных записей пережил один из катастрофических этапов

эволюции князя Мышкина и, сгорев в раскаленной фантазии романиста, возродился в новом лице, новом герое — Ставрогине. Об этой последней и важнейшей фазе долголетней эволюции образа Достоевский так красноречиво пишет Страхову 9 окт. 1870 г. «...Потом летом (1870 г.) опять *перемена:* выступило еще *новое лицо* с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоющее имени героя) стало на второй план. *Новый герой* до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. (Указание на запись лица действиями, а не рассуждениями.) И потому думаю, что выйдет лицо и даже может быть *новое!..*»

Как характерна для Достоевского эта новаторская тоска, эта надежда создать «новое лицо», уловить еще не запечатленный образ! И с каким уверенным спокойствием В. П. Полонский разбивает эти надежды. Никакого «нового лица» Достоевский здесь не дал нам. Он просто дал вариацию своего старого и давно известного типа; это—«характернейший персонаж Достоевского, излюбленный и постоянный герой его романов, *раскаявшийся нигилист*...»—к какому, однако, упрощенному выводу приводит история сложнейшего из образов новейшей европейской литературы!

Мы видим, что в письме к Страхову отмечена лишь одна последняя творчески определяющая форма образа; таков момент создания самого *Ставрогина*. Только с этого момента можно говорить о нем, не приурочивая к нему более ранних записей Достоевского, относящихся к совершенно иным стадиям этого образа, т.-е., по поэтике Достоевского,—к другим *типам*. Эти различия, при всей их тонкости и сложности, настолько очевидны, глубоки и несомненны, что смешивать в одну сплошную массу эти разнородные пласты творческого процесса, обозначать одну фазу образования героя именем другой, глубоко от нее отличной, методологически вполне равносильно отождествлению князя Мышкина с тем злобным идиотом, который стоит у истоков этой фигуры.

Будем помнить об этой сложнейшей *миграции образа у Достоевского*. Будем считаться с подлинными данными его текстов (хотя бы и рукописных), не комкая различных этапов развития героя, считаясь с эпохами его роста, уважая линии разграничения, проводимые самим писателем. Историк Ставрогина обязан с глубочайшим и напряженнейшим вниманием отнестись к этой поистине драматической дифференциации его образа, не подводя этой богатой, разнообразной, катастрофической и многокрасочной картины под случайный уравнитель текущих полемических нужд.

V.

Но действительно ли «князь» «Записных книжек» так мало похож на Бакунина?

Если образ у Достоевского проходит различные фазы, прототип продолжает играть свою роль и влиять на общую линию его развития.

При всем многообразии «князя» не трудно уловить в общей картине его роста тот живой материал, над которым работает художник, то фантастически преображая его до неузнаваемости, то снова приближаясь к подлинному лицу.

Сложная фигура Бакунина была средоточием столь крайних полярностей и объектом таких идеологических смен, что, только пользуясь каноническим и чрезмерно обобщенным образом его (анархист, великий бунтарь, атеист и проч.), можно утверждать, что такие черты «князя» как культ России или «рост веры» противоречат известным этапам бакунинского мировоззрения. Мы верим, что В. П. Полонский здесь не будет спорить с нами.

Но и другие, более отчетливые признаки прототипа сказываются на этих торопливых, беглых и беспрерывно сменяющихся зарисовках. Стоит вчитаться в запись Достоевского от 1 января 1870 года, чтоб сразу почувствовать, насколько в образе «князя» явственно проступают черты Бакунина.

«Это просто тип из коренника, бессознательно-беспокойный, собственною, типическою своей силой, совершенно непосредственною и незнающею, на чем основаться. Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины, или Данилы Филипповичи, или доходят до всей хлыстовщины и скопчества. Эта необычайная для них самих тяжелая непосредственная сила, требующая и ищущая, на чем устояться и что взять в руководство, требующая до страдания спокою от бурь и не могущая пока не буревать до времени, до успокоения. Он уставляется, наконец, на христе, но вся жизнь—буря и беспорядок (масса народа живет непосредственно тихо и складно «коренником», но чуть покажется в ней движенье, т.-е. простое жизненное отправление—всегда выставляет эти типы). Необъятная сила, непосредственно ищущая спокою, волнующаяся до страдания и с радостью бросающаяся во время исканий и странствий в чудовищные уклонения и эксперименты до тех пор, пока не установится на такой сильной идее, которая вполне пропорциональна их непосредственной животной силе,—идее, которая до того сильна, что может, наконец, организовать эту силу и успокоить ее до елейной тишины» [1].

В следующей характеристике отмечены иные черты, снова обращающие нас к тому же прототипу:

«Испорченная природа барчука и великий ум и великие порывы сердца. Страстно уж очень и поспешно. Ему удалось создать идеал, но в то же время он почувствовал, что все это только его изобретения (хотя и не его). Терпения, как у барчука, недостало, ширины, глубины недостало и выродилось в злобный смех».

Представляют интерес для нас и следующие пометы о «князе»: «разбивать кумиры и сожигать корабли». «Он—новый человек... Отли-

[1]) Записная книжка к «Бесам» (Росс. Историч. музей) МД3⁴/₆, стр. 22. Запись 1 января 1870 г.

чается самой дикой энергией нового убеждения. Мнение князя, что если нельзя веровать, необходимо «все сжечь»—повторяется настойчиво и многократно: «есть только две инициативы: или вера или сжечь». «А если вера невозможна, то гораздо лучше, гуманнее все сжечь».

Мы видим, что Достоевский экспериментирует над взятым из действительности материалом, беспрерывно преображает его, вносит в него всевозможные концепции, лепит и формует его по всем изломам своего огромного замысла. Но сквозь все вариации и опыты, сквозь бесчисленные эскизы и наброски, сквозь разнообразнейшие фазы развития образа, неизменно проглядывает его жизненная основа, исходный человеческий материал, личность живого современника—лицо Бакунина.

Я воздержусь от всяких заключений и выводов. Полагаю, что произведенный мною анализ статьи В. П. Полонского является достаточно ясным ответом на поставленные мною вопросы: рассмотрен ли мой доклад во всей его полноте, даны ли ответы на все мои положения и аргументы, а главное, проверены ли ответные доводы моего оппонента и могут ли они считаться обоснованными, документальными, правильными.

Выводы предоставляю всецело делать читателю, а приговор об окончательной участи моей работы (по части *сдачи ее в архив)*—будущему научному исследованию по истории «Бесов». Думаю только, что и теперь, на основании представленных здесь документов, читателю ясно, имел ли право В. П. Полонский утверждать, что моя гипотеза «*противоречит всем без исключения существующим материалам о Достоевском*».

Во всяком случае, воздерживаясь от всяких итогов, я с полным спокойствием буду ждать авторитетного приговора русской историко-литературной науки, которая произнесет со временем свое объективное и окончательное суждение по крупному культурно-философскому вопросу о творческой встрече Достоевского с Бакуниным.

БАКУНИН И ДОСТОЕВСКИЙ.

По поводу «ответа» Леонида Гроссмана.

Вяч. Полонский.

I. Вместо предисловия.

У Л. П. Гроссмана много достоинств: я не обошел их молчанием в своем месте. Здесь хочется мне указать на один его недостаток, весьма существенный: он возражает очень длинно. Потеря краткости не означает ведь выигрыш убедительности. Отмечаю это потому, что Л. П. Гроссман посылает мне горький упрек в недостаточно подробной и детальной критике положений, выдвинутых им в своей первой работе о «Бакунине—прототипе Ставрогина». Я должен был опровергнуть его по всем пунктам,—с укоризной замечает Л. П. Гроссман, намекая весьма прозрачно, что небольшую протяженность моего ответа он склонен считать признаком слабости.

Не будучи уверен в том, что читатели нашего журнала разделяют мою точку зрения, я постараюсь не оставить не рассмотренным ни одного пункта, выставленного Л. П. Гроссманом в свою защиту. В конце концов,—это может быть полезно в том смысле, что лишит моего уважаемого противника возможности воспользоваться двумя-тремя не опровергнутыми «тезисами» и произвести новое, третье по счету, пространное изыскание в защиту своей поколебленной гипотезы.

II. О Женевском Конгрессе, о вольном обращении с фактами и о методе «широкой амплитуды».

I.

Первые же страницы «ответа» Л. П. Гроссмана должны вызвать чувство некоторого удивления. Мой противник требует «объективно точного аргументирования». Это — справедливое требование. Надо полагать, что оно обязательно для обеих спорящих сторон. Не правда ли? Как же на этот счет обстоят дела у самого Л. П. Гроссмана?

Вот что читаем мы в начале «ответа»:

«Свои возражения В. П. Полонский начинает с изучения Женевского «Конгресса. *Он считает описанный мною* **факт** *встречи* Достоевского с «Бакуниным на одном из заседаний Женевского Конгресса Лиги Мира и «Свободы в сентябре 1867 г. «*необузданной игрой фантазии*»:—«В **ней** все «сочинено, от первого слова до последнего, в *ней нет ни одного штриха, «который автор мог бы обосновать*» [1]).

Внимательный читатель, вероятно, заметил странную грамматическую несогласованность мысли, приписываемой мне Л. П. Гроссманом, с цитатой: «*В ней все сочинено*»—и т. д. В **ней?** В факте? В фантазии?

Обратимся к статье, которую критикует наш автор. Здесь мы находим следующее:

> «А дальше доводится до сведения читателя, что все происходившее в женевском дворце «*глубоко потрясло*» известного русского романиста. Достоевский, по словам Л. П. Гроссмана, «*был поражен*» обликом оратора, «давно уже знакомого ему по рассказам», и пока стальные слова Бакунина «*болезненно вонзались*» в его сердце, «*личность* произносившего их *оратора как бы выростала* перед ним, раскрывая сложные тайники своего мятущегося и вечно ненасытного духа». Наш автор говорит далее, что, «всматриваясь в черты этого лица, *Достоевский почувствовал прилив блаженно-томительной тревоги*, предвещавшей нарождение нового творчества».
>
> Эта историко-литературная симфония заканчивается аккордом:
>
> «*В этот день Достоевский задумал своего Ставрогина*».
>
> Л. П. Гроссман не открывает читателю маленького секрета. *С таким тонким знанием нарисованная картина является* **«воображаемой» картиной. В ней** *все сочинено*, от первого слова до последнего, в ней нет ни одного штриха, который автор мог бы обосновать. Эта необузданная игра фантазии вызвана одним лишь историческим фактом: *Достоевский, действительно, посещал заседания Лиги Мира и Свободы*. И только».

Происшествие, для начала, неожиданное: Л. П. Гроссман совершил насилие над моим текстом. Он приписал мне утверждение, которого я не высказывал. Я написал с ясностью, не допускающей сомнений, что «*необузданной игрой фантазии*» считаю *не описанный Л. П. Гроссманом* **факт** *встречи Достоевского с Бакуниным*, *а* **ту именно сцену**, которая выписана мною выше. Но ведь это вещи совсем разные! Одно дело — встреча Бакунина с Достоевским на Конгрессе Лиги Мира и Свободы, возможность которой я подвергал сомнению, но все же допускал, *и всю дальнейшую мою критику строил на этом допущении;* другое дело — «воображаемая картина», живописно разукрашенная фантазией Л. П. Гроссмана, которую я категорически отказался признать. Как же так?

Весь смысл этого изменения моей мысли заключается в том, что Л. П. Гроссман, приписав мне невысказанное утверждение, на дальнейших страницах, очень длинно, с эрудицией, с помощью первоисточников (!) это невысказанное мною утверждение опровергает, самодовольно заключая: «полагаем поэтому, что утверждение о пребывании Достоев-

[1]) Здесь и дальше курсив и жирный шрифт принадлежат мне, если нет особой оговорки. *Вяч. П.*

ского на 2-ом заседании Конгресса Лиги Мира и Свободы есть штрих, который обоснован весьма прочно». Как будто это пребывание мной оспаривалось! (См. подчеркнутую мною последнюю фразу в приведенной выше выписке.)

Благодаря столь необычайному способу посрамлять противника, Л. П. Гроссман в первой части своего «ответа» одержал несколько стремительных побед... над истиной. Позвольте, поэтому, восстановить ее искаженный лик.

1) Я не утверждал, будто Достоевский **не** посещал заседания Конгресса Лиги Мира. Читатель, раскрыв мою статью, в этом может удостовериться. Л. П. Гроссман с большой ученостью факт этого посещения доказывает.

2) Я не утверждал, будто Бакунин **не** произносил свою речь на Конгрессе Лиги Мира и Свободы. Я об этом писал еще в 1920 году в своей популярной книжке о Бакунине. Л. П. Гроссман с большой ученостью факт произнесения этой речи доказывает.

3) Я утверждал, что Достоевский *присутствовал* только на одном, *именно втором*, заседании Конгресса, на котором говорил Бакунин. Л. П. Гроссман с большой ученостью *это именно* и доказывает.

На читателя, который с моей работой не знаком, такой способ спора, разумеется, должен произвести ошеломляющее впечатление: убедительность, поистине, поразительная! Но пусть читатель просмотрит мою статью: он убедится, что Л. П. Гроссман самоотверженно борется с ветряными мельницами своего воображения, которое никак нельзя назвать бедным.

Я подвергал сомнению лишь следующее обстоятельство: основываясь на утверждении А. Г. Достоевской (по первоисточнику!), что Достоевские на заседании «часа два слушали ораторов», я высказал предположение, что они ушли с заседания до выступления Бакунина, так как он «выступил последним». Предположение мое является резонным и косвенно подтверждается письмами Федора Михайловича, написанными вслед за Конгрессом, под свежим впечатлением, в которых он ни звуком, ни намеком не обмолвился о Бакунине, хотя бранчливый, негодующий характер этих писем нисколько не мешал ему имя Бакунина помянуть: никакие опасения перлюстрации *в данном случае* не могли помешать ему это сделать, если он вообще излагал содержание речей, произнесенных на Конгрессе. Правда, Л. П. Гроссман доказал.—и я ему очень благодарен за это,—что Бакунин говорил не последним, т.-е. не в 5 ч. 30 минут, а шестым с конца, т.-е. в 4 ч. 30 минут (приблизительно—такова математическая точность нашего критика). Он при этом не лишил себя удовольствия поиронизировать на счет моей ошибки. Будучи от природы человеком великодушным, он, разумеется, прощает мне ее, ибо произошла эта ошибка оттого, что я изучал заседание Конгресса не по «редкому изданию протоколов Конгресса». Каюсь, у меня не было под рукой этого редкого издания. Но я все же пользовался первоисточником—четырехтомной работой Джемса Гильома «L'Internationale». Documents et S uvenirs. 1864—1878. Paris. Société Nouvelle de Libraire et d'edition, 1905. Гильом

был участником Конгресса, вел записи во время его заседаний, очень подробно все изложил, и никто не станет лишать эту работу почетного качества «первоисточника». Все дело в том, что иногда и первоисточники вводят в заблуждение. Ввел меня в заблуждение и Гильом, оборвав заседание на выступлении Бакунина. Я нисколько не раскаиваюсь в своей ошибке, которую даже Л. П. Гроссман считает «простительной». Скажу больше: я радуюсь ей, ибо она доставила удовольствие моему противнику. Но все же удовольствие это небольшое, так как моя ошибка ничего не говорит в пользу моего оппонента. Сомнение мое остается в силе—и не кто иной, как сам Л. П. Гроссман, это очень хорошо показал с помощью арифметики.

В самом деле: со слов Анны Григорьевны я писал, что Достоевские с тяжелым чувством ушли с Конгресса через два часа.

«Более достоверных хронологических указаний, чем сообщения А. Г. Достоевской, нельзя себе представить», так аттестует вдову писателя Л. П. Гроссман. Фактов, ею сообщенных, мой оппонент не опровергает. Не отвергает он и моего предположения, что Достоевские пришли к началу заседания, т.-е. в два часа. Но если к двум часам прибавить еще два часа, то как столь несложные цифры ни переворачивай, с какими первоисточниками ни справляйся, каким великодушным тоном ни полемизируй, а получится все-таки 4 часа, когда Достоевские с Конгресса ушли. По арифметике, которую мой оппонент привлек к делу, выходит именно *так*. Но вот как расправляется с арифметикой Л. П. Гроссман: «не рискуя сильно ошибиться, — заключает он, — с точностью до получаса можно утверждать, что Бакунин говорил приблизительно *за час* до окончания заседания, т.-е. в более широкой амплитуде — *в пятом часу пополудни*».

Как видим, по арифметике даже у самого Л. П. Гроссмана выходит, что Бакунин говорил *за час* до окончания заседания. А заседание окончилось (Л. П. Гроссман точно установил это по первоисточникам) *ровно в 5 час. 30 м.*, следовательно... следовательно... *выходит, что Бакунин говорил в 4 ч. 30 м.*, т.-е. после того, как Достоевские с заседания ушли.

Правда, Л. П. Гроссман, устрашившись этого арифметического вывода, призвал на помощь «*широкую амплитуду*» и, человек очень расчетливый, 30 минут скинул со счета, погрешив против арифметики,—но разве это хоть на иоту усиливает его позицию? Разве я не имею оснований заметить, что Достоевские могли прослушать Бакунина голько лишь благодаря «широкой амплитуде» Л. П. Гроссмана. Во-время пришла она ему на помощь—«широкая амплитуда»!

Но, в конце-концов, это не так важно. Я лишь высказал сомнение, действительно ли Достоевский прослушал Бакунина на Конгрессе [1]).

[1]) Л. П. Гроссман лишний раз погрешил против истины, приписав мне заключение, будто это мое сомнение «окончательно разбивает гипотезу о знаменитой встрече». Такого заключения сделать из моих слов нельзя.

Как видит читатель, сам Л. П. Гроссман, с помощью арифметики, лишь усилил его. Но, высказав сомнение, я, тем не менее, не отрицал эту возможность. Без допущения ее терял смысл дальнейший диспут, касающийся моментов более глубоких и значительных.

II.

Л. П. Гроссман выдвигает еще один довод.

«Никакие ухищрения мысли,—пишет он,—не в состоянии убедить в том, что Достоевский, пробывший на трехчасовом (с $^1/_2$) заседании Конгресса около двух часов, не мог присутствовать на нем между четырьмя и пятью, когда говорил Бакунин. Никакие логические выкладки не смогут доказать, что писатель, глубоко заинтересованный проблемами этой редкой дискуссии, оставил зал Дворца в тот именно момент, когда заседание широко развернулось, необыкновенно оживилось, поистине, ярко разгорелось и возбужденная толпа торжественно встречала «le célèbre revolutionnaire russe», «der bekannte agitator», сразу захватившего своим мощным словом многотысячную интернациональную массу».

Если бы спорные вопросы истории решались пылкостью тона и пышными эпитетами, наш спор был бы разрешен в пользу Л. П. Гроссмана. «Ухищрения мысли», «логические выкладки», «возбужденная толпа торжественно встречала le célèbre revolutionnaire russe» — и так далее, и так далее. Но когда мы от фантазии нашего автора обратимся к воспоминаниям Анны Григорьевны, то узнаем, что «Ф. М. от этих речей вынес тяжелое впечатление», и что, поэтому, «часа два» послушав ораторов, они с Конгресса ушли. Очевидно, что Л. П. Гроссман, вопреки свидетельствам А. Г. Достоевской, навязывает Федору Михайловичу настроения, которых тот не имел и отсутствие которых не требует ни «ухищрений мысли», ни «логических выкладок», чтобы высказать основательное предположение: покинув Конгресс через два часа после его начала, унося с собой тяжелое чувство, Достоевский вовсе не был так «глубоко заинтересован» проблемами редкой дискуссии, чтобы обязательно, в интересах Л. П. Гроссмана, дожидаться выступления Бакунина. Письма Достоевского вполне такое предположение подтверждают.

Оставляя поэтому в силе наши прежние сомнения, сильно окрепшие после изысканий нашего оппонента, перейдем к следующим темам нашего спора

III.

Рискуя навлечь на себя новые упреки, я не буду говорить о Гарибальди, не играющего в нашем споре никакой роли. Остановлюсь лишь на укоре, брошенном мне Л. П. Гроссманом.

Я, видите ли, охарактеризовал настроение Достоевского, как его обрисовал в своей «воображаемой картине» Л. П. Гроссман словами «потрясающий восторг». Приведя две строки из всего литературного наследства Достоевского, в которых презрительно упоминается имя Бакунина

(Гр. Бакунин—старый гнилой мешок бредней, ему легко детей хоть в нужник нести), я писал: «слова очень характерны, но как далек их смысл от «потрясающего восторга», приписываемого Достоевскому нашим автором». Л. П. Гроссман делает мне по этому поводу «глубокий упрек». Воспользовавшись благоприятным поводом, он очень пространно показал, что Достоевский вовсе не восхищался Бакуниным. Спешу здесь открыто признаться, что я и в мыслях не имел приписать «восхищенье» Достоевскому. Я лишь охарактеризовал этими словами всю сумму переживаний, изображенных в картине, которую я назвал «воображаемой»,—тех переживаний, что мной приведены выше в виде выдержки из моей статьи. Я и сейчас продолжаю думать, что если художник речью оратора одновременно «*глубоко потрясен*», «*поражен*» и «*взволнован*», если слова «*болезненно*» вонзаются в его сердце, а самая личность оратора как бы вырастает, раскрывая сложные тайники своего мятущегося, вечно ненасытного духа, если при этом он чувствует *прилив «блаженно-томительной тревоги*, предвещающей нарождение нового творчества», —то общую сумму этих переживаний можно кратко определить словами «потрясающий восторг». Так что *длинные* и обильные доказательства Л. П. Гроссмана о том, что его «Достоевский» не восхищался Бакуниным—излишни. Смысл моей фразы был иной. Л. П. Гроссман, к сожалению, приписал ей не то содержание, которое вкладывал я, объявив, разумеется, меня единственным виновником этого печального происшествия.

III. Биографические сближения.

I.

Л. П. Гроссман недоволен моей критикой. Из системы биографических совпадений я,—говорит он,—выхватываю отдельную черту и показываю, что она приложима не только к Бакунину. Есть такой грех. Я, действительно, опровергал отдельные биографические сближения Бакунина и Ставрогина, какие приводил в своей работе Л. П. Гроссман. Я *предупреждал при этом*, что буду останавливаться, «разумеется, на более существенных, игнорируя мелкие, не требующие критического анализа». Это не удовлетворяет Л. П. Гроссмана. Он заново приводит всю систему совпадений, сводящуюся «в общем к *двадцати* пунктам», основательно замечая, что если вся сумма этих совпадений приложима к одному лицу и не приложима ни к какому другому, то это—факт в высшей степени важный. Надо, следовательно, опровергнуть «всю сумму совпадений».

Рискуя и на этот раз не удовлетворить Л. П. Гроссмана, я продолжаю думать, что всю сумму совпадений *целиком* никак нельзя опровергнуть в один прием, это можно сделать только опровергая одно «совпадение» за другим. И если окажется, что из обильной системы «совпадений» значительнейшая часть представляет собою совпадения ложные, неверные, измышленные, то как из этих отдельных, неверных, несуществующих совпадений может получиться «сумма» в целых 20 пунктов, единственно

приложимая к одному лицу? Все дело именно в этом. Возьмем, например, «эпизод использования женщины с революционными целями». Л. П. Гроссману не удалось убедительно показать, что попытка вовлечения Бакуниным Наташи Герцен в революционную конспирацию хоть в отдаленной степени «совпадает» с доставлением Ставрогину Лизы для любовных целей. Я не говорю уже о том, что в одном случае **Бакунин** (прототип Ставрогина—по Гроссману) *хлопочет* о вовлечении девушки в революционную работу с Нечаевым (прототип Верховенского), а в другом — *Верховенский* доставляет любовницу Ставрогину (т.-е. герою, прототипом которого является Бакунин). Какое же тут *совпадение*. И не прав ли я был, когда утверждал, что «совпадения Л. П. Гроссмана не совпадают». Весьма возможно, что он, в пику нам, напишет новое исследование, в котором *докажет* (как это случилось с прототипом, о чем ниже), что *настоящее-то совпадение и не совпадает*. А когда совпадает, то это не совпадение. Но я уверен, что читатель ему не поверит.

Подобный характер имеет и следующее совпадение: «связь с представителем «разбойничьего мира». Бакунин теоретически считал русского разбойника исконным русским революционером. Ставрогин дает деньги Федьке Каторжному, молчаливо соглашаясь на убийство законной жены своей, Марии Тимофеевны Лебядкиной. Не из той же ли оно серии «несовпадающих» — в такой же степени, как и пощечина, и отношение к дуэли? В первой статье я подробно говорил об этом.

14-й пункт «системы» гласит: «обращение к самоубийству». У Бакунина в тяжелую минуту жизни, как признается он в «Исповеди», мелькнула мысль броситься в Сену. Это признание было известно царю Николаю I и графу Орлову. Других читателей «Исповеди» до 1921 года мы не знаем. Вряд ли она была ведома и Достоевскому— на этот счет Л. П. нам ничего (пока) не сообщает. Ставрогин повесился, как известно, в 1872 году, чем дал Л. П. Гроссману новый повод для ликования: новое совпадение! Хотя, по совести, оно еще менее убедительно, чем предыдущие.

О чертах внешнего сходства говорить не будем—на этот счет дальше сам Л. П. Гроссман очень убедительные возражения выскажет. Нет совпадений и в этапах миросозерцания: культ России, воинствующий атеизм, всеобщее разрушение. Таких «этапов» у Ставрогина не было. Он был и верующим и неверующим одновременно; «всеобщее разрушение» Бакунина ни в какой мере не походит на те разрушительные идеи, которые носились в голове Ставрогина; здесь Л. П. Гроссман играет словами, вызывая в голове читателя сплошной туман.

Не совпадает также с характеристикой Бакунина «гибельная гипертрофия интеллекта у Ставрогина». Рассудочность Бакунина, при общем эмоциональном характере его натуры, дает облик, разительно не похожий на облик Ставрогина, по свидетельствам тех же Герцена, Анненкова, Белинского, на которых ссылается Л. П. Гроссман.

Столь же не «совпадает» сексуальная ущербность Ставрогина, включенная в богатую «систему» совпадений. В ответ на наше обращение

к тексту романа, который не позволяет, без насилия над собой, присоединиться к «замечательному толкованию» А. Л. Волынского, Л. П. Гроссман отказывается даже отстаивать справедливость этого толкования. «Здесь каждый остается при своем мнении и ничего доказать своему противнику не может»,—пишет он. Так ли? В самом ли деле столь трудно разрешим этот щекотливый вопрос?

«Роман» между Лизой и Николаем Всеволодовичем заканчивался с глазу на глаз. *Единственными* свидетелями были его участники. Оба они в один голос утверждают, что «мгновение» Николай Всеволодович оставил за собою, т.-е. утверждают именно то, что отрицает Л. П. Гроссман. При всем к нему нашем уважении, взвешивая свидетельские показания Лизы и нашего оппонента, мы более склонны поверить потерпевшей.

Клинические же рассуждения Л. П. Гроссмана с попытками установить день и час, когда наступила «дефективность» героя «Бесов», мы оставляем в стороне.

Я не буду повторять здесь соображения, высказанные мною в первой моей статье по поводу прочих «совпадений». Замечу лишь, что убедительность каждого из них подобна приведенным выше. Количественно-обширная сумма совпадений, которою ослепляет читательское зрение Л. П. Гроссмана, на деле оказывается состоящей в большинстве из фиктивных дутых чисел, изобретенных сближений, искусственных сопоставлений.

Упрекая меня в том, что я вырываю отдельные черты из общей схемы его утверждений и опровергаю их каждую в отдельности, Л. П. Гроссман опорочивает свой собственный метод. Я с ним согласен: «вырванные отдельные пункты, а подчас и маленькая группа их, изолированная от всей сложности цельной и неразрывной системы, могут быть приложены к любому лицу любого круга и любой эпохи». Хорошие слова. Но позвольте задать вопрос: Ну, а вы, Л. П. Гроссман, составляя и комбинируя свою «сумму» совпадений,—вы-то разве не вырывали «отдельные» пункты, изолируя их «от всей сложной цельной и неразрывной системы», какою каждый в отдельности были и Бакунин и Ставрогин? Вы-то разве не подбирали тщательно те черты, которые могли (с натяжкой, с преувеличением!) помочь вам скомбинировать требуемую сумму? Разве вы не игнорировали тех черт, которые резали глаз своим разительным несходством? Разве Бакунин и Ставрогин, каждый в отдельности, не представляют сложные и богатые миры, в которых, при желании и уменьи, именно с помощью «вырывания» и «изоляции» отдельных черт, можно извлечь все, что угодно? Ведь этим именно методом вы и пользовались, пытаясь с помощью тщательно подобранных мелочей, послушных в искусных руках именно потому, что это мелочи, сблизить образы — *в целом, в общем* совершенно несходные.

Так что возражения моего оппонента подрывает доброкачественность его собственной конструкции, сколоченной именно посред-

ством «изоляции» и вырывания отдельных черт из цельных и неразрывных систем.

Он приводит, впрочем, один сильный довод, заслуживающий внимания.

Возражением, разрушающим его гипотезу о Бакунине — прототипе Ставрогина, — пишет он, — «было бы не приурочение этих отдельных черт к многочисленным другим лицам, а указание хотя бы еще одного лица, к которому приложима полностью вся система совпадений. Но этого В. П. Полонский не делает».

Л. П. Гроссман верует еще в существование его «системы» полностью. Такой веры у нас нет, поэтому мы и не будем стараться подыскать соответственную фигуру для несуществующей системы. Но, идя навстречу желанию Л. П. Гроссмана, мы укажем ему все-таки одно лицо, которое с бóльшим основанием, чем Бакунин, может быть сочтено прототипом Ставрогина.

II

Был такой петрашевец, Н. А. Спешнев, хорошо известный Ф. М. Достоевскому: оба они были членами кружка Петрашевского. По странной случайности облик Спешнева, его личные особенности и биографические черты как нельзя более близко совпадают с характеристикой Ставрогина. Спешнев был аристократ, пошедший в демократию; жил за границей, изучал немецкую философию, сделался социалистом и даже коммунистом, жил в Швейцарии, проповедывал атеизм, был членом тайного общества, образовал даже свой собственный тайный кружок, был молчаливым, загадочным красавцем, сводившим с ума женщин; мечтал о революции в России, которая, по его плану, должна была начаться мятежом на Урале, чтобы охватить всю Россию, — и называл это Пугачевским бунтом, — и в своей деятельности не чуждался средств, стоявших по ту сторону морали: отправляясь однажды с Петрашевским к Черносвитову, Спешнев, чтобы заинтересовать его, предлагал даже разыграть из себя главу коммунистов, всячески стараясь недомолвками и намеками поддержать в Черносвитове убеждение, будто в России существует тайное общество.

Черты эти не вымышлены мною. Они взяты из исследования В. Р. Лейкиной, напечатанного в недавно вышедшей 25 книге «Былого» — «Петрашевец Н. А. Спешнев».

Автору этой статьи вряд ли осталась неизвестна обсуждаемая нами работа Л. П. Гроссмана о Бакунине и Достоевском. По крайней мере, В. Р. Лейкина совершенно основательно замечает по этому поводу:

«Мне представляется несомненным, что Николай Спешнев послужил прототипом Николая Ставрогина. Неясность, загадочность характера Ставрогина, может-быть, зависит от того, что в нем слишком много сырой реальности, не до конца оформленной искусством. Его бесстрашие, холодность, неудовлетворенный скептицизм, его красота и сила, обаяние, на всех производимое, и ореол какой-то тайны,—все это реальные эле-

менты в образе Ставрогина. Ставрогина все находили «чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто». «Бесы», 40). Он поставлен в центре сложной паутины душевных влияний. Притягательная сила его личности заставляет Петра Верховенского боготворить его, как «Ивана Царевича», легенду русского бунта» [1]).

Уж если говорить о прототипе Ставрогина, то никак не о Бакунине. Этого деятеля Достоевский не знал, ни прямых, ни косвенных сношений с ним никогда не имел и никаких следов своей заинтересованности этой личностью не оставил, тогда как со Спешневым не только был знаком, не только был вместе с ним членом тайного общества, но даже находился под обаянием его личности, был вовлечен им в его собственный тайный кружок и столь был предан задачам кружка, что даже вербовал в этот кружок Майкова для устройства тайной типографии.

И в то самое время, когда о Бакунине в огромном литературном наследстве Достоевского мы имеем всего лишь одно, приведенное выше презрительное упоминание,—вот какими словами писал Достоевский из Сибири брату своему о Спешневе

«Спешнев в Иркутской губ. приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные и непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением».

Разве в этом отзыве нет чего-то «ставрогинского»?

И разве в нашем споре из этих двух фигур—Бакунина, с которым Достоевский так и не поинтересовался познакомиться, хотя жил с ним рядышком, и Спешнева, учителя юности Достоевского,—не следует отдать предпочтение последнему, совершенно оставив в покое первого?

---

[1]) Мы рекомендуем нашему читателю познакомиться с работой В. Р. Лейкиной, которая не ставила своею задачею выяснить, послужил ли Спешнев прототипом Ставрогина. Она лишь мимоходом, вскользь, коснулась этого вопроса, высказав свое мнение, которое само напрашивается при чтении ее работы, имеющей сжатый биографический характер. С бо́льшим блеском и с бо́льшею убедительностью это докажет, конечно, Л. П. Гроссман в своем исследовании о Спешневе—прототипе Ставрогина. Приведем здесь, кстати, отзыв о Спешневе М. А. Бакунина, также подметившего в нем «ставрогинские черты».

«В 1848 году, в первых порах западной революции, прибыл к ним Спешнев, человек замечательный во многих отношениях: умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно-холо́дной. вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы. Мужчины не могут им увлекаться, он слишком бесстрастен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви; но зато женщины, молодые и старые, замужние и не замужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство, а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантиею многодумной спокойной непроницаемости».

(«Письма Бакунина Герцену и Огареву» — письмо от 7 ноября 1860 г. из Иркутска),

Но здесь наступает самый щекотливый момент нашего спора. Столь неосторожно предложив мне назвать «еще одно лицо», Л. П. Гроссман, очевидно, позабыл о Н. А. Спешневе. Это тем более странно, что не только В. Р. Лейкина, но сам Л. П. Гроссман, еще раньше (кажется) В. Р. Лейкиной, пришел к заключению, уже после опубликования своей работы о Бакунине,—**что прототипом Ставрогина послужил именно Н. А. Спешнев.** Л. П. Гроссман даже большой доклад на эту тему прочитал: слушатели нашли его очень убедительным. Но почему в таком случае наш исследователь со страстью продолжает защищать уже устаревшую гипотезу, неосновательность которой, вероятно, становится ясной ему самому? И разве далек я от истины, предлагая сдать ее в архив?

IV. Проблема литературного прототипа.

I.

Л. П. Гроссман признает, что «главная тема» нашего спора им недостаточно обоснована теоретически. Ценное признание. Если бы эту тему Л. П. Гроссман лучше обосновал в начале спора, возможно, что «недоразумений», как определяет он ряд наших разногласий, было бы меньше. Я даже убежден в этом. Поэтому весьма похвально намерение нашего автора с некоторым запозданием заняться «проблемой литературного прототипа». Какие результаты, однако, получились от этой работы?

Обосновывая свое определение «литературного прототипа» на произведениях классиков, Л. П. Гроссман приходит к следующим выводам: «*Живые лица глубоко не схожи с теми романическими образами, которые ими порождены*», т.-е. прототипы не похожи на образы, созданные художниками. «Жизненный первоисточник совершенно отступает, и *сходство между реальностью и фикцией* (??) *сглаживается* **подчас до неузнаваемости».**

Таковы первые очертания определения, выдвигаемого Л. П. Гроссманом, для устранения возникших «недоразумений». По точному смыслу этого определения, художественный образ может подчас до неузнаваемости не походить на свой прототип. Флобер заявлял например: «В Мадам Бовари» нет ничего взятого из действительности. Это—история сплошь выдуманная», хотя прототипом послужила ему некая Дельфина Кутюрье.

Таким образом, благодаря Л. П. Гроссману, мы знаем, что такое прототип. Взглянем теперь, насколько это знание, почерпнутое у нашего автора, делает позицию его более надежной.

Итак, прототип—«отдаленный первообраз для дальнейших перевоплощений»; он может быть подчас *несходным* с художественным образом *до неузнаваемости*. Возвращаясь к Ставрогину и его прототипу, Михаилу Бакунину, анализируя методы, с помощью которых Л. П. Гроссман доказывает «отдаленную» их родственность, мы видим, что Ставрогин, по всей вероятности, не был художественным образом, а был, как говорит Л. П. Гроссман, «мертвым манекеном», «школьной моделью».

«ученической натурой или трафаретной формой», призванной служить для «точной копии», «безошибочных слепков», «механических воспроизведений». По Гроссману, *это должно быть именно так, а не иначе.* Вернувшись несколько назад, прочтем вновь знаменитые «20 пунктов»— всю эту «систему», целиком и вполне совпадающую с «единственным человеком», Михаилом Бакуниным. Здесь Достоевский (по Гроссману) наградил Ставрогина не только точнейшими биографическими чертами, но даже интимнейшими особенностями, биологическими, физиологическими, психологическими, идеологическими, географическими, фотографическими, вплоть до сексуальной дефективности, до общего выражения глаз, до барственности манер и изящества одежды; даже «этапы миросозерцания» почерпнуты у Бакунина, даже «мысль о самоубийстве», и «поездка в Исландию», и «вовлечение в конспирацию Наташи Герцен», и «малограмотность русского барича», «и эффектная красота» его, и Швейцария, и многое множество других «фактов, черточек, событий, эпизодов». Где же здесь «несходство» до «неузнаваемости», и при чем здесь Гёте, Флобер, Бальзак, Зола, Толстой, Тургенев и Диккенс с их прототипами, «до неузнаваемости» не схожими с порожденными ими художественными образами?

Читатель знает, что мы «систему» совпадений, воздвигнутую нашим автором, отвергаем, но разве своими рассуждениями о «литературном прототипе» нам не оказал мощной поддержки наш оппонент? Будем ли мы неправы, если заметим, что, выдвинув теорию «литературного прототипа» и защищаясь этой теорией, он наносит себе новый удар, ибо *теория говорит против него*. Если определение «прототипа», сделанное им, правильно, то либо Ставрогин *не художественный образ*, ибо копирует, повторяет портретные черты, либо *Михаил Бакунин не прототип*, потому что творчество Достоевского никогда не было фотографией.

Тут мы слышим негодующее возражение нашего оппонента. Как? Ставрогин повторяет портретные черты? Но ведь мы еще в первой нашей работе подчеркивали, что «Ставрогин, конечно, только воображаемый портрет Бакунина, т.-е. *в основе глубоко преображающий* его *подлинный* облик» и т. д. и т. д. Мы предвидим это возражение Л. П. Гроссмана и можем заметить ему следующее.

Двойная итальянская бухгалтерия— вещь, говорят, превосходная в счетном деле. Писать же исследование по двойной бухгалтерии—вещь нехорошая ни для читателя, ни для писателя. А самозащита Л. П. Гроссманом ведется именно по этой системе. Только таким «двойным» методом можно оправдать соседство взаимно исключающих утверждений, как, например:

1) «Герой «Бесов», как всякий художественный образ *не есть точная копия* своего прототипа, он комбинирует по-новому и *глубоко преображает* жизненные черты оригинала»

и 2) «Ставрогин не столько портрет, сколько, скорее, *маска* Бакунина. Слепок снимается с мертвого лица, он *с максимальной точностью воспроизводит черты*, но не передает их живого выражения. Маска всегда разительно похожа и фатально неподвижна».

Когда ему надо доказать близость образов Бакунина и Ставрогина, он тщательно разыскивает, изобретает, подмечает и обосновывает философски, исторически, логически, полемически, психологически точнейшие, интимнейшие, *портретнейшие* черты, вплоть до тонкостей, нами выше указанных, изолируя при этом отдельные штрихи,—даже такие, которых на деле не существовало и которых Достоевский в то время, когда писал Ставрогина, знать не мог.

Доказав с помощью такого метода почти полное тождество двух обликов («откуда такое щедрое обилие фактов, черточек, событий, эпизодов, взятых из самой гущи истории Бакунина», спрашивает он себя в первой своей работе), Л. П. Гроссман возражает против указаний на их полное общее несходство, неродственность, враждебность замечанием, что так оно и должно быть, ибо Ставрогин—художественный образ, а Бакунин—прототип. Всякому же ученому известно, что прототип «подчас» до неузнаваемости не походит на образ, вылепленный художником. И на протяжении многих страниц, с ворохом противоречавших друг другу цитат, он нам доказывает, что, по теории литературного прототипа, Михаил Бакунин и не должен походить на Ставрогина.

Свою гипотезу он строит на буквальнейших чертах **сходства**, но когда критика вскрывает эфемерность, натянутость, искусственность и случайность установленных сближений, их внешнюю убедительность и внутреннее несходство, он с великолепной снисходительностью знатока, постигшего тайну «литературного прототипа», пожимает плечами: «О чем спор? Так оно и должно быть. Прототип «до неузнаваемости» может не походить на художественный образ». Но вы-то открытие свое сделали именно потому, что он *походил?* Ведь в этом «**сходстве**», в этой «**узнаваемости**» вы и нашли *ключ* к открытию «выдающегося исследования» о Бакунине, как вы определили роман «Бесы» по отношению к Бакунину. Вот что писали вы в своей первой статье: «*В русской литературе есть книга о Бакунине, написанная при жизни его, но до сих пор с этой стороны неизвестная. Это, конечно, самое выдающееся исследование о нем*, и если нам удастся раскрыть таинственно запечатленный образ одного фантастического героя русского романа, *духовная природа Бакунина предстанет перед нами* в пластических чертах одного гениального воображаемого портрета». Пусть это исследование не «научное», а художественное, но ведь оно все же темой своей имеет *Бакунина*.

А на поверку выходит, что здесь нет ни: 1) художественного исследования, ни 2) Бакунина.

В своей же первой работе Л. П. Гроссман внятно поучал нас, что «не исследователи, а художники слова часто дают окончательную формулу самым глубоким и сложным характерам». Указав, что «фигура Бакунина не отлита еще в окончательный и непререкаемый образ», он торжественно заявлял дальше:

«*И, кажется, только единственный раз, на протяжении целого полустолетия, маска с лица Бакунина была приподнята, и сущность трудней-*

шей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции».

Это было произведено Достоевским в «Бесах»,—так говорил Гроссман в своей первой статье. Спрашивается: многое ли от этих первоначальных, размашистых утверждений сохранилось после дополнительных разъяснений нашего автора о «литературном прототипе»? Как это возможно «*до конца*» разрешить «сущность труднейшей психологической проблемы», в данном случае проблемы бакунинской души, созданием художественного образа, несходного с Бакуниным до полной неузнаваемости? Прав ли наш автор поэтому, заявляя, что и вторая его формула столь же «притязательна», как и первая?

II.

Так защищает свой фронт Л. П. Гроссман. Если эта защита удачна, я не знаю, что назвать беспорядочным отступлением. И здесь не помогут иронические ссылки на то, что если бы-де не было признания самого Тургенева о том, что он Рудина писал с Бакунина, «сколько печатных листов можно было бы исписать в опровержение исследователя, который выдвинул бы гипотезу Рудин—Бакунин». Если бы Л. П. Гроссман взялся за эту задачу, листов действительно было бы исписано много. Но Тургенев лишил его этой печальной необходимости. Он сам заявил, что Рудина писал с Бакунина. Л. П. Гроссман полагает, что это обстоятельство косвенно позволяет ему построить силлогизм: если Тургенев писал Рудина с Бакунина, почему не мог этого сделать Достоевский, изображая своего Ставрогина? Не спорим: **мог**. Но вопрос заключается в том, **мог** или **не мог** Достоевский писать Ставрогина с Бакунина, а в том, *писал ли он с него действительно.* Категорического заявления об этом Достоевский не сделал и, по нашему мнению, поступил опрометчиво, так как дал возможность Л. П. Гроссману, ссылаясь на Тургенева, доказывать, что ничего невозможного в сближении «Бакунин—Ставрогин» нет. Все равно ведь Достоевский не может вмешаться в наш спор.

«Нельзя при изучении художественных образов вообще,—наставительно замечает в конце главы о «прототипе» Л. П. Гроссман,—и героев Достоевского в особенности, заключать от несходства к отсутствию прототипичности». Мы с этим согласны. Но пусть Л. П. Гроссман оспорит следующее наше положение: «*нельзя при изучении художественных образов вообще и героев Достоевского в особенности заключать от случайного сходства отдельных черт к наличию прототипичности*». Он не сможет этого сделать, не аннулировав своей главы о прототипе, который он, в конце-концов, определяет как «подлинную переплавку, коренное изменение, часто даже искажение прототипа до еле узнаваемого сходства. Всякое иное преображение, не связанное с таким коренным нарушением черт оригинала, не создает прототипа, а является лишь поэтической живописью исторического лица». Неужто Ставрогин в самом деле—не художественный образ, а именно «поэтическая живопись исторического

лица»? Но ведь Л. П. Гроссман с этим решительно (и справедливо) не согласен.

Обилие взаимно исключающих утверждений дает нашему оппоненту возможность оперировать теми или другими, в случаях той или иной необходимости: умозаключать о прототипичности от сходства или утверждать о полнейшем несходстве прототипа с образом. Я определил этот способ «двойной бухгалтерией», рискуя попасть в число тех жалких людей, которые не имеют счастья принадлежать к некоему мистическому обществу «понимающих» всю тайную убедительность Л. П. Гроссмана, несмотря на его явную неубедительность.

V. Информация художника.

Л. П. Гроссман любит подавлять читателя «количеством» аргументов. Мы помним его систему из 20 пунктов. Такую же систему воздвиг он в главе об источниках информации Достоевского о Бакунине, упрекнув нас, разумеется, что мы «из доброго десятка доказательств» выбрали для опровержения самую незначительную часть. Чтобы смыть столь тяжкое обвинение, займемся подробным рассмотрением новой «системы» Л. П. Гроссмана. Она заключает в себе 11 источников информации Достоевского.

Источник первый. Кружок Белинского в ту пору, когда критик жадно ловил «хорошие слухи о Мишеле». Бакунин был близок Белинскому до 1840 года, когда уехал на Запад. Достоевский был близок кружку Белинского в 1847—1849 г.г. Стоило ли заниматься исследованием вопроса, мог или не мог Достоевский *в 1847—1849 г.г.*, т.-е. за 20 лет до «встречи» с Бакуниным на Женевском Конгрессе, когда он был «поражен» и «задумал своего Ставрогина»,—мог он или не мог собирать информацию для будущего героя еще не задуманного романа? **Белинский** «жадно ловил хорошие слухи о Мишеле»—это правда. Но ведь Л. П. Гроссману для его цели, кажется, *необходимо было доказать, что не Белинский*, а **Достоевский** «жадно ловил» эти слухи. Доказал ли что-нибудь Л. П. Гроссман, включая и кружок Белинского 1847—1849 г.г. в свою количественно богатую систему источников информации Достоевского? Стоило ли нам подробно распространяться об этом? Не был ли бы спор: «*мог или не мог*»—спором на тему о том, «какого пола ангелы, мужеского или женского». Средневековые схоласты этим, как известно, занимались. Я такое занятие считал бесплодным. Не изменил своего мнения и сейчас.

Источник второй. Кружок Петрашевского, в котором, по позднейшему свидетельству Достоевского, они, «совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением за потрясающими тогдашними европейскими событиями». Здесь я могу целиком повторить все, что сказал по поводу предыдущего пункта. В 1849 году в кружке Петрашевского действительно со вниманием следили за европейскими событиями. Можно ли отсюда заключить, что Достоевский уж в 1849 г. собирал информацию

о прототипе своего героя, задуманного в 1867—1868 году после своей первой встречи с этим «прототипом»?

Источник третий. Сибирская ссылка, одновременная для Бакунина и Достоевского. «*Характерно*,—многозначительно бросает мимоходом Л. П. Гроссман,—что в своих сибирских письмах Бакунин называет Достоевского». Остановимся на этом пункте несколько подробней.

Для читателя, не вдумывающегося в предлагаемый ему текст, пробегающего глазами по страницам, методическое, упорное перечисление источников один за другим может показаться убедительным. До качества добраться не всегда легко; «количество» усваивается на лету. В приведенном пункте этого «количества» более чем достаточно. В самом деле: Достоевский был в Сибири, и Бакунин был в Сибири — новый источник информации для автора «Бесов» как на ладони.

В своей первой работе Л. П. Гроссман говорил на эту тему более картинно. «Конец 50 годов, — читали мы,—оба проводят на положении сибирских поселенцев, правда, в различных городах и ни разу не встретившись, но, *несомненно, зная друг о друге*» (курсив здесь и дальше мой. *Вяч. П.*). Появление Бакунина в Сибири было крупным событием в жизни политических ссыльных, — о нем заговорили, на него обратили особенное внимание. **В последние годы** *своего пребывания в Сибири Достоевский много наслышался о Бакунине*, который находился **в это время** в Иркутске, где жили также Петрашевский, Спешнев, Львов, т.-е. *товарищи Достоевского* по политическому процессу. В свою очередь, и Михаил Александрович в своих сибирских *письмах* упоминает имя Достоевского».

Я не могу скрыть своего восхищения: **как** это сделано! Бакунин приезжает в Сибирь — там Достоевский. Здесь забывается, конечно, что Сибирь — огромнейший край, что оба они поднадзорные, живут в разных, отдаленных пунктах, а железных дорог еще нет, и почта (на лошадях) крайне редка, да и никакой переписки ни с бывшими товарищами своими, ни с другими иркутянами Достоевский не вел. На все эти обстоятельства наш автор плотно закрывает глаза и с упоением творит легенду, благо есть доверчивые слушатели, которые примут на веру, не станут доискиваться истины! О Бакунине *говорят*,—рассказывает наш автор,—особенно много «*Достоевский наслышался*» о нем, когда тот был в *Иркутске*, где к тому же (счастливая случайность!) живут *старые друзья* Достоевского.

Какая тончайшая сеть намеков, какое сплетение счастливых совпадений, которые гипнотически «обрабатывают» сознание читателя, не давая ему, по существу, *ничего*, кроме натяжек и неправильных утверждений. Коснемся легонько этой паутины.

«Далекий Омск видит их почти *одновременно*», сообщает Л. П. Гроссман. Это можно утверждать только с помощью **очень** «*широкой амплитуды*». Достоевский прибыл в Омск в **1850** году, Бакунин—в **1857**.. С 1854 г.,

когда Достоевский отбыл каторгу, он жил в *Семипалатинске*. Бакунин в 1857 году прибыл в *Томск*. В марте 1859 года он перебрался в Иркутск, а 2 июля 1859 года Достоевский навсегда уехал из Семипалатинска, получив разрешение перебраться в Тверь. Л. П. Гроссман пишет, что «*последние годы*», когда Бакунин был в Иркутске, Достоевский «много наслышался», и т. д. Налицо пред нами и здесь «амплитуда», для которой определение «широкая» окажется очень узким. «**Характерно**, что в своих сибирских *письмах* Бакунин называет Достоевского». Да, в *единственном письме* Герцену из Иркутска от 7 ноября 1860 г. Бакунин, говоря о петрашевцах, упоминает имя Достоевского, прибавляя, что это — литератор, «не лишенный таланта». Но что отсюда следует? И почему это «*характерно*»? И в какой степени это помогает нашему автору показать, что *Достоевский* «много наслышался» о Бакунине? Где, откуда, когда? Все это балласт, но так как он кое-что весит, то им можно нагрузить пустой корабль гипотезы: при отсутствии настоящего ценного груза и балласт, конечно, бывает полезен.

Источник четвертый. «Беседы с Герценом в начале 60-х г.г., когда с ним жил Бакунин»; *пятый*—«Знакомство Достоевского с видным бакунистом Жакляром»; *шестой*—«Характеристика Бакунина в «Моск. Ведомостях»; *девятый* — «Воспоминания о Бакунине старообрядческого епископа, напечатанные в «Русском Вестнике» рядом с «Преступлением и наказанием»; *десятый*—«Чтение Достоевским статей и брошюр Бакунина в заграничных читальнях и библиотеках запрещенных книг, которыми особенно интересовался Достоевский»,—все это *предположения* Л. П. Гроссмана, необходимые ему для обоснования своего тезиса. Ни одно из этих предположений им не подтверждено документально, т.-е. ни в одном случае он не приводит никаких ссылок, указаний, свидетельств и т. п., которые подтверждали бы, что Достоевский, действительно, Бакуниным интересовался и отмеченными источниками пользовался. Поставив своей целью доказать свой тезис, Л. П. Гроссман без труда разыскал *источники*, которые **могли бы** послужить Достоевскому, **если бы он** действительно «жадно» изучал Бакунина. При этом в число источников попадают такие хронологические даты, как 1847—1849 годы, годы 1857—1859, 1863 (беседы с Герценом, в которые Л. П. Гроссман «гипотетически» вводит тему о Бакунине) и т. д. И все это—«*гипотетически*», *предположительно*, наудачу (а может быть!). Курьезней всего при этом, что, перечислив эти гипотетические источники, Л. П. Гроссман упрекает нас, почему мы их все по очереди не опровергаем!

Из этой системы только три пункта мы считали нужным опровергать, те именно, что были не предположительными, а действительными основаниями работы Л. П. Гроссмана. Это был тот фундамент, который в большей или меньшей степени можно было признать документальным, т.-е. основанным на действительных разысканиях, подкрепленных не произвольной фантазией беллетриста, а более или менее точным знанием историка. Источники эти: 7) «Встре-

ча Достоевского с Бакуниным на Конгрессе Лиги Мира и Свободы». 8) «Встречи Достоевского с Огаревым в Женеве и близкие отношения» и 11) «Отчет о процессе нечаевцев».

В этих 3 пунктах вся «база» исследования Л. П. Гроссмана. Желая сберечь время свое и читательское (принцип экономии сил обязателен и для исторической науки), я ударил по фундаменту, справедливо полагая, что его разрушение должно повлечь за собой падение всей постройки. Чтобы не оставить Л. П. Гроссмана неудовлетворенным, остановим на них еще раз наше внимание.

О «встрече» Бакунина с Достоевским в Женеве мы говорили выше. Перейдем к следующим двум пунктам.

VI. Огарев и Достоевский.

Здесь мы прежде всего отчетливо вспомним, в чем заключалась сущность вопроса.

Принимая, как *доказанное*, нуждающееся в доказательствах, *предположительное* суждение, будто Достоевский *жадно искал* сведений о Бакунине, Л. П. Гроссман утверждает:

> «*Нет такого фактического или биографического вопроса о личности Бакунина, на который бы Достоевский не мог бы получить исчерпывающего ответа от Огарева. Мы имеем здесь обширнейший источник информации нашего писателя о заинтересовавшем его герое*». «*Это указание наше строго фактично,—прибавляет в своем «ответе» мне Л. П. Гроссман,—и мы на нем настаиваем всемерно*».

Спор идет, следовательно, о том, действительно ли Огарев таким источником информации для Достоевского служил. *Мало предположить:* Огарев *мог* служить. *Надо обосновать:* был ли он таким источником на деле. Разберемся в этом вопросе.

Но прежде всего устраним несколько недоразумений, созданных Л. П. Гроссманом. «В своих письмах этого периода Достоевский не перестает жаловаться на одиночество,—передает Л. П. Гроссман одно из моих возражений,—*стало-быть, он не встречался с Огаревым, заключает В. П. Полонский*». Неверно, мой уважаемый оппонент. Такого заключения я не делал. Это новое ваше изобретение, неосторожно мне приписываемое. *Я не отрицал* **факта встреч** *Огарева с Достоевским. Я отрицал лишь* **дружеское чувство** со стороны Огарева к Достоевскому *настолько сильное*, что он мог предоставить последнему переписку своего друга - революционера, преследуемого полицией. Неверно также и другое утверждение Л. П. Гроссмана, будто из моих слов следует заключить, что Анна Григорьевна просто сочинила целый эпизод их общей биографии — *женевское знакомство с Огаревым*. Налицо пред нами третий (или четвертый?) случай печально-бесцеремонного обращения с моими утверждениями. Вот что писал я по этому поводу:

«Достоевский крайне враждебно относился ко всем умникам, ко всем носителям женевских идей, которых изобразил в «Бесах», и у нас нет никаких оснований полагать, будто один из женевских вождей,—друг Бакунина, друг Герцена, заставивший его передать Нечаеву остатки бахметьевского фонда,—будто Огарев мог оказаться вдруг, природе вопреки, другом Достоевского, открывающим ему вместе с своим сердцем и переписку старого революционера. Достоевский ненавидел эмиграцию. «Русские изменники заграничные», со злобой обронил он в одном из женевских писем Майкову. Такими «изменниками» были для него и Герцен, и Бакунин, и Огарев. Здесь-то и заключена причина его одиночества в крошечной Швейцарии, центре русской эмиграции, кипевшей тогда ключом, где, кроме Герцена и Огарева, проживал сам Бакунин—предмет «страстных вожделений» Достоевского. Но эти русские люди были ему чужды — и нас нисколько не удивляет то обстоятельство, что, находясь в близком соседстве с Бакуниным, Достоевский ни разу не поинтересовался лично побеседовать с «прототипом» своего героя. Достоевский не скрывал своих чувств от этих русских людей — не такой он был человек, чтоб носить маску; они платили ему той же монетой. И если Достоевский с Огаревым встречались, то редкие встречи эти не могли быть «дружескими». Огарев иногда помогал Достоевскому деньгами, самое большее, что мог он сделать. У него было доброе и мягкое сердце — а Достоевский, привезший с собой в Женеву молодую, беременную жену, жестоко нуждался. Делать же отсюда головокружительные выводы о дружбе, частых беседах, и, наконец, что является самым главным из утверждений Л. П. Гроссмана, о предоставлении Достоевскому Огаревым своего архива, — это значит дать волю воображению, не сдерживаемому критической уздою.

Какими же средствами Л. П. Гроссман опровергает наши соображения? О, это очень забавная история! Взявшись доказать, *что* **Огарев** *действительно питал дружеские чувства к* **Достоевскому**, Л. П. Гроссман на протяжении многих страниц с обильными цитатами, очень убедительно доказывает, *что* **Достоевский** *действительно питал к* **Огареву** *дружеские чувства*, как будто это одно и то же, как будто «теплое отношение» **Достоевского** к «задушевному поэту» свидетельствует о дружеских чувствах **Огарева** к **Достоевскому.**

Это может показаться невероятным—такая неловкая подмена предмета спора,—но ведь работа Л. П. Гроссмана перед глазами читателя. Он очень подробно доказывает «*факт знакомства*» Огарева с Достоевским, что отрицать было бы смешно, просто потому, что *это*—**факт**, *много раз в моей работе упоминаемый*. Он доказывает далее «правдивость показаний Анны Григорьевны», утверждающих, что «Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого душевного поэта», но кто, где и когда эту «правдивость» А. Г. отрицал? С жаром, с пламенем, в прозе и даже стихами доказав *никем* не *оспаривавшиеся положения*, *что* **Достоевский питал к Огареву теплые чувства**, Л. П. Гроссман с грацией переходит к другому вопросу, простодушно полагая, что им непререкаемо установлен факт *дружеских чувств* **Огарева** *к Достоевскому*, а ведь об этом именно и идет спор!

«Можно предположить,—заметил я,—что Достоевский избегал писать об Огареве, Герцене и Бакунине, — он боялся перлюстрации». Л. П. Гроссман на протяжении нескольких страниц красноречиво доказывает, что Достоевский, действительно, боялся перлюстрации и что

поэтому имени Огарева в своих письмах не упоминал. Но Л. П. Гроссман, вообще недостаточно внимательно читавший мои возражения, прошел мимо очень сильного фактического указания, которое говорит, что предположение это неосновательно.

> «Если же и были у Достоевского опасения перлюстрации,—писал я,—они не могли изменить самого характера переписки. Нельзя думать, что он письма свои «приспособлял» к чуткому жандармскому уху, не только опуская имена, но вообще фальсифицируя свои настроения. Это—во-первых. *А во-вторых, такое допущение опровергается фактами. Сообщал же Достоевский Майкову о встрече своей с Герценом*, правда, законспирировав его под буквой Г. Но и это письмо повторяет обычные стоны и жалобы».

Ответил ли нам на это возражение Л. П. Гроссман? Нет, он сделал вид, что его не замечает. Упоенный своей «воображаемой» правотой, уверенный в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем, он принимает доказанными положения, которые надо доказать, приписывая мне мысли, которых я не высказывал, и заключения, которых я не делал. Увлеченный пылом собственного красноречия, он договаривается до того, что называет Огарева *главным* столпом «Колокола», хотя даже комсомольцам известно, что из двух столпов «Колокола» Огарев был столпом *второстепенным*.

В результате своих возражений, наш оппонент победоносно заключает:

> «Во всяком случае непосредственная роль Огарева в изучении Достоевским Бакунина остается, как мы показали выше, в полной силе, и сделанная поправка нисколько не колеблет нашего утверждения о широком и многостороннем знакомстве Достоевского с личностью поразившего его современника».

Это заявление тем более неосновательно, что Л. П. Гроссман хочет забыть свою большую ошибку, которую мы ему указали и которой не признать он не смог. Утомительнейшие соображения о горячей дружбе, которую будто бы питал к Достоевскому Огарев, необходимы нашему автору были для того, чтобы обосновать один из важнейших «источников» информации Достоевского, а именно: *письма Бакунина к Огареву, которые последний*, по интуиции Л. П. Гроссмана, *предоставлял автору «Бесов»*: «Нужно думать,—писал по этому поводу наш автор,—что *Огарев, в то время усиленно переписывавшийся с Бакуниным, не скрывал от Достоевского писем своего корреспондента*». А так как Л. П. Гроссман обладает завидной способностью считать обоснованным то, что подлежит обоснованию, то, приглашая читателя следовать за собой, он выводил такое заключение из своих гипотетических посылок:

«*Вчитываясь в эти замечательные бакунинские письма к Огареву, приходим к заключению, что они вообще немало дали Достоевскому*».

Мне пришлось разочаровать Л. П. Гроссмана.

В моей первой критической статье я показал, что Огарев, *даже если и был другом* Достоевского, *даже если бы и хотел познакомить* его с письмами Бакунина,— *сделать этого не мог* по той простой причине, что оживленной переписки, на которую столь опрометчиво

ссылался Л. П. Гроссман, *в то время, т.-е. до отъезда Достоевского из Женевы, еще не существовало.*

Я не стану здесь повторять своей аргументации; желающие смогут прочесть ее в моей статье. Замечу лишь, что противник мой, с упорством защищающий свои позиции до полного забвения всякой «историчности», ничего не мог возразить против моих доводов и принужден был признать свою ошибку. «Указание В. П. Полонского, что ряд бакунинских писем был получен Огаревым после того, как Достоевский уехал из Женевы, совершенно правильно».

Ошибки, конечно, простительны—и мы не стали бы так настойчиво уличать в них Л. П. Гроссмана, если бы он, даже сознаваясь в своих заблуждениях, как, например, в данном случае, не пытался, все-таки, сгустить туман в голове своего читателя. «Огарев мог непосредственно сообщить Достоевскому лишь письма Бакунина до 1868 г.», замечает он. Какие именно? Почему Л. П. Гроссман скрывает от своего читателя, что писем этих, нам известных, было всего два и что содержание их, как на грех, ни в каком случае нельзя назвать «замечательным».

Так обстоит дело с Огаревым—источником информации Достоевского.

VII. Процесс нечаевцев.

I.

Переходим к наиболее любопытному эпизоду нашего спора.

К моему немалому огорчению, я и здесь принужден констатировать вольность, допускаемую Л. П. Гроссманом в передаче моих мыслей. Он приписывает мне мнение, будто «из процесса нечаевцев *почти ничего нельзя* было узнать о Бакунине вообще и об его отношениях к Нечаеву в особенности».

Вот что писал я в моей статье:

> «Никаких «*сложных* взаимоотношений» двух знаменитых деятелей на процессе нечаевцев оглашено не было просто потому, что никто из обвиняемых (Нечаев ведь судим был в 1873 году) не был в курсе этих отношений. *Были оглашены лишь бумага*, выданная Нечаеву за подписью Михаила Бакунина, и «Катехизис революционера», при чем авторство этого катехизиса и причастие Бакунина к его составлению остались для суда нераскрытыми. Это одно обстоятельство уничтожает какую бы то ни было возможность для Достоевского детально ознакомиться по отчетам со «сложными взаимоотношениями двух знаменитых деятелей». Таково наше замечание, во-первых. А во-вторых, **если бы даже** *в процессе и заключался богатый материал* для характеристики взаимоотношений Бакунина и Нечаева, *оказать своего влияния на характеристику отношений Ставрогина и Петра Верховенского* **он не мог** по той простой причине, что не только значительная часть романа *успела быть написана* до начала процесса нечаевцев, **но даже была напечатана.** В этом можно без труда убедиться, взяв книжки «Русского Вестника» за 1871 г.».

Как видим (в который раз!) Л. П. Гроссмана нельзя упрекнуть в церемонном обращении с мыслями противника. «Почти *ничего* нельзя узнать»—это не совсем то, что говорил я. А говорил я о «**сложных** взаимо-

отношениях» этих героев. Вот что писал в первой статье своей мой оппонент: «Изучая процесс нечаевцев, Достоевский неоднократно встречался с именем Бакунина, и *сложные взаимоотношения* двух знаменитых деятелей современной революции *сообщили ему немало материала для его романа*». **Сообщили или не сообщили** протоколы процесса нечаевцев Достоевскому *материалы для характеристики сложных взаимоотношений Ставрогина и Верховенского?* Я отвечаю: «Нет, не сообщили, во-первых, потому, что на процессе никто не был в курсе *сложных* взаимоотношений Нечаева и Бакунина (я ведь в *короткой* выдержке привел все, что было опубликовано на процессе и что Л. П. Гроссман разбавил несколькими страницами рассуждений), а во-вторых,—если бы кто и был в курсе этих взаимоотношений, необходимо отчетливо усвоить себе, что отчеты процесса стали появляться в газете **после того**, *как были напечатаны в журнале все те главы романа, в которых были окончательно обрисованы взаимоотношения Верховенского и Ставрогина.*

Возражая против этих положений, Л. П. Гроссман прежде всего утомительно доказывает, что 255 страниц из 603—не «добрая половина», а «сильно смахивает на треть», приводя для вящшей убедительности в скобках некую несуразную формулу (200:600) и на наших глазах смахнув, для точности, 55 страниц со счета (о, широкая амплитуда!). Помня первый опыт с арифметикой, когда Л. П. Гроссман впервые применил метод «широкой амплитуды» (тогда это нам обошлось ровнехонько в 30 минут, которых оказалось достаточно, чтобы супруги Достоевские успели прослушать Бакунина), я решил ничему не удивляться.

Одержав победу с помощью «широкой амплитуды», Л. П. Гроссман затем устанавливает «один **важный** хронологический факт». Я сообщал, что отчеты о процессе нечаевцев печатались два месяца. Мой противник замечает, что из всего отчета о процессе интересовать Достоевского могла только первая группа подсудимых, дело которых закончилось «к первой половине июля» (Л. П. Гроссман хотел, очевидно, сказать, к *середине*; отчеты этой группы печатались с 2 по 16 июля). Он считает эту «хронологическую» поправку очень «**важной**». Почему? Разве от этой поправки меняется сколько-нибудь дело? Разве последняя глава I части «Бесов» и первые две главы II части, где уже *обрисованы* «сложные взаимоотношения Ставрогина и Верховенского», от этой «*важной*» поправки перестают быть напечатанными до процесса? **А ведь все дело именно в этом**, и устанавливаемый нами факт не отменяется всем известным обстоятельством, *что остальные главы романа печатались после процесса* в течение полутора лет. Я говорю о первых двух главах второй части романа, где во всеоружии сложных взаимоотношений уже действуют Ставрогин и Верховенский, утверждаю, *что эти главы Достоевским были напечатаны до того, как он познакомился с первыми отчетами процесса*, а Л. П. Гроссман упорно сворачивает на то, что **последние** главы напечатаны *после* ознакомления его с этими отчетами, как будто этим сворачиванием в сторону он может поколебать устойчивость моих утверждений.

Спор сводится, таким образом, к следующему: Я утверждаю, *что в напечатанных 255 страницах из 603* (продолжаю употреблять ходячее выражение: «в доброй половине») *взаимоотношения Ставрогина и Верховенского намечены прочно и окончательно, и все дальнейшие перипетии этих отношений лишь развязывают узел намеков, завязанный здесь Достоевским.* Л. П. Гроссман с этим не согласен. Его несогласие столь решительно, что он заявляет со смелостью, которой можно позавидовать, будто взаимоотношения героев романа *«не только не обрисованы окончательно в первой части романа,* **но почти совершенно не затронуты в ней»**.

Внимательный читатель без труда вскроет причину этой смелости. Наш оппонент говорит ведь только о **«первой части»** романа, тогда как напечатаны были до июля еще *две главы второй части* — знаменитые главы «Ночь», в которых действующими лицами являются Верховенский, Ставрогин, Кириллов, Шатов, Лебядкины и Федька Каторжный.

Л. П. Гроссман, категорически утверждая по поводу **первой** части, что в ней почти совершенно не затронуты взаимоотношения Верховенского и Ставрогина, делает вид, как будто мы утверждаем, что именно *в этой части* окончательно обрисованы взаимоотношения героев «Бесов», тогда как наше утверждение относится, главным образом, к двум главам «Ночь», из второй части романа. В этих главах взаимоотношения *не только затронуты, но и обрисованы окончательно.* Чтобы лишить Л. П. Гроссмана возможности применить метод «широкой амплитуды», призовем в свидетели наиболее авторитетного—самого Ф. М. Достоевского—и раскроем его роман «Бесы».

II.

Первая половина главы «Ночь»: Верховенский проникает к Ставрогину. Оба они обрисованы столь детально, что на протяжении всего романа их облики остаются неизменными *в своей основе, в главных характерных линиях;* оба они в этой главе занимают соотносительно те положения, из которых в дальнейшем лишь проистекают различные следствия, но которые в основе не подвергаются изменениям. Дополняются лишь факты, события, растет ткань романа, но каждый новый факт и каждое новое событие лишь дополняют и развивают характеры, обрисованные в указанных главах. Прислушаемся к отрывкам беседы, которую они ведут, чтобы решить вопрос, прав ли наш оппонент, утверждающий, будто до знакомства с отчетами процесса Достоевский *«почти совершенно» не затронул* взаимоотношений Ставрогина и Верховенского.

« — Кстати, в скобках,—затараторил Верховенский тотчас же,—здесь одни болтают, будто вы его убьете, и пари держат, так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила... Довольно, довольно об этом, я только чтоб известить. Кстати опять: я Лебядкиных в тот же день переправил, вы знаете; получили мою записку с их адресом?

— Получил тогда же.

— Это уж я не по «бездарности», это я искренно, от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренно.

— Да, ничего, может, так и надо...—раздумчиво промолвил Николай Всеволодович;—только записок больше ко мне не пишите, прошу вас.

— Невозможно было, всего одну.

— Так Липутин знает?

— Невозможно было, но Липутин, сами знаете, не смеет... *Кстати, надо бы* **к нашим сходить** [1]), то-есть к ним, а не к нашим, а то вы опять лыко в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. *Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут,разиня рты, как галчаты в гнезде*, какого мы им привезли гостинцу. Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются, *Виргинский—общечеловек, Липутин—фурьерист, при большой наклонности к полицейским делам, человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости; и, наконец, тот с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает.* И знаете; они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-хе. А сходить надо непременно.

— **Вы там каким-нибудь шефом меня представили?** — *как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович.*

Петр Степанович быстро посмотрел на него.

— Кстати,—подхватил он, как бы не расслышав и поскорей заминая,—я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить.

— Воображаю.

— Нет, не воображайте, я просто говорил, что вы не убьете, ну, и там прочие сладкие вещи. И вообразите: она на другой день уже знала, что я Марью Тимофеевну за реку переправил; это вы ей сказали?

— Не думал.

— Так и знал, что не вы. Кто ж бы мог, кроме вас? Интересно.

— Липутин, разумеется.

— Н-нет, не Липутин,—пробормотал, нахмурясь, Петр Степанович;—это я узнаю кто.Тут похоже на Шатова...Впрочем, вздор, оставим это. Это,впрочем, ужасно важно... Кстати, я все ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос... Ах, да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю—вся так и сияет. Это что же?

— Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься,—проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданною откровенностью.

— А,ну... да,конечно,—пролепетал Петр Степанович как бы замявшись;—там слухи о помолвке, вы знаете? Верно, однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит, стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так?

— Нет, не сержусь.

— Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы, наверно, много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня, что я так?

Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича.

— Кстати, это вы серьезно мамаше насчет Лизаветы Николаевны?—спросил он.

Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него.

— А, понимаю, чтобы только успокоить, ну, да.

— А если бы серьезно?—твердо спросил Николай Всеволодович.

---

[1]) Курсив и жирный шрифт везде наш. *Вяч. П.*

— Что ж, и с Богом, как в этих случаях говорится, делу не повредит (видите, я не сказал *нашему делу*, вы словцо «наше» не любите), а я... а я что ж, *я к вашим услугам, сами знаете.*

— Вы думаете?

— Я ничего, ничего не думаю,—заторопился, смеясь, Петр Степанович,— потому что знаю, вы о своих делах сами наперед обдумали и что у вас все придумано. Я только про то, *что я серьезно к вашим услугам, всегда и везде и во всяком случае, то-есть во всяком, понимаете это?*

Николай Всеволодович зевнул».

Мы привели только малую часть сцены, не выписывать же всю главу целиком! И эта малая часть дает **все** для обрисовки позднейшего развития отношений Верховенского и Ставрогина. А дальше идут разговоры об «общем деле» и о Лизавете Николаевне, и о Федьке Каторжном (вот она—связь с разбойничьим миром!) и даже знаменитая готовность Верховенского доставить Ставрогину Лизу:

«—Ах, да, вот и опять кстати: если вы давеча серьезно о том замысле, помните насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на все готовая личность, во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим услугам... Что это, вы за палку хватаетесь. Ах, нет, вы не за палку... Представьте, мне показалось, что вы палку ищете.

Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг, с каким-то странным движением в лице.

— Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова,— брякнул вдруг Петр Степанович, уж прямехонько кивая на пресс-папье,—то, разумеется, я могу все устроить и убежден, что вы меня не обойдете.

Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери.

— Я потому так,—прокричал он скороговоркой,—что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли. Я бы желал, чтобы вы это заметили.

Он исчез опять, не дожидаясь ответа».

Все это в первой половине главы «Ночь». Во второй ее части мы имеем знаменитую беседу Ставрогина и Кириллова, не менее знаменитую беседу его с Шатовым и характеристику Верховенского, сделанную Ставрогиным, и признание Ставрогина о своей связи с «обществом», и его слова, что он одновременно проповедывал веру Шатову и неверие Кириллову, и речи Шатова, излагающего мысли Ставрогина о католицизме, о христианстве и народе «богоносце», и намек Шатова на тайный садизм Ставрогина («Правда ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?»). И ночное путешествие к Лебядкиной, и ночная встреча с Федькой Каторжным, которому Ставрогин бросает деньги, молчаливо соглашаясь на убийство жены и давая совет: «Режь еще, обокради еще».

И перед лицом этой главы, где Ставрогин обрисован весь, с его философией и психологией, со всеми замыслами, *до конца*, где Верховенский обрисован не менее детально, где твердо обрисованы их взаимоотношения и *участие в общем деле* и т. д., — перед лицом этой главы, с которой каждый грамотный человек может ознакомиться самостоятельно, Л. П. Гроссман имеет смелость заявлять, будто «утверждение

В. П. Полонского, что «до опубликования отчета о процессе нечаевцев оказались о п у б л и к о в а н н ы м и в с е т е г л а в ы, в к о т о р ы х б ы л и о к о н ч а т е л ь н о о б р и с о в а н ы взаимоотношения В е р х о в е н с к о г о и С т а в р о г и н а», совершенно голословно и неверно»!

Нужно ли после этого еще ждать «авторитетного приговора русской историко-литературной науки»?

Основное мое положение, выставленное по вопросу об использовании Достоевским отчетов процесса нечаевцев для характеристики взаимоотношений Ставрогина и Верховенского, *Л. П. Гроссманом* **не поколеблено.** Эти взаимоотношения в романе установлены **подробно и окончательно в главах, напечатанных до появления первых протоколов процесса.**

III.

Возражая против моих замечаний, Л. П. Гроссман обнаруживает некритическое отношение к своим собственным утверждениям. Ссылаясь, напр., на Л. Ф. Достоевскую, он пишет: «Нечаевский процесс произвел сильное впечатление на воображение Достоевского и послужил сюжетом для его знаменитого романа «Бесы». Л. Ф. Достоевская сообщила много пустяков в воспоминаниях о своем великом отце. Но что простительно этой легкомысленной мемуаристке, того никак нельзя простить ученому автору, хорошо умеющему блистать эрудицией и изяществом слога. Л. Ф. Достоевская могла впопыхах обмолвиться, будто процесс, *начавшийся* разбором *в июле 1871 года*, мог послужить *сюжетом* для романа, из которого почти половина оказалась уже напечатанной? Но как мог привести эти слова наш автор,—просто непонятно! Л. Ф. Достоевская, писательница неопытная и поверхностная, спутала две разные вещи: «*дело* Нечаева», т.-е. убийство Нечаевым Иванова, обнаружившееся в конце 1869 года, обошедшее затем страницы всех газет, с «*процессами*» нечаевцев и самого Нечаева, происходившими в 1871 и 1873 г.г. Убийство Иванова Нечаевым и все те статьи и заметки, которые посвятили этому делу газеты, действительно интересовали Достоевского; сам он весьма отчетливо сообщил это в одном из своих писем: «Ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, как из газет». Именно эти газетные сведения, а вовсе не «процесс Нечаева», как опрометчиво, словами дочери писателя, заявляет Л. П. Гроссман, — и дали толчок замыслу «Бесов». Что мы имеем здесь дело не с случайной ошибкой (Л. П. Гроссману ошибаться не впервой!), а с некритическим отношением нашего автора к изучаемому материалу можно заключить из его дальнейших утверждений, решительность которых вполне соответствует их ошибочности.

Поставив своей целью доказать, что Достоевский для своего романа действительно пользовался материалом нечаевского *процесса*, Л. П. Гроссман решил привести «наконец — ultimo ratio — заявление самого Достоевского: «некоторые из наших критиков, — цитирует Л. П. Гросс-

ман его слова,—заметили, *что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела;* но тут же заявили, что собственно портретов у меня нет (указание на типизацию действительности в романе); *все это, скажу от себя, совершенно справедливо».*

И приведя это свидетельство Достоевского, Л. П. Гроссман, с торжеством, на глазах у читателя, его «преображает»! «Таким образом,—заключает он,—пользование Достоевским *материалами нечаевского процесса* для «Бесов» засвидетельствовано самим автором». Разве не прав был я, заметив об одержимости автора оспариваемой гипотезы? Достоевский говорит о **фабуле нечаевского дела,** которую он узнал из газет, и которую он, разумеется, узнал *до написания* «Бесов» — иначе как он мог ею воспользоваться для романа, частично уже напечатанного, — а Л. П. Гроссман *«фабулу нечаевского дела»* превращает в **«материалы нечаевского процесса»!**— и при этом еще торжествует!

IV.

Коснемся еще одного изобретения моего оппонента.

«Доверяясь, видимо, П. Е. Щеголеву,—читаем мы,—В. П. Полонский, объявляет без всяких доказательств, что мнение о Нечаеве, как прототипе П. Верховенского, неверно».

Л. П. Гроссман имеет возможность убедиться, что я редко кому «доверяюсь». Привычка—вторая натура, а моя исследовательская натура недоверчива. Не доверяя поэтому и приведенной выписке, я обращаюсь к своей работе, чтобы разыскать место, где я «без всяких доказательств» высказывал столь противоестественное утверждение. Лишний раз я убеждаюсь, что недоверчивость не принадлежит к числу пороков. Приписываемой мне мысли в моей работе не имеется. Л. П. Гроссман и здесь применил метод «широкой амплитуды», отчего мое высказывание сделалось непохожим на самого себя. Пользуясь теорией Л. П. Гроссмана, можно сказать, что приведенная им выдержка является художественным образом, прототипом которого послужила одна моя фраза. Как это и полагается в настоящем произведении искусства, прототип изменился до неузнаваемости. Извлечем же на свет этот прототип. Вот что писал я о Нечаеве:

«Петра Верховенского Л. П. Гроссман, следуя общепринятому и неверному мнению, *попросту считает Нечаевым».*

Как видим, изложение Л. П. Гроссмана, действительно, «художественное». Я говорю, что Верховенского нельзя *отождествлять* с Нечаевым, считать его просто *Нечаевым,* так же точно, как Степана Верховенского нельзя считать *просто* Грановским. Я основывался на признаниях самого Достоевского, на методе его художественного творчества,—в романе Нечаев был взят не как историческое лицо, а *как тип,* как яркий представитель нечаевцев, безбожного, нигилистического, социалистического поколения *«детей»,* которых обличал в своем романе Достоевский. Точно так же старик Верховенский был не воспроизведением историче-

ской фигуры, а также *типом*, обобщенным представителем «идеалистов 30—40 годов» — представителем «*отцов*», которых также обличал в том же романе Достоевский. На диспутах, которые я имел с Л. П. Гроссманом,— а сталкивались мы три раза,—я подробно говорил на эту тему. Это не помешало моему противнику все перезабыть и так «художественно» преобразить мою мысль, что я принужден отклонить от себя честь быть ее автором. В результате получилось, что, доверяясь (какой срам!) П. Е. Щеголеву, я отрицал, будто Нечаев был прототипом Петра Верховенского, чего, разумеется, я сделать не мог, так как Нечаев действительно послужил Достоевскому прототипом для Верховенского. Л. П. Гроссман полагает, вероятно, что я отрицаю существование в природе «прототипов» вообще. Это не верно. Я отрицаю лишь, что Бакунин был прототипом Ставрогина. Из того, что Нечаев был прототипом Петра Верховенского, вовсе не вытекает, что и Бакунин должен поэтому быть прототипом Ставрогина. Это элементарно, как азбука, и не моя вина, если нам приходится вспоминать ее. Вложив мне в уста мысль, явно неправильную, которой я не высказывал, Л. П. Гроссман пространно, блестя эрудицией, которую ему, очевидно, некуда девать, привлекает в свидетельство газету «С.-Петербургские Ведомости» (1871 г., № 25), и газету «Голос» (1873 г., № 18), и газету «Русский Мир» (1873 г., № 5), и Н. К. Михайловского, и П. Н. Ткачова, и А. Л. Волынского, и А. Г. Достоевскую, и, наконец, самого Ф. М. Достоевского,—все это для того, чтобы победоносно много раз доказать пред лицом изумленного мира: «лошади кушают овес. Нечаев был прототипом Петра Верховенского» .

Я не удивляюсь теперь, почему Л. П. Гроссман спорит длинно. Ему приходится проделывать двойную работу: со старательностью, поистине похвальной, он опровергает не только то, что противник его высказал, но многое из того, что противник его высказывать не намеревался.

Поскольку зашла речь о моих «прототипах», давших повод художественному творчеству Л. П. Гроссмана, приведу еще один образец этого творчества.

Вот «прототип», извлеченный из моей статьи:

> «*Никаких сложных взаимоотношений двух знаменитых деятелей на процессе нечаевцев оглашено не было* просто потому, что никто из обвиняемых (Нечаев ведь судим был в 1873 году) не был в курсе этих отношений. Были оглашены лишь бумага, выданная Нечаеву за подписью Михаила Бакунина, и «Катехизис революционера», *при чем авторство этого катехизиса и причастие Бакунина к его составлению* остались для суда нераскрыты. Это одно обстоятельство уничтожает какую бы то ни было возможность для Достоевского детально ознакомиться по отчетам со сложными взаимоотношениями двух знаменитых деятелей».

Слова, приведенные в кавычках,—мои слова. Каюсь. Но вот что извлекает из этих слов мой уважаемый противник:

«Итак, пишет он, —

> *1) никаких сведений* об отношении Бакунина и Нечаева на процессе оглашено не было;

2) авторство Бакунина в «Катехизисе революционера» и даже участие его в составлении этого документа остались для суда нераскрытыми;

3) Достоевский *никак не мог узнать из отчетов процессов об отношениях Бакунина и Нечаева*».

Я протираю глаза: трансформация необычайная. Мы присутствуем, очевидно, при мгновенном превращении прототипа в художественный образ. На одной и той же странице прототип говорит: «никаких *сложных* взаимоотношений оглашено не было... *Были оглашены лишь* бумаги, выданные Нечаеву», и т. д., и тут же, на той же странице, это совершенно ясное утверждение преображается до неузнаваемости.

1) *никаких* сведений... оглашено не было...

3) Достоевский *никак* не мог узнать из отчетов... и т. д.

Вот что значит быть художником и отдаваться своеволию интуиции. Правда, добрейший П. Н. Сакулин именно за богатую «интуицию» похваливает Л. П. Гроссмана, но нам почему-то кажется, что и П. Н. Сакулин смутится от такого применения интуитивного метода. Ведь и здесь, — я извиняюсь, что мне так часто приходится подмечать это,— ведь и здесь с моими утверждениями наш автор обошелся без достаточной деликатности. Такое обращение с противником во всяком случае нельзя назвать джентльменским. Это тем более нерационально, что страдает сам Л. П. Гроссман. Ведь читатель, надеюсь, без труда убедится, что положение, выведенное Л. П. Гроссманом из моих посылок, ни в какой мере мне не принадлежит, что и здесь «широкая амплитуда» повредила моему оппоненту. Совершенно ясно: я отрицал возможность извлечения из отчетов представления о сложных взаимоотношениях Нечаева и Бакунина по мотивам, которые я перечислил выше, что, напротив, Л. П. Гроссман всемерно поддерживал. Наличность же *несложных* взаимоотношений, т.-е. связи между Бакуниным и Нечаевым, я не отрицал, и это можно усмотреть из той же самой цитаты, которую привел Л. П. Гроссман (бумага, выданная Нечаеву с подписью М. Бакунина, и т. д.). Неверны, следовательно, и первый и третий тезисы, столь художественно преобразившие мои утверждения. Достоевский, конечно, кое-что мог почерпнуть из отчетов, но вся сила в том,—мы выше говорили об этом более подробно,— что взаимоотношения Ставрогина и Верховенского были им разработаны, намечены и зафиксированы в тех главах романа, которые появились в печати до выхода в свет первых отчетов о процессе нечаевцев.

И в данном случае Л. П. Гроссман остался верен себе.

Не задерживаясь подробно на крайне существенных моих утверждениях, окутав туманом недомолвок главу «Ночь», имеющую решающее значение в нашем споре, он старательно и пространно доказывает... что, согласно протоколам процесса, Бакунин и Нечаев действительно находились в связи.

«Показания обвиняемых... устанавливали несомненную связь Нечаева с Бакуниным», с горячностью сообщает он последнюю новость. Разве установление «несомненной связи» на процессе я подвергал сомне-

нию? Передо мною было следующее утверждение Л. П. Гроссмана: «Изучая процесс нечаевцев, Достоевский неоднократно встречался с именем Бакунина, и *сложные взаимоотношения* двух знаменитых деятелей современной революции сообщили ему немало материалов для его романа». Можно ли ставить знак равенства между понятиями «несомненная связь» и «сложные взаимоотношения»? *Именно установление* **последних** *на процессе я отрицал*, и после обширных извлечений Л. П. Гроссмана продолжаю отрицать. Никаких «сложных» взаимоотношений Бакунина и Нечаева на процессе опубликовано не было.

Л. П. Гроссман с чувством живейшего удовлетворения цитирует то место романа, где Ставрогин спрашивает Верховенского: «Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связи с Internationale, ревизором», делая отсюда умозаключение, что фраза эта сделана «по уставу», оглашенному на процессе. Спорить не будем. Эта фраза может быть сделана и по уставу. Мой оппонент с упорством хочет несколько трансформировать предмет спора. Я настойчиво утверждаю, что в главах романа, напечатанных **до** процесса, **уже** окончательно и подробно намечены взаимоотношения героев «Бесов». Нет, возражает Л. П. Гроссман. В главах романа, напечатанных **после** процесса, встречаются следы его влияния». Я ведь не отрицал того, что Достоевский вообще пользовался отчетами процесса *для дальнейших частей* романа. На диспутах я указывал даже, что сцена убийства Шатова «сделана» Достоевским по отчетам. Но, повторяю, речь идет о том, почерпнул ли Достоевский в отчетах материал для характеристики «сложных взаимоотношений» Ставрогина и Верховенского. А этого не было, не могло быть, взаимоотношения этих героев оказались определенными до процесса. В частности вопрос, приведенный выше, почти теми же словами, Ставрогин уже задавал однажды Верховенскому.

«Вы там каким-нибудь шефом меня представили? — как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович». Этот вопрос задан на 203 странице «Бесов» (изд. 1883 г.), которая появилась в «Русском Вестнике» до того, как начал слушаться процесс нечаевцев. Что же доказывает нам Л. П. Гроссман?

Наш противник с торжеством приводит фразу Верховенского: «Вы сами устав писали, вам нечего объяснять», полагая, что эта фраза является отчетливым указанием на «лицо, послужившее прототипом Ставрогину». Л. П. Гроссман, конечно, отступает от своей теории литературного прототипа. Здесь черта прототипа переносится механически, фотографически, до полной, буквальной «узнаваемости». Но если мы для иллюстрации приведем признание Ставрогина, сделанное им Шатову, картина получится следующая:

«Вы спрашиваете: как мог я затереться в такую трущобу?—говорит Николай Всеволодович.—После моего сообщения я вам даже обязан некоторою откровенностью по этому делу. *Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде*, и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал.

Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а *если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану—и только.* Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно и, кажется, я тоже приговорен».

В чью пользу говорит это признание? Был ли Михаил Бакунин прототипом Ставрогина или не был? По теории Л. П. Гроссмана, «вот именно был»—*именно потому*, что он здесь **неузнаваем.** Но по той же теории выходит, что он был прототипом еще и потому, что **«узнаваем»** («вы сами устав писали»). Очень хорошая теория! [1])

V.

Что же касается «Катехизиса» и «авторства» Бакунина, мы остаемся при своем прежнем мнении. *В наши дни*, после воспоминаний А. И. Успенской, после заявления М. П. Сажина, *сомнений у нас нет.* Я об этом писал весьма подробно в первом томе своей монографии о Бакунине. В 1871 году, в дни процесса, а также в последовавшие за ним пять десятилетий, вопрос о принадлежности «Катехизиса» Бакунину был спорен—это наше утверждение совершенно точно. Ни один ученый не считал *объективным* доказательством авторства Бакунина *речь адвоката*, который, защищая своих подзащитных, строил защиту таким образом, чтобы главную вину,—вину руководства, авторства, изобретательства переложить на «эмиграцию», бывшую вне пределов досягаемости царского суда. У Спасовича, может-быть, было интуитивное (и основательное) убеждение в том, что не Нечаев, а Бакунин был создателем «Катехизиса». *Но никогда еще историческая наука не пользовалась интуицией адвокатов* (да и вообще чьей бы то ни было интуицией) *как объективными свидетельствами*, устанавливающими те или иные исторические факты. Эту интуицию можно было разделять; ее можно было отвергать, и мы знаем, что *одна часть* писателей и историков *склонялась* к мысли, что «Катехизис» написал Бакунин, *другая отрицала* это, но никто из сторонников догадки Спасовича не делал попыток считать факт написания

---

[1]) Не могу не отметить еще одного вольного толкования моих замечаний. «Утверждение Л. П. Гроссмана,—писал я,—было бы правильно лишь в том случае, если предположить, что Достоевскому могли быть известны отчеты процесса месяцев за шесть до его разбирательства». По точному смыслу моих утверждений речь шла *о напечатанных главах* романа. Разработать взаимоотношения Ставрогина и Верховенского, в напечатанных до июля 1871 г. главах, пользуясь отчетами процесса, происходившего в июле и августе, Достоевский мог бы только в указанном выше случае. С блеском доказав мною ранее установленный факт, что отчеты печатались именно в июле и августе 1871 г., а последняя часть романа—в 1872 году (что̀ никем не подвергалось сомнению), Л. П. Гроссман победоносно (он всегда заключает свои критические экскурсы победоносными резюме) заявляет:

«Утверждение В. П. Полонского... совершенно категорически опровергается фактической историей романа, докатившейся до самого 1872 года».

Не дорого же достаются победы Л. П. Гроссману!

Бакуниным «Катехизиса» *установленным*. Н. Утин в своем докладе категорически утверждал принадлежность катехизиса Бакунину—этот доклад Л. П. Гроссман считает «объективным» источником. Но Л. П. Гроссман превосходно знает, что *утверждение Утина было основано на тех же материалах нечаевского процесса, на той же интуиции Спасовича* и, подогретое партийной ненавистью, в пылу борьбы, оно получило свою категорическую форму. Вряд ли от этого увеличилась его достоверность. Потому-то в исторической литературе, посвященной Бакунину, вопрос об авторстве «Катехизиса» оставался открытым до самых последних дней, когда интуиция Спасовича получила фактическое обоснование.

Все это дает нам полное основание утверждать, что мой уважаемый противник не прав, пытаясь доказать противоречащее истине утверждение, будто на процессе нечаевцев было **раскрыто** авторство Бакунина в «Катехизисе революционера». О «Катехизисе» *говорили*, авторство его приписывали Бакунину—это относится к области фактов,—но ложным, неверным, неправильным будет умозаключение, будто приписывание Бакунину авторства (*«Я не смею приписывать его Бакунину»*, деликатно выразил свою формулу Спасович), пусть даже искреннее приписывание, дает кому бы то ни было основание утверждать, что авторство Бакунина на суде оказалось «раскрытым», т.-е. *обоснованным, доказанным*. А ведь речь идет именно об этом. В странном положении оказывается наша историческая литература, которая задолго до Л. П. Гроссмана знакома была и с материалами процесса, и с осторожными утверждениями Спасовича, и с докладом Утина, и, тем не менее, не бравшая на себя смелость утверждать, как *доказанное, то, что подлежало доказательству*. Такие умозаключения можно делать лишь с помощью «широкой амплитуды». Но в исторической науке этот метод еще не завоевал себе прав гражданства.

VIII. О границах интуиции.

Иному читателю покажется странным наш длинный разговор. На первый взгляд это как будто спор из-за мелочей. Правда, такой взгляд имеет под собой почву. Л. П. Гроссман постарался нагромоздить большое количество пустяков, поставив меня перед необходимостью произвести критическую ревизию этого арсенала. Но только поверхностный читатель не уловит методологического значения нашей растянувшейся дискуссии. Суть ее, в конце-концов, не только в том, послужил или не послужил Михаил Бакунин прототипом героя «Бесов». Меня вооружила против себя работа Л. П. Гроссмана *не столько выводами, сколько доводами*. Неприемлемость гипотезы обнаружилась из тех способов, которыми она была обоснована. Меня отталкивает не культурно-философское значение утверждений Л. П. Гроссмана, а их методологическая легковесность. Пользуясь приемами моего противника, можно доказать, что Бакунин был прототипом Ставрогина и что он им быть не мог; что он был

единственным прототипом и вместе с тем одним из многих, послуживших Достоевскому жизненной натурой для его героя; можно доказать, что прототипом был Бакунин, но им мог быть также Спешнев, Герцен, а может-быть, какое-нибудь другое лицо и т. д.

Причина этой зыбкости заключена в том, что наш автор в исследовании своем идет от мелочей, ищет внешних сближений, игнорируя их случайность, разбивает художественный образ на осколки и к осколкам некогда живого образа с скрупулезным трудолюбием мозаиста подыскивает соответствующие изолированные черты в облике облюбованного прототипа. При этом он, повторим нашу первоначальную формулу, «словно одержимый, отдавшись своеволию интуиции, изобретает, когда документальных подтверждений не находит; умалчивает, когда они ему противоречат; устанавливает, как доказанные, положения, которые нуждаются в доказательствах; толкует в благоприятную сторону события и факты, имеющие смысл, обратный тому, которого он добивается». Если бы такая «методология» нашего исследователя была особенностью его индивидуальной «манеры», об этом можно было бы лишь поскорбеть, причислив Л. П. Гроссмана к тем историкам-импрессионистам, которые любят говорить «очень красиво», не слишком заботясь о логических основаниях своей красивой речи.

Но Л. П. Гроссман имеет защитников. Правда, число их невелико. Но среди них имеются такие видные писатели, как проф. П. Н. Сакулин, хорошо знающий Достоевского, и Ю. М. Стеклов, считающийся знатоком Бакунина. Здесь, разумеется, можно было бы заметить, что первому недостает хорошего знания Бакунина, а второму—Достоевского. Но не будем на этом настаивать. Предположим, что это обстоятельство не сыграло значительной роли в определении симпатий названных двух авторов.

За что же П. Н. Сакулин похваливает Л. П. Гроссмана? В посвящении, украсившем «ответ Вячеславу Полонскому», мой оппонент доводит до сведения читателя, что в нашем споре ему, Гроссману, оказало «мощную поддержку» авторитетное слово П. Н. Сакулина. В чем же выразилась эта «мощная» поддержка? Разве П. Н. Сакулин «целиком» принял гипотезу нашего автора? Нет, этого он не сделал. Насколько можно было понять, осторожные и уклончивые заявления П. Н. Сакулина, сделанные им публично (о публичных заявлениях его, я полагаю, и идет речь в «посвящении»), он не склонен признать правильным самое открытие Л. П. Гроссмана: по крайней мере, несмотря на «мощную», как выражается мой оппонент, поддержку, проф. Сакулин не сказал определенно, принимает ли он или не принимает выводы Гроссмана, признает или не признает правильной его гипотезу. Эта неопределенность и дала, вероятно, основание Л. П. Гроссману определить выступления П. Н. Сакулина как «мощную» поддержку именно его, Гроссмана, точки зрения. Метод «широкой амплитуды» не изменяет своему изобретателю.

П. Н. Сакулин избрал благую часть: он с опытностью старого морехода обошел все рифы и мели, обратив внимание свое на «художе-

ственные» достоинства его работы. Вольный полет интуиции—вот что особенно пленило П. Н. Сакулина в разбираемой гипотезе Л. П. Гроссмана. Смысл мощной поддержки сводился, таким образом, к тому, что если «воображаемая картина» и не соответствует действительности, то она хорошо выдумана.

Проф. Сакулин взял под свою защиту наиболее уязвимое место в работе Л. П. Гроссмана—его метод. Как опытный исследователь, проф. Сакулин превосходно понимает, что смысл нашего спора заключается именно в методе. Если метод Гроссмана законен—его выводы делаются логически обязательными, ибо вся сила не в том, что доказывает Л. П. Гроссман, а в том, как он это доказывает. На предыдущих страницах я показал достаточно подробно «художественную манеру» его доказательств. Здесь мне хочется сделать лишь несколько общих замечаний по поводу интуиции и ее места в историко-литературном исследовании.

Что есть интуиция? Это могущественная, еще не исследованная способность человека путем внесознательных догадок, какими-то мгновенными озарениями опережать эмпирический, рационалистический опыт. Она окрыляет наши творческие способности. Она убыстряет движение науки, делая скачки вперед там, где точное знание останавливается в нерешительности. Но ее движения несамостоятельны; ее существование зависимо от сферы сознательного человеческого опыта. Интуиция идет впереди науки, но она лишь рычаг ее, один из вспомогательных способов постижения мира. Интуиция—служанка науки. Она заполняет пробелы нашего разумения в рядах установленных научных истин. Там, где интуитивная догадка не находит позднее прямых или косвенных подтверждений, она рано или поздно будет сдана в архив несбывшихся пророчеств, ложных гипотез, необоснованных умозаключений.

Сам по себе интуитивный метод не должен вызывать чувства захлебывающегося восторга. Все дело в том, живет ли интуиция в мире с научным сознанием или противоречит ему. В последнем случае интуиция может переродиться в религиозное откровение и беллетристическую выдумку, очень эффектную, но бесплодную, как библейская смоковница. Поскольку интуиция противопоставляет себя точному знанию, поскольку она всецело полагается на свои вольные крылья, которые летят, куда хотят, — постольку из рычага, двигающего вперед знание, она превращается в орудие личного произвола, в источник фантастических вымыслов, уместных в художественной, преимущественно детской литературе, но с которыми науке нечего делать.

В частности в исторической науке интуиции должно быть отведено почетное место. При реконструкциях прошлого, в исторических исследованиях, где ряды тончайших и потому важнейших вопросов не могут быть обоснованы документально,—интуиции принадлежит выдающаяся роль. Не только «художественная манера» изложения, но и «художественный», т.-е. интуитивный, метод разрешения вопросов вполне законен и уместен в исторической науке. Но этот метод только тогда будет благотворен,

плоды его усилий только в том случае будут нами приняты, как вклад в наше знание, когда эти плоды не будут противоречить историческим фактам, материалам и законам. В последнем случае интуиция порывает с наукой, из орудия научного познания превращаясь в беллетристику, заявляющую неосновательно претензии.

В каком смысле наши соображения могут быть применены к Л. П. Гроссману?

Мою первую статью, о Бакунине и Достоевском, я резюмировал следующими словами:

«Неужели Л. П. Гроссман не замечает, в какие дебри путаницы завела его столь слабо обоснованная гипотеза, противоречащая всем без исключения материалам о Достоевском, в том числе и материалам, опубликованным Л. П. Гроссманом».

Это резюме я поддерживаю и сейчас. Интуитивные домыслы нашего автора противоречат существующему знанию нашему о Достоевском. Потому-то мы и говорим: тем хуже для интуиции Л. П. Гроссмана, сколь бы самоотверженно ни расхваливал ее П. Н. Сакулин, сколь бы горячо он нам ни доказывал, что его подзащитный написал действительно историческое исследование, а не «исторический» рассказ, который надобно понимать «духовно», т.-е. с учетом «художественных» особенностей нашего автора.

* * *

На этом можно было бы закончить наш затянувшийся разговор с Л. П. Гроссманом. Но в его антикритике имеется заключительная глава: «По поводу истории Николая Ставрогина». Много места потратив на обширнейшие обоснования утверждений, которые не вызывали спора, наш автор весьма поверхностно коснулся именно заключительной главы моей работы. Он прикинулся даже недоумевающим, полагая очевидно, что сделать «непонимающие глаза», — значит поразить противника в самое сердце.

Чтобы не оставить его в недоумевающем состоянии, займемся «Историей Николая Ставрогина» более основательно. В конце-концов, спор идет именно о нем, а не о Гарибальди, не об Огареве, не о тех третьестепенных вещах, о которых мы принуждены были говорить выше столь пространно.

Рассмотрение этой темы мы отложим до следующей книги нашего журнала.

(Продолжение следует)

О. Домье. — Печатник, вставший на защиту прессы. (Литография).

ОНОРЭ ДОМЬЕ.

Я. Тугендхольд.

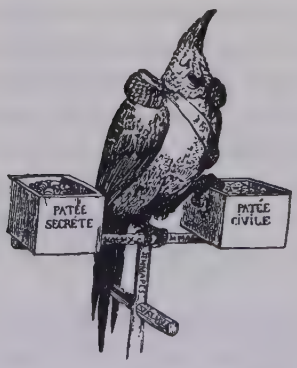
I.

Несправедлива и, вместе с тем, своеобразно закономерна судьба Онорэ Домье, как и судьба всякого гения. Широкая популярность сопутствовала ему при жизни: в течение почти полустолетия поколения трех революций внимали его остроумию, следили каждый штрих его карандаша, каждое крепкое словцо его надписей. Но то была поверхностная популярность журналиста, исчерпывающую формулу которой дал его современник Бодлер: «буржуа, деловой человек, мальчишка, женщина—все они каждое утро смеялись при виде его карикатур и... проходили мимо—неблагодарные!—часто не посмотрев даже на подписанное имя». И действительно, современники видели в Домье меткого карикатуриста, но проглядели под его веселым балахоном шута серьезнейшего художника; только немногие избранные, как Бодлер, Делакруа, Мишле, чувствовали его удельный вес. Таков рок искусства карикатуры: злободневное заслоняет в нем вневременное, и оно сдается в архив, как только злоба дня теряет свою соль. Рисунки Домье потонули в ворохе старых бумаг. Его картины исчезли в руках частных коллекционеров. Пелена забвения готова была затенить его скромные инициалы: «H. D.»

Но правильно сказал где-то Поль Гогэн: «карикатура перестает быть карикатурой с того момента, как она становится искусством». Домье снова оживает в художественном сознании европейского общества

и оживает в новом ореоле—великой, почти универсальной артистической личности. Европейская критика начинает понимать, что Домье был не смешливым юмористом, но глубоким сатириком,—сатириком едва ли меньшего колибра, нежели Раблэ, Лафонтен, Мольер. Она начинает понимать, что Домье в качестве литографа и гравера на дереве был великим мастером рисунка,—быть-может, величайшим рисовальщиком XIX века, а вместе с тем, одним из крупнейших живописцев, предвосхитившим многие достижения нашей современности, и, в довершение всего, блестящим предтечей современной скульптуры. О Домье снова заговорили, ему стали посвящать научные труды; его журнальные и книжные рисунки подверглись каталогизированию, а его картины и маленькие акварели сделались объектом жадных, а подчас и спекулятивных поисков тех самых «любителей эстампов», которых Домье так часто изображал...

Но если на Западе воскрешение Домье идет по линии эстетической, художественно-формальной, в плане спокойного академического изучения, то нас, русских, наследие Домье привлекает к себе вдвойне. Оно волнует нас не только блестящими искрами своего многогранного гения, но и всей своей внутренней общественной насыщенностью. Именно нам, русским, дано до конца оценить «явление Домье» во всем его пророческом значении. Именно от нас тянутся к нему живые, вбирающие стебли, или, вернее, от него — через голову современного фашистского Запада— протягиваются корни к нам, в молодую Россию, которая на протяжении семи лет пережила то, что родина Домье переживала целое полустолетие. *Домье—наш.* Для нас он не только «классик» и старый мастер, каким его ощущает современный Запад,—более чем кто-либо чувствуем мы величие его человеческого сердца, горечь его социального юмора, который он мог бы объяснить словами Бомарше: «я тороплюсь смеяться из опасения, как бы не заплакать». Задачи политической иллюстрации, задачи жанровой живописи никогда еще не имели в наших глазах столь крупного значения, как ныне. И в этом отношении Домье предстает перед нами как живой учитель полиграфического мастерства, как мастер воинствующей сатиры, как беспощадный разоблачитель буржуазного строя, как анатом, вскрывающий мельчайшие язвы мещанского быта.



О. Домье. — Луи Филипп.

Но не только в производственном мастерстве и в сатирической остроте источник нашей тяги к Домье. Еще более ценен для нас Домье именно тем, что он был не только реалистом и бытописцем, что в искусстве его было не только простое или критическое отображение действительности. Я разумею тот высокий пафос, который сообщал его творчеству динамическую мятежность и, в то же время, эпическую монументальность. Если бы даже Домье и не был деятелем трех революций, то и тогда его искусство не переставало бы быть *революционным* само по себе—по всему своему миро-

О. Домье. — Улица Транспонен 15 апр. 1834 г. (Литография).

ощущению, по всему своему тонусу. Это искусство — огненный сплав реализма с романтикой, быта—с героикой. Это искусство—буря и натиск человеческого духа, рвущегося из оков мещанства. Прав был Бальзак, когда при первом же взгляде на рисунки Домье воскликнул: «В этом молодце сидит Микель Анджело!».

Все это делает Домье гораздо более жизненно близким нам, в С.С.С.Р., нежели французским «любителям эстампов», по-плюшкински прячущим его произведения, или самой официальной Франции, которая так и не удосужилась все еще уделить Домье достойное место в своих государственных музеях. А скоро исполнится 50 лет со дня его смерти!

II.

Онорэ Домье родился в 1808 году в Марсели, в семье стекольщика. Это южное и народное происхождение наложило впоследствии свою двойную печать на искусство Домье, сообщив ему, с одной стороны, темпераментность и пластичность, свойственную художникам юга, а с другой—крепкую выразительность и правдолюбие демократа. Семья Домье переселилась в Париж, когда ему было семь лет, и здесь, питаемая зрелищами столицы и музеев, рано пробудилась его склонность к рисованию. Однако, нужда заставила его служить то посыльным у адвоката, то приказчиком в книжной лавке, и Домье едва ли скоро выбился бы на дорогу искусства, если бы не одно обстоятельство, позволившее связать «баловство художника» с заработком ремесленника,—спрос на литографский труд.

Изобретенная в 1796 г. баварцем А. Зенефельдером литография проникла во Францию значительно позже, и как раз 1816 г., год приезда семейства Домье в Париж, совпал с открытием в нем целого ряда

О. Домье. — Ратапуаль. (Скульптура).

заведений по литографской печати, развитие которых достигло своего апогея к концу 20-х и началу 30-х г.г. В такой же мере, как гравюра на дереве и на меди отвечала условиям прежних социальных эпох, литография соответствовала новым общественным потребностям. Литографский способ воспроизведения, позволявший более быструю и дешевую мультипликацию, нежели гравюра, стал орудием политической печати. В литографском камне новая революционная пресса обретала себе союзника гораздо более эластичного, нежели медная гравюра, служившая Великой революции. Именно эта волна «литографской лихорадки» вынесла Домье на поверхность. Сначала ему приходилось исполнять случайные работы (украшение нот, меню, пригласительных билетов), но вскоре он нашел подлинную точку приложения для своего дарования—Онорэ с энтузиазмом примкнул к тому художественному движению, которое сгрудилось вокруг передовой политической прессы. Эта республиканская пресса возникла в памятном 1830 г., как только выяснилось, что монархия Луи Филиппа нисколько не лучше монархии Карла X. В ноябре 1830 г. художник и издатель Шарль Филиппон основал еженедельный сатирический журнал «Карикатуру»,—выдержавший, кстати сказать, около 100 процессов в течение шести месяцев,—а через два года и ежедневную газету «Шаривари».

На почве этого протеста против июльской монархии и объединилась целая группа лучших рисовальщиков той эпохи: Монье, Гранвиль, Травье, Шарле, Декам. Приглашенный Филиппоном и вскоре же высоко оцененный другим руководителем «Карикатуры», Бальзаком, Домье отныне навсегда связал свою судьбу с политической прессой, подписываясь сначала псевдонимом, затем «H. D.» и, наконец, полным именем и фамилией. Он работал в «Карикатуре» с 1831 по 1843 г. (за вычетом 6-месячного тюремного заключения) и в «Шаривари» с 1835 по 1874 г., выпустив из рук карандаш лишь за пять лет до смерти, когда слепота уже заволакивала его переутомленные глаза. За эти 40 с лишком трудовых лет художник развил исключительную производительность, оставив после себя 4000 литографий и 900 гравюр на дереве, к которым надо присоединить еще около 400 картин маслом, акварелей и набросков. Сравнительно меньшая цифра работ последней «вольной» категории объясняется тем, что Домье в течение всей своей жизни был художником-пролетарием, с необес-

печенным завтрашним днем, художником-журналистом, и, вместе с тем, жертвой этого журнализма. У него было мало досуга и возможности творить «вообще», вне утилитарного назначения. Однако, никакие материальные лишения не сломили гордости Домье и его республиканских убеждений. Когда министерство Наполеона маленького предложило ему под конец его жизни орден почетного легиона, Домье имел мужество отклонить этот «дар данайцев», со скромным юмором мотивируя свой отказ «желанием на старости лет видеть себя в зеркале без смеха». Устроенная за год до смерти Домье ретроспективная выставка его произведений (под председательством Виктора Гюго) совпала—о, ирония судьбы!—со смертью римского папы и, пройдя мало замеченной, даже не окупила себя. Когда Домье умер, правительство должно было похоронить его на свой счет, так как художник не оставил после себя ни копейки; государство пришло на помощь художнику тогда, когда это было уже слишком поздно! Полуслепой и старый, Домье окончил бы свою карьеру в полной нищете, если бы не дружеская поддержка пейзажиста Коро, который приобрел для него небольшой домик в местечке Вальмондуа (на Уазе), где Домье и умер в 1879 г. Восторженные симпатии немногих друзей, как Бальзак, Делакруа, Мишле, Бодлер, Гюго, Диаз, были вообще единственной прижизненной наградой этому скромному борцу, который, будучи почти самоучкой и выйдя из низов, в то же время обладал высокой духовной культурой.

Такова несложная ткань биографии Домье. Его жизнь—это история его искусства, а его искусство—это история Франции, летопись ее бурь и затиший. И в то же время — история мировая, потому что французские революции XIX века были вехам всемирного значения, равно как и Париж — центром внимания лучших представителей человечества той эпохи (достаточно напомнить, что как раз в 30-х г.г. в Париже были Гейне, Берне, Шопен, Жорж Занд и др.).

О. Домье. — Ратапуаль ухаживает за Республикой. (Литография).

Первые литографии Домье явились послед-

О. Домье. — Европа на бомбе. (Литография).

ней данью той наполеоновской легенде, которая вдохновляла целые поколения его старших собратьев по искусству, Гро, Жерико, Верне, Шарле, Рафе, — он рисовал гренадеров на поле сражения. Но революция 1830 г. направила карандаш Домье от идеализации прошлого к протесту против настоящего, к правде современности. Домье понял великую общественную миссию художника. На одной из ранних его литографий изображены рабочие перед витриной книжного магазина. «Паренек прав, — говорят они, рассматривая карикатуру, — революцию-то сделали мы, а вкушают ее плоды — они». И первый же рисунок Домье скромно подписанный Онорэ, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Это был знаменитый «Гаргантуа». Художник изобразил свифтовского великана с лицом, напоминающим Луи Филиппа, в жадную пасть которого сенаторы и министры бесконечной чередой приносят мешки с золотом, взамен чего получают выходящие из другого отверстия чины и ордена; внизу, справа, Домье изобразил тех, за счет которых происходит этот своеобразный «обмен веществ» — бедняков, женщин с грудными детьми, рабочих, принужденных поступаться своим заработком для пополнения корзины обжоры-монарха. Такова была первая сатира Домье, еще довольно средняя по художественному уровню, но сразу же развернувшая всю широту понимания художником «хитрой механики» общественного строя. За эту работу, с места в карьер, Домье был присужден к шестимесячному тюремному заключению. Однако, тюремная кара не исправила художника: наоборот, она еще больше закалила твердость его убеждений, остроту его наблюдательности; он вышел из тюрьмы созревшим человеком и гражданином.

Еще раньше появилось произведение, в котором сказался уже подлинный мастер: это — лист с 15 портретами в форме театральных масок, названных поэтому художником «Масками». С изумительной силой выразительности, как проникновенный физиономист, увековечил Домье прислужников монархии, орлеанистов (Гизо, Тьера, Сульта и др.), и самого короля с грушевидной головой. Вслед за этой серией головок, появились еще более замечательные портреты-бюсты, и, наконец, целые фигуры членов правительственного большинства, — целый зверинец человеческих пороков, начиная от лакейства и кончая надменностью.

В этой политической галлерее Домье вполне развернул свое проникновенное уменье угадывать духовное в физическом и обобщать случайно-индивидуальное до общечеловеческого. Предшественник Домье, Гранвиль, также любил изображать людские пороки, но для этого он наделял человеческие фигуры звериными головами, подражая египетской и готической карикатуре. Наоборот, Домье, идя по следам Леонардо-да-Винчи и Брейгеля-старшего, искал животные черты под маской самого человеческого лица, под личиной самой человеческой фигуры, сохраняя при этом всю реальность живого сходства. Подлинным венцом этих портретных исканий Домье явился его знаменитый лист «Законодательное чрево» (1834), изображающий скамьи министров и депутатов центра. Здесь художник еще раз собрал воедино все свои модели, чтобы показать парламентскую машину за работой,—за работой, которая совсем не отвечает высокой ответственности своего назначения, а, наоборот, лишь выявляет мелкие обывательские слабости этих скучающих, дремлющих, нюхающих табак и злословящих кретинов—пэров Франции. В этой изумительной коллективной карикатуре обнаружилась рука созревшего мастера, как и во всех вообще работах середины 30-х г.г., этой блестящей поры творчества Домье.

Более осторожным приходилось быть художнику в его карикатурах на самого короля, которого он рисовал в самых различных обликах, в виде груши, арлекина в парламенте-цирке, «доброго буржуа» в огромном цилиндре и с огромным зонтом (каким он изображен на литографии «Похороны Лафайета») или, наоборот, хирурга и доктора, который у ложа умирающего политического арестанта говорит судье: «*Этого* можно отпустить на свободу, он более не опасен». Политические репрессии и процессы, столь обильные в это время, волновали Домье особенно сильно. Таковыми, в частности, были печальные события апреля 1833 г.—восстание в квартале св. Мартина, разразившееся вслед за лионским восстанием и подавленное солдатчиной с исключительной жестокостью. В знаменитой литографии «Улица Транспонен 15 апреля 1834 года» художник с потрясающей силой реализма запечетлевает одну из картин этой кровавой бойни: жалкую мансарду пролетарской

О. Домье. — «Империя, это — мир». (Литография).

семьи, опрокинутую мебель, безмолвие смерти—распростертые на полу трупы старика, женщины, мужчины и грудного ребенка. Этот изумительный рисунок соединяет в себе протокольную правду данного места и времени с пафосом вечной трагедии,—трагедии всех безымянных, но столь героических гекатомб пролетариата Молоху истории. В других листах художник изображает тот политический «процесс-монстр», который последовал за этой бойней. Вот обвиняемый с завязанным ртом и скрученными руками, которому председатель суда игриво говорит: «Вы имеете слово, объясняйтесь же свободно». Вот гигантский призрак в белом саване, который выводит пальцем на здании Люксембургского дворца, где происходило судьбище—«Дворец террора». Мы видим, наконец, и самих судей этого апрельского процесса, довершающих собой портретный зверинец Домье—судей, которых Домье трактует с гениальной, толстовской, психологической простотой: он показывает в них не каких-либо особенно-грозных чудовищ жестокости, а самых мирных чиновников, с брюшком, сонных, пьяненьких и бесконечно ничтожных. Эти пэры Франции, эти кровавые судьи — те самые обыватели-буржуа, которые, будучи мирными «отцами семейств», так часто являются автоматами жесточайшей классовой мести.

Не дремало, однако, и правительство. Литография «Улица Транспонен» изымалась из продажи и уничтожалась, а через год, в силу новых «сентябрьских законов» о печати, республиканский орган Филиппона «Карикатура» был и вовсе закрыт. В последнем номере ее Домье успел еще раз послать свое проклятье режиму. Он изобразил жестокую атаку кавалерии на безоружную толпу народа, при виде которой выглядывающие из могил покойники 1830 г., убитые за свободу во время июльской революции, с горечью замечают: «ради *этого* не стоило нас убивать!». В другом месте (в ежемесячном выпуске «Литографской Ассоциации») Домье нарисовал мощного рабочего-типографа, твердо вставшего с сжатыми кулаками на защиту печати от ее врагов. Эти враги—Луи Филипп и его министры. Справа изображена другая группа—поверженного Карла X со свитой, которые как бы напоминают об ожидающей и «короля-буржуа» участи. И это грозное предостережение печатника Домье сбылось. Февральской революцией внезапно опрокинуло монархию Луи Филиппа. Республиканская мечта Домье осуществилась, и художник не мог отказать себе в удовольствии в последний раз бросить в догонку бежавшему королю свою насмешку: «*Проект медали Луи Филиппа, последнего короля французов*»...

Сорок восьмой год отразился в творчестве Домье немногими, но весьма характерными литографиями. Вот «Последний совет министра»—паническое бегство бывших угнетателей при одном лишь появлении Свободы—женщины в фригийском колпаке, возникающей в дверях, как легкое и светлое виденье. Здесь впервые за многие годы, на ряду с гримасой насмешки, просияла радостная улыбка художника. Равным образом не гневные, а добродушные ноты прозвучали в других его листах, рисующих низы общества, вынесенные на верх стихией революции. Таков, например, «Парижский мальчик в Тюйльри»—подросток-оборванец, усевшийся,

задрав ноги, на королевском троне под клики вооруженной чем попало толпы. Совершенно напрасно почтенный доктор Курт Бартельс, автор одной из книг о Домье, полагает, что здесь отразилось недовольство художника «чернью», его предостережение по адресу республики, которой угрожает опасность «слева». Сочувствие Домье, несомненно, на стороне этого самого уличного мальчишки, который, наверное, не мало помог исходу революции во время уличной схватки.

Если Домье кого и высмеивает на другой день после революции, то это скорее тех буржуа, которые, гуляя, в диком ужасе сворачивают при виде идущей «банды *вооруженных людей*», т.-е. тех же подростков, играющих в национальную гвардию. Этот слепой страх буржуа перед революционной улицей на всевозможные лады осмеян Домье в его серии «Alarmistes et Alarmées». Без злой насмешки, а скорее с добродушным юмором изображает Домье и манию банкетов и митингов, охватившую эмансипированных женщин, рисуя в беспомощном виде мужа, 48 часов ожидающего свою ушедшую на собрание жену-социалистку. Зато с нескрываемым омерзением изображает Домье других «банкетчиков»—почтенных граждан возомнивших себя «спасителями общества», т.-е. буржуазных национальных гвардейцев, пьянствующих по поводу жестокой победы над июньскими инсургентами. Самая трагедия июньской борьбы пролетариата мало запечатлелась в рисунках Домье, так же как и ужасы последующего осадного положения, введенного в Париже генералом Кавеньяком. Этому, впрочем, удивляться не приходится, ибо, по образному выражению Маркса, то была пора цензуры, пора господства «казармы бивуака, сабли и винтовки, усов и солдатских мундиров», — пора, когда «сабля и винтовка судили и управляли, опекали и цензуровали общество».

О. Домье. — «1871 г.—ужасающее наследство». (Литография).

Июньская победа была, как известно, Пирровой победой буржуазной республики—она бросила ее в объятия реакции. Инстинкт свободы заставил Домье почувствовать растущую опасность, и он направил, насколько мог, острие своего карандаша против монархических деятелей Национального Собрания, против подымающего голову монархизма,

клерикализма и милитаризма. Так, в цикле «Парламентских идиллий», в этом царстве интриг и конспирации, мы видим Тьера—особенно ненавистного Домье—то в образе пьяного амура с крылышками, показывающего зад (очевидно, делу свободы), то в виде карлика со смешной важностью мечтающего о короне, то в виде матереубийцы, замышляющего удушение прессы. В другом месте Домье изображает нашествие на Париж иезуитов, угрожающих воцариться в университете, и т. д. Но наиболее ярким откликом Домье на опасность бонапартизма явились его произведения, посвященные Ратапуалю. Под этим именем Домье создал особый бессмертный тип, синтетически воплощающий все отвратительные черты так называемого «Общества 10 декабря», т.-е. всей той банды авантюристов, бывших людей, аристократов и босяков, отставных военных или неудавшихся журналистов, которые готовили монархический переворот.

О. Домье. — Июльская монархия. (Гравюра на дереве).

Ратапуаль Домье—гениальный тип такого бонапартистского агента и агитатора, тип проходимца, наделенный, однако, разительным сходством с самим Наполеоном III,—тип в то же время столь яркий по своей сконцентрированной выразительности, что он возвышается до некоего общего символа всяческого черносотенства или контр-революционного эмигрантства. Домье показал Ратапуаля двояко. Он вылепил небольшую фигурку, изображающую этого героя в бравурной позе, опирающегося на дубину, с лихо закрученными по-военному усами и в поношенном сюртуке бывшего интеллигента. Этой изумительной фигурке, вызвавшей тайные восторги передовых элементов парижского общества, пришлось долгие годы пролежать в белье г-жи Домье, укрытой от обысков и доносов, пока, наконец, в наше время она попала в Люксембургский музей. И затем, опираясь на этот найденный и пластически оформившийся образ, Домье показал Ратапуаля в ряде литографий в различные моменты его черной работы: то, в качестве пролазы, проникающего в Национальное Собрание, то на совещании таких же темных личностей, то в деревне, куда он отправляется, чтобы одурманить избирателей-крестьян. Наиболее яркое из этой серии — Ратапуаль в качестве галантного ухажора за Республикой, которой он предательски предлагает свою руку, держа за спиной здоровую дубину. Эта карикатура — целый исторический документ, блестящий обвинительный акт против контр-революции и в то же время жуткое пророчество. Ибо «Ратапуаль» Домье — несомненно, предчувствие того самого переворота, который и произошел 2 декабря 1851 г.

О. Домье. — В египетском отделе. (Гравюра на дереве).

С победой Луи Бонапарта Домье должен был сложить свое оружие. Ни о какой политической сатире нельзя было и думать. Характерно для Домье, что обезоруженный в качестве политического сатирика, он в то же время до такой степени не приемлет этой II империи, что не поддается соблазну ее бытового отображения, искусу той внешне-блестящей аристократической жизни, которая так пышно расцвела в этом Париже «Декабря» и которая столь пленяла другого талантливого рисовальщика, Константина Гюйса. Так, характерно, что когда известный барон Хоссман начал перестраивать Париж и разрушать узенькие улички и старые дома, чтобы уничтожить очаги восстаний и создать «столичный», широкий Париж, Домье сочувствовал не этому эстетическому прогрессу, а... беднякам, которым приходилось со всех их скарбом перекочевывать в другие кварталы, и самим старым, поседевшим в дыму восстаний, домам...

Раз нельзя было касаться политики Франции, Домье перенес свое внимание по ту сторону границы, на дела международные, в откликах на которые попрежнему сквозит его благородное сердце. Художник обрушивается на Николая, на русское казачество и русскую нагайку, высказывает сочувствие Италии в ее борьбе с Австрией, подымает голос в защиту Ирландии, нападает на Пруссию и т. д. Подавленный сгущающимися над Европой военными тучами, Домье все чаще настраивается на мрачный лад. Его литографии все более и более бьют в набат, в одну точку,— в чудовище милитаризма. Он изображает европейское «Будущее» в виде атлета с завязанными глазами, «Европу», балансирующую на дымящейся бомбе, «Мир», спящий на пушке, или «Ангела мира», едва держащегося на тончайшей паутине, «Марса», дремлющего на мешках с золотом, пожираемых растущими вооружениями, или «Новую пушку»—со счетчиком, отбивающим при каждом выстреле стоимость войны. В 1868 г. Домье выпускает литографию, которую называет «Статуей будущего», посвящаемой трем «героям»: изобретателям митральезы, нового ружья и новой пушки.

Поистине, чем-то зловещим и трагическим веет от этого цикла антимилитаристических образов Домье: они должны занять свое место среди таких величайших протестов искусства против войны, как «Картины осады» и «Бедствия войны» Калло и Гойа. Но если в последних двух отразились войны докапиталистические, то рисунки Домье—крик возмущения против империализма буржуазного, против смертоносного техницизма современности.

О. Домье.—Библиофил. (Гравюра на дереве).

Наступает «страшный год»: год разгрома Франции, падения Империи и поражения Коммуны. С горечью, в которой глубина страдания изгоняет последние остатки иронии, Домье изображает итог войны: уголок села, развалины, пожарище и трупы. И он снабжает этот лаконический рисунок, потрясающий своей кладбищенской поэзией, не менее лаконической надписью— знаменитым лозунгом Луи Бонапарта: «*Империя*,

О. Домье. — Избирательное собрание. (Литография).

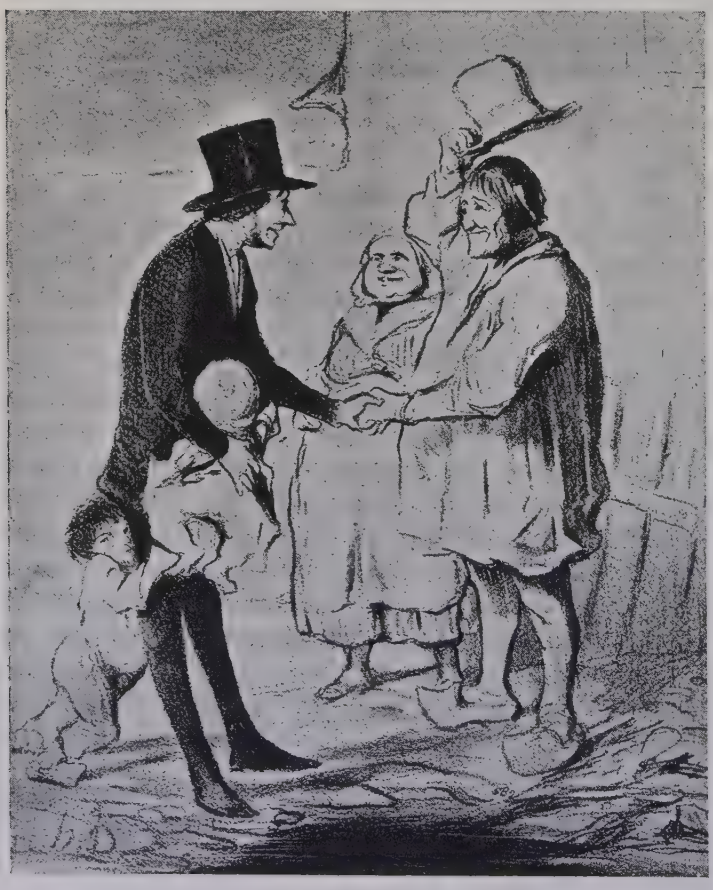
это—мир». В другом месте Домье изображает Францию 1871 года аллегорически—в виде обнаженной фигуры, распятой на скале и терзаемой диким орлом, или женщины, закутанной в черное траурное покрывало и закрывающей глаза при виде бесконечно простирающегося поля трупов. Эта последняя литография («1871—ужасающее наследство»)—единственный отклик Домье на трагедию Коммуны. Правда, Домье сделал еще несколько рисунков, относящихся к гражданской войне. «*Колесницу государства*», разлираемую двумя лошадьми в сторону Парижа и в сторону Версаля, *Каменьщиков*, дерущихся у развалин дома («Если рабочие дерутся между собой, то как же может быть восстановлено жилище?») и, наконец, «*Статую Франции*» без рук, намекающую на желание правых обезоружить Республику («Республика Милосская или идеал правых»). Но все эти рисунки являются лишь весьма косвенными и холодными отзвуками событий, отнюдь не заглаживающими того факта, что художник не изобразил ни борьбы, ни агонии Коммуны. Подобно своей аллегорической женщине на поле трупов, и Домье, подавленный горем, не мог, очевидно, детализировать и конкретизировать своих впечатлений. Ему уже было не 26 лет, как тогда, когда он мог на другой же день после бойни на улице Транспонен откликнуться на это событие замечательным произведением. Престарелый художник устал. Чаша его переживаний переполнилась до краев.

Можно ли, однако, сомневаться в том, что душа Домье была не на стороне версальцев, не на стороне Тьера, которого он и раньше столь

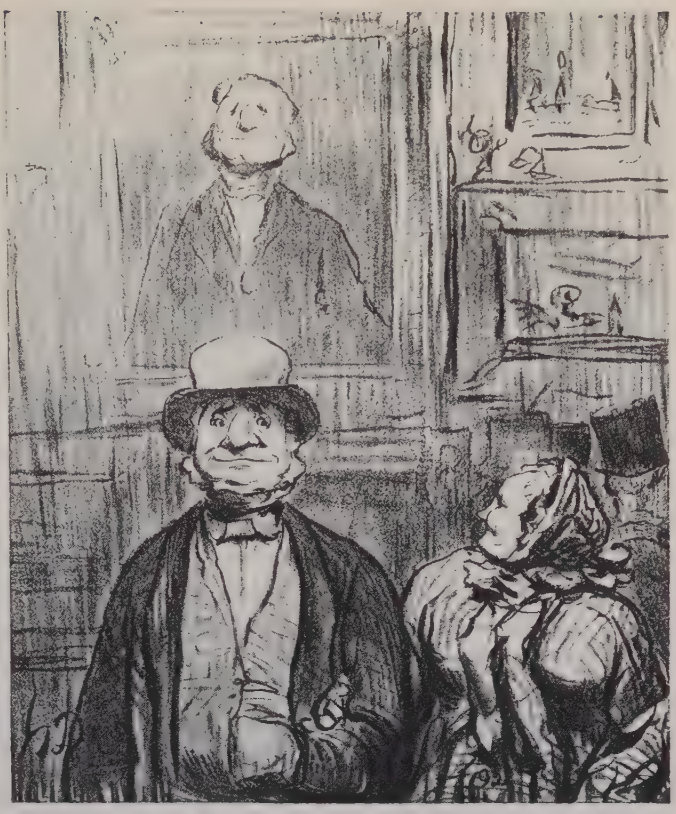
ненавидел, словно предчувствуя его будущую роль палача?.. Конечно, нет! Пусть Домье и не запечатлел своего непосредственного сочувствия Коммуне, но всего того, что он сделал за сорок лет своей деятельности достаточно, чтобы сказать, *кому именно* сочувствовал Домье. Более того,— подводя итоги, мы должны признать, что социально-политические иллюстрации Домье являются для нас столь же *классическими* и в то же время *революционными* памятниками XIX века, как и сами всемирно-исторического значения комментарии к «Классовой борьбе во Франции» Карла Маркса. Эти классовые симпатии и антипатии Домье еще яснее обнаружатся перед нами из дальнейшего обзора его бытовых рисунков и его жанровой живописи.

III.

В моменты вынужденных политических затиший, Домье поворачивал острие своего карандаша в сторону быта; так было во второй половине 30-х г.г., после запрещения «Карикатуры». И тогда его гнев политического борца сменялся ядовитым смехом наблюдателя человеческой комедии. Творчество Домье на бытовые темы почти необъятно, оно числит громадное количество серий: «Добрый буржуа», «Пастораль», «Актульности», «Синие чулки», «Разводчицы», «Супружеские нравы», «Парижские наброски». Оно имеет своим объектом всю окружающую жизнь — общественную и семейную, парламентскую и театральную, городскую и пригородную и т. д. И при всем этом громадном охвате оно легко может быть сведено к одной главной теме — *выявлению*



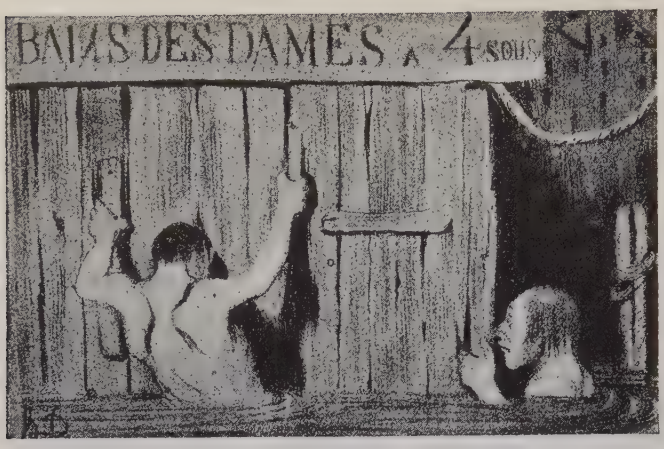
О. Домье. — «Какие милые детишки!» (кандидаты и избиратели). (Литография).



О. Домье. — Модель и портрет. (Литография).

буржуазной психологии. Сороковые годы во Франции отмечены вообще необычайным интересом к самопознанию, к обнажению быта, — интересом, вылившимся целым потоком всевозможных альманахов «Français peints par eux-mêmes», «Les mystères de Paris», «La grande Ville», «Les physiologies parisiennes» и т. д. Но среди этих «физиологов» Парижа подлинными талантами были двое: Бальзак в литературе и Домье в изобразительном искусстве— Домье литограф и Домье-гравер на дереве (украшавший перечисленные альманахи своими виньетками). Бытовые рисунки Домье — это целая хроника, целая эпопея буржуазии, ее «естественная история», ее «человеческий документ». Самый метод *серий* показывает, что Домье изучает буржуазию как подлинно-научный экспериментализт, наблюдая ее в различных условиях времени и места, среды и обстановки, не останавливаясь ни перед какими мелочами, заглядывая даже в спальни мирных обывателей или в щели парижских купален. И на основании этих наблюдений художник выводит некий общий, средний, тип «доброго буржуа» (не даром почти все его буржуа действительно похожи друг на друга). Тип, характеристика которого, при всей ее добродушно-юмористической обрисовке, является не чем иным, как страстной филиппикой против мещанства, косности, самодовольства, близорукости, мелочного эгоизма, продажности и жадности этого класса, служащего опорой общественного порядка. Тип, который можно рассматривать как своего рода штамп, как маску целого класса, как самую ходячую мелкобуржуазную стихию.

Подобно марионеткам, проходят здесь перед нами все представители буржуазного города, начиная от полунищей богемы и кончая денежной аристократией: бродяги, разносчики, живодеры, инвалиды, газетчики, парикмахеры, кучера, лавочники, портные, адвокаты, рантьеры, дельцы,



О. Домье. — «Купальщики». (Литография).

финансисты, домовладельцы; только двух элементов не мог касаться художник — военных и попов. И все они, при всем своем живописном разнообразии, объединяются художником в один синтетический тип, который в такой же мере является детищем Домье, как и тип Ратапуаля — Робер Макер. Этот персонаж, заимствованный художником из модной в то время мелодрамы, превращается под его рукой в столикое существо, в человека-хамелеона — продажного журналиста, циничного адвоката, фальсификатора лекарств, лицемерного филантропа, чиновника-карьериста, злостного банкира, хищного дельца и т. д. и т. д. И во всех своих метаморфозах Робер Макер остается подлинным символом мелко-буржуазной Франции, столь же художественно-выпуклым, как образы-типы Мольера.

Но этот «добрый буржуа» Домье эластичен, изобретателен и подвижен, как ртуть, только там, где дело касается осуществления совета Гизо— *«обогащайтесь, господа»*, и, наоборот, он тяжеловесен, консервативен и туп во всех остальных отношениях. Бытовые серии Домье выявляют это перед нами в яркой степени. В самом деле, каковы *художественные вкусы* этого буржуа? Это—засилие лже-классицизма, это—мода слепо заимствованная от аристократии и совершено не отвечающая современности. Это— полная художественная беспринципность, заставляющая покупать картины *на вершки* (чтобы они подошли к такому-то месту на стене столовой), пожимать плечами перед работой пейзажистов, которые делают для чего-то «портрет старого дерева», или делать гримасу лицемерной стыдливости перед обнаженной статуей... Каково *мироощущение буржуа*? Это—психология комнатного филистера, оторванного от природы и боящегося снега, ветра, сквозняка, ручья, солнца, лягушки, каждого вороньего пугала,—психология, дающая Домье повод к веселому и здоровому смеху над неудачливыми приключениями горожанина на лоне природы (таковы серии: «Пасторали», «Охота», «Рыбная ловля» и т. д.)... *Его физическая природа*? Это—телесная неповоротливость, неуклюжесть, уродство, вызванные сидячим образом жизни, нелепой вредной одеждой и галантереей—уродство городской наготы, над которой Домье с беспощадной иронией смеется в сериях своих «Купальщиков» и «Купальщиц», изображая их в чепчиках и под зонтами, как пародию на резвящихся в море античных богов и героев... Каков *культурный уровень* этого

общества? Это—способность бесконечно «шокироваться» всем, что нарушает представление о комильфотности, и в то же время испытывать праздное любопытство к сплетням, скандалам, происшествиям, наравне с полным недоверием к науке, к прогрессу и панической боязнью всего нового (как, например, езды по железной дороге). *Политический быт?* Это—сплошная продажность, заигрывание кандидатов с избирателями, хлестаковские обещания этим избирателям протежирование, радение за своего человечка, торговля чинами и назначениями... *Судебные нравы?* Это—поединок грязи и клеветы между сторонами, ораторское недержание адвокатов, это—то вопиющее социальное издевательство, которое звучит в словах одного из жирных судей Домье: «Вы были голодны? Но это не довод, — я тоже почти каждый день голоден, и все-таки не ворую»... *Филантропия?* Это—лицемерное прикрытие самопомощи и саморекламы за счет столовок для бедняков, это—пьяные оргии общества «Ревнителей трезвости», это—издевательство «гуманных» тюремщиков, милостиво посещающих арестантов (серия «Филантропы дня»)... И, наконец, «*быт семейный*»? Это—неряшливость, распоясанность, адюльтер, это—мужья под башмаком, жены—синие чулки, заброшенные дети, это—женская эмансипация ради курения опиума, ради артистической мании или мании развода. Как раз в последнем отношении надо, впрочем, сказать, что как ни смеялся Домье над «синими чулками» и «учеными женщинами», продолжая традицию Мольера, но в этом смехе было не только объективно верное отображение того распада семьи, который вызван был революцией, но и некоторый сочувственный интерес к женщине, которая все же скорей обнаруживает у Домье какие-то человеческие порывы, нежели мужчина, всегда погрязший в своих делишках, в своем халате и туфлях. Во всяком случае, Домье с большей наблюдательностью отразил эпоху Жорж Занд, нежели Гаварни, односторонний поэт гризеток.

С еще бо́льшим и уж неоспоримым сочувствием изображал Домье низы социальной лестницы — бедняков, прячущихся от домовладельцев, пристающих с квартирной платой, или прогоняемых домовладельцами, не любящими, чтобы в доме были «семейные с детьми», бедняков, простаивающих перед недоступными для них роскошными съестными витринами или распевающих песни на голодный желудок.

О. Домье. — Галерка. (Литография).

Так, словно некая гигантская фильма, развертываются перед нами в десятках серий и сотнях листов различные сценки царства «доброго буржуа». Домье изображает своих героев в большинстве случаев попарно, во время встреч и прогулок, дающих повод к диалогам. Но не менее любит Домье показывать *толщу городской толпы*, ее стадную психологию. И здесь он предстает перед нами в новом аспекте: как *художник города*, *художник коллективно-динамической стихии*. С подлинной пристальностью социолога Домье изучает все те места, в которых скопляется масса людей: бульвары, ярмарки, похороны, залы аукционов и суда, суетливые вокзалы и вагоны 3 класса, где публика набита как сельди в бочке, вернисажи салонов и музеи по воскресеньям, где усталые зрители дремлют на диванах, хвосты у театральной кассы и, наконец, театры.

Домье страстно любит театр,—*театр вообще*, все то, на чем лежит печать театральности: высокую «Французскую Комедию» и ярмарочный балаган, оперу и грязный кафешантан. Он любит театральность за то, что она—та же жизнь, но жизнь в кубе, — сгущенная, заостренная, ускоренная, наэлектризованная. Его любовь к театру, его подход к театру — демократичны и современны по самому своему существу. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить театральные мотивы Домье с образами театра в искусстве XVIII века. Моро младший, Сент Обен или Ланкре видели в театре прежде всего торжественное зрелище, величавое и симметрично-монумен-

О. Домье. — Финал. (Гравюра на дереве).

О. Домье.— В Лувре. (Гравюра на дереве).

тальное; они возводили зрительный зал и сцену, как некую панораму. Домье поступает иначе: он переносит центр тяжести внимания со сцены на зрительный зал, с актера — на зрителя. Ибо актера он предпочитает низводить с его пьедестала, рисуя на него шаржи, срывая с него трагиклассическую маску и показывая под ней будничную физиономию обывателя. (Таковы серии его «Трагико-классических физиономий».) А сцена нужна ему лишь постольку, поскольку она является ключом к пониманию настроения публики, поскольку она так или иначе заряжает зрительный зал. Вот почему, изображая «Драму», Домье достаточно было показать только часть происходящего на сцене — раздирающую сцену убийства, видимую в просвете амфитеатра, между потолком и головами бурно реагирующих зрителей. Домье кощунственно ущемляет сцену, ибо для него гораздо важнее показать публику—коллективного зрителя. Эту публику Домье изучает с поразительной силой социологического и психологического проникновения. Он показывает ее прежде всего в различном общественном разрезе, а затем, углубляя анализ, рисует различные индивидуальные оттенки внутри этой классовой скобки. И мы видим: вот публика партера, вот публика галерки. Аристократы, шикарные супруги, чинно сидящие в креслах, с презрительным холодом торопятся уйти домой, даже не дожидаясь конца представления, когда опустится занавес (см. воспроизводимую нами гравюру «Финал»). За то

«демос», наполняющий ложи верхних ярусов и галерку, относится к спектаклю совсем иначе. Галерка с остервенением сражается из-за кусочка места, толкает, душит друг друга, выворачивает шеи, лишь бы удовлетворить свое жадное любопытство к происходящему на сцене. Эта сидящая друг на друге публика—подлинная демократия театра, активно переживающая спектакль. Она превращается в единого зрителя, в одно огромное сплошное ухо и глаз, в зеркало сцены, и в то же время, как многоразлична эта галлерея физиономий, эта клавиатура переживаний, эти разнообразные гримасы смеха, слез, споров, ссор! Гениальный физиономист заменяет здесь маски театра масками зрителя.

Таковы замечательные театральные рисунки Домье, делающие его мастером городской коллективной психологии, своего рода предтечей современного «унанимизма» à la Жюль Ромэн. Ибо Домье умел воплощать эту коллективную стихию толпы не только на театре, но и в плоскостях более серьезных. Так—дважды—он написал картину «Восстание», показав душу улицы в бурном движении толпы, сведенном, как к фокусу, к стремительному жесту призывающей вперед девушки [1]). В другой раз он развернул обратное движение толпы — не стремительность революции, но замедленную поступь усталых «беженцев-эмигрантов», — трагическую процессию коллективного горя. Но здесь мы уже вступаем в область Домье-живописца.

О. Домье.— Гравюра на дереве.

IV.

К живописи Домье рвался всегда. Иначе не могло быть: он обладал пылким, артистическим темпераментом, он пребывал в окружении своих друзей художников-живописцев Коро, Диаза, Добиньи, Делакруа, он жил в городе-музее, где были сосредоточены столь близкие его натуре произведения фламандской и голландской живописи, Рубенса и Теньера. Но—увы!—вечная нужда и всепоглощающая журнальная работа, препятствовали ему отдаться живописи. Лишь сорока лет взялся он впервые за кисть, когда казалось, что вместе с победой февральской революции его обличительная миссия окончилась. В 1848 г. Домье написал для официального конкурса аллегорический образ «Республики»—прекрасную величественную композицию, которая настолько монументальна, что могла бы служить проектом памятника. В противоположность хищному Гаргантюэ, поглощающему народные силы, «Республика» Домье—титаниче-

[1]) В этом смысле интересно сравнить «Баррикаду» Делакруа с «Восстанием» Домье. Первый строит свою композицию как романтик, второй—как городской импрессионист, показывающий часть вместо целого, несколько ущемленных рамкою голов и фигур, которые, тем не менее, внушают нам впечатление целого, впечатление *массы*.

О. Домье.— Карнавал. (Гравюра на дереве).

ская женщина, молодая народная мать, кормящая своими могучими грудями двух прильнувших к ней младенцев; двое других, читающих книгу, сидят у ее подножья, олицетворяя собой то, что мы теперь назвали бы символом всеобщей грамотности.

Но ошибся Домье, с энтузиазмом встретивший Республику 1848 года; изменилась форма правления, но дух Робер Макэра остался. «Добрые буржуа» прошли мимо прекрасной композиции Домье, правительство не дало ему награды, и попрежнему художник обречен был на бедность. Но кисть была взята и отныне уже не могла выпасть из его рук. Сначала Домье работал над журнальными литографиями по ночам, чтобы днем отдаваться живописи; затем в 1860 г. он пытается порвать свой контракт с «Шаривари» и окончательно сбросить с себя ярмо журнализма. Именно в этот период—50—60 г.г.—появляются одна за другой работы маслом и акварелью Домье,—те самые чудесные акварели, за которые при жизни он получал гроши и которые ныне ценятся почти на вес золота. В 1863 г. нужда заставила Домье снова стучаться в двери «Шаривари» и снова делить свое творчество между злободневным и вечным.

Обзор живописного наследия Домье мог бы служить самостоятельной темой, выходящей за рамки данного журнала, но все же нам необходимо бросить хотя бы беглый взгляд на эти создания последних 30 лет его жизни, в которых его гений достиг своего высшего пафоса.

Психологически вполне понятно, что Домье, словно желавший отдохнуть в своей живописи от злободневно-удручающей современности, обратился за вдохновениями прежде всего к басням Лафонтена, к греческой мифологии, к Библии, к Мольеру, к Сервантесу. Но, будучи жадно влюбленным в современность, он вскоре уже стал трактовать кистью те же самые сюжеты, которые наполняют его творчество рисовальщика: парижеские вокзалы и вагоны третьего класса, театральные «ложи» и любителей эстампов», сцены суда и народные типы. Однако, и в первом романтическом своем цикле Домье обнаруживает себя как художник-реалист, с глубокой выразительностью трактующий здоровое веселье сатиров, злобный хохот толпы, осмеивающей Христа или страдальческую гримасу мольеровского «Мнимого больного». В серии картин, посвященных «Дон-Кихоту», этот реализм Домье достигает особенной обобщающей силы. Роман Сервантеса был настольной книгой художника, и он постоянно, в разные моменты своей жизни, возвращался к рыцарю печального образа и его оруженосца. Но, в противоположность банальным иллюстраторам Сервантеса, Домье пленялся не забавными приключениями Дон-Кихота, не анекдотической, а скорее психологической стороной этой темы. Среди угрюмого холмистого пейзажа едут две фигуры, и мнится, никогда не перестанут ехать, пока существует свет. Изможденный, невероятно высокий и напряженно-прямой Дон-Кихот, в постоянной боевой готовности стремящийся вечно вперед на своем чудовищно-костлявом, похожем на готическую химеру, Россинанте; а за ним вечно отстающий на осле, круглый, тяжелый и трусливый, плетется Санхо-Панса. Таков лейт-мотив 27 вариаций, в которых Домье углубляет тему о Дон-Кихоте. Здесь нет ни мельниц, ни потасовок—здесь все упрощено до максимума, сведено к изначальным психологическим контрастам. В ритмах неуклонного дон-кихотовского устремления вперед и постоянного вялого отставания Санхо-Панса как бы динамически символизированы две противоположные бездны человеческого духа. И не потому ли возлюбил Домье роман Сервантеса, что чтил в суровой фигуре рыцаря вечный идеализм, а в его благоразумном оруженосце угадывал прообраз того самого «доброго буржуа», с которым он боролся в течение всей своей жизни...

Если в Дон-Кихоте Домье рисует трагическое противоречие между двумя сторонами человеческой души, то в серии «Скоморохов» перед нами встает ужасающая противоположность между внешним обликом человека и его существом. На одной из лучших картин Домье «Скапен», находящейся в частной коллекции Руара, мы видим Пьеро... но что это за Пьеро, как не похож он на нежного и лунного героя Ватто! Это—пролетарий с изможденным и грубым лицом, лишь переодевшийся в веселый карнавальный балахон. Или это—профессиональный Пьеро, старый отяжелевший от борьбы за существование скоморох, обязанный веселить публику народных гуляний, которого мы видим на другой картине «Отдых скоморохов». Есть нечто глубоко трагическое и щемящее в этом маскараде жизни, в этой насмешке белого домино над изрытым голодом

О. Домье. — Вагон 3-го класса. (Масло).

лицом, которой веет от последней картины. В других вариациях этой же темы. Домье переносит нас в самую гущу ярмарки, где на подмостках балаганов клоуны, паяцы, мясистые женщины, в мишурных и нелепых костюмах, с страшными гримасами, животным ревом и треском барабана зазывают посетителя взглянуть на крокодила или на «Геркулеса», который тут же, гордо закинув голову, выставляет напоказ свои атлетические мускулы. Этот же тип атлета встречаем мы и на другой картине Домье—«Борец». На темном фоне цирковых кулис белеет полуголая фигура этого нового профессионального «Геркулеса» современности с маленькой головкой и титаническим телом, продающего свои подвиги за кусок хлеба; а в просвете занавеса, в глубине арены свиваются в клубок мускулов его борющиеся товарищи-соперники, образуя единую, трепещущую мясную массу. Здесь та же насмешка над античностью с ее подвигами и героями, с ее культом силы, которая забавляла Домье в его литографиях, посвященных актерам классической трагедии. Но то, что казалось в журнальных карикатурах водевилем с переодеваниями, обретает в этих картинах поистине трагический смысл...

Если в цикле скоморохов и атлетов Домье интересует несоответствие внешнего облика социальной сущности, то в серии «Адвокатов» он показывает ложный пафос мимики и жестов этих Демосфенов современности, превращающий их в говорильные машины с бурно-развевающимися тогами. Позади, в полутьме судебных зал, мы видим многоликую публику,

спокойные ряды которой еще более подчеркивают искусственность адвокатской аффектации. Такова замечательная картина «Защитник», в которой мы видим старого заматерелого адвоката, пускающего профессиональную слезу и указующего красивым жестом на лукаво-воровское лицо подсудимой...

Однако, в живописном творчестве Домье есть образы и совершенно свободные от иронии. Это—образы прачек, кузнецов, водоношей, рабочих. Более того,—в них есть некоторая идеализация, но не та сантиментальная и принижающая идеализация, какая была по отношению к народу у некоторых наших передвижников, а идеализация здоровой физической силы, опошление которой Домье так горько чувствовал в своих скоморохах и цирковых атлетах. Таков, например, его «Кузнец» с лицом орла, столь непохожий на забитого кочегара Ярошенко и столь приближающийся к титаническому образу Верхарновского кузнеца, кующего волю к будущему. Такова работница за обедом, с голодной жадностью глотающая суп и в то же время кормящая могучей грудью своего ребенка,—это живое олицетворение написанной Домье «Матери-Республики». Таковы «Парижские прачки» с бельем и детьми, изображаемые Домье на фоне Сены и парижских домов,—каким пафосом силы, какой монументальной красотой исполнены их здоровые, округло-материнские фигуры. Это—городские сестры крестьянок Милле. И кажется, что Домье настолько же любуется этими крепкими прачками, насколько раньше в своих литографиях он высмеивал неврастенический феменизм буржуазных парижанок, этих «Синих чулков» и «Разводчиц».

Кузнецы, прачки с детьми, водоноши, бурлаки—вот единственные «парижские типы», которых пощадила ирония Домье, и более того,—в изображении которых его кисть достигла наибольшего синтеза, *наибольшего пафоса, наибольшей монументальности*. Домье провидел ту поэзию труда, которую впоследствии Константин Менье отлил в своих бронзах. И здесь мы снова приходим к тому выводу, к которому пришли, обозрев рисунки Домье: классовые симпатии Домье и его любовь художника лежали на стороне *пролетариата*.

V

Мы рассмотрели творчество Домье в плане идеологическом, в разрезе его внутреннего содержания; мы обозрели его политическую сатиру, его сатиру нравов, его образы быта. Теперь бросим взгляд на искусство Домье с точки зрения *художественной формы*, его приемов, его стиля, и определим общее художественное место Домье в современном искусстве.

Ибо само собой разумеется, что ценность произведений Домье не исчерпывается их иллюстративным, повествовательным значением. Домье не был иллюстратором—он был активным творцом. Если большинство работ Гаварни и других современных Домье рисовальщиков нуждаются

О. Домье. — Перед ярмарочным балаганом. (Масло).

в комментариях, в сопровождающих их надписях, то рисунки Домье говорят сами за себя—они в сущности могли бы обойтись без всякого текста. Когда историк Мишле в восторге писал Домье, что 10.000 статей не могут сделать в сознании читателей того, что делает один рисунок Домье, то этим самым он признавал не только агит-значение рисунков нашего художника, но и исключительную убедительность, выразительность и *пластичность* его образов. Домье был поистине скульптуром иронии. И здесь перед нами раскрывается изумительное органическое единство искусства Домье. В самом деле, этот многогранный художник почти одновременно работал на всех трех фронтах изобразительного искусства: лепил, рисовал (на камне и на дереве) и писал красками (маслом и акварелью). Но это была не любительская разбросанность эстета, а широта целого «производственного плана». Ибо, как ни различны техника и материалы скульптуры, графики и живописи, но эти фронты дополняли друг друга, вели художника к одной и той же конечной победе. Домье лепил из глины для того, чтобы уяснить самому себе в трех измерениях, в объеме, то, что ему предстояло изобразить на плоскости. Так именно создал он целую галлерею маленьких терракотовых бюстов парламентских деятелей июльской монархии, прежде чем изобразить их в своей литографской серии; так же вылепил он фигурку Ратапуаля, прежде чем заставить ее жить в различных движениях в серии своих литографий. Отсюда эта изумительная пластичность рисуночных образов Домье,

словно осязаемых нами во всех своих гранях. Равным образом, не удовлетворяясь литографией и ксилографией, Домье переносил те же излюбленные им сюжеты на мольберт живописца для того, чтобы с помощью кисти разработать их шире и синтетичнее (таковы, например, повторные мотивы адвокатов, любителей эстампов, вокзалов и т. д.). И, наконец, неудовлетворенный и самой живописью, роковым образом ограниченной двумя измерениями, он снова брался за глину для того, чтобы сделать еще полновеснее то, что ему казалось недостаточно убедительным в плоскостном разрешении. Так именно было с волновавшей его под конец его жизни темой об эмигрантах-беженцах, очевидно, навеянной политическими обстоятельствами. Помимо картины, Домье посвятил этой трагической теме два барельефа, столь нервных и трепетных по своему реализму, что они могут считаться прообразами творчества Родэна, Медардо Россо, Павла Трубецкого и др.

О. Домье. — Гравюра на дереве.

Работая на всех фронтах искусства, Домье чувствовал *самостоятельные свойства* каждого из них, их производственную сущность. Как рисовальщик на камне, он не имеет себе равных ни до, ни после себя, как Дюрер и Хокусаи — в области ксилографии, или Рембрандт и Гойа — в офорте и акватинте. Достаточно сравнить мелочно-однообразную манеру предшественников и современников Домье по литографии с его рисованием на камне, чтобы убедиться, что именно он выявил всю специфическую прелесть, все богатые возможности этого искусства, что именно под его рукой литография стала самостоятельно-графическим языком, отличным от языка гравюры,—языком, способным передавать все оттенки художественного темперамента, от эскизно-лирической мягкости до энергичной жесткости и, вместе с тем, все переходы blanc et noir, от ослепительно белого и серебристо-туманного до глубокой, бархатистой черноты. Домье сделал литографию многозвучным инструментом духовной выразительности и в то же время орудием чисто современного, лаконичного и динамического искусства города, подготовив в этом смысле почву для расцвета уличного плаката, для Тулуз-Лотрека и Стейнлена.

Не менее велики, хотя и менее заметны на первый взгляд заслуги Домье в области ксилографии. В том возрождении гравюры на дереве, которое наступило в 30—40-х г.г. во Франции, после длительного ее упадка (вызванного победой гравюры на металле), в возрождении демократической иллюстрированной книги, Домье принадлежит одно из первых мест. Его большие политические листы 1834 г., исполненные для дерева (Домье редко резал сам) не менее замечательны, чем лучшие его литографии, а его иллюстрации и виньетки, украшающие ряд книг («Némésis medical», «Vocabuleur des enfants», «Chronique de Paris» и т. д.), по своей разнообразной обработке, легкости манеры, линейному изяществу, сочности

Онорэ Домье. — Законодательное чрево. (Заседание парламента). (Литография).

и свежести черно-белой гаммы, несомненно, еще выше, нежели его литографии. Не даром, рисуя на камне и часто лихорадочно торопясь, художник, в то же время, возвращался к аналогичным сюжетам в своих гравюрах на дереве, исполняемых не для текущей прессы, именно с тем, чтобы разработать их углубленнее, интимнее, и любовнее (например, тема о Робер Макэре). И часто его маленькие гравюры на дереве достигали изысканности подлинно ювелирных драгоценностей...

Отвлекаясь от техники, коснемся теперь *общих законов* рисунка Домье. Если в ранних своих рисунках (как, например, в портретной серии или в «Улице Транспонен»), художник оперирует по преимуществу с *пятнами*, с четкими силуэтами различных тональностей (статичными и еще несколько безжизненными благодаря своей замкнутости), то, начиная с 40 г.г., мы замечаем в его понимании формы новую, двоякую и двуединую эволюцию. Это, во-первых, все большее освобождение линии, как таковой,—она перестает быть простой границей пятна и становится самостоятельным фактором выражения и движения. Такова вся бытовая серия Домье, построенная на темпераментном сплетении штриха, и в этом освобождении и динамизме линий громадная формальная ценность соприкосновения Домье с бытом. Дальнейшая эволюция линии Домье заключается во все большем и большем росте ее эластичности, плавности и синтетичности: Домье научается одной широко текущей линией давать характеристику целой человеческой фигуры (прачки, бурлака и т. д.). И с другой стороны, мы видим как эта линия все более и более насыщается воздушностью, растворяется в сплошном световом пространстве; таковы, например, последние аллегорические литографии Домье 70-х г.г. Все *большее завоевание живописности общего впечатления*—вот путь, пройденный Домье. Бодлер писал, что литографии и рисунки на дереве Домье «таят в себе и нечто другое, помимо черноты, необходимой для ограничения контуров,—они заставляют угадывать краски так же, как и мысли». И действительно, Домье был рисовальщиком, но стиль его искусства—не линейный, а живописный. Воля к живописности проходит красной нитью через все его творчество, особенно явная, разумеется, в его работах красками.

Условимся, однако, как понимать эту живописность. В противоположность большинству крупнейших графиков, Домье не был, разумеется, простым «раскрашивателем» рисунка, когда он сменял карандаш на масляную или акварельную кисть. Как подлинный живописец он чувствовал фактурные требования холста и бумаги, чувствовал специфическую прелесть разнообразных касаний и ударов кисти. Но как живописец, Домье принадлежал не к тем художникам, которые разрабатывают проблемы цвета, но к тем, которых можно назвать колористами, однолюбами одной какой-нибудь гаммы. Палитра Домье скромна, монохромна, почти сурова: она исчерпывается белым, черным, коричневым и розовым. С помощью этих красок Домье достигал эффектов разнообразной теплоты и горячности, прозрачности и плотности. Эта монохромная палитра Домье сближает его с некоторыми старыми мастерами,

О. Домье. — Защитник. (Акварель).

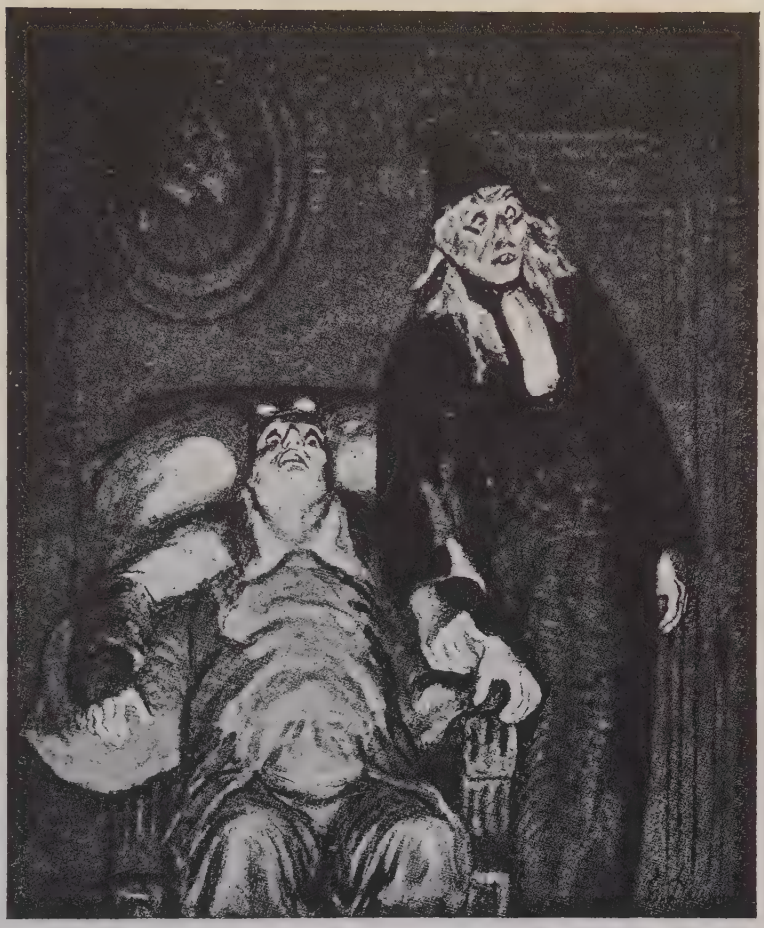
напр., с Рембрандтом, но удаляет его от современной красочности. Его живопись построена не на разнообразии цвета, но на *разнообразии тонов*, на *гармонии световых отношений* (valeurs'ов).

Игра светотени или, вернее, целая борьба световых и темных масс—вот стержень всего искусства Домье. Светотень расчленяет его пространство на различные планы, светотень лепит формы его предметов, светотень придает его образам живописно-динамический характер. Здесь—созвучие Домье с искусством Барокко, с Микель-Анджело. Не даром товарищ Домье, Добиньи, попав в Рим и увидев Сикстинскую капеллу, воскликнул: «Это совсем как наш Домье». Словно в озарении молнии возникают перед нами лица его героев («Законодательное чрево», «Мнимый больной», «Защитник», «Пассажиры третьего класса» и т. д.), или, наоборот, на фоне светлого пространства теневыми массами вырисовываются его фигуры («Дон-Кихот, «Прачки» и т. д.). И так, в напряженном борении света и тьмы, развертывается перед нами его творчество, всегда волнующее своими контрастами и, вместе с тем, всегда уравновешенное ими, взаимно дополняющими друг друга. Домье всегда исходит от общего к частному, от целого—к деталям, и *чувство равновесия* проникает каждую его виньетку, делая ее замкнутым целым по своей белизне и черноте

Эта борьба света и тени придает произведениям Домье и особый, остро-драматический характер, особый *романтический* привкус. Мир Домье пребывает в неустанном движении, в экстазе. Правда, Домье по самому существу своей натуры не был мистиком, всегда оставаясь верным натуре и обеими ногами—столь же крепко, как и рабочий-печатник на его литографии—упираясь в твердую землю. Но в то же время, Домье никогда не рисовал непосредственно с натуры, а только по памяти, и каждый образ возникал в нем интуитивно, как внезапное видение из тьмы и света. И эта «магия» контрастов делала даже самую тривиальную реальность, изображаемую Домье, чем-то сверхреальным, выводя ее из мира «бытовика» Теньера в мир Теодора Гофмана. Этот элемент гофманщины сказывается не только в работах Домье, посвященных скоморохам и карнавалу, но и во всем его творчестве. Достоевский где-то говорит: «В биллиардной все до такой степени пошло и прозаично, что становится *почти фантастически*». Вот этой «полуфантастичностью» и веет от всех образов Домье. Они не только реальны, но и, если так можно выразиться, *рентгено-реальны*. Они обнажают, вскрывают, просвечивают вещи и лица, делают их более пронзительными и насыщенными, чем они суть. Это—реализм средневековой готики с ее духом натуралистического гротеска, это—реализм Мольера, питавшегося «масками» старинной народной комедийности.

И вместе с тем Домье современен до мозга костей. «*Надо принадлежать своему времени*», говорил он, и в этой формуле, в этом завете—одна из главных революций, произведенных им. «Тот будет подлинным художником,—писал Бодлер еще в 1845 г. по поводу выставки-салона,—кто найдет в современной жизни ее эпическую сторону и заставит нас

понять, насколько мы велики и поэтичны в наших штиблетах и галстуках». Именно этим художником, открывшим искусству Америку нашей городской современности, и был Домье. Когда он беспощадно осмеивал героев классической трагедии в своих литографиях—он смеялся над культом античной красивости вообще, над засильем классицизма, над пылью академий. Он хотел сказать, что не только античные тоги Давида и не только шекспировские плащи Делакруа, но и самые простые буржуазные сюртуки и простые лица народа должны стать объектом искусства. И в то время, как его друг Коро писал поэтические рощи с розовеющими нимфами, Домье осмелился ввести в живопись городские пейзажи, мосты, дома, закопченные вокзалы и грязные вагоны 3-го класса. Вместе с тем Домье отобразил и то, чего не хватало Курбэ, этому официальному «отцу реализма», — он отразил само *динамическое мироощущение* нашей эпохи. Он первый показал намеками штрихов мелькание экипажного колеса, он первый внес в свою композицию элементы асимметрии и неожиданности, предвосхитив импрессионизм дальнейшей эпохи (более того, предвосхитив даже увлечение японцами диагональным построением многих своих композиций). И, наконец, он первый вознес на пьедестал искусства героев нашей эпохи — монументальные фигуры рабочих и прачек. *Домье открыл пафос современности* — в этом его заслуга революционера.



О. Домье. — Мнимый больной. (Акварель).

О. Домье. — Холера в Париже.
(Виньетка к книге «Némésis médical»—гравюра на дереве.)

Говорить ли о многообразном влиянии Домье на современное искусство? Этому влиянию принес дань даже его великий антипод Делакруа, внимательно копировавший... сатирические фигуры «Купальщиц» и «Купальщиков» Домье, казавшиеся ему пределом анатомического знания тела. Этому влиянию принесли дань и многие его современники, как Манэ и Сезан. С живописью Сезана его связывает верность «натуре» и в то же время характерная для южанина пластичность формы, игра контрастов; многие из акварелей Домье могли бы быть подписаны Сезаном, с той только разницей, что там, где у Домье модуляция тонов, у Сезана—модуляция цвета. Еще несомненнее влияние Домье на Дега, выразившееся как в общей остро-аналитической тенденции (анализ движений и жестов балерин, анализ «уродливой» городской наготы), так и в общих композиционных методах (вспомним хотя бы жест буржуа Домье, которым он, надевая пальто в партере театра, столь дерзко заслоняет сцену). Надо ли говорить и о том, что именно Домье открыл двери в цирк Тулузе-Лотреку и указал на скоморохов «самому» Пикассо? Более того,— поскольку современная живопись преодолевает аморфный импрессионизм и приходит к культу массивного уплотнения формы, она возвращается к монументальной пластичности Домье.

Так, подобно Добиньи, перед многими и многими произведениями художников нашей эпохи мы могли бы воскликнуть: «*Это совсем как Домье!*». Ибо, поистине, безгранична сфера влияния его, неисчерпаемо

наследство, оставленное им. Разве десятилетие мировой войны заставило нас снова вспомнить его рисунки? И не попрежнему ли предостерегающим уроком звучит его рисунок «Мир», изображающий его покоющимся на пушке? И не прямыми ли учениками его являются художники-антимилитаристы наших дней, Мазерель и Георг Гросс?

Искусство Домье принадлежит не миру «доброго буржуа», а нам. И мы не ошибемся, если скажем, что место Домье — в том Пантеоне великих людей, где навсегда светят имена Маркса и Ленина.

О Домье. — Восстание. (Масло).

ОБОЗРЕНИЕ ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ.

I. НОВИНКИ БЕЛЛЕТРИСТИКИ.—В. Переверзев. II. ИСКУССТВО ВОСТОКА.—Б. Денике. III. НАКАНУНЕ СЕЗОНА. — П. Марков. IV. ИСТОРИЯ НОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. — М. Эйхенгольц. V. МАРКСИЗМ И ЕГИПЕТСКИЙ СОННИК. — Ф. Капелюш.

I. НОВИНКИ БЕЛЛЕТРИСТИКИ.

В. Переверзев

Первая половина текущего года характеризуется значительным оживлением в литературной жизни. Это оживление заметно сказывается и в нашей беллетристике. Она становится положительно интересной, несмотря на недовольство и ворчанье критиков. Нельзя не признать значительного интереса за вышедшими в этом году номерами литературных сборников: вторым номером «Современники», третьим номером альманаха «Круг», четвертым номером «Недра». Значительный интерес представляют собою и вышедшие отдельными изданиями сочинения молодых беллетристов: Сейфулиной, Шишкова, Романова, Леонова.

Присматриваясь ко всему этому беллетристическому материалу, делаешь заключение, что в нем много потенциальной силы, сулящей большой литературный подъем. Если она и не дала еще ничего монументального, имеющего большой синтетический охват, то это дело наживное. Важно то, что даже в своих эскизных работах она дышит новизной, свежестью и интересом.

Дореволюционная беллетристика последних лет поражала своей анемичностью, бескровием, какой-то скукой избитости, несмотря на всяческие словесные выкрутасы всевозможных «измов». Это была типичная литература упадка, вырождения, продукт застойного и загнивающего быта. Ее характерными чертами явилась тематическая бедность, угнетающая трафаретность и шаблонность сюжетов, мотивов и образов, с одной стороны, и стремление прикрыть это внутреннее убожество канителью и блестками «самовитого слова», хитроумным плетением словес, — кривлянье словом.

Социальный быт отлился в такой уныло повторяющийся шаблон, что почерпнуть в нем что-либо художественно вдохновляющее было весьма мудрено. Отсюда упадок классической социально-бытовой и социально-психологической художественной литературы. Интерес к общественным темам и к общественному человеку сильно пал в художественном творчестве, а вместе сильно пало и общественное значение самого этого творчества. Вечной темой становится эротика. Общественный человек уступил место половому человеку, и в разнообразных ухищрениях полового человека художественная литература ищет новых, пикантных и щекочущих сюжетов. Открывая повесть или роман, вы уже заранее со сдерживаемой зевотой предвидели, что речь будет итти о каких-нибудь аргонавтах, уплывающих за Геркулесовы столбы в поисках за золотым ру-

ном эротики. Бессильный найти что-либо новое в тематической области, в области содержания, художник ищет новизны хотя бы внешней, языковой, звуковой, ударяясь в словесную эквилибристику. Надоевши смертельно себе и другим перепевами эротических мотивов, художники ударились в словоблудие, занялись позорным онанированьем речи. С этого момента литература окончательно утеряла всякую связь с общественной жизнью, утеряла всякий вес для читательской массы, сохраняя интерес только для самих онанистов и для специалистов исследователей, — иными словами, превратилась в литературу для литераторов.

В сравнении с этой литературой молодая беллетристика даже в теперешних ее достижениях представляет огромный шаг вперед. Перед нами происходит несомненное возрождение художественной литературы, обусловленное глубоким, коренным изменением всего нашего социального бытия. Перед молодой беллетристикой огромный, непочатый источник новых тем, новых мотивов, новых образов, ищущих художественного оформления. Современный беллетрист не страдает тематической анемией, отсутствием разнообразия и значительности содержания. Новый быт и новый общественный человек дают ему и то и другое в избытке. В молодой беллетристике, как и в беллетристике классического периода, снова доминирует социально-бытовая и социально-психологическая тематика. Эротика, если и имеет место в перечитанных мною произведениях, то играет служебную, а не самодовлеющую роль. Словесное кривлянье все больше оттесняется на задний план, на литературные задворки, уступая место обновлению художественного словаря вторжением речевых элементов новых социальных слоев и новых областных слов и речений. Слово перестает быть «самовитым» словом дореволюционных словесных онанистов. Оно от жизни и для жизни. И по своему содержанию и по своей форме молодая беллетристика — не хилый плод литературной кружковщины, а плод расколыхавшейся социально-творческой стихии, что и делает ее гораздо богаче и гораздо значительнее литературы эпохи русского модернизма, приближая ее к литературе эпохи классиков. Не этим ли объясняется и та оглядка на классиков у молодых беллетристов, которая отмечается многими критиками. Слабость молодой беллетристики в необделанности, незавершенности, художественной незаконченности. Порой эта незаконченность доходит до того, что напоминает черновой набросок из записной книжки. Богатая и интересная тематически молодая беллетристика бедна синтезом и художественным оформлением. В ней нет произведений большого охвата, дающих синтетическое оформление нынешней действительности: в ней лишь эскизы и частные оформления. Но они жизненные, они нужны для нас как несовершенные, но пока единственные ориентаторы в хаосе окружающей социальной действительности. И оттого они подлинно интересны, оттого они читаются с гораздо большим захватом, чем формально завершенные словесные бирюльки модернизма. Современный дореволюционный быт и современный русский человек во всех его слоях — таинственный незнакомец. Мы хотим разгадать его, и молодая беллетристика идет навстречу этому желанию. Понятно, что это делает ее общественно интересной. Существенным симптомом отмеченного мною поворота в художественной литературе является тот факт, что из беллетристов старого поколения в настоящее время не утеряли способности писать и пишут более или менее интересные вещи как раз представители социально-бытового стиля. Написал объемистую вещь старый бытовик-общественник Серафимович; написал большой рассказ всегда тяготевший к быту Сергеев-Ценский. Из произведений этих двух старых беллетристов составился главный корпус 4-го сборника «Недра». «Железный поток» Серафимовича занимает центральное место и является, так сказать, ударной вещью сборника. Она действительно очень интересна тематически. Тема животрепещущая, близкая, волнующая, выхваченная из самой гущи современной общественной жизни. Автор воспользовался в своем произведении эпизодом из гражданской войны на Кубани. Действующие лица—«Чига Гастропузая»,

«Хамсел», «Бисовы дущи», с одной стороны, и «куркули», «каклуки», «пугачи»— с другой; или, иначе, батраки и казаки-землевладельцы. Эпизод — отступление и прорыв «Чиги Гастропузой», охваченной со всех сторон набросившимися на них «куркулями», на соединение с Красной армией. Железным потоком, с сверхчеловеческой энергией движется эта «Чига Гастропузая», гонимая голодом, жаждой, стиснутая горами и морем, преследуемая орудийным огнем сзади, с боков, спереди, покрывая каждую пядь пройденного пути трупами, поливая ее кровью мужчин и слезами женщин, пока, в конце-концов, не выбивается из удушливого кольца к своим. Напряженно-драматическая картина этого движущегося потока—это общий фон, на котором вырисовываются отдельные всплески и волны этого потока, частные радости, огорчения, идиллии, комедии, происходящие с людьми, втянутыми в круговорот железного потока. Несмотря на значительные, с точки зрения художественного мастерства, дефекты, на ненужную растянутость изложения, на фальшь отдельных сцен и положений, повесть читается с интересом, местами достигающим высоко напряженного эмоционального возбуждения.

С меньшим интересом читается «Рассказ профессора» Сергеева - Ценского. Это рассказ о красном командире из кадровых, Рыбочкине. Рыбочкин—не новость для нас. Мы знали его задолго до революции, когда он был еще кадровым по рассказам того же самого Ценского. Тогда он еще не носил фамилии Рыбочкина, а был поручиком Бабаевым, психически неуровновешенным, одержимым навязчивыми идеями истериком, безвольным, обреченным на фатальные поступки человеком. Тема нового произведения Ценского—столкновение поручика Бабаева с революцией, приятие этим истериком революции как фатально суженой, которой ни на каком коне не объедешь, и превращение его в красного командира Рыбочкина. Ценский полагает, что история Рыбочкина имеет существенное значение для понимания психологии революции: его профессор пытается даже строить на этой истории философию революции, рассматривая ее как своего рода грандиозный гипнотический сеанс. В действительности Рыбочкин—только муха на спине вола, взрыхляющего пашню революции. Как раз в условиях революционной действительности Рыбочкины — несущественная мелочь, нехарактерное явление, оттого и рассказ Ценского, пытающегося муху выдать за вола, производит впечатление натянутости, фальшивой надуманности, не оправданной претенциозности. За исключением этой претенциозности, рассказ все же интересен, вскрывая еще один психологический путь к революции, путь глухой, ухабистый и ненадежный, которым пробираются к ней редкие одиночки, путь не столько даже психологический, сколько психопатологический.

Кроме рассмотренных произведений беллетристов старого поколения в четвертой книге сборника «Недра», мы имеем значительно меньшее по объему, но, пожалуй, более любопытное и тематически и стилистически произведение молодого беллетриста Булгакова: «Дьяволиада» с подзаголовком: «Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя». Стилистически автор учится у Достоевского. «Дьяволиада» носит явные следы подражания «Двойнику» Достоевского, его тяжеловесному юмору и мрачной бредовой фантастике. Нужно признать подражание довольно удачным, ибо избранный автором стиль прекрасно служит изображению той нервной развинченности и психической растерянности, всегда готовой стать сумасшествием, которая явилась результатом революционной ломки канцелярских устоев. Герой Булгаковской повести Коротков, делопроизводитель Главцентрбазспимата, запуганный революционной сутолокой чиновник, полетевший со службы за то, что исказил смысл телефонограммы, принявший подпись начальника Кальсонер за слово кальсоны, и в результате этой передряги спятивший с ума, подстать спятившему с ума чиновнику Достоевского Голядкину. Коротков, как и Голядкин, ведут свою родословную от гоголевского Акакия Акакиевича. Герой повести Булгакова—это Акакий Акакиевич, доживший до революции 1917 года, оглушенный ею до умопомрачения и жалко и смешно

погибший в ее грохоте. В грозовой атмосфере революции старые бытовые фигуры выглядят нелепо смешными в своей неприспособленности и печальными в своих страданиях и покорной гибели. На них нельзя смотреть иначе, как со смехом сквозь слезы. Так и смотрит Булгаков на своего чиновника Короткова, повествуя о нем в юмористическом стиле. Современность богата такими фигурами, оттого волна серьезного юмора там и сям бьет в молодой беллетристике. Нотки такого серьезного юмора звучат в одном из наиболее интересных рассказов третьего альманаха «Круг». Я имею здесь в виду рассказ Ольги Форш: «Для базы». Это—грустная и смешная история дьякона из Дубовой Луки Мордария, выбитого революцией из традиционной колеи и неуклюже костыляющего то в «живцы» то в хор кафе «Козерог», чтобы как-нибудь не пропасть с семьей. Автор очень недурно владеет техникой юмористического стиля реальной школы, но, к сожалению, портит его тем введенным в литературный обиход символистами кривляньем, которое нарочитой деформацией синтаксиса и композиции запутывает и затемняет изложение. Для урвавшегося прочь от реального быта в мистический туман символиста это было естественно и законно, у тяготеющей к реализму Форш это—фальшиво и вовсе ненужно.

Альманах «Круг», из которого мы взяли рассказ Форш, составлен почти полностью из произведений молодых беллетристов. Среди них прежде всего обращает на себя внимание молодой незнакомец А. Успенский, выступавший с повестью «Переподготовка». Не потому он останавливает внимание, чтобы его повесть была талантлива и увлекательно написана. Наоборот, она черезчур даже сыра: сквозь плохо сделанную художественную установку всюду высовывается непереработанный материал записной книжки. Но его повесть любопытна как попытка возрождения реальной сатиры Щедринского типа на новый социально-бытовой почве. Рисуя город Головотяпск на реке Головотяпе с его Ижехерувимскими, превратившимися в Секциевых, которые чадят во всех советских секциях досоветским Головотяпским ижехерувимством, автор показывает социальную необходимость художественной сатиры, открывает богатый родник сатирического вдохновения таящийся в пластах нового, пореволюционного быта. Мы не думаем, чтобы у А. Успенского был крупный талант. Но его повесть есть симптом того, что современная действительность предъявляет запрос на художника-сатирика, что дает основание ожидать появления такого художника. Кроме дебютанта Успенского в разбираемом номере альманаха «Круг», напечатаны произведения молодых, но уже успевших составить себе имя беллетристов — Бабеля, Леонова, Шишкова.

«Исусов Грех» Бабеля—небольшая густым натуралистическим стилем написанная повестушка об испоганенном житии «бабы Арины из номерей Мадрид и Лувр», представшем как укор и беспощадный суд перед не сумевшим помочь ей Исусом. Эта миниатюра Бабеля — лучшая в художественном смысле вещь во всем сборнике. Бабель вообще яркий художник среди молодых, и чрезвычайной симптоматично, что в его стиле, простом, крепком, сжато выразительном, чувствуется веяние здорового реализма классиков без малейших следов модернистской изломанности. Напечатанная в альманахе повесть Леонова «Гибель Егорушки», как и вышедшая отдельным изданием повесть «Туатамур» написаны на экзотические темы с явным уклоном в стилизацию. Первая старается овеять читателя угрюмоватой шаманящей экзотикой беломорья; вторая—ароматом татарских степей с реющими по ней татарскими богатырями. Но и в экзотику автор ушел, чтобы найти там катастрофическую напряженность нашей революционной эпохи, которую он так умело отражает в образах нашей реальной действительности в ранее изданном «Петушихинском проломе» или напечатанной в этом году в «Красной Нови» повести: «Конец мелкого человека». И нужно сказать, что в этих последних произведениях, являющихся прямым отражением стиля нашей действительности, Леонов гораздо интереснее, чем в своих стилизациях под экзотику. Несмотря на то, что «Туатамур» — прекрасно сделанная стилицазия, она скучновата для

нынешнего читателя своей тематической отчужденностью от современности. Рассказ В. Шишкова: «Черный час», написан в обычном для этого автора роде. Это — беллетрист - областник, сибиряк, с областной тематикой и областным словарем. Он хорошо знает сибирского инородца и русского колониста, живо и интересно рассказывает о них. Томик его рассказов, озаглавленный по первому рассказу «Краля» читается с большим интересом, давая ряд ярких образов детски-простодушных тунгусов и хищных пройдох облепившего их кулачья из русских и якут. Уклон молодой беллетристики в сторону областных и этнографических тем вызван не художественным туризмом, а возбужденным в связи с революцией интересом к колониальным этническим группам. Этнографические повести Шишкова—живой отклик на злободневные запросы современной социальной жизни. В альманахе художественной прозы «Современники», в общем менее интересном, чем «Недра» и «Круг», есть, однако, также вещицы, обращающие на себя внимание. Во-первых, следует отметить значительную по размерам и художественно недурно оформленную повесть С. Григорьева: «Земля». Тема повести—трагедия неприявших революцию птенцов разрушенного дворянского гнезда, заболевающих в эмиграции тоской отщепенства, измученных ею до полного психического распада, до психопатства и смерти. Эта трагедия отщепенства—богатая тема, вокруг которой рождаются вереницы образов и положений, полных глубокого психологического и социального содержания, заманчивых для художника. В рассматриваемом альманахе добрая половина произведений, кроме названного,—в сущности более или менее удачный вариант какого-нибудь мотива этой широкой темы. На ней построен рассказ Вешнева «Профессор» и рассказ Савича «Накипь». Затем в альманахе очень любопытны и должны быть особенно отмечены миниатюрные, в чеховском стиле, новеллы Романова. Их три: «Родной язык», «Несмелый малый» и «Рыболовы». Все три исполнены живого комизма и острой наблюдательности, Романов копается не в развалинах старого быта, где даже смешное печально, а в беспорядочной сутолоке нового, где немало наивных ситуаций невпопад, немало курьезных сцен и положений, но за ними нет мучительной гримасы гибели, от которой тускнеет смех, обращаясь в юмор. Комизм роста—здоровый комизм, рождающий непринужденный, ясный смех. Именно так смеется Романов. У молодого автора есть несомненный талант, во всяком случае среди молодых он один из наиболее обещающих. Он пытается от миниатюр перейти к большому полотну в стиле классического романа, где собирается показать всю Русь эпохи пережитого перелома. Часть этого романа, так и озаглавленная «Русь», вышла в начале года из печати. В ней дана картина поместнодеревенской жизни перед катастрофой. Трудно, конечно, по отрывку решить, насколько справится молодой художник с поставленной грандиозной задачей. Но данные у автора есть: он умеет рисовать типичные характеры твердым четким рисунком, напоминающим мастеров гоголевской школы; он знает секрет простой, но крепко слаженной композиции, давно утерянной беспозвоночными писателями эпохи импрессионизма. Ясный, здоровый, полный оптимизма смешок, с которым мы встретились у Романова, мы находим и у Сейфулиной. Тематически этот автор крепче других связан с новым формирующимся в революции бытом, внимательней и любовней всматривается в молодые всходы новой жизни. Томик ее рассказов, изданный «Новой Москвой», так и называется «Молодняк». Просто, правдиво, задушевно рассказывает Сейфулина о жизне и быте красного молодняка, подсмеиваясь над его неуклюжестью, не закрывая глаз на темные стороны, любовно подчеркивая, а порой даже романтизируя светлые и всегда пронизывая рассказ верой в торжество этих последних. Рассказывает ли она о «преступлении» славного юнца Кости, оступившегося в тину старой гнили, от которой он рвется прочь, или о смешных в своей ребячьей наивности выступлениях «инструктора красной молодежи», или о темной озлобленности, с медвежьей яростью ищущего справедливости Софрона, — она сквозь шлаки смешного и мрачного

заставляет вас разглядеть чистый металл свежей жизни, выплавляющийся из грубой руды.

Мы остановились на всех более заметных явлениях художественной литературы текущего полугодия. Заметного оказывается вовсе не так мало. Мы стоим перед несомненным фактом возрождения и начинающегося расцвета беллетристики. У этой беллетристики есть свое лицо, новое и более интересное, чем лицо дореволюционной беллетристики. У той оно было с прозеленью, какое-то панихидное, ушедшее в себя, необщительное; у этой—с любопытными, может-быть, порой и наивными, но жадно впитывающими реальную жизнь глазами, с выражением живой общительности: она интересуется общественной жизнью—и в этом залог ее интересности для общества, без чего самое утонченное мастерство не спасает искусства от вырождения.

II. ИСКУССТВО ВОСТОКА.

(В связи с Выставкой Искусства Востока при Музее Азиатского Искусства в Москве.)

Б. Денике.

Изучение культур и истории Востока начинает занимать законное место в изучении мировой культуры при выяснении общего хода мировой истории. Горизонт, заполненный раньше очень часто одними только событиями и процессами европейскими, значительно расширился, развернув мировые перспективы и отдав подобающее место фактам и жизненным процессам азиатского Востока.

Интерес к культуре и искусству Востока очень возрос за последние годы на Западе и выразился появлением целого ряда исследований, раскрывших многие стороны истории искусства Востока, столь богатого художественными ценностями. Сильно повысился интерес к Востоку, его культуре и искусству и у нас, в связи со все возрастающим общением со странами Востока, как зарубежными: Турцией, Персией, Афганистаном, Китаем, так и входящими в состав нашей федерации: Туркестаном, Азербайджаном, Бухарой, Хорезмом и др.

Одним из стимулов повышения нашего интереса к искусству Востока является и открывшаяся в Москве Выставка Искусств Востока, познакомившая широкие круги с многообразным миром художественных ценностей Азии, где так тесно сплетается искусство с производством и глубоко проникает в жизнь. Выставка дает понятие об искусстве Ближнего Востока (Персии, Турции): экспонированы ковры, ткани, керамика, миниатюра, лаки, и об искусстве Дальнего Востока (Китая, Японии, отчасти Сиама, Камбоджи). Среди памятников китайского искусства мы видим и живопись, и скульптуру, и керамику, и изделия из бронзы, нефрита, и эмали, и лаки и пр. О Японии говорит нам цветная гравюра, произведения скульптуры, нетцуке, и пр. Искусство Индии представлено лишь немногими примерами: рядом деревянных рельефов из Индии, индийскою миниатюрой; искусство Центральной Азии—лишь среднеазиатскими коврами и небольшим собранием керамики.

Непосредственное воздействие подлинников, волны эстетических переживаний от памятников искусства на Московской выставке будят желание полнее погрузиться в стихию восточного искусства, понять его эволюцию, его многообразие. Каковы главнейшие области искусства Востока? Важнейшие этапы развития искусства в различных странах? Что сделано наукой для познания истории искусств Востока?

Под искусством Востока понимают обыкновенно искусство Азии и Северной

Африки. Искусства древнего или классического Востока: Египта, Ассирии, Вавилона, хетское искусство составляют обособленную область исследования. В искусстве средневекового и нового Востока намечаются три основные группы: искусство Западной Азии (несколько шире территориально, но уже хронологически—мусульманское искусство), Центральной Азии и Индии и, наконец, искусство Дальнего Востока (Китая, Японии, Кореи). В дальнейшем развитии художественно - исторической науки будут изучаться, как самостоятельное целое, искусства всех отдельных народов или национально - культурных единиц Азии. Не следует при этом, однако, забывать, что в многовековом процессе развития искусств Востока существовал между отдельными искусствами или группами искусств широкий взаимный обмен культурных и художественных влияний. Для примера укажем на поток форм сасанидских, восточно-эллинистических и индийских, влившихся в китайское искусство эпохи Тан (VII—X века по р. Х.), и обратный поток воздействия китайского искусства на персидское в последующие века. Или какой сложный агломерат форм и влияний представляет собой искусство Восточного Туркестана, где иранские, индийские, греко-буддийские и китайские стилевые образования сплавляются в единое целое с местным турецким (уйгурским и др.) миром форм.

Из памятников мусульманского искусства на выставке наиболее ярко представлены персидские. Персидское искусство еще в домусульманский период достигло весьма значительного развития. На смену искусству древней Персии пришло искусство эпохи Арсакидов, овеянное духом эллинизма. В искусстве эпохи сасанидов (III—VII века по р. Х.), непосредственно предшествовавшей искусству мусульманской Персии, отразились традиции древне-персидского искусства и создался своеобразный художественный стиль, оказавший большое влияние и на дальнейшее развитие персидского искусства. Черты сасанидского стиля, его своеобразный звериный стиль, характерный выбор декоративных растительных тем наблюдается в мусульманском искусстве Персии еще долгое время, особенно ярко в произведениях XII—XIV веков, когда сказалось особенное оживление сасанидской традиции, проявившееся, например, в таких памятниках, как миниатюры начала XIV века в «Шах Намэ» Публичной библиотеки [1]).

Одной из пленительнейших областей персидского искусства является книжная миниатюра—единственная форма, в которой проявилось в Персии искусство живописи. Мир восточной живописи, раскрывающийся в миниатюрах рукописей, полон редкого и тонкого очарования и незабываемой красоты. Давая незаменимый материал для понимания стиля и характерных особенностей персидского искусства, миниатюра служит богатым источником познания культуры и быта. Интересная для историка культуры и искусствоведа, миниатюра увлекает и художника, в законах творчества ее почерпающего порой импульсы к своим творческим исканиям. Персидская миниатюра хронологически может быть разбита на несколько групп; новейшее исследование таких групп считает до пяти: домонгольская, монгольская, тимуридская, сефевидская и после-сефевидская (с чертами влияния Запада).

В то время как в ранних арабских миниатюрах замечается связь с византийским искусством, в древнейших миниатюрах Персии эта связь может быть лишь с большим трудом уловлена. Весьма вероятно влияние на образование раннеперсидской миниатюры домусульманского персидского искусства. Монгольская эпоха характеризуется усилением китайского влияния. Стиль миниатюр монгольской эпохи колеблется между полярными противоположностями: проявлением китайского влияния и проявлением иранской самобытности. Следующая хронологически школа—это тимуридская (XV век). Э. Диц в своей работе «Die Kunst der islamischer Völker» (1917), характеризуя особенности художественного характера персидской живописи тимуридской эпохи, отмечает, что в эту эпоху в персидскую миниатюру начинают входить приемы восточно-азиатской ком-

[1]) Воспроизведения см. в нашей работе «Исскуство Востока», 1923, при стр. 80.

Персидская ткань (деталь.). XVI век.

позиции, идущей от китайского искусства. Эти типичные для китайских произведений эпохи Мин, но известные и в более ранние эпохи приемы композиции связывают отдельные фигуры или небольшие группы в волнообразное целое, так что фигуры располагаются по поверхности картины, как полосы. Вне этих рядов распределены по плоскости картины, здесь и там, по определенным ритмическим законам отдельные фигуры или маленькие группы из двух или трех фигур. Этот отличающийся от симметрической и геометрической европейской техники способ достигает совершенно другого рода воздействия картины. Фигуры входят в пейзажное обрамление, как тектонические элементы; они связаны по чисто художественным законам воздействия в единое целое. Люди, деревня, вода, облака, дома — разноценные единства сопоставлены рядом друг с другом, выше, ниже друг друга, и воссоединены в картины, впечатление от которых мы можем назвать ковровообразным, так как они построены не по законам линейной перспективы и пирамидальной группировки. Композиционная техника европейского барокко идет подобным путем, но не отказывается от обычного горизонта и линейной перспективы.

В XV веке крупнейшим художественным центром персидского искусства делается Герат. В Герате была основана академия книжного искусства, которая имела решающее значение для дальнейшего развития стиля миниатюры в национальном направлении. Здесь сложились яркие индивидуальности художников. Здесь действовал такой крупный мастер, как Бехзад. В XVI веке, в эпоху сефевидов, персидская миниатюра испытывает новый подъем, дает таких мастеров, как Ага Мирек, султан Мухаммед, Устад Мохаммеди, Риза Аббаси, а с XVII века начинает клониться к упадку, теряет свою самостоятельность, впадает в эклектизм, проникается западными влияниями.

Из памятников персидской миниатюры, представленных на выставке, наиболее ранняя — это лицевая рукопись Низама 1490 года. Рукопись украшена 54 миниатюрами, тонкость и узорчатость рисунка которых и яркая контрастность колорита дает понятие о стиле позднетимуридского искусства. Исключительного интереса также лист, изображающий борьбу при дворе шахов, подписанный мастером Балджидом. Западные исследователи считают эту миниатюру образцом ранней индийской миниатюры, возникшей при дворе великих моголов, но правильнее, повидимому, определять его, как произведение сефевидской школы, развивавшейся в Персии в XVI веке. Этот прекрасный образец мастерства персидских миниатюристов представляет и историко-бытовой интерес, как очень живо скомпанованная жанровая сцена. Миниатюра мусульманской Индии тесно примыкает в своем происхождении к персидской миниатюре, но скоро в ней все более и более начинает проступать самостоятельное начало, обнаруживаться связь с древними традициями индийского искусства, а также отражаться современная индийская действительность с ее характерными бытовыми чертами. В XVII веке на индийской миниатюре начинает сказываться западное влияние, прививающее европейское понимание пространства и навыки европейской живописи XVII века. Любопытно отметить, что индийская миниатюра повлияла в какой-то мере на творчество Рембрандта. В ряде рисунков его было наблюдено влияние индийской миниатюры. Рембрандт черпал из индийских миниатюр иные черты: одежды, позы, типы персонажей для своих библейских композиций. Как на пример можно указать на картину Румянцовского музея в Москве: «Аман, Артаксеркс и Эсфирь», где костюмы скопированы с индийских миниатюр эпохи.

Из индийских миниатюр на выставке отметим большое количество листов из манускрипта «Бабур - наме» эпохи XVI—XVII веков из б. собрания П. И. Щукина, часть которых была воспроизведена в журнале «Золотое Руно» за 1908 г.

Художники, иллюминовавшие манускрипты, были не только иллюстраторами книг, — они давали рисунки для ковров, для парчи и бархата сефевидской эпохи, для лаковых переплетов.

Фаэнсовая чаша Рейская керамика.

Об этом свидетельствуют и образцы персидских тканей, находящиеся на выставке. Здесь есть прекрасные лицевые ткани XVI в. (главным образом, из б. собрания П.И. Щукина): на одной мы видим юношу-всадника в сефевидском тюрбане, ведущего пленника с длинными опущенными усами (повидимому, монгола-кочевника), на другой — ряд сцен в саду: занятия музыкой, влюбленная пара, звери. Как звучны краски, как контрастны сочетания красного и голубого в первой из описанных тканей, как гармонично уравновешен стиль этого чисто плоскостного искусства. Особенно интересна персидская ткань XVI века, воспроизводимая в детали при настоящей статье (рис. 141), изображающая героя поэмы Низама «Меджнун и Лейла», больного от любви Меджнуна в пустыни среди различных животных. По странной игре судьбы ткань с мотивом персидской поэмы о любви послужила материалом для древне-русской ризони (одеяние священника).

Персидская и вообще восточная ткань, этот важнейший источник орнаментики, как элемент, легко переносимый, всюду просачивающийся, представляет величайший интерес для понимания художественных взаимоотношений Востока и Запада. Следует отметить, что стороной, дающей в этой области искусства, является по преимуществу Восток, а Запад — стороною берущей, заимствующей, хотя и перерабатывающей. Лишь для весьма поздней эпохи можно говорить о воздействии западных мотивов и узоров на восточные; напротив, влияние Востока вплоть до эпохи Ренессанса было преобладающим. В древней Руси мы наблюдаем очень значительное распространение восточных тканей вплоть до конца XVII века. Узоры тканей влияли и на древне-русское шитье и на орнаментику металлических изделий и вносили острую восточную струю в русское искусство XVI и XVII веков.

Представлена на выставке рядом характерных образцов и столь ценная отрасль художественной промышленности народов Востока, как ковры. Интересно отметить, что одновременно с Московской выставкой в Ленинграде была открыта в этнографическом отделе Русского музея специальная выставка восточных ковровых изделий (см. книжку А. А. Миллера «Ковровые изделия Востока». Выставка этнографического отдела Русского музея. 1924). Этот факт лишний раз подчеркивает интенсивность интереса в настоящий момент к культуре и искусству Востока. Современные исследователи подразделяют ковровые изделия Востока на ряд основных групп, каковы ковры персидские, малоазийские, кавказские, туркестанские, ковры китайского Туркестана. Правильные воззрения на характер и природу ковровой орнаментики встречаем мы в упомянутой работе А. А. Миллера. «Одним из западно-европейских ученых,—пишет он,—высказана была мысль, что ковровая орнаментика «номадов» представляет собой не более как игру фантазии, которая не может серьезно интересовать исследователя. Это замечание возможно принять лишь в качестве материала для оценки метода, которым пользовался исследователь. Ковровая орнаментация, как и всякая иная, не представляет собой каких-нибудь случайных комбинаций, возникавших ad hoc, оторванных, следовательно, от каких бы то ни было исторических процессов и традиций.

С другой стороны, можно как будто притти к позиции диаметрально противоположной, сказав, что орнаментальные мотивы представляют собой раз установившиеся формулы, повторяемые затем в порядке их воспроизведения, копирования.

Несомненно, известный традиционализм в народном искусстве существует, но беремся утверждать, что этот традиционализм нисколько не препятствует творчеству, выявляющемуся в порядке выработки локальных и племенных типов в сложных процессах, нам еще не вполне ясных, и, наконец, в этой работе сохраняется место и для творчества личного, как элемента всякой работы, объединяемой в совокупности достижений выражением культуры племенной».

Одна из сильнейших отраслей художественной промышленности ислама— это керамика, гибко отражавшая все стадии развития мусульманского стиля в различных странах Востока.

Наиболее яркое проявление персидской керамики—это люстрованные фаянсы из Рея. Эти сосуды с металлическим отблеском весьма богато, богаче, чем где-либо в других русских собраниях, представлены на выставке. Все они происходят из развалин города Рея, известного с древнейших времен, в XII веке принадлежавшего к самым богатым и цветущим городам Персии и разрушенного до основания монголами в 1221 г. Рейская керамика по своей поливе и декорации разделяется на три главных типа: с люстром красноватого, желто-оливкового и медового цвета, с бирюзовой поливой и с полихромной росписью. Образцы всех трех типов представлены на выставке. Здесь среди примеров первого типа—большая ваза с характерно срезанными наверху углами, с геометрическим орнаментом красноватого люстра на фоне цвета слоновой кости, здесь и образцы сосудов с бирюзовой поливой, среди которых особенно интересна воспроизводимая на этой стр. вазочка в виде птицы с женским лицом. Представлены и полихромные фаянсы, главные мотивы декорации которых — это всадники, сидящие фигурки (как будто части сцен бытового характера), фризы с животными (далекий отзвук древнеперсидского искусства); образец последнего типа декорации нами воспроизводится на стр. 143.

Вазочка в виде птицы с женским лицом. Рейская керамика. (Фаянс; голубая полива).

Если в искусстве Западной Азии: в Персии, в Турции, особенное значение имеет узор, чисто орнаментальная декорация, украшение плоскости, то в наиболее ярком проявлении Азии срединной—в индийском искусстве доминирующую роль играет пластика, искусство объема. Индус — пластик по преимуществу. В чувстве объема сказался особенный характер направления художественной воли индийского искусства. Сама индийская архитектура проникнута принципами пластики. Непрерывная страстность, бурное движение пронизывает произведения индийской скульптуры. Индийская скульптура чисто религиозна. Образы и сцены, которые кажутся нам светскими, порой чересчур светскими, портреты, жанровые сцены, даже изображения радостей чувственной любви, в которых ничто не скрыто.

все стоит в тесном соотношении с религиозными представлениями. Индийское искусство очень редко изображает обыкновенных людей: это или Вишну или Сива с их приближенными, или Джайны, Будды и Боддисатвы с их свитой. Как индус не видит никакой противоположности между духовным и чувственным, так нет у него никакой резкой демаркационной линии между мирами действительности и фантазии. Здесь сказывается чисто тропический характер как индийского искусства, так и индийских религий. Пластика переполнена образами неограниченной чрезмерной фантазии. Многоголовые, многорукие, многоногие существа живут в индийской пластике своей переполненной, через край бьющей, жизнью. С этим связаны иные по сравнению с искусством Запада основные принципы художественной формы. Для индуса выражение, ритм и движение стоит выше, чем все анатомическое; декоративное заполнение плоскости важнее, чем перспектива, интуитивный образ,—чем реалистическое расчленение.

Обратимся теперь к Центральной Азии.

Усилиями международной исследовательской работы в течение последних двух десятилетий удалось в самых недрах Центральной Азии, в Китайском Туркестане, открыть доселе совершенно неведомый обширный очаг культуры и искусства. Первый начал исследовательскую работу русский ученый Д. А. Клеменц, предпринявший в 1898 году экспедицию в Туркестан, затем приняли участие в работе ученые английские (Марк Аврелий Штейн), французские (Пеллио), немецкие (Грюневедель, Лекок) и японские (Огани, Тачибана). Немалую роль сыграли в этой работе и русские исследователи. Кроме Клеменца, совершил две экспедиции С. Ф. Ольденбург, затем имела место экспедиция в Кучар Березовского. В результате всех этих экспедиций и многочисленных раскопок был открыт целый новый мир искусства, при сложном синкретизме скрестившихся художественных течений обнаруживший черты удивительного своеобразия и силы. В первом тысячелетии нашей эры в Китайском Туркестане образовался сложный узел пестрых религиозных, культурных и художественных наслоений: здесь и буддизм, и несторианство, и сасанидо-персидское манихейство; турки-уйгуры, носители этой культуры, подвергались в своей культуре и своем искусстве сложным индийским, персидским, эллинистическим и китайским воздействиям. До нас дошли в развалинах памятники архитектуры, огромное количество скульптуры, необозримое количество памятников живописи: картины на шелку, на полотне, стенные росписи, множество памятников прикладного искусства (ткани, вышивки, металлические изделия и пр.). Создалась целая литература по вопросу, главным образом на иностранных языках. Благодаря этим публикациям можно получить уже довольно ясное представление об этом большом искусстве, которое более 1000 лет, никем незнаемое и никому ненужное, было скрыто в пустынях Азии. Достаточно будет, если мы назовем только публикации последних лет: пятитомный труд Штейна: «Serindia» (1921 г.), Пеллио: «Les grottes de Tuang Huang» (1920-е г.г.) книгу Грюнведеля о Куче (1920) и 3 тома публикаций Лекока: «Buddistische Spätantike in Mittelasien» I том о скульптуре, II—о манихейских миниатюрах, III—вышедший в 1924 г.—о стенных росписях). Из русских работ укажу С. Ф. Ольденбурга «Русская туркестанская экспедиция 1909—1910 г.» и статью «Пещеры тысячи Будд» («Восток». 1922), а также статью С. М. Дудина: «Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Китая» (1918 г.).

Перейдем теперь к искусству Дальнего Востока. Выставка знакомит нас с памятниками и Восточной Азии. О Японии говорят, главным образом, произведения японской цветной гравюры на дереве и немногочисленные памятники японской скульптуры, среди которых находится превосходный образец монументальной японской пластики XV века—деревянная статуя Боддисатвы, сидящего на слоне, так назыв. Пу-Хсиен (Самантабхадра) (стр. 147). В этом истинно монументальном создании дальне-восточной пластики неотразимо пленяет гармоническое сочетание спокойной и глубокой нежности в чертах Боддисатвы с несколько грузным архаизмом трактовки слона. Сиам, Камбоджа представлены немногими образ-

Боддисатва, сидящий на слоне. — Япония, XV век (дерево).

цами малой пластики из бронзы. Зато об искусстве Китая, об этом наиболее могучем и творчески-созидательном проявлении художественного гения Азии, выставка может дать известное представление. Китайское искусство, особенно древнейшей эпохи, привлекает сейчас особенно пристальное внимание исследователей и знатоков. Интерес к раннекитайскому искусству сейчас может быть сравнен только с тем жгучим интересом, с которым в начале века следили за успехами изучения крито-микенской культуры. Каждый год обнаруживается много новых памятников, часто высокого художественного значения (по большей части раскопанных в разных местах Китая). Вновь найденное изучается и сопоставляется с ранее известными памятниками; изучается китайская литературная традиция об искусстве и эстетика; выясняются особенности методологии. При очень большой древности китайской культуры еще недавно лишь древнейшие бронзы могли относить к эпохе Шан (второе тысячелетие до р. Х.) и Чжоу (1122—249 г.г. до р. Х.), а теперь удается приурочить к эпохе Чжоу и некоторые памятники скульптуры (хотя древнейшим точно датированным памятником остается изваяние лошади из долины Вей, относящееся к ханьской эпохе—119 г. до р. Х.), а керамику удается относить уже к эпохе Хань (III в. до р. Х.—по III в. по р. Х.).

В связи с изучением древнейшего искусства Китая возникает ряд чрезвычайно интересных вопросов об отношении китайской культуры к культурам Западной Азии (Ирана), к культуре кочевников Южной России и Центральной Азии. Ростовцев в ряде своих книг и статей ставил вопрос об отношении китайской культуры к скифской. Лауфер еще в 1909 году высказал взгляд на возможность влияния сибирского искусства и культуры на древний Китай: он указывал, что художественные мотивы в китайском искусстве эпохи Хань имеют родство со скифо-сибирским искусством (главным образом, известным по золотым бляхам Эрмитажа). Наконец, Арден де Тизак в своей статье о туринском искусстве («Revue de l'art ancien et moderne». 1923 г.) настаивает на значении для ранне-китайского искусства (вплоть до эпохи Чжоу) искусства кочевников степей между Черным и Желтым морями.

Удается определить характерные особенности искусства Китая главнейших эпох его истории. Лауфер характеризует искусство эпохи Чжоу, как всеобщее и коммунистическое; его происхождение лежит не в индивидуальных мыслях, а в общем культурном запасе всего народа, в национальном типе. Тогда как в искусстве эпохи Хань должны быть отмечены два главных момента — индивидуальность и новшество: в поэзии, искусстве, культуре и в жизни в ее целом. Два важных момента, мощно повлиявших и на искусство, должны быть отмечены в культуре эпохи Хань: сношения и взаимный товарообмен с Западом, во-первых, и влияние религии—во-вторых. Большое значение имело развитие внешних сношений с Туркестаном, Бактрией, Парфянским царством, с грекоримским миром. Время правления династии Тан (618—906 гг.) было в истории Китая одним из наиболее блестящих периодов. Китай вновь оказался объединенным в одно целое, границы его раздвинулись до Тибета и Индии; еще шире, чем в ханьскую эпоху, сделался размах внешних сношений. Сложность этих внешних сношений не замедлила сказаться и на искусстве эпохи, где оставили известный след эллинистические, византийские, сасанидские формы, хотя эти начала были быстро переработаны в горниле самобытного творчества. Эпоху Тан называют эпохой классического искусства. Здесь действительно можно отметить черты классицизма: объемы прочувствованы полно и сильно, лица моделлированы округло, в построении отдельной фигуры или целой группы обнаруживается забота о строго выдержанной тектонике. В искусстве этой эпохи сказалась та жизнерадостность, та полнота жизнеощущения, что ключом била в окружающей жизни.

О древнейшем периоде китайского искусства на выставке нам говорит лишь немногое; наиболее интересным памятником нам представляется нефритовая чаша с крупными ручками с изображением голов драконов, с рельефными звериными масками; по словам А. В. Орещ-

никова, чаша происходит из собрания нумизмата Бурачкова и по указанию последнего найдена при раскопках в Херсонской губернии. Ее нам кажется возможным датировать эпохой Чжоу. В области китайской керамики можно отметить две небольшие вазы одноцветной зеленой глазури «краклэ» периода Сун (X—XIII в. по р. Х.), может-быть, соответствующие китайским описаниям сунской керамики типа «Джу» (одна из них воспроизведена на помещенном здесь рис.). Более поздние эпохи: Мин (XIV—XVIII в.) и Цин (1644 — 1911), представленные характерными образцами и одноцветной глазури (высокое художественное достижение китайской керамики), белого с синей подглазурной росписью фарфора и примерами многоцветной эмалевой росписи по бисквиту. Очень тонкий образец фарфоровой пластики типа «blanc de Chine» минской эпохи — статуэтку Гуань-Ин мы воспроизводим (рис. на стр. 151). Из произведений дальневосточной скульптуры отметим превосходную бронзовую статую Гуань-Ин из б. собрания Харитоненко. И высокое качество материала—бронзы, и острота изысканного силуэта, и особенно утонченная удлиненность пропорций, и нежная одухотворенность лица,—стилистические аналогии с некоторыми известными памятниками (напр., т. LVIII, LIX, LX у L. Ashton. An introduction to the study of chinese sculpture» 1924) —все ведет нас в мир форм сунского периода, к каковому и хочется отнести эту прекрасную статую.

О китайской живописи из данных литературной традиции мы знаем, что она существовала еще в эпоху Хань, но древней шие, дошедшие до нас, памятники, относящиеся к III в. по р. Х. (росписи на вазах), к IV в. (если действительно к этой эпохе относится знаменитый свиток Ку-кай-чи) и V—VI векам (самые ранние стенописи в Дунь-Хуане). В этом Тан и Сун живопись достигает значительного развития и необыкновенно высокого мастерства и творческого подъема (о китайской живописи работа A. Waley.—An introduction to the study of chinese painting, 1923 г.) Но эта древнейшая пора китайской живописи не нашла своего отражения на выставке. Здесь мы встречаем лишь отзвуки искусства Юань (1280—1368),

Ваза типа «Джу». Китайская керамика. V — XIII.

Мин и ранней Цин. Отражением стиля Юань является небольшая картина на шелку (может-быть, фрагмент), где изображены лошади, всадник и конюха. Лошади переданы с большой остротой наблюдательности, превосходна передача труднейших раккурсов движения, нежны и звучны сочетания притушенных оттенков голубого и светло-красного. Среди портретов предков на бумаге и на шелку из б. собрания П. И. Щукина превосходный портрет старика, но определенно В. В. Голубева из эпохи XVII века. О китайском жанре дают представление две картины на шелку: одна—иллюстрация к роману — женщина, бросающая в воду лист, и другая — «После ванны». Столь любимые китайскими художниками картины с птицами и цветами представлены на выставке хорошими образцами. На потемневшем золотистом шелку получают здесь особенную глубину и прелесть звучные красочные аккорды. Примером монохрома — живописи тушью — служит картина на бумаге художника первой половины XVIII столетия Бяньшоу-мин «В камышах». Своими сочными импрессионистически набросанными пятнами туши она дает понятие о той «игре туши», которую так ценила китайская эстетика.

В заключение скажем несколько слов о памятниках азиатского искусства в русских собраниях. Если подумать, что наши сношения с Востоком длились века, то приходишь в удивление, что так мало собрано у нас памятников восточного искусства по сравнению со странами Запада и Америкой, но не мало есть и у нас ценного и интересного. В первую очередь должны быть поставлены ценнейшие собрания из Хара-Кото и Китайского Туркестана, хранящиеся в ленинградских этнографических музеях, затем богатейшее в мире собрание сасанидского серебра в Эрмитаже, составленное из находок в русских пределах, наконец, прекрасные собрания мусульманской миниатюры в Азиатском музее и в Публичной библиотеке (в последнюю вошла целиком ардебильская библиотека сефевидских шахов). Большие сокровища искусства живут еще в недрах Средней Азии. Необходимо оживить и усилить экспедиционную работу, особенно в Центральную Азию, — это главный способ обогатить наши собрания памятниками, а также создать, наконец, правильно организованные музеи восточного искусства в наших столицах. В то время, как на Западе существует ряд музеев, посвященных восточному искусству: музеи Гиме и Чернуски в Париже, музей восточно-азиатского искусства в Кельне, воздвигаемый теперь грандиозный музей в Далеме близ Берлина, — у нас открывшийся было в 1919 году музей азиатского искусства в Москве за отсутствием помещения был 3 года закрыт. Необходимо дать ему подходящее помещение, поднять, укрепить музей,—это будет соответствовать и значению восточного искусства в мировом искусстве и нашему международному положению среди стран Востока.

III. НАКАНУНЕ СЕЗОНА.

П. Марков.

Официальной программой деятельности всех московских театров стала ставка на современность. Эта формула должна была легко и свободно покрыть всю сложность театральных проблем; во всяком случае таково ее назначение. Она пришла во-время. Ее утверждению предшествовала в истекшем сезоне фактическая и, надо думать, окончательная ликвидация фронтов. Только газетные бойцы еще придерживаются установленного традицией деления сценического искусства на «академическое» и «левое». Между тем эта традиционная класси-

Статуэтка Гуань-Ин — Китай XIV — XVII (фарфор).

фикация постепенно теряла реальное значение, принадлежавшее ей в предшествующие годы. В свое время ее появление коренилось не в подлинном изучении художественных явлений, но было вызвано задачами преимущественно агитационного и административного порядка. Целью «левых» было революционизирование театра; правых—объединение на почве охраны «традиций». Однако, она никогда не покрывала существенных особенностей театральной жизни; была скорее номенклатурой и полемическим орудием; теоретическое признание академическими театрами «современности» на театре отчасти и явилось следствием агитации «левого фронта». Теперь цели той и другой стороны достигнуты, и границы деления спутались. Противоречивое объединение под одним флагом Мейерхольда, Фореггера, Эйзенштейна, Фердинандова, Бебутова, проводивших знак равенства между левизною политической и левизною художественною, вскрылись до конца. Мюзик-холлю Фореггера оказалось не по пути с Мейерхольдом. Ритмометрические изыскания Фердинандова были осуждены на одиночество и обособленность. В театре Революции Бебутов воскрешает стиль французского классического театра применительно к революционным темам о Спартаке и Стеньке Разине. Уже в «Великодушном рогоносце» Мейерхольд, обратившийся в поисках законов актерской игры к японскому театру, оказался не менее, а более академичным, чем, предположим, Малый театр, неожиданно допустивший при постановке традиционной мелодрамы Луначарского мнимо-конструктивные построения художника Триваса, или Первая студия МХТ, произведшая роковой опыт метафизического истолкования «Лира» в рамках второсортного кубизма. Еще ранее вызывал недоумение художественный союз Еврейского Камерного театра с благонамеренным «психологизмом» студии МХТ или Русского Камерного с благополучной помпезностью Большого Оперного.

Началось взаимовлияние отдельных театральных течений, уничтоживших их исключительность, и fundamentum divisionis окончательно исчез у привычного деления. Возможно, что этим делением будут пользоваться еще долго, в силу традиции. Оно подкреплено многочисленными актами Наркомпроса и правительственной власти, освобождает от затруднительной необходимости изыскивать новые определения и остается рабочей формулой, не более. Внутри же театра продолжается медленная и глубокая переработка художественных достижений последних лет; из нее определятся новые театральные течения и новые фронты; граница пройдет уже по признакам художественного порядка, если главная формула левого театра о современности стала общей (может-быть, «Классический» театр, «Шекспиров» театр).

Формула современности была признана господствующей в тот момент, когда линия театрального творчества теряла первоначальную ясность и определенность, когда экономические тяжелые условия очень веско поставили вопрос о путях и возможностях дальнейшего существования театров, а натиск жизни принудил к пересмотру многих из оснований их деятельности. В таких условиях новая формула показалась спасительной и обещала принести мир и спокойствие в буйную жизнь наших театров. В 1924 году было уже трудно отрицать живейшую связь театра с культурой эпохи: театры усомнились в привилегии «левого» фронта на революционность. В качестве задания, подлежащего выполнению, они охотно приняли выражение в художественной форме «идеологии советской государственности». Даже Малый театр, справляющий в наступающем сезоне столетний юбилей, решительно объявляет о своем стремлении вместить в рамки своего умения политические тенденции современности. Бывшие «правые» театры не прочь в иных случаях упрекать представителей бывшего «левого» фронта в аполитичности и в беспредметном жонглировании театральными приемами. Впрочем, эти споры только отголоски прошедших бурь, и дискуссия о «вреде и пользе академизма» и новых форм отошла на второй план.

По существу формула о современности неоспорима. Невозможно подвергать сомнению искренность идеологических заданий и утверждений, еще менее — их историческую закономерность. С ее пока

теоретическим признанием театр вступил в новую полосу работы. Однако, в самой постановке спасительной формулы кроется ряд существеннейших соблазнов, грозящих свести на-нет ее практическое выполнение. Не приходится скрывать, что формула о современности, в особенности применительно к искусству, обща, неопределенна и требует дальнейшего раскрытия. Более чем когда-либо встает вопрос о художественной тактике каждого отдельного театра при проведении ее в жизнь. В ее постановке есть один очень показательный факт: она в гораздо большей степени является рационалистическим осознанием необходимости современности на театре, чем подлинной художественной волей театра. Современность все еще остается на театре задачею со многими неизвестными, определить которые требуется в процессе творчества. Сознаемся, что современность продолжает оставаться непреодоленным заданием и неосуществленным пожеланием. Творческой готовности—более того—возможности перенести на сцену заброшенные революционными годами чувства и ощущения пока нет. Может-быть, только «Лес» в постановке Мейерхольда и некоторые опыты Пролеткульта намекали на них. В конце зимнего сезона четыре московских крупных театра показали постановки, которые служат живейшим подтверждением сказанного о рационалистическом характере этой формулы. Две из этих постановок были показаны в неоконченном виде и будут переработаны. Это—«Трест Д. Е.» в постановке Мейерхольда (театр его имени) и «Кармен» в постановке Немировича-Данченко (Музыкальная студия МХТ). Две другие—«Медвежья свадьба» Луначарского (Малый театр) и «Вавилонский адвокат»—современный фарс Мариенгофа (Камерный театр) вошли в постоянный репертуар театра. Постановки появились в результате долгой и серьезной работы: они характерны для решения вопроса о путях достижения современности на нашем театре.

Одним из рационалистических подходов к современности послужило усвоение новых приемов. В его основе лежит, видимо, сознание необходимости «стиля современности»—новых средств сценического воздействия. При отсутствии их внутри самого театра их приходится заимствовать. Именно такую попытку и произвел Малый театр. По существу мелодрама Луначарского написана в традициях старого театра вне намека на какие-либо новые формы. Сюжет Меримэ натолкнул автора на создание многоактной пьесы с театральными эффектами: пением, танцами, ужасами, убийствами, монологами и т. д. Тема пьесы о неважной наследственности молодого графа, толкающей его на ряд сомнительных и неблаговидных поступков вплоть до перегрызания горла собственной супруге, вполне потрясающа, но лишена революционной тенденции. Наличие же оппозиционно мыслящего доктора не вносит существенных изменений в основную сюжетную линию пьесы. При всем том в пьесе все—элементы хорошей традиционной мелодрамы, соблазняющей актеров выигрышными ролями и устрашающей публику количеством невероятных переживаний. Мелодрама требует четкой и ясной постановки. Режиссировать спектаклем был приглашен Эггерт, воспитанный на традициях Камерного театра, недавно демонстрировавший их усвоение постановкой «Испанцев». В своей режиссерской работе Эггерт был нечеток и смутен. Он отказался от точного следования своим принципам, не приняв, однако, принципов Малаго театра; методы его режиссуры явно противоречили мастерству актеров театра; общий же художественный замысел оказался смутен и неопределенен: у исполнителей была выбита из-под ног привычная почва, и взамен не было дано ничего нового. Актеры растерянно двигались среди традиционных лестниц, по сломанной площадке, представлявшей своеобразное сочетание плоскостной декорации и примитивного конструктивизма. Весь спектакль был эстетически незакономерен. На этот раз «левизна» не подвинула театр по пути современности. Причина лежала не только в том, что были применены вульгаризованные формы. Художественная тактика театра бессмысленна постольку, поскольку она касается усвоения отдельных приемов вне обусловливающего их принципа. Между тем сила и значение формальных театров не в отдель-

ных приемах, часто неудачных и подлежащих оспариванию, а в ряде утвержденных ими принципов, которые вытекают из существа искусства театра вообще. Спектакль же Малого театра не учел ни драматургического, ни актерского материала; мнимый конструктивизм не обеспечил современности постановки. Данная постановка еще раз подчеркнула, что перед руководителями театров стоит все та же глубокая и сложная задача применения новых методов и приемов постановок лишь соответственно природе и существу каждого отдельного театра, а не их внешнего и рационалистического усвоения. Это—вопрос *тактики*. Тактика же «завоевания изнутри» обеспечивает рождение пока отсутствующего «стиля современности». Без «левых» мастеров,—мастеров формы, вероятно, не обойтись: напрасно компрометировать их и себя неумелым и неразборчивым применением их методов.

Второй рационалистический подход к современности наиболее четко раскрыл своей постановкой «Кармен» Немирович-Данченко. И здесь было явное стремление пользоваться новыми формами (сценическая архитектура Рабиновича: «синтез» пения, танца и слова и т. д.). Выдвинутый «левым» театром догмат о господстве театра над автором повел к созданию нового сценария. Это было доказательством сомнительности ставшего традиционным догмата—методом приведения к абсурду. В параллель к «Лесу», путем введения новых персонажей, эпизодов из рассказа Меримэ, хаотического перемещения отдельных сцен, искусное оперное либретто Мельяка и Галеви превратилось в мистическую трагедию работы Липскерова. Немирович-Данченко хотел вскрыть трагическую сущность оперы Бизе. Основным методом постановки было сгущение сюжета. Центром драмы была роковая, непреодолимая любовь. Рационалистически-обнаженные приемы передавали философские намерения режиссера. В самом методе постановки слышался отзвук господствовавшей одно время формулы «созвучия» театра с эпохой, понимаемого в смысле напряженной трагичности, высоких переживаний и героического пафоса. Как будто бы Немирович-Данченко своей постановкой хотел «поднять» Кармен до уровня современности. Это было настолько явно, что перестало быть действенным сценически. Уничтожение толпы и замена ее хором по принципам античного театра подчеркивало трагичность восприятия пьесы театром; сцена в кабачке в тонах Гойи и Зулоаги передавала жуть и ужас испанской таверны; Немирович-Данченко оторвался от реализма, но по существу впал в оперную условность. Вместе с тем, по традициям Художественного театра, актеры стремились к психологическому оправданию изображаемых роковых страстей. Одна густая краска рационалистически осознанного «рока» окрашивала спектакль. Иногда приходилось жалеть о старом мастерстве Художественного театра, когда-то умевшего, по определению самого Немировича, «углубить реализм до пределов символизма». На примере обращения бурной, полной крови и жизни «Кармен» в печальную и пессимистическую историю стала очевидной невозможность отвлеченного подхода к современности, при котором современность становится метафизическим явлением, некоторой умопостигаемой сущностью — с обобщенными образами, отвлеченными чувствованиями вне реального ощущения жизни: схематизм не есть символизм. Самая мудрая абстракция не ведет к постижению глубоких духовных проблем, о которых мечтал Немирович.

Так, в измененном и переработанном виде продолжают жить в нашем театре формулы первых революционных лет—о самодовлеющей революционности формального искусства и о «созвучности» эпохе. Из формальных театров они перешли в бытовой и психологический. Но их запоздалое применение в наших театрах только пережиток, стремление к современности, которому нет выхода и неизвестны пути.

Не менее рационалистично разрешается и вопрос об агитационном воздействии театра. В конце-концов, в тех подходах, о которых мы говорили — в «старческой болезни левизны» и умудренной философии—заключается сужение и упрощение темы о современности на театре. Такое же упрощение и в агитационных методах, примененных

Мейерхольдом при постановке «Треста Д. Е.»,—это спектакль, в котором аплодируют лозунгам, появляющимся на экране, и остаются равнодушными при сценическом исполнении отдельных эпизодов пьесы. Мейерхольд пошел путем механического, а не органического соединения агитации с искусством театра. При таком соединении искусство остается само по себе и агитация сама по себе. Агитация в данном случае была обнаженным приемом и линией наименьшего сопротивления. В значительной степени неудача Мейерхольда может быть отнесена за счет исключительно неудачного литературного материала, с которым ему пришлось работать (отсутствие твердых образов и линии действия; неразработанное слово; примитивность сценического построения). Но уже в «Лесе» и раньше, в «Земле дыбом», Мейерхольд поставил вопрос о художественном воздействии на подсознательные ощущения зрителя. Театр по существу всегда есть обогащение духовного опыта—в большей степени именно на этом и был построен блистательный успех театров, занимавшихся изысканием новых средств сценического воздействия. Постановка же «Д. Е.» смотрит в прошлое, а не в будущее, хотя и повествует о таких ответственных и серьезных событиях, как мировая революция. Она касается их поверхностно, скользяще и потому меняет перспективы. У нее нет сил сказать театральными средствами то, что с экрана очень убедительно и категорично заявляет Троцкий и Зиновьев. Лозунги экрана—сильнейшее обвинение тому, что показывается на сцене. Это—обнаружение слабости театра и силы слова. Политические авторитеты, однако, должны решить меру полезности этого спектакля, по сравнению, хотя бы, с напечатанной в «Известиях» речью Троцкого или отчетом Коминтерна. В «Д. Е.» Мейерхольд говорит о том, что всем известно—вполне успокоительно слушать подтверждения неоспоримых истин, но в той же мере скучно. Агитационный спектакль, перемещающий центр агитации на экран, фактически знаменует отказ от агитации средствами театра. Сценически же этот спектакль представляет соединение приемов «Леса» и «Озера Люль». Принцип Шекспирова театра, с такой силою выдвинутый Мейерхольдом, требует богатства и разнообразия приемов. Их повторение (фокс-тротт, гармошка, урбанизм) оставляют зрителя равнодушным. Мейерхольд, сам изобретший свое оружие, в «Д. Е.» сам от него и гибнет. Вопрос об агитации на театре приходит первым на ум, когда говоришь о театре современности. Это не значит, что его можно достигать первобытными средствами: в начале революции эти лозунги вкладывались в уста действующих лиц вне зависимости от пьесы, теперь они отданы экрану,—своеобразное разделение труда.

В этом же спектакле ряд сцен, как всегда у Мейерхольда, очень мастерски сделанных, посвящен «урбанизму». В начале прошлого сезона урбанизм представлялся одним из признаков театра современности. Между тем первые же урбанистические постановки, «Четверг» и «Люль», показались давно ожиданными и виденными. В данном случае театр следовал не за драмой, а за авантюрным романом и кинематографом. То, что было шаблонно в литературе и кино, стало еще шаблоннее на театре. Урбанизм был воспринят как общедоступный американизм,—американизм внешности, а не сути. Звучали фокс-тротты, автомобильные гудки, были четки и остры движения. Перед глазами зрителей проходили энергичные личности в кепках и вязаных шарфах, с трубкою в зубах, профессиональные авантюристы, сугубо зловещие или, наоборот, шаржировано комические миллиардеры, прекрасные авантюристки и т. д. Эти новые театральные маски были включены в готовые запасы ранее выработанных масок современности: пьяного попа, развратного помещика, честного рабочего и благородного крестьянина. По существу же эти маски—образы с выветрившимся содержанием. В крайнем случае их можно принять в качестве сценического задания, но вряд ли можно в них видеть проявление реальных образов эпохи. Они интересны как рационалистические построения или шаржированные гротески. Они ждут оживления силою уже не актерского, а драматургического таланта. Задача современной драматургии—оправдать их

появление на театре: в отвлеченном образе рабочего раскрыть действенное и психологическое зерно и в американском миллиардере—его драматическую страсть и волю, его внутреннюю природу и силу и т. д. Появление современных масок на сцене—несомненное завоевание театра, его актив. Он легко может обратиться в пассив, если останется в пределах той утешительной абстракции, которой нас охотно дарят современные театры.

Последний из легких путей достижения «современности» на театре и в драматургии—применение современных тем. Несомненно, говорить в обозрении о Моссельпроме и петь в опереточных куплетах о советских учреждениях более современно, чем сатирически осмеивать несчастия семейной жизни, проистекающие от внедрения тещи; ссылаться на Пуанкарэ остроумнее, чем на Пуришкевича. Рационалистический антиклерикализм («Вавилонский адвокат» Мариенгофа)—ближе, чем мистическая философия. Каждый зритель с бо́льшим вниманием будет следить за забавными похождениями комсомолки, чем рышковской «Змейки» или допотопных «Оболтусов-ветрогонов». Однако, голая тема еще не делает современности, и «Неугомонный моссельпромщик» в Вольном театре недалеко ушел от обозрений Лоло. За отсутствием современной комедии приходится пользоваться паллиативами злободневности, паллиатив же не разрешает проблемы. Он только временный выход, но не спасение театра. Однако, здесь окончательный переход в область драматургии.

Рационализм тесно связался с постановкой формулы современности на театре. Его преодоление — наиболее существенная задача наступающего сезона, покрывающая все остальные сценические проблемы. Театр добился крупных достижений в своих поисках сценического стиля современности. Увлечение мюзик-холлем, кино и цирком не прошло бесследно. Мы имеем актера четкого, уверенно учитывающего материал, знающего меру влияния на зрителя, острого и иронического, более скептика, чем позитивиста, с хорошим внешним умением и без глубокого внутреннего лица—порождение переходных дней.

Принципы, выработанные формальным театром, приемы декоративного оформления (подчинение сценическим заданиям и т. д.), приемы актерского мастерства (точность, сжатость, ударность и т. д.) общеизвестны. И все же «театра современности» наша смутная и противоречивая жизнь, наша переходная эпоха не создала. Мы имеем только «современные театры»,—театры, едко и остро свидетельствующие о противоречиях наших дней; «театра эпохи», который в полной мере раскрывает существо и смысл происшедшей революции и нашего будущего, нет. Может-быть, в настоящее время возможен только сценический стиль наших дней, в котором соединены отзвуки прошлого, урбанизм фокс-троттов, эксцентрика актерского исполнения и героический пафос? Однако, речь давно идет о том, *что* передается зрителю при помощи новой сценической манеры. Рационализм отдельных театральных построений ясно говорит об отсутствии подлинного оформления духовного наследства революции. Театры, при всех их эстетических достижениях, обрекли себя на неизбежное снижение темы и на ее сужение. Между тем опыт Шекспирова театра, произведенный Мейерхольдом, зовет не к ущемлению жизни, которое мы имеем в сценическом воспроизведении большинства театров, а, наоборот, к откровенному, резкому утверждению полноты жизни и ее раскрытию. В этом утверждении и заключалась причина успеха «Леса», на первый взгляд такого далекого и по теме, и по развитию сюжета от интересов и стремлений нашего времени. Невозможно отрицать—повторяем — исторической закономерности ставки на современность. Однако, вне оформления тех, может-быть, глубоко подсознательных, стихийных, иногда грубых, иногда кровавых, всегда героических, часто земляных ощущений, которые вырвались во время революции, и тех изменений в каждом отдельном человеке—и в актере, и в художнике, и в поэте, и в зрителе, которые в нем произвела революция,—нет и не может быть театра современности. В свое время гипертрофия режиссерского мастерства была вызвана отсутствием монументального актерского творчества, которое в иные исторические

эпохи давало «масштабы»,—о них-то и тосковал зритель и театр. «Масштабы» остаются плодом работы режиссеров, но еще очень слабо и незаметно доходит до зрителя «перерожденный» актер: актер ждет драматурга, чтобы за его спиной спрятать свое скептическое и утомленное лицо. Вопрос же вполне разрешится через много лет, когда воспитается новое поколение.

В конце-концов, в рассуждениях о зрителе, об обусловленности театра зрителем, теоретики и практики театра пользовались абстракцией зрителя, подобной абстракции современности на театре и рационалистическому, а не художественному к ней подходу. Теперь театр лишен государственной помощи и поставлен в экономическую зависимость от зрителя. Вопрос о зрителе приобретает особенную остроту. Он становится основным фактором, влияющим на художественную тактику театра. Применительно к внутренней политике театра, говорилось о необходимости найти пути, которыми возможно было бы произвести завоевание театра изнутри левыми художниками вне явного разрыва с традицией. Еще более лукавым и сложным является вопрос о зрителе. В параллель делению искусства на «академическое» и «левое» возникло деление зрителя на «буржуазного» и «пролетарского», минуя гораздо более сложную фактическую дифференциацию зрителя. Как театр не отрицает современности, так и зритель уже давно в большинстве защищает советскую государственность. Театры жадно ищут необходимого общественного окружения, которое давало бы не только экономическую базу их деятельности, но и необходимую психологическую атмосферу, в которой театр мог бы черпать новые запасы сил для работы. Театр ищет «своего» зрителя. Однако, лицо этого зрителя, совмещающего разнородные психологические и общественные типы рабочих, советских служащих, раскаявшихся интеллигентов, крестьян, комсомольцев, красноармейцев и т. д. и т. д., остается туманным и неопределенным. Каждый из них требует своеобразных форм сценического воздействия. Театр, который не хочет быть в подчинении у зрителя, ставит вопрос о путях, которыми он бы мог сказать зрителю свою художественную правду и передать ему свое жизненное мироощущение. Период обнаженного приема на театре прошел. Рационалистические приемы—не действенны. Речь идет об организации не только «сознания» зрителя—это более плодотворно и успешно можно сделать иными средствами современной культуры: книгой, газетой, лекцией и т. д.,—но в гораздо большей степени подсознательных его ощущений, которые приготовили бы его к будущим битвам и сражениям. И если не сантиментальная, но лирическая оперетта, эстрадная песня, здоровый полнокровный фарс, смелая, резкая комедия, мужественная откровенная драма, обаяние зрелого мастерства способны передать *мироощущение* нашей эпохи театру,—это будет важнее и ценнее всех рационалистических экспериментов с абстрактной современностью, хотя бы в пьесах не было ничего упомянуто о ней. В прошлом сезоне главнейшей опасностью было, с одной стороны, покорное следование вкусам и желаниям случайного зрителя, роковое подчинение ему, с другой же — воздействие на него средствами, ему явно чуждыми. Но театр в известном смысле всегда находится в борьбе со зрителем и в некоторой оппозиции к нему. Мудрость театрального художника — в постепенном овладении зрителем и передаче ему своего мироощущения. Дело в тех художественных способах, в той тактике, которой можно этого достичь. Отсюда вытекает задача наступающего сезона применительно к зрителю, в частности отсюда следует и суд над сценическим стилем наших дней.

Ему предстоит суровое испытание и очищение. Мы не можем требовать от театров, чтобы каждый из них был театром эпохи, но мы в праве ждать от них предельного мастерства и четкой художественной тактики. Растерявшийся и одинокий в своих поисках современности, театр видит окончательное спасение в драме. Для передачи мироощущения эпохи применительно к «современности» и «зрителю» он не находит в себе материала — он ищет его на стороне. Театр и ждет, и боится встречи с автором. Однако развитие театральной жизни по-

следних лет шло в тесной связи со всеми художественными явлениями последних лет, за исключением литературы. На театр влияли живопись и музыка, менее всего поэзия. Боязнь оправдана. Догмат о подчиненности автора театру обратил поэта в послушного выполнителя заказов театра. Между тем послеоктябрьская литература, как бы слаба она ни была, ближе прикоснулась к конкретному факту революции, тогда как театр, утончив свои приемы и формы, одновременно оторвался в своей художественной обособленности от общей линии литературного развития. Между литературой и театром образовалась пока незаполненная пропасть. Более всего разработав движение, театр менее всего коснулся слова. Знающий эстетическую ценность жеста и отвлеченную красоту музыкального звука, театр перестал ощущать внутреннюю форму слова. Неудивительно, что «Лес» у Мейерхольда зритель только смотрит и совсем не слушает, что в спектакле «Трест Д. Е.» слово оказалось лишним и успешно заменено кинематографическими плакатами. Соблазн легкого достижения «современности» в рамках старой комедии сейчас несомненен, и, вероятно, недолго осталось ждать рокового для театрального искусства появления крепко сколоченных театральных пьес, рассказывающих о комбедах и завхозах по традициям Шпажинского и Невежина (Чижевский)—для одних театров, или Рышкова—для других. И театр снова может оказаться в руках тех, кого с себя сбросил.

Но лучшие из опытов сегодняшней литературы не боятся резкого и прямого взгляда на жизнь. Рассказы Бабеля первые дали художественное оформление революционных и фронтовых дней. Легкое и менее значительное им соответствие можно найти все в том же «Лесе», в котором Мейерхольд раскрыл ту же грубую и стихийную и прекрасную природу народной жизни, как это Бабель сделал применительно к революции. В художественном смысле это—явления одного и того же порядка, но разного калибра. Возможно, что вообще не только литературе и драматургии приходится глядеть в глубокую, грубую и очень конкретную жизнь,—необходимо это сделать и театру, давно бродящему в фантастических садах формы и отвыкшему от таких заданий. Тогда окажется, что драма ставит перед театром новые, ему неведомые задачи: из их трудного и тяжкого преодоления и вырастет театр, который мы в праве будем назвать театром эпохи.

Сознаемся, что театр, порвавший с традицией Гоголя и следующий традициям французского классицизма или русской бытовой комедии 80-х годов, не найдет необходимых средств сценического воздействия для передачи таких пьес. К восстановленной Мейерхольдом традиции Шекспирова театра должна присоединиться восстановленная суровая и резкая традиция театра Гоголя и Сухово-Кобылина.

Такова та сложная противоречивая обстановка, в которой театр встречает наступающий сезон. В наследство от предшествующих лет ему остались борьба с рационализмом; ожидание автора, который оформил бы резкое и смелое мироощущение эпохи — вероятно, в неожиданных для театра формах — и вопросы художественной тактики: они-то менее всего разрешены. Пока же мы остаемся при современных театрах и без театра современности.

IV. ИСТОРИЯ НОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

М. Эйхенгольца.

I.

Из книг по истории французской литературы последней четверти XIX и XX вв., изданных на Западе за последние годы, останавливают внимание труды Флориана-Парментье (Florian-Parmentier.—Histoire contemporaine des lettres françaises de 1885 à 1914, 675 p. 1915)

и Ренэ Лалу (René Lalou.—Histoire de la litterature française contemporaine (1870 à nos jours), 706 p. 1923).

Известная история французской литературы Г. Ланстона вышла в 1923 г. семнадцатым изданием, дополненным в части, касающейся последних десятилетий. Изменения, внесенные в нее, не столь значительны, и труд этот настолько известен, что говорить о нем не приходится. Его достоинство в большой сжатости и яркости характеристик, недостатки — в методологической нечеткости и загромождении материалом, к художественной литературе не относящимся.

История французской литературы XIX—XX века—Ретинжера (J. H. Retinger.—Histoire de la litterature française du romantisme à nos jours), Ле Коффика (Ch. Le Coffic.—La litterature française au XIX et XX siècle. I—II v. v. I—II 270—292 p. 1914), Е. Мейера (E. Meyer.—Die Entwickelung der französischen Literatur seit 1830—292, 1898), Эд. Энгеля (Ed. Engel.—Geschichte der französischen Literatur von den Anfängen bis in die Gegenwart. 375 p. 1920 (9 изд.)—популярные обзоры либо учебники. Лучший из них учебник Эд. Энгеля, в котором имеются, между прочим, и главы, посвященные рабочим писателям и современной народной поэзии, чего не встретить в обычной истории литературы.

Из небольших брошюр, написанных для иностранцев (не французов): Гроу (Lilly Mary Groy.—Contemporain thought in France. 1900—14, 30 p.), Фридман (W. Friedmann.—Die französische Litteratur im XX Jahrhundert. 1914. 58). Граутоф (Otto und Erna Grautoff.—Die Lyrische Bewegung im Gegenwärtigen Frankreich. 1911. S. 52, — достойна внимания лишь последняя статья, предисловие к антологии французской лирики в переводах на немецкий.

Ни Флориан-Парментье, ни Р. Лалу не являются академическими учеными. Оба они — литературные критики и авторы художественно-литературных произведений. Быть-может, этот непрофессиональный характер их работ объясняет смелость заданий — нарисовать более или менее полную историю новейшей французской литературы. Известная робость в написании таких трудов объясняется не только близостью к нам эпохи, но и нетвердостью историко-литературных методов. Четкого представления об истории литературы, как историческом литературном процессе, нет; новые методы литературного анализа, куда входит в той или иной мере анализ формальный, продуктивно разрабатываются пока в отношении отдельных произведений или групп их. Пример из многих: Dibelius. «Englische Romankunst», R. Lehmann. «Die Formelemente des Stills» von. Flaubert. Франция в этом отношении, несомненно, отстала от Германии. Своеобразное разрешение вопроса об анализе художественно-литературных течений можно найти у Куммера и Вальцеля в их трудах по истории немецкой литературы. Социологический метод в истории литературы систематически почти не применялся.

II.

Недостатки в построении истории литературы у Флориана-Парментье сказываются в самом членении книги по главам, этим конструктивным признакам научного труда. Часть их случайна, что не мешает материалу, в них входящему, представлять интерес. Такова, напр., глава об «Академии Гонкуров». Несмотря на пятьсот кандидатов на премию, Академия — случайный организационный центр, не связанный теперь с определенным художественно-литературным течением.

В целом удачна первая часть книги Флориана-Парментье, посвященная литературным течениям, школам, группировкам. В части, касающейся символизма, труд. Флориан-Парментье, как и Р. Лалу, не может быть сравниваем со специальным трудом Барра, у которого с исчерпывающей полнотой установлены литературные группировки символистического периода. (Ad. Barre.—Le Symbolisme, essai historique sur le mouvement symboliste, en France de 1885 à 1900, suivie d'une bibliographie de la poésie symboliste. 414+294 p. 1912). У Барра дан анализ теорий Верлэна, Малларме, Г. Кана и Р. Гиля, после которого замечания Флориан-Парментье о научной поэзии и словесной инструментовке

Р. Гиля или теории свободного стиха у Г. Кана кажутся незначительными. Но обзор более тридцати литературных группировок после символизма дан Флорианом - Парментье впервые в истории литературы. В этом его заслуга. Самый метод — исходить при анализе литературных явлений из поэтических группировок—единственно правильный. Однако, при рассмотрении литературных манифестов у Флориана-Парментье незаметно твердых критериев в подходе к эстетическим догмам, а практическое отражение поэтических теорий в творчестве затронуто им как-то случайно. Иногда лишь он указывает на несоответствие теории и художественной практики, напр., в отношении «Унанимизма», поэзии всеединства Ж. Ромэна, стиль которой он определяет как дискурсивный, не прямой, полный абстрактных терминов в противность заявлениям поэта о «непосредственном выражении».

Флориан - Парментье довольствуется цитированием «показательных» поэтических образцов, не производя анализа их, ограничиваясь, примерно, фразой: «чтобы дать возможность оценить поэзию неомаллармистов, процитируем две короткие поэмы». К тому же стихотворные цитаты немногочисленны. Приведено по стихотворению Сен-Жоржа де Буэлье, Фр. Жаммеса, Магра, Пуансо, Норманди, Грэга, Маринетти, Дивуара и некоторых других. Из группы «Аббатства», из крупных поэтов Ж. Ромэна, Ж. Вильдрака, Ж. Дюамеля нет ни одной стихотворной цитаты.

В сущности книга Флориана - Парментье дает богатый материал только о литературных группировках, манифестах. И с очевидностью из нее выступает многообразие эстетических исканий, увлечение априорной формой литературного манифеста, не встречающей соответствия в художественной практике, погоня за оригинальностью. Таково впечатление о широком поэтическом движении во Франции в XX веке. О более крупных литературных группировках в книге собран материал, в конечном счете недостаточный. Это относится к «французской школе» Пуансо и Норманди, натуризму Сен-Жорж де Буэлье, интегрализму Лакюзона, унанимизму Ж. Ромэна, драматизму Барзена, динамизму Гильбо. Осведомительный интерес представляют материалы о sincerisme'е, floralisme'е, неомаллармизме, визионаризме, примитивизме и т. п. Интерес представляют—régionalisme (регионализм), течение областной поэзии, представленной значительным количеством провинциальных журналов, продолжающей традиции Мистраля, а также эзотерические группировки, связанные с католицизмом (Эрико), теософией, спиритуализмом (Мишлэ, Папюс, Ж. Буа), нашедшие отражение за последние десятилетия в сорока с лишком журналах. В силу личных симпатий Флориана-Парментье последняя группа наиболее полно представлена в его книге.

Но нашли свое отражение у него и различные социально-революционные тенденции, начиная с группировок литературных и литературно-общественных 90-х годов—социализма (Ж. Гэда), анархизма (Себ. Фор, А. Жид, Крапоткин, О. Мирбо, Э. Реклю, Риктюс), до демократизма, пролетаризма (Мартинэ), революционного возрождения (Ришар Блош Амп, П. Ломбар). Лично Флориан-Парментье является создателем impulsionisme'а, которому и посвящает до 30 страниц книги, стремясь доказать своеобразие своей теории и независимость ее от Бергсона. Участвуя в художественной борьбе, Флориан-Парментье к некоторым течениям относится с особой суровостью, это можно сказать об унанимизме. В книге имеется особая глава о партийных литературных журналах, которую выделять не следовало бы.

Индивидуалист Флориан - Парментье объясняет многообразие литературных группировок индивидуализмом нашей эпохи, «когда посредственность демократических нравов доводит до отчаяния и бунта избранные темпераменты». Видимо, его резко-отрицательное отношение к унанимизму, поэзии всеединства, групп, толп, объясняется именно тем, что он считает нашу эпоху (книга написана в 1914 году) чуждой коллективистическим устремлениям, массовым движениям. История не оправдала диагноза Флориана - Парментье.

В главе об отдельных писателях—случайный подбор: Флориан-Парментье говорит о Бобурге, создавшем роман апа-

шей, о романисте интеллектуального пролетариата Шарль-Луи Филиппе, о доисторических романах Рони, националисте Барресе, католической поэзии П. Клоделя, французских балладах П. Фора, оригинальном Лебесге, но оставляет без внимания, например, своеобразного Пеги, выдающихся писателей Вильдрака и Ж. Дюамеля.

Социальное обоснование различных поэтических группировок дано у Флориана-Парментье в формах случайных, в виде установления связи литературы с «этической и политической историей Франции», представленной у него французским парламентаризмом. Тут он выявляет свой консерватизм, национализм, даже антисемитизм.

Есть у Флориана-Парментье отдельные замечания, не лишенные интереса, когда он говорит о социальном типе поэта в эпоху капитализма и буржуазной республики, или о проблеме «кельтизма» и борьбе с латинским возрождением.

Автор книги—интуитивист, относящийся скептически к «материалистам в литературе», к анализу формальному, что сказывается, например, в его анализе поэзии П. Клоделя: «механизм клоделевского творчества—это трудолюбивые построения, темные места, умышленные странности, насильственные образы, анахронизмы, вульгарность»,—это с точки зрения формальной. Но ему кажется, что при интуитивном постижении «творчество Клоделя трепещет и волнуется, как сияющая душа».

Небольшие главы о жанрах и заключительный синтез позволяют Флориану-Парментье высказать несколько общих соображений об эволюции французской литературы за последнее десятилетие. Так, период 1895—1900 г.г. он обозначает, как идеалистический реализм, отмеченный поэзией Жаммеса и натуризмом Буэлье, 1900—1905 г.г., как период анархии; далее он указывает на струи социальных устремлений во «французской школе», унанимизме, пароксизме, динамизме и др. течениях. Вместе с тем, символистские тенденции сказываются, по его мнению, в творчестве Грэга, Барбюсса, Магра; а теория «научной поэзии» Р. Гиля как будто развивается в интегрализме Лакюзона и в творчестве Дюамеля и Аркоса; при всем том автор книги указывает на реакцию интеллектуализму, возрождение мистицизма, католицизма и уклон к метафизическому идеализму.

В области романа он отмечает антинатуралистические тенденции, беря за исходный момент П. Адана и Л. Бертрана, противопоставляя наблюдению Золя интуицию и визионаризм Бальзака, традиция которого, по его мнению, оживает в современной литературе. Все высказанные Флорианом-Парментье соображения, однако, не опираются на более или менее тщательный анализ самих произведений. К тому же он не говорит о ряде выдающихся писателей—Ан. Франсе, Ромэн-Роллане и др.

Реакционная тенденциозность вредит труду Флориана-Парментье. Тем не менее, его книга помогает разобраться в литературном движении современной Франции, и ее информационная ценность бесспорна. Показательны в этом отношении более тысячи упомянутых в книге писателей. Без подобных справочников, правда, не отличающихся объективностью, читатель не мог бы охватить необычайно сложное современное литературное движение во Франции.

III.

Труд Ренэ Лалу оправдывает свое заглавие: это действительно систематическая история литературы с 1870 года до наших дней; тогда как у Флориана-Парментье, кроме глав, посвященных литературным группировкам, прочий материал случаен, в силу чего книга его загромождена именами авторов, повторяющихся в различных комбинациях. В соответствии с одним из заданий Ренэ Лалу — «создать для иностранной молодежи гид по французской литературе того периода, до которого обычно доходят в истории литературы» — труд его носит учебный характер и в этом смысле очень полезен.

Однако, историко-литературный метод Ренэ Лалу, который можно назвать психолого-эстетическим, грешит большими недостатками. Несмотря на значительное количество цитат, преимущественно стихотворных, материальный

анализ поэтических произведений занимает у Р. Лалу место не столь значительное. Он исходит скорее от личности писателя, чем от его творений. Необходимо предварительное знакомство с подлинниками, чтобы извлечь существенную пользу из анализа Р. Лалу. При таких условиях книга его — толчок для читателя. Быть-может, технические причины—значительная литературная продукция современной Франции—мешали Ренэ Лалу сосредоточиться на анализе литературных произведений. Встречается у Р. Лалу и своего рода формальный анализ стиля. Так, говоря о Лоти, он отмечает словесные повторы, нагромождение образных глаголов, субъективно-окрашенные прилагательные, «создающие впечатление невыразимой тайны», или, говоря о Тристане Корбьере, отмечает вторжение в «высокую поэзию» народного припева.

В основном Р. Лалу следует группировке по литературным течениям, посвящая последовательно отдельные главы парнасцам, натурализму, антинатуралистической реакции (Барбей д'Оревильи, Вилье де Лиль Адан, Поль Бурже, Баррес, Ан. Франс, Лоти), символизму и современной поэзии, выделяя в последней Ж. Ромэна и группу «Аббатства», кубистов и дадаистов (Г. Апполинер, Бл. Сендрар, Кокто, Арагон, Пикабиа и др.). В части, касающейся современной поэзии, Р. Лалу дополняет литературным анализом произведений тот богатый материал о литературных группировках, который доведен Флорианом-Парментье до 1914 года.

В стремлении быть исчерпывающим Р. Лалу прибегает к классификации по жанрам, в достаточной степени произвольной. Пример главы о театре, вернее, о драме, с параграфами о «психологическом» театре — Порто-Риш, Ж. Леметра, Доннэ, Кюреля, «пьесе à thèse—Эрвье, Бриэ, Батайля, комическом театре—Куртелина, Бернара, театре в стихах—Ростана, Ромэна, Дюамеля. То же можно сказать о главе «Современный роман» с параграфами: художественный роман Анри де Ренье, Пьера Луиса, П. Миля, Миомандра; экзотизм и авантюрность—Фаррера, Бенуа, Мак Орлана, Бертрана; роман воображения—Жана Ломбар, Рони, Псишари; военный роман—Барбюсса, Дюамеля, Доржелес, Лефевра; социальный роман—П. Маргерит, П. Адана, Эрмана, Леона Додэ; провинциальный роман, областной роман, женский роман.

Примечательные особенности современных романтических жанров — экзотический роман с установкой на негрское, в связи с вовлечением колониальных народов в мировую войну и революционное движение; авантюрный роман, как следствие исключительной динамичности международных столкновений; социальный роман, в связи с обострением классовой борьбы — подобных обобщений у Ренэ Лалу нет, и богатый материал остается катологизационной схемой, технически, впрочем, очень удобной. Ренэ Лалу недостает умения начертать широкую социально-производственную базу и четко проследить художественно-литературную эволюцию.

Вместе с тем явно своевременное стремление автора учесть социальную значимость, по меньшей мере, некоторых произведений. Это приводит его к написанию таких глав, как «традиционализм и интернационализм» с параграфами—контр-революция и национализм, революционный дух и интернационализм, интернационализм и национализм, или же к выделению в отдельные параграфы социальной поэзии — поэзия философская и социальная, социальная сатира в театре, социальный роман, искусство и народ и т. д.

Ренэ Лалу отмечает, что до конца XIX века писатели в целом пренебрегали политической пропагандой в творчестве. Ему кажется, что можно изучать в лице Додэ и Гонкуров два выражения натурализма, при чем рассмотрение их политических и религиозных убеждений не может повлиять на картину их литературной деятельности, что невозможно в отношении, напр., Барреса, автора «Беспочвенных», или Анатоля Франса, создателя «Современной истории». Сказать это—значит отметить публицистический характер указанных произведений. Важнее было бы не выделять некоторые произведения, а отметить социальную активность и социальный смысл литературных группировок последних

десятилетий. В конечном счете, в специальную общественную рубрикацию Р. Лалу включены в различных местах и отрывочно почти все крупнейшие французские писатели—П. Бурже, Баррес, Моррас, Ан. Франс, Р. Роллан, Верхарн, Метерлинк, Пеги и др.

Анализ литературных произведений дается Ренэ Лалу с достаточной сжатостью и яркостью, часто переходящей, однако, в легкий, текучий стиль, иронически называемый «le style coulant». В нем чувствуется, однако, острый essayiste. Но приемы импрессионизма не умеряются твердым методом литературного анализа. Анализ подавляется оценкой, преимущественно художественно психологической. Нужно сказать к тому же, что особо нового материала о писателях до XX века Ренэ Лалу не представляет, и его анализ—это популяризация материала, почерпнутого в специальных трудах, к тому же использованных им без должной глубины, без стремления внести новое хотя бы в конструкцию литературного процесса, в подбор литературных фактов. Быть-может, от того общего обзора, которым является труд Ренэ Лалу, при громадном материале, им использованном, большего и требовать нельзя.

Ренэ Лалу восприимчив к художественной новизне и в современной социальной борьбе симпатизирует движению революционному. Он относится к «левым». Большего о нем сказать нельзя. Действительно, художественный вкус Ренэ Лалу определяется тем, что он развенчивает, примерно, Коппэ, вскрывая банальность его сюжетов с условными персонажами из народа, чувствительными светскими людьми, мелодраматически примиряющимися хозяевами и рабочими, называя все это плоским и бесчестным. Он говорит о Коппэ, авторе «Идиллий во время осады», как о мелком парижском буржуа, который противопоставляет громадным событиям (Война и Коммуна) бесстыдную витрину своего непонимания. В Ростане он отмечает отсутствие наивности и много хитрости, большую ловкость в припрятывании очень буржуазных мыслей за изобилием патетических вариаций, лиризм которых быстро выветривается. С другой стороны, Р. Лалу как бы берет под свою защиту кубизм, утверждая, что кубизм Г. Апполинера вполне понятен, что теоретически ничто не препятствует обновлению французской поэзии в смысле, указанном Апполинером, т.-е. путем перенесения в поэзию приемов живописной кубистской трактовки. И показательно — Ренэ Лалу стремится вскрыть художественный смысл наиболее темных произведений Ст. Маллармэ, как «Coup de dês».

Та же левизна и в плоскости социальной. Ренэ Лалу, примерно, вскрывает контр-революционность Тэна - историка, громадная, пристрастная документальность которого послужила богатым арсеналом для реакции. В главах о военном романе сказывается антимилитаризм Р. Лалу и т. д.

Иногда оценки Р. Лалу несправедливы. Он принижает поэзию рано умершего Лафорга. Непоняв ритмические новшества Лафорга, Р. Лалу говорит, что «большая часть оригинальности в том, что у него захромал прекрасный французский стих. Он называет L'imitation de Nôtre-Dame la Lune, и «Феерический собор» безвкусной болтовней, а поэта—романтическим Пьеро, загримировавшимся в философа-циника. Несколько резок Ренэ Лалу и к Сен-Жоржу де Буэлье. Не выделяя его, как драматурга, автора «Рабов», он говорит о социальной сатире «Детский карнавал» снисходительно, как о единственном произведении этого автора, которое нельзя назвать невыносимым, хотя и в нем имеется значительная доза вульгарности и символизма, напоминающих ребяческие концепции «Королевской трагедии» и плоскость «Жизни женщины».

Литературное пристрастие Р. Лалу к некоторым писателям сказывается в количестве посвященных им страниц. При средних шести страницах на крупного писателя (Золя, Мопассан, Гюисманс), П. Клоделю, Валери, А. Жиду, Рэмбо, Верлэну, Маллармэ, Швобу, Реми де Гурмону, Пеги, Баррэсу и Ан. Франсу посвящено по 15 страниц. Это, разумеется, небесполезно, потому что многие из них мало известны. Вообще же Р. Лалу касается более пятисот писателей.

К сожалению, библиографические данные в книге ограничиваются библиографией «характерных» поэтических произведений, неизбежно субъективной. Краткие главы о литературной критике и журналах, которые должны заменить столь необходимый минимум литературы о каждом писателе, не могут удовлетворить читателя, как и случайные подстрочные ссылки.

Несмотря на некоторые недостатки, труд Р. Лалу является весьма полезным, особенно для учебных целей, как единственный, полный в целом, обзор новейшей французской литературы.

V. МАРКСИЗМ И ЕГИПЕТСКИЙ СОННИК.

Ф. Капелюш.

Перед нами странная книга: «А. Л. Чижевский—Физические факторы исторического процесса». 1924 г. Автор оставлен в 1918 г. при Московском университете для приготовления к профессорскому званию, ныне приглашен научным сотрудником института биологической физики в Москве. Как видим, серьезный и компетентный автор. Но странность книги заключается в следующем: те главы ее, в которых говорится об естественно-научных факторах, написаны превосходно, глубоко-научно и увлекательно, но там, где автор переходит к явлениям общественным, он обнаруживает чудовищное, маниакально-нелепое отношение к фактам. Казалось бы, время таких ученых, сильных в своей естественно-научной специальности и детски-беспомощных в науке об обществе, уже давно прошло. Но автор не просто исключение в этом смысле; как такое исключение, его книга не представляла бы большого интереса. Нет, он претендует на то, что нашел средство сделать историю наукой, он открыл новую науку — историометрию, лишь теперь возможно будет пользоваться «уроками истории», дается рецепт предсказывания исторических событий (стр. 69), и уверенность автора в эпохальном значении его открытия так велика, что он не только снабжает свою книгу английским переводом ее заглавия, обращаясь, так сказать, к международному форуму, но проектирует создание особых институтов как международного, так и русского для дальнейших исследований по его методу и намерен выступить со своим проектом в Совнаркоме (об этом сообщает нам К. Э. Циолковский, известный изобретатель «ракеты в пространстве»).

Чтобы не томить долее читателя, мы сразу покажем ему секрет открытия, введем его в самую гущу. Вот, не угодно ли: «Проследим,—приглашает автор,— в кратких чертах историю революционного движения в России в прошлом столетии (по проф. А. Туну и др.) и увидим, что основание первого тайного общества (Пестель) в 1817 г. совпало с максимумом солнечных пятен, точно так же совпадает с таким максимумом само восстание декабристов». Правда, от 1817 до 1825 г. нет полного одиннадцатилетнего цикла этих максимумов, но автор не смущается этим и пишет: «Начало назревающего максимума»—совпадает также кружок Станкевича (1837 г.— Что означает этот год, почему именно этот?), кружок Петрашевского (1848), а в 1861 г. освобождение крестьян. А, с другой стороны, знаете ли, почему в 1868 г. пал до минимума тираж «Колокола» и журнал Герцена должен был закрыться? Очень просто: это—год минимума солнцедеятельности. Точно так же к 1875 г.—тоже минимуму пятен— автор приурочивает «дезорганизацию социалистической пропаганды в России», а в 1880 — 1881 г.г., при максимуме солнечных пятен, констатирует оживление революционного движения. Не будем разбираться, поскольку автор ориен-

тируется в этом предмете; 1880—1881 г.г. не были годами оживления Народной Воли. Но не в этом дело. Кружок Чайковского, Бакунин, Нечаев, «Земля и Воля», «Народная Воля»,—решительно все приноровлено автором к солнечным пятнам.

Если революционное движение в России рассматривается «по Туну», то уже совсем по Иловайскому рассматривается вся прочая история. При чем автор гордо подчеркивает, что он охватил 2400 лет, начиная с V века до р. Х., и 80 стран и народов. Чего-чего тут только нет? Крестовые походы, переселения народов, гонения на христиан и евреев, «важнейшие восстания и революции», «выдвижение народных и духовных вождей, реформаторов, полководцев, государственных деятелей», начиная от Алариха, включая Тамерлана, Жанну д'Арк, Лойолу, Лже-Димитрия и кончая—risum teneatis, amici!—держите животики, друзья!—Керенским и Лениным. Конечно, при таком винегрете можно любую дату подогнать к солнечным пятнам, ведь цикл их повторяется каждые одиннадцать лет, при чем, если не хватает года—два, то можно говорить о «нарастающем максимуме» и т. д. В результате у автора получился настоящий сонник египетский: всякий сон разгадает. Всего забавнее диаграммы — есть в книге и это, — при чем заглавия тоже переведены на английский в назидание Европам.

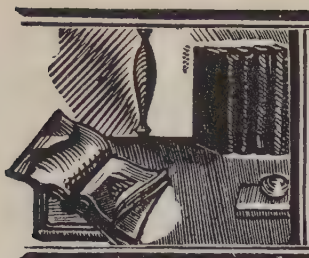
Раз как-то автор обмолвился: «Однако, ни качественный, ни количественный учет всех событий оказался совершенно невозможен». Но это не мешает ему выставить грандиознейшие теории: в каждом столетии всеобщий цикл исторических событий повторяется «ровно 9 раз», эпохи концентрации исторических событий совпадают с эпохами максимумов солнцедеятельности, эпохи разряжений—с минимумами. Первый период такого «исторического» цикла, так наз. период минимальной возбудимости, способствует — автор уверяет, что его «исследование исторических событий позволило установить ряд фактов»—заключению мирных договоров завоевательным экспедициям немассового характера, капитуляции, оккупации, максимальному сокращению парламентаризма (это не из другой ли оперы?), усилению единовластия или правлению немногих. Такие же перлы устанавливаются, не моргнув глазом, для прочих «периодов». Этих периодов в цикле 4, т.-е. 36 на столетие; итак, сонник точен с приближением до трех лет...

Это проповедуется в 1924 г., в Советской России. И об этом автор собирается поучать Совнарком. Но, во имя всего святого и всех дьяволов, неужели ученый автор не слыхал ничего про Маркса!? Неужели марксизм, подоплека всего нашего нового строя,—марксизм, как метод, как подход к общественным вопросам, оставляет так мало следов в сознании наших «молодых ученых»! К сожалению, эта книга в известной степени показательна. Нигде в мире не изобретают столько «перпетуум мобиле» (вечных двигателей) и не интересуются в такой степени жителями на Марсе, как у нас, в России. Пишущий эти строки собрал недурную коллекцию в «Известиях» от 25/IV 1923 г. в статье: «Собственные Платоны и быстрые разумом Невтоны». У нас любят хватать звезды с неба. «Натуралисты-самоучки» уже провозглашали у нас «союз РСФСР с солнцем»—тогда они увлекались проблематическим проектом солнечных машин. Можно себе представить, каким соблазном для малых сих явятся солнечные пятна, панацея нашего автора, выступающего во всеоружии точных наук, ссылающегося на ионную теорию возбуждения академика П. П. Лазарева, на академика В. М. Бехтерева, на чрезвычайно интересную научную литературу о влиянии солнечных пятен. Эти ссылки немного напоминают тетенькин хвостик. Пусть солнечные пятна влияют на магнитные бури, на движения в атмосфере, даже на землетрясения, пусть фазы луны действуют на менструации, это—явления из мира естества, но предполагать, что солнечные пятна влияют на общественную жизнь, вплоть до точной даты образования кружков Станкевича, Петрашевского и т. д.,—это не наука, а анекдот, их у автора не оберешься. Ионная теория возбуждения—прекрасная вещь, но зачем же стулья ломать и с места в карьер объявлять Шмалькальденскую лигу, дело Дрейфуса

и Октябрьскую революцию делом солнечных пятен! Увы!—именно эта абсурдная манера—решать «в два счета» сложнейшие общественные проблемы всегда может рассчитывать найти приверженцев. Да не обидятся товарищи рабфаковцы, но надо опасаться, что иные, при виде цифр, таблиц и диаграмм нашего Мелхиседека, сочтут его изумительные совпадения действительно за небывалое откровение науки.

Известно, что еще Джевонс выступил с теорией о связи между промышленными кризисами и солнечными пятнами. В прошлогодней дискуссии о пролетарской культуре у нас указывали на эту теорию, как на доказательство того, что даже точная наука носит в руках у буржуазии классовый характер, служит ей для оправдания капитализма. Указание, кстати сказать, неточное, так как Джевонс—не астроном, а экономист. Но в сравнении с тем, о чем поучает нас будущий профессор Московского университета, теория Джевонса — невинная вещь, в особенности, если иметь в виду вполне возможную связь солнечных пятен с урожаями,—фактом физическим, а не общественным,—связь, на которую указывали также сэр Вильям Гершель, Фергюсон и другие авторы. Но нашему автору этого мало, ему нужен сонник, толкующий все сны. Кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает. «Государственная власть, — читаем мы у него, — должна знать о состоянии солнца в любой данный момент. Перед тем, как вынести то или иное решение, правительству необходимо справиться о состоянии светила: светел, чист ли его лик или омрачен пятнами? Солнце—великий военно-политический показатель, его показания безошибочны и универсальны. Поэтому государственная власть должна равняться по его стрелкам: дипломатия—по месячной, стратегия—по суточной». Одним словом, «Государство солнца» в новом издании—второй Кампанелла. У этого утописта государство назначало мужчинам женщин, и астролог по звездам определял им время совокупления и создания потомства. Разве теория нашего московского ученого не та же астрология? И разве его манипуляции с цифрами хронологии не то же звериное число из Апокалипсиса?

Повторяем, книжка А. Л. Чижевского в известном отношении показательна. Точно так же, как он до нелепости преувеличивает правильную идею, что в основе биологических фактов лежат физико-химические процессы, и, совершенно не считаясь с Марксом, переносит эту идею на процессы общественные,— точно так же у нас, например, плодотворную идею психотехники, тэйлоризма и пр. сумели превратить в своего рода Вампуку, которая вот уже который год истово кричит: «Мы бежим, мы бежим», а на самом деле все время топчется на месте... Впрочем, будем справедливы: на Западе мы тоже нашли чудаков с такой же пылкой фантазией, как у А. Чижевского. Недавно в Берне некий пастор Пфистер издал книжку, в которой доказывает связь между скупостью, запорами, половым воздержанием и — капитализмом! Это—извращение правильной по замыслу теории проф. Фрейда. Вот до чего доходят не в меру услужливые ученики. Здесь также извращено, утрировано до карикатуры правильное само по себе указание проф. Макса Вебера о связи раннего капитализма с аскетизмом пресвитерианцев и пуритан Кромвеля. Но на Западе экстравагантности таких пасторов—их личное дело и не находят сторонников; у нас же панацее солнечных пятен уже стараются делать рекламу до самого Совнаркома, и на обложке странной книги обещаны сразу пять других того же автора и в том же роде...



ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

СОЦИАЛИЗМ И КОММУНИЗМ.

1. I. К вопросу о программе Коммунистического Интернационала. *М. Зелинман.*— 2. Два года борьбы и работы. Обзор деятельности Исполкома и секций Коммунистического Интернационала за период с IV по V Конгресс. *М, Зелинман.* — 3. Б. А. ФИНГЕРТ. Краткое руководство по истории социализма, *И, Браславский,* — 4. В. ВОРОВСКИЙ. (П. ОРЛОВСКИЙ) К истории марксизма в России. *В. Адоратский*

К ВОПРОСУ О ПРОГРАММЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. (Материалы.) Изд. «Красная Новь», 1924 г. Стр. 201. Цена 1 р. 25 к.

Формулировать программу Коминтерна, связанного с пролетарскими массами всех частей земного шара, является столь сложным делом, что и V Всемирный Конгресс III Интернационала постановил не принимать пока окончательной программы, а продолжать собирание материалов, на основании которых будет выработана программа Интернационала.

Почему составление программы Интернационала столь сложно и чем эта программа должна отличаться от программы любой компартии, являющейся *частью* Коминтерна? Это отличие и сложность заключается в том, что программа Коминтерна, как *целого*, должна учесть движущие силы процесса развития классового общества от капитализма к коммунизму. Но эти движущие силы, этот процесс развития различны в различных странах, находящихся в крайне разнящихся друг от друга, по темпу и размаху производительных сил, ступенях экономического развития. Достаточно сравнить в отношении развития производительных сил Англию с Юго-Славией, Японию с Кореей, Соединенные Штаты Северной Америки с Китаем и т. п., чтобы убедиться, какую трудность представляет формулировка такой программы.

Но, несмотря на все трудности, задача должна быть решена, ибо программа необходима пролетариату на протяжении всего пути от капитализма до коммунизма. Этот путь, как мы знаем, лежит через гражданскую войну, завоевание власти, установление пролетарской диктатуры, организацию пролетарского государства и т. д. А «эпоха социальной революции,—как замечает тов. Радек в своей статье к вопросу о программе Коммунистического Интернационала,— которая в мировом масштабе будет длиться, вероятно, десятилетия, не позволяет, уже в силу самой этой длительности, обходиться общими взглядами на развитие» (стр. 5).

В разбираемом нами сборнике материалов собраны все главные документы и речи, относящиеся к вопросу о программе Коминтерна и дающие возможность приступить к изучению постановки вопроса в том разрезе, в каком мы выше наметили. В этом отношении особенно ценен проект программы Коминтерна, составленный тов. Бухариным, речь которого (на IV Конгрессе Коминтерна) разъясняет этот проект. Тут же даны речи тт. Тальгеймера и Кабакчиева, произнесенные на Конгрессе по вопросу о программе, равно как и статьи Ленина, Шмераля, Варги и Радека. Кроме того, приведены проекты программ для германской КП, болгарской, итальянской, японской и проект программы Коммунистического Интернационала Мо-

лодежи. Книга безусловно представляет огромный интерес для всякого интересующегося программным вопросом в масштабе мирового коммунистического движения.

М. Зеликман.

ДВА ГОДА БОРЬБЫ И РАБОТЫ. Обзор деятельности Исполкома и секций Коммунистического Интернационала за период с IV по V Конгресс. Изд. «Красная Новь». 1924 г. Стр. 135. Цена 75 коп.

Брошюра представляет составленный секретариатом Исполкома Коминтерна отчет к V Конгрессу. Весь отчет делится на пять глав, кроме предисловия и небольшой статьи, посвященной Владимиру Ильичу.

Первая глава включает отчеты о положении отдельных национальных секций Коминтерна и охватывает 44 страны. Подробнее отчет останавливается на положении и деятельности РКП, затем германской компартии, французской КП и т. д. Следует отметить, что отчеты об отдельных партиях настолько сжато и неполно изложены, что точной картины о состоянии коммунистического движения, как во многих отдельных странах, так и в мировом масштабе, брошюра не дает. Сведения, приведенные в отчете, отрывочны и лаконичны. Материал этой главы и брошюры может служить лишь конспектом, ориентировкой в мировом коммунистическом движении.

Вторая глава перечисляет ряд заседаний расширенного пленума ИККИ и Международных Конференций, в которых Коминтерн или отдельные его секции принимали участие. В третьей главе помещены отчеты о деятельности международных организаций, работающих в тесном контакте с Коминтерном: Коммунистический Интернационал Молодежи, Комитет Действия Коминтерна и Красного Профинтерна, Международный Женский Секретариат, Кооперативная секция Коминтерна, МОПР, Красный Спортинтерн и Крестьянский Интернационал.

В четвертой главе отчета излагается работа аппарата Исполкома Коминтерна, и, наконец, в пятой главе приводятся статистические данные о деятельности ИККИ, т.-е., какие вопросы, сколько вопросов о каждой секции ставилось на заседаниях Исполкома. Из отдельных секций в течение отчетного периода самое большое количество вопросов (75) ставилось в Исполкоме Коминтерна о германской коммунистической партии. За ней идет итальянская партия, французская и т. д. Издана брошюра хорошо, цена немного высока.

М. Зеликман.

Б. А. ФИНГЕРТ. Краткое руководство по истории социализма. Госиздат. Ленинград. 1924 г. Стр. 219. Цена 75 коп.

Настоящая книга, как указано в предисловии, имеет в виду «дать популярно-научное пособие для самообразования». Эту задачу автору в значительной части удалось выполнить. В построении самой книги, однако, имеется несколько существенных недостатков, из которых отметим прежде всего,—перегруженность 1-го отдела (главы II и III) за счет третьего, результатом чего явилась сжатость в освещении Второго Интернационала и революционного движения в России. Далее автор почему-то прошел мимо столь значительной эпохи в истории французского коммунистического движения, как бабувизм. Книга почти не упоминает о Вейтлинге, о так называемом «коммунизме подмастерьев» и т. д.

Автор начинает свое изложение с великих утопистов—Томаса Мора, Роберта Оуэна, Сен-Симона и Фурье. Следует отметить, что в этой части автор весьма удачно подобранными штрихами и цитатами дал полную и ясную характеристику излагаемых учений. Нельзя, однако, согласиться с утверждением автора, что Оуэн «оказался в рядах вождей рабочего класса» (58). Никто из великих утопистов не был тесно связан с рабочим классом, в том числе и Оуэн, хотя он подошел гораздо ближе Сен-Симона и Фурье к рабочему классу. Будучи во многих отношениях более узким, нежели французские утописты, Оуэн зато имел ценный практический опыт и широкую экономическую базу. Это привело его к социализму, но вовсе не сблизило с рабочим классом и даже

чартистским движением, свидетелем которого Оуэн был. Не доверяя рабочему классу (тогда еще незрелому), стремясь склонить на свою сторону прежде всего имущие классы, Оуэн, по правильному замечанию Б. Фингерта, проповедовал «не социальную борьбу, а социальный мир» (35).

Говоря о Прудоне, в связи с произведением Маркса «Нищета философии», автор почему-то называет Прудона французским «коммунистом». Это—неверно. «Прудон с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии»—так характеризует Прудона Маркс в письме к П. Анненкову (2/XII—1846), отказываясь одновременно «говорить о смешных обвинениях Прудона против коммунизма». Правда, в последующих двух строках, а затем на стр. 131 автор косвенно опровергает свое же определение.

Большое место уделяет автор научному социализму и Марксу с Энгельсом. Фактически этот отдел (2-й) следует считать центральным и наиболее основательно проработанным. Тут, удачно скомбинировав большое число цитат и выдержек из произведений Маркса и Энгельса, автор дал весьма обстоятельное изложение основ материалистического понимания истории, структуры капиталистического общества с неизбежным процессом его разложения, сущность пролетарской революции и социалистического общества. Однако, остается совершенно непонятным, почему в этой части совершенно отсутствует упоминание о Лассале и лассальянстве, и вообще о знаменательном десятилетии (1863—1874), столь важном в истории социалистического движения в Германии.

Говоря о роли интернационалистов в Парижской Коммуне (глава—Первый Интернационал), автор довольствуется указанием только на то, что они «играли роль дружеской оппозиции по отношению к... бланкистам» (138). Конечно, оно так и было, но это недостаточно определяет всю их работу, которая в сущности являлась единственно практической во всей социально-экономической политике Парижской Коммуны. Тем не менее, нужно отметить, что указанная глава построена очень отчетливо (в смысле популярности), особенно в части, касающейся взаимоотношений марксистов и бакунистов и причин распадения Интернационала. В центре главы о Втором Интернационале стоят вопросы империализма, милитаризма и колониальных авантюр, как следствие капиталистического развития Европы. Остальные же, не менее важные вопросы, как министериализм, ревизионизм, международное рабочее законодательство, всеобщая стачка (о последней, правда, упоминается в связи с характеристикой синдикального движения во Франции—стр. 153, 154) и т. д. оказались едва затронутыми.

Следующая после Второго Интернационала, четвертая глава посвящена революционному и социалистическому движению в России. Как по содержанию, так и по построению она вполне соответствует общему популярному духу руководства. Заключительная (5-я) глава излагает историю возникновения Коминтерна.

Переходя к частным замечаниям, следует отметить, что книга эта, будучи популярной, нуждается, тем не менее, во многих пояснениях. На стр. 44 говорится о «срыве континентальной блокады», без пояснения ее смысла или значения; на стр. 76 упоминается Бруно Бауэр, но не сообщается, кем он был; на стр. 94—«Code Napoleon», на стр. 95—«Code civil», на стр. 98—«республицизм» (очевидно, республиканизм) и т. д. Между прочим, первое литературное произведение Оуэна «Новый взгляд на общество» вышло в свет в 1812—1913 г.г., а не в 1813—1916 г.г., как сообщает автор (стр. 27); точно так же и произведение Сен-Симона «Катехизис промышленников» выпущено в 1822—1923 г.г., а не 1823—1824 г.г. Неверно и то, что помощником Луи-Блана во временном правительстве французской республики 1848 г. был рабочий Альбер Бувье (стр. 69). Первый министр-рабочий действительно выступал под псевдонимом Альбер, но фактически назывался Александр Мартэн.

В общем и целом настоящая книга является, несомненно, полезным руководством, написана живым и легко усваиваемым языком, читается легко, несмотря на мелкий и скученный шрифт. При ограниченности популярной лите-

ратуры по истории социализма на русском языке она может быть рекомендована тому кругу читателей, на который рассчитывает автор в своем предисловии.

И. Браславский.

В. В. ВОРОВСКИЙ (П. Орловский). К истории марксизма в России. Издательство «Красная Новь». Главполитпросвет. Москва, 1923 г. Стр. 43.

Настоящая статья т. В. В. Воровского была напечатана впервые в сборнике «Памяти Карла Маркса» к двадцатипятилетию со дня его смерти. СПБ. 1908 г. Эта статья представляет из себя прекрасный, хотя несколько неполный (об этом автор сам говорит в примечании на стр. 4) очерк, главным образом, литературной истории марксизма до 1903 г. Очерк состоит из пяти глав. Каждая из них посвящена одному из пяти более мелких подразделений, на которые автор разделяет рассматриваемый им период.

Первая глава дает обзор сочинений, относящихся к 70-м и 80-м годам. Тогда в печати выступили, с одной стороны, критики Маркса, как Ю. Жуковский, В. Чичерин, Н. Х. Бунге и др. С другой — ряд писателей, отнесшихся сочувственно к теории Маркса и в своих сочинениях пропагандировавших идеи марксизма, как, напр., Н. И. Зибер. Однако, эти ранние марксисты ограничивались лишь экономической теорией Маркса и в их изложении марксизм приобретал абстрактный, книжный характер.

Во всей полноте теория марксизма по-русски изложена была впервые Плехановым в изданиях группы «Освобождение труда». Ей посвящена вторая глава настоящего очерка. Относительно этой главы сам автор оговаривается, что она не полна благодаря тому, что он не располагал всеми необходимыми источниками.

Третья глава посвящена легальному марксизму 90-х годов и вместе с четвертой главой, излагающей дальнейшее (конец 90-х—начало 900-х г.г.) развитие представителей легального марксизма (П. Струве и др.) в ревизионистов, оппортунистов и, наконец, в открытых либералов,—дает достаточно полное представление об этом периоде и об этом явлении. Здесь необходимо заметить, что для настоящих революционных марксистов, главным образом, для Ленина, наиболее ярко выразившего эти взгляды, — ненадежность «легальных марксистов», их буржуазность была ясна с самого начала (см. статью Ленина «Экономическое содержание народничества»). Работа в одних органах с «легальными марксистами» была для революционных марксистов лишь временным союзом, и прекращение их сотрудничества в легальных журналах объясняется не только «фактическим отстранением в силу разных обстоятельств» (провал, ссылка) (см. стр. 30 брошюры), а сознательным разрывом этого временного союза. Когда для революционных марксистов выяснилась невозможность в легальной печати с достаточной полнотой противопоставить свои взгляды взглядам Струве и др., тогда для них стало невозможным продолжать сотрудничество в легальных журналах,—появление их имен рядом с именами ревизионистов без достаточно ясной критики взглядов этих последних стало бы порождать вредную теоретическую путаницу.

Для тех, кто начинает знакомиться с развитием марксизма в России по данному очерку, необходимо отметить, что в нем очень слабо освещено развитие *революционного* марксизма в 90-х годах. Не упоминается, напр., ранняя работа Ленина «Что такое друзья народа», вышедшая нелегально в России в 1894 г. и ставшая только в настоящее время доступной широкому кругу читателей. Не упоминается также замечательная статья Ленина «Задачи русских социал-демократов», написанная в 1897 г. и вышедшая за границей в 1898 г. В этой блестящей статье сжато и в то же время полно изложены основы революционной тактики марксизма и изображены задачи, стоящие перед революционными марксистами и перед пролетариатом в России. В ней говорится о пролетариате, что «только он способен довести *до конца* демократизацию политического и общественного строя, ибо такая демократизация отдала бы этот строй в руки рабочих».

Конец четвертой главы посвящен характеристике оппортунистических течений в подпольной литературе конца 90-х—начала 900-х годов («Рабочая Мысль», «Рабочее Дело»).

Последняя глава дает краткий обзор литературы революционного марксизма, выходившей в начале 900-х годов за границей—обзор борьбы «Искры» и «Зари» против оппортунизма и ревизионизма.

Несмотря на некоторую неполноту и сжатость, настоящая брошюра до сих пор сохраняет свою ценность. Она может служить хорошим пособием для изучения литературной истории марксизма, и ее неполнота может быть легко пополнена выходящей в настоящее время литературой и, в первую очередь, первым томом собрания сочинений Ленина. Для изучения же легального марксизма эта брошюра до сих пор является наилучшим кратким руководством.

В. Адоратский.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

1. Т. ГРИГОРОВИЧИ. Теория стоимости у Маркса и Лассаля. *М. Зеликман.* — 2 L'evolution des Conditions du travail dans la Russie des Soviets. *Ф. Капелюш.*—3. Проф. И. КУЛИШЕР. Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г. *Ф. Капелюш.*— 4. Проф. К. ДОВЭ. Экономическая география мира». *Д. Кашинцев.* — 5. Проф. С. СИРИНОВ. Очерки по аграрной статистике. *Ю. Спасский.* — 6. Studies in labours and Capital *И. Звавич.*

ТАТЬЯНА ГРИГОРОВИЧИ. Теория стоимости у Маркса и Лассаля. Перевод с немецкого Р. Вайсберга и Ф. Михалевского, под редакцией Ш. Дволайцкого. Изд. «Московский Рабочий». 1923 г. Стр. 113.

Брошюра представляет собою перевод работы, опубликованной автором в 1910 г. Исходным пунктом для анализа лассалевской теории стоимости послужило для автора примечание Маркса к предисловию к первому изданию «Капитала» относительно «существенных недоразумений», имеющихся в лассалевской теории стоимости, объявленной самим Лассалем «духовной квинт-эссенцией» марксова исследования стоимости. Григоровичи в своем введении останавливается на том, что Маркс ничего не сказал, в чем именно заключаются эти существенные недоразумения.

Выяснить существующее между марксовой теорией стоимости и теорией стоимости Лассаля различие крайне важно, так как такое выяснение (если оно совершается с марксистским пониманием сути вопроса, а марксистский подход и применен автором «Теории стоимости у Маркса и Лассаля») облегчает усвоение той главы «Капитала», о которой сам Маркс говорит, что понимание ее представляет небольшие трудности. Только с этой точки зрения и представляет интерес разбираемая нами брошюра, в которой автор останавливается прежде всего на выводах некоторых критиков, занимавшихся лассалевской теорией стоимости, а затем переходит к пунктам расхождения между Лассалем и Марксом и излагает существующие в понимании теории стоимости различия между Марксом и Лассалем.

После того, как Григоровичи анализирует понятие общественно-необходимого труда, как фактора, образующего стоимость у Маркса и Лассаля; характер труда, образующего стоимость в их теориях; несовместимость учения Маркса о деньгах с учением Лассаля о стоимости; образование стоимости и общественные взаимоотношения у Лассаля,—она приходит к выводу, что идеализм Лассаля является главной причиной его ложного понимания Марксова определения стои-

мости. «Идеалистическое миропонимание вообще и идеалистическое понимание теории стоимости в частности—вот что мешало Лассалю понять Марксово учение о стоимости во всем его объеме» (стр. 112). Таков вывод автора.

Издана брошюра не плохо; перевод в общем сделан удовлетворительно, хотя встречаются и ляпсусы. Так, напр., лассалевская формула «Eigentum ist Fremdentum» переведена следующей непонятной и ничего не говорящей фразой: «Собственность есть противоположность собственности» (стр. 111). Формула, смысл которой вполне ясен у Лассаля и которая в переводе на понятный русский язык означает не что иное, как то, что собственность является присвоением чужой собственности переведена так, что представляет какую-то софистику, а не критику распределения благ в обществе частной собственности.

Следует внимательнее редактировать переводную марксистскую литературу, потому что путанная формула меняет иногда смысл многих страниц.

М. Зеликман.

L'EVOLUTION DES CONDITIONS DU TRAVAIL DANS LA RUSSIE DES SOVIETS. Bureau Internationali du travail. Etudes et documents. Jeneve, 1924.

ЭВОЛЮЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В СОВЕТ. СКОЙ РОССИИ. Издание Интернационального Бюро Труда в Женеве. 1924 г. Стр. 278.

Интернациональное Бюро Труда, существующее при Лиге Наций и имеющее своим председателем известного ренегата и соглашателя А. Тома, который лишь недавно самым позорным образом распинался перед румынским королем и перед военным диктатором Испании,—это «Бюро Труда», конечно, не питает особых симпатий к Советской России. Тем характернее, что в издании этого Бюро появляется уже второй, на сей раз весьма обстоятельный труд об условиях труда в Сов. России (в 1922 г. Бюро издало брошюру: «Организация промышленности и условия труда в Сов. России»; она была, между прочим, роздана подкомиссиям Гаагской конференции). «Интерес к Сов. России лишь растет,—говорится в предисловии,—теперь, когда Россия все более принимает участие в международной экономической и политической жизни». Анонимные авторы подчеркивают во введении, что наша новая экономическая политика весьма значительно эволюционировала за три года ее применения, и что «от начала 1922 г. до конца 1923 г. имели место перемены, гораздо более глубокие, чем от 1920 до 1921 г.». «Эволюцию экономической политики нельзя считать уже законченной». Любопытна жалоба авторов, что «концепция закона в Сов. России существенно отличается от принятой в других странах»; они жалуются на «трудность установить, имеет ли то или иное постановление или учреждение постоянный или только временный характер». В этих словах отвело себе душу юридическое гелертерство перед фактом живого строительства нового строя. Но в целом вся книга, надо отдать ей справедливость, составлена весьма добросовестно, исключительно на основании советских документов и советской прессы и литературы, излагает факты в академическом духе, беспристрастно, приводит в изобилии статистические данные, перечисляет все законодательные и административные меры, классифицирует периоды развития объективно, в согласии с источниками. Только в заключительной главе, в выводах и сопоставлениях фактов, сказывается известный субъективизм составителей, но он не доводит авторов до искажения самих фактов. Книга выдержана в духе научного исследования и, поскольку она не ограничивается одной сводкой законодательства о труде, а дает ее в связи с экономической характеристикой положения страны в разные периоды, этот труд, доведенный до 1 октября 1923 г., является вкладом и в русскую литературу, хотя, конечно, при пользовании им следует не забывать, что он издан Бюро при Лиге Наций, и поэтому соблюдать известную осторожность.

Содержание книги делится на следующие главы: 1. Положение и роль Наркомтруда. II. Политика зарплаты. III. Коллективные договоры. IV. Методы разрешения конфликтов. V. Регу-

лирование рынка труда. VI. Социальное страхование. VII. Инспекция труда. VIII. Профсоюзы. IX. Заключение. В каждой главе приводится сначала весь относящийся к ней законодательный материал. Сто страниц составляют приложения: цифровые, статистические данные к каждой главе. Наконец, имеется также детальный перечень источников и литературы, на основании которых составлена книга.

Ф. Капелюш.

Проф И. М. КУЛИШЕР. Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г. С таблицами, диаграммами и картограммами. Второе дополненное издание. Издательство «Время». Ленинград. 1924 г. Стр. 206.

Книга проф. Кулишера может служить превосходным и удобным справочником. Автор скромно заявляет, что центр тяжести книги составляют цифры, а текст является дополнением и объяснением к ним. Но достоинством книги надо считать, что автор всюду приводит для сравнения также довоенные цифры, чего не делают другие сборники. Кроме того, текст дает краткий анализ; так, например, приведя таблицу цифр ввоза и вывоза по странам и за все годы от 1913 до 1924 г., автор сопоставляет ценностные цифры с количеством обращающихся товаров и для каждой страны кратко, но в общем исчерпывающе, анализирует характер ее внешней торговли, даже по группам товаров, и приводит результаты, позволяющие судить о степени восстановления хозяйства. Любопытны также отдельные устанавливаемые автором факты, как, например, то, что даже в последние два года войны импорт в Германию необходимых ей товаров достигал почти 40% довоенного времени. Сравнительно с другими странами Великобритания рассмотрена несколько бегло, нет анализа торговли Англии с Европой, колониями и заокеанскими странами.

Материал книги расположен следующим образом: расходы прежних войн и мировой войны, изменение карты Европы и колоний после войны и статистика населения, состояние земледелия, продукция колониальных товаров, хлопка, запасы и добыча железной руды, каменного угля, чугун, сталь, металлы, нефть, затем следуют главы о безработице, о внешней торговле, торговом флоте, валюте и ее колебаниях и, наконец, о движении цен в 1914—1923 г.г.

С взглядами, развиваемыми автором на стр. 13—15, мы не можем согласиться и боимся, что они вызовут некоторое недоумение у читателя. Приведя цифры о восстановлении разрушенных войной провинций Франции, проф. И. М. Кулишер цитирует то, что он писал в конце 1918 г., в самый момент заключения мира: «Много богатства уничтожено... но умственная жизнь... опыт... и накопленные запасы знания не умерли, они даже не затронуты войной. А раз этот животворящий источник не занесен... то ничто не утрачено, ураган войны... будет в скором времени забыт... на старых пепелищах воспрянет и возродится новая жизнь». «Наши предсказания,—говорит на стр. 15 автор,—вполне оправдались, осуществились скорее, чем можно было ожидать, выполнились со сказочной быстротой». Мы совершенно не понимаем этого оптимизма, не вяжущегося с дальнейшим содержанием книги.. Ведь о разрушении «нормального» хода мировой экономики не приходится судить по разрушению жилых домов, дорог, фабрик и пр. в северных провинциях Франции. Проф. Е. Варга (в своем докладе V Конгрессу Коминтерна о положении мирового хозяйства), наоборот, полагает даже, что сносное состояние французской экономики объясняется именно работами по восстановлению этих провинций, и что с окончанием этих работ во всей остроте встанет экономический кризис. Восстановление северных провинций не может, скажем мы, нисколько служить критерием живучести капитализма и оправдывать вышецитированную — да простит нам уважаемый автор—лирику. Дело не в количестве разрушенных домов и каналов, а в том, что война нарушила самый химизм мировой экономики. Даже в самой Франции, внешняя торговля которой— согласимся с проф. Кулишером—достигла размеров довоенных, производство

чугуна в 1922 г., если взять ее прежние границы, немногим превышало половину выработки довоенного времени, а восстановление провинций повело к крушению франка, к катастрофе бюджета. А валютный хаос ставит все на голову: капитализму изменила его верная жена, деньги (отвечаем на лирику лирикой)... А в Германии и других странах—тем паче. Сам автор приводит весьма красноречивые цифры — в этом заслуга его книги — упадка урожайности (включая Канаду и С. Штаты), безработицы и т. п.

Вышеприведенные цитаты тем более вызывают недоумение, что сам автор замечает: «Если миру так трудно оправиться после жестокой четырехлетней войны, то, пожалуй, причина заключается не столько в разрушении огромных материальных ценностей, скорее искать ее надо в ином месте. Уничтоженное сравнительно нетрудно восстановить». Где искать причину, автор не говорит; революционный марксизм видит ее в том, что сама мировая война является не причиной, а следствием надвигающегося крушения капитализма.

Вызывает возражения также оптимизм автора относительно мировой задолженности. Сказав, что расходы на мировую войну более чем в полтора раза превышали мировой капитал, заключающийся в акциях, в государственных займах и т. д., что Европа истратила гораздо более, чем составлял ее капитал, и вошла в огромнейшие долги, проф. Кулишер на вопрос, не грозит ли такой рост задолженности банкротством, — государственные долги увеличились за мировую войну в шесть раз, с 88 до 500 миллиардов зол. руб.,— отвечает ссылкой на прошлое: «долги спокойно продолжали расти и есть из одной чашки с государством, никакого светопреставления не происходило». Нам вспоминается при этом случае немецкая поговорка: кувшин так долго идет к воде, пока не разобьется...

Ф. Капелюш.

Проф. К. ДОВЭ. Экономическая география мира. Перевод и дополнение М. Эльской с предисловием Л. Д. Синицкого. «Новая Москва». М. 1924. Стр. 129.

Маленькая книжка в 129 страничек делает популярный обзор мирового хозяйства и его проблем в рубриках: задачи экономической географии; производство; торговля; естественные источники энергии.

Проф. Довэ, недавно умерший автор ряда крупных немецких монографий, исходит из определения экономической географии, как ветви землеведения, в своих приемах считающейся с его законами исследования. С другой стороны, он считает совершенно правомерным сближение ее с политической экономией, где у них есть такой общий объект рассмотрения, как статистические данные. Но анализ этих данных различен, потому что экономическая география постоянно имеет в виду зависимость тех или иных хозяйственных явлений не от воли человека только, но и от окружающей природной среды.

Поскольку методологическим пределом исследования в экономической географии оказывается земной шар в целом, постольку необходимо приходится индивидуализировать его различные части, давать картину отдельных географически разграниченных местностей, экономических районов.

В главах об ископаемых, растительных и животных продуктах дается сжатая характеристика их местонахождений, роли в народном и мировом хозяйстве, величина добычи. В части, трактующей о географии торговли, рассмотрены районы ввоза и вывоза преимущественно промышленных товаров. Последние страницы книжки посвящены оценке таких источников энергии, как текучая вода, ветер, солнечные лучи. Несмотря на то, что автор эту свою работу «предназначал для практических целей», имея в виду «нарисовать коммерсанту» и вообще человеку практики такую законченную картину, в которой перед ним откроется все поле их деятельности»,—книжка без труда и с пользой прочтется также не коммерсантом и не практиком. Ее главный недостаток—

устарелость цифр, относящихся к довоенному периоду, исправлен переводчицей, давшей обстоятельные сводки иногда по 1922 г. в подстрочных примечаниях.

Д. Кашинцев.

Проф. С. СИРИНОВ. Очерки по аграрной статистике. Втор. изд. Госиздат. М.—Л. 1924. Стр. 569.

В плановом социалистическом хозяйстве Сов. России аграрная статистика столь же необходима, как воздух и вода. К сожалению, как методологические исследования по статистике, так и синтетические сводные работы у нас почти отсутствуют, и книгу проф. Сиринова следует поэтому, несмотря на ее недостатки, признать весьма полезной. По основному вопросу аграрной статистики,— о существенных признаках классификации земледельческих хозяйств автор высказывается весьма туманно и неопределенно. Аграрная статистика на Западе исходит, как известно, из *размеров* площади землепользования. Метод наиболее простой, наглядно осязаемый, но вместе с тем влекущий исследователя на путь грубых, иногда тенденциозных заблуждений. Благодаря внешнему масштабу из поля зрения ускользает капитало-интенсивность хозяйств, замаскированная малой величиной земельного участка. Проф. Сиринов очень хорошо знает об этом, много раз критикует принятый шаблон, но ничего не предлагает взамен и отделывается общей фразой, что «при классификации хозяйств следует обращать внимание не на внешние, более или менее случайные признаки, а на внутреннюю их структуру. Под внутренней структурой хозяйства автор почему-то разумеет применение в нем наемного труда. Без сомнения, это признак существенно важный, но не единственный. Не менее важны как абсолютная, так и относительная стоимость товарной продукции, а также и степень насыщенности хозяйства постоянным капиталом (*c*). На ряду с сокращением площади землепользования и абсолютным падением стоимость производимого в хозяйстве продукта (и его натуральная масса) могут возрастать за счет роста *c*.

Вторую, наиболее пространную, часть своего труда проф. Сиринов посвящает «статистике сельских хозяйств по отдельным государствам». В этой частм лежит наибольшая ценность книги. Автор ничего не предполагает, ничего не предлагает, а только излагает. Пояснительный текст к таблицам, занимающий сотни страниц, не заключает в себе чего-либо оригинального, и без всякого ущерба для книги его можно было бы сократить во много раз. В общем получился полезный справочник сырого материала, в котором читатель вынужден ориентироваться сам. Материал—не по вине автора—далеко не свежий, ограничивается эпохой до войны. Дается статистическая картина западно-европейского сельского хозяйства, как оно сложилось к началу XX века. Данные германской, французской и бельгийской статистики достаточно известны, и вокруг них в экономической литературе велась оживленная полемика. Зато довоенная статистика малых капиталистических государств опубликовывается для широкого читателя впервые. Особенно интересны аграрно-статистические материалы Швейцарии, обнаруживающие машинизацию не самых крупных (свыше 70 гект.), но *средних* хозяйств (от 10 до 70 гект.). Три средние группы владели в Швейцарии к 1905 г. 34% всей сельскохозяйственной площади, что вместе с крупными составляло 63%. В общем статистика малых капиталистических стран подтверждает вывод, который обычно делался из переписей германской, французской и бельгийской: об *относительной* устойчивости хозяйств малых, средних и крупных, а также о возрастающей пролетаризации мельчайшего и мелкого крестьянства. Карликовый и мелкий крестьянин в подавляющем большинстве своем играет роль простого придатка аграрного или индустриального капитализма. Мелкий крестьянин олицетворяет пролетария, которому принадлежит фикция земельной собственности.

В разделе аграрной статистики России автор сообщает сводные данные переписей 1916 и 17 г.г., представляющих драгоценный объективный документ ка-

нуна великой русской революции и ее первого этапа. В отдельных губерниях процент хозяйств без работников достигал 40 %. Также опустошительно отразилась война и на рабочем скоте. Крестьянское хозяйство было в корне подточено войной. Необходимость мира была воочию *железной* необходимостью.

Ю. Спасский.

Labour Research Department. STUDIES IN LABOURS AND CAPITAL. Volume IV. Labour and capital on the Railways. Volume V. Federation of british industries. Volume VI. Shipping. London. 1923. Pp. 64; 64; 64. Price 1/—each.

Рабочий Исследовательский Институт. ИССЛЕДОВАНИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ТРУДА и КАПИТАЛА. Том IV. Труд и капитал на железных дорогах. Том V. Федерация британской промышленности. Том VI. Судоходство. Лондон, 1923. Стр. 64; 64; 64. Цена каждого тома—1 шиллинг.

В первой книге «Печ. и Рев.» за 1924 год нами был дан отзыв о первых трех томах, изданных Рабочим Исследовательским Институтом. Следующие три тома посвящены железнодорожному и морскому транспорту и Федерации британской промышленности.

По поводу всех шести томов изданий Рабочего Исследовательского Института можно сделать одно общее замечание: положению труда до сих пор во всех томах отводилось меньше места, чем положению капитала. Рабочий Исследовательский Институт при английской Рабочей партии уделяет «врагам» значительно больше внимания, чем «друзьям». IV и VI томы дают только краткие сведения о профессиональном движении среди рабочих железнодорожного и морского транспорта, и составители этих томов проходят мимо даже таких программных вопросов английского рабочего движения, как национализация железных дорог.

В томе, посвященном железнодорожному транспорту, мы не находим даже краткой истории «тройственного союза» 1921 года. Составители исследований об отношениях труда и капитала ограничены общим размером всех книжек в 4 печ. листа. В некоторых случаях это ограничение не позволяет остановиться на важных вопросах, требующих известной детализации; это относится, главным образом, к IV тому, где многие вопросы лишь намечены, но не разрешены.

История железнодорожных трэд-юнионов во время и после войны рассказана на 6 страницах, и такие важные в истории английского рабочего движения меры, как «Emergency Power Act» (Акт о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству) отмечены лишь несколькими словами. В IV и VI томах имеются многочисленные упоминания о Витлеизме, системе смешанных промышленных советов, и не дается хотя бы краткого описания Витлеевской системы в целом.

Последовательное чтение указанных трех томов исследований Рабочего Исследовательского Института оставляет тяжелое впечатление. В Англии, классической стране трэд-юнионизма, капитал организован значительно лучше труда. Это впечатление особенно усиливается при чтении пятого тома, посвященного Федерации британской промышленности, одного из самых интересных томов всей серии. По сравнению с этой огромной и мощной организацией капитала, самые сильные профессиональные организации труда кажутся незначительными. Цели, которые ставит себе Федерация британской промышленности, значительно шире целей трэд-юнионистского движения, и создание Федерации британской промышленности характерно для новой послевоенной фазы британского капитализма. Одна из задач Федерации — предотвращение промышленной войны, и Федерация старается всеми мерами затемнить свое участие в «промышленной войне» на стороне капитала. Однако, вся ее деятельность доказывает противное, несмотря на попытки руководителей Федерации прийти к компромиссу.

Федерация британской промышленности была организована в 1916 году. В 1916 году в ней принимали участие 53 фирмы и ассоциации; в 1923 году— 1965 фирм. В это число входят фирмы

и торговые предприятия, принимающие непосредственное участие в Федерации, платящие членские взносы и т. п. Косвенное участие—через другие фирмы, владельцами которых являются одни и те же лица,—в Федерации принимает до 18.000 фирм с общим капиталом в 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Деятельность Федерации распределяется по следующим основным группам:

1. Отдел внешней торговли.—Федерация имеет своих представителей за границей, оказывающих всякого рода помощь членам Федерации в торговле с той страной, в которой они находятся. Представители Федерации следят за интересами английских фирм, входящих в Федерацию, изучают потребности и емкость иностранных рынков, условия английской конкуренции, положение иностранных торговцев и промышленников и т. п.

2. Парламентский отдел.—В этом отделе ведется работа по текущему законодательству, налоговому обложению, правительственным нарядам и поставкам и т. п. На ряду с отделом внешней торговли парламентский отдел является одним из самых важных отделов Федерации. В палате общин насчитывалось в 1922 году 66 членов парламента, в палате лордов—71. Федерация в настоящее время ведет усиленную борьбу с правительством в области налогового обложения, и к моменту представления бюджета в парламент правительством Макдональда депутация промышленников от имени Федерации выступила с обращением к правительству и была принята канилером казначейства Сноуденом. Федерация зарекомендовала себя в борьбе против налога на сверх-прибыль (Excess profits duty), и успешно боролась за понижение подоходного налога.

В истории англо-русских отношений за последние годы нам неоднократно приходилось встречаться с заявлениями Федерации британской промышленности. Когда подписывалось англо-русское соглашение 1921 года, Федерацией был составлен меморандум для министерства иностранных дел, в котором были намечены «условия для того, чтобы соглашение дало желательные результаты». Эти условия не были приняты правительством. Но лишь только соглашение было подписано, Федерация британской промышленности занялась рассмотрением вопроса о том, «что необходимо предпринять, чтобы воплотить соглашение в жизнь» (ср. стр. 40 V тома).

В настоящее время—перед англо-русской конференцией—Федерация вновь выступила с меморандумом по русскому вопросу. На этот раз основная цель Федерации, как и других, заинтересованных в русских делах, британских капиталистов, в том числе и «Общества держателей иностранных ценных бумаг» «Corporation of foreeign Bondholders», заключается в том, чтобы заставить Рабочее правительство на предстоящей конференции рассматривать «частные» претензии, т.-е. претензии частных лиц — англичан к СССР отдельно и вне зависимости от претензий «государственных», т.-е. требований со стороны СССР возмещения за убытки, понесенные от интервенции. Эта хитрая механика нашла себе воплощение в мартовских меморандумах Федерации и Общества держателей иностранных ценных бумаг.

3. Торговый отдел.—Занимается общими вопросами торговли на внутреннем рынке, регулировкой конкуренции на внутреннем рынке, борьбой с иностранной конкуренцией, в частности «демпингом» и т. п.

Из числа других отделов, перечисляемых в пятом томе, заслуживают упоминания отдел по Рабочему вопросу, отдел связи и информационное бюро. Последним издается бюллетень Федерации, в котором приводятся данные о работе Федерации.

IV и VI томы серии менее интересны, чем пятый. По теме оба эти тома значительно шире пятого. Несмотря на весьма незначительный размер обоих томов, в них также содержатся ценные сведения об организации капитала в английском железнодорожном и морском транспорте. Составители обоих томов отмечают увеличение акционерного капитала во время и после войны, увеличение за счет выданных акционерам дополнительных акций, а не за счет реального капитала. Такой «воды» в иных случаях в капитале компаний по судоходству насчитывается до 60%, и составитель VI тома приходит к убеждению, что если

бы получаемые прибыли насчитывать на реальный капитал, то даже годы депрессии, 1921—1922 г.г., оказались бы годами высоких прибылей. Тем не менее, *отрицать* депрессию в судоходстве, становясь на эту точку зрения, нельзя, *объяснять* ее отчасти и ненормальным расширением акционерного капитала за счет выданных акционерам «наградных акций»,—необходимо. Не можем пройти мимо указанной составителем причины увеличения акционерного капитала и резервов, ибо эта причина свидетельствует о высоком патриотизме английских капиталистов: ими руководило стремление освободиться от военных налогов на сверх-прибыль путем перечисления в резервы большей части доходов и исчисления прибыли на больший, чем прежде, акционерный капитал.

В общем желательно было бы иметь переработку IV и VI томов в один большой том, посвященный отношениям труда и капитала в транспорте. Издание пятого тома представлялось бы, на наш взгляд, полезным в русском переводе.

И. Звавич.

ЛИТЕРАТУРА О ГЕРМАНИИ.

1. І. Е. ТАРЛЕ. Кризис Германии. II. Ш. ДВОЛАЙЦКИЙ. Германия в 1923 г. *М. Брагинский.* **2. И. МАЙСКИЙ. Современная Германия.** *М. Брагинский.*

Е. В. ТАРЛЕ. Кризис Германии. (От Версальского мира до наших дней.) Изд. «Петроград». 1924 г. Стр. 48.

Ш. ДВОЛАЙЦКИЙ. Германия в 1923 г. Финансово-экономические очерки. Изд. «Московский Рабочий». М. 1924 г. Стр. 110.

Цель небольшого этюда Е. В. Тарле, по определению самого автора,—«лишь наметить наиболее характерные черты германских политических настроений» (стр. 4). Однако, мы тщетно искали бы картины этих политических настроений, ибо, как видно из заявления автора на стр. 25 той же брошюры, он на самом деле поставил себе цель гораздо более скромную,—исключительно анализ политики ответственных руководителей Германии, в качестве каковых у него фигурируют сменявшие друг друга на протяжении пятилетия (1918—1923) премьер-министры буржуазных кабинетов.

Но, как бы то ни было,—потому ли, что автор всерьез принимает Ференбахов, Виртов, Куно, Штреземанов за подлинных выразителей каких-то общих настроений, объединяющих различные общественные классы Германии, или потому, что он погнался за двумя зайцами,—но ни та, ни другая цель им не достигнуты.

Недочеты его работы особенно резко бросаются в глаза, когда мы подходим к ней с ожиданиями, возбуждаемыми в нас автором в его первоначальном заявлении. Мы скоро убеждаемся, что автор брошюры не только не интересуется массовыми движениями, которыми так богата исследуемая им эпоха, но в сущности не намечает даже основных мотивов в настроениях и переживаниях политических партий в собственном смысле этого слова. Скользя по поверхности событий, Е. В. Тарле находит возможным ограничиться такой, ничего не говорящей, суммарной характеристикой господствующего в Германии настроения, как «неистребимый оптимизм», охвативший, по его мнению, всю Германию, хотя она и лежала под железной пятой неумолимого победителя. Взяв за общие скобки этого «оптимизма» все политические партии и группировки, автор считает возможным после этого избавить себя от дальнейшего анализа, и так далеко заходит в своем скороспелом обобщении, что валит в одну кучу с буржуазными партиями и прислуживающей им социал-демократией даже коммуни-

стов. Вопреки общеизвестным фактам Е. В. Тарле решается заявить, что коммунисты (тогда еще спартаковцы) вместе с буржуазными партиями («хотя и в меньшей степени») питали «надежды на то, что грядущий мир не будет так ужасен для Германии, как по всей логике вещей должно было ожидать». Это заявление автора в корне неверно. Верно как раз обратное. Стоит познакомиться, хотя бы по книге Э. Дран и С. Леонард, о которой мы уже давали отчет в нашем журнале, с подпольной литературой революционной Германии во время войны, чтобы убедиться, что спартаковцы, коммунисты, не только не были повинны в макиавеллизме, какую автор приписывает им заодно с буржуазными партиями, а, наоборот, в своей марксистской оценке современных им событий приходили к выводам, прямо противоположным, отчасти предвидя уже тогда неизбежность постигшей Германию катастрофы.

Здесь мы хотели бы кстати уж отметить дурную тенденцию автора соединять под общей фирмой «социалистических партий» коммунистов с социал-демократами или по меньшей мере ставить их рядом как партии, якобы родственные между собою. Это совершенно недопустимо, так как между партией классовой борьбы и партией классового сотрудничества давно уже пролегла резко разделяющая их грань.

Не прав автор также и в своей исходной точке зрения, которая оказывается настолько мало надежной при оценке политических событий современной Германии, что она увлекает его на путь таких метафизических размышлений, образчик которых мы находим в его суждениях о могуществе «иррационального» в истории (стр. 28). В своем исходном утверждении, будто «определяющею и направляющею силою во всех событиях внутренней германской жизни всегда является (во все годы после разгрома) именно внешняя политика», сказывается та же склонность к поспешным обобщениям, которыми автор злоупотребляет в ущерб научному анализу исторической действительности. Разумеется, никто не станет оспаривать значительного влияния версальского договора на ход внутренней жизни Германии. Но что именно внутри-политические факторы играли и играют решающую роль в направлении внешней политики Германии,—это несомненный факт, с какою бы категоричностью и профессорской авторитетностью Е. В. Тарле ни утверждал противное. Если бы автор изучил политическую жизнь Германии не только в ее декларативных отражениях и внешне-политических актах ее министров, а заглянул бы за кулисы «высокой политики», то он заметил бы там истинных вдохновителей, дающих тон и направление всей деятельности «ответственных руководителей» Германии. Мы не будем приводить в доказательство всем известные факты, но позволим себе привести несколько выдержек из недавно появившейся (предисловие датировано маем месяцем 1924 г.) интересной книжечки Поля Уфермана, где ярко подчеркивается решающая роль господствующих классов во всей внешней политике страны. В этой книге («Könige der Inflation», von Paul Uferman. Berlin, 1924) автор пишет: «сильно окрепшая, благодаря обесценению марки, тяжелая индустрия при всякой попытке урегулирования репарационного вопроса выдвигала свои особые пожелания и боролась против политики выполнения до тех пор, пока она могла из этого извлекать себе выгоды... Все попытки стабилизации душились в самом зародыше. Благоприятные моменты внешнего политического положения были упущены и не были использованы... В страданиях, пережитых этой страной (Германией) со времени подписания договора о перемирии до прекращения пассивного сопротивления в Руре, не в малой степени повинны те, кто саботировал всякую политику выполнения» (стр. 15).

И в другом месте своей книги Уферман пишет, что хотя Стиннес и не блистал политическими талантами, тем не менее «его вмешательство в область политики имело огромное значение. Попытки германского правительства достигнуть удовлетворительного соглашения с Антантой встречали постоянное противодействие с его стороны и со стороны его единомышленников. Свою роль он начал играть со времени своего выступления в Спа, продолжал ее на всех фазах развития длительных боев вокруг репа-

раций, и только с оккупацией Рура закончилась она. Всякий раз, как начинало налаживаться соглашение между Германией и остальными государствами, подводилась контр-мина. Против соглашения Ратенау с Люшером в Висбадене Стиннес боролся всеми средствами»...

Мы могли бы привести еще десятки аналогичных справок, но и приведенных из книги Уфермана противопоказаний достаточно для того, чтобы подчеркнуть несостоятельность исходного положения автора рецензируемой брошюры.

Совершенно иначе подходит к исследованию той же темы тов. Дволайцкий. Его книга также посвящена послевоенному кризису, переживаемому Германией. Правда, тов. Дволайцкий берет лишь один 1923 год, но зато это был самый критический год всего пятилетия после Версальского договора, протекавший под знаком оккупации Рура и ознаменовавшийся углублением хозяйственного развала и обострением классовой борьбы. Автор в своем исследовании базируется не на поверхностных признаках интересующих его явлений; он тщательно старается выявить скрывающееся за ними социальное содержание и поэтому уделяет свое главное внимание вопросам финансового и денежного обращения, где хозяйственный распад Германии нашел свое наиболее яркое выражение. Свою книгу автор писал под непосредственным впечатлением совершающихся на его глазах событий, в один из самых острых периодов в муках рождающейся германской революции (сентябрь—ноябрь 1923 г.), и поэтому ему приходилось пользоваться часто совершенно сырым и необработанным материалом.

Автор начинает свое изложение со вторжения французов в Рур. Оккупация Рура и характер финансирования «пассивного сопротивления», которыми министерство Куно ответило на этот акт грубейшего насилия французских империалистов, и были главной причиной разразившейся над Германией финансово-экономической катастрофы. Это свое положение автор подтверждает целым рядом убедительных цифр. Приведя статистические данные, касающиеся размера территории и численности населения оккупированной Рурской области, скрывающей в своих недрах $^4/_5$ всех угольных богатств страны, и ранее занятых областей, автор приходит к выводу, что от Германии отторжено 7% ее наиболее индустриально развитой и густо населенной территории и 20% населения, в том числе около $^3/_5$ всех рабочих горного и горнозаводского дела и не менее $^1/_4$ работающих в химической промышленности. Вследствие установления строгого кордона между оккупированной и неоккупированной частями Германии последней пришлось форсировать ввоз заграничного угля. Производительная способность германских металлургических заводов понизилась на 57—65% сравнительно с их довоенной производительностью. В общем итоге резко сократились вывоз чугуна и стали и их внутреннее потребление. Насколько тесно хозяйство оккупированных областей было переплетено с хозяйством неоккупированной Германии, видно из того крайне оживленного грузооборота, которым была связана оккупированная территория с неоккупированной. 59% вывезенных из Рурской области грузов направлялось в остальную правобережную Германию, на которую падало около 60% прибывавших в Рурскую область товаров, и, таким образом, с захватом этой области народно-хозяйственный организм Германии лишился своей главной составной части.

Финансы Германии в 1923 г. характеризуются колоссальным ростом расходов, ничтожным минимумом доходов и бешеным ростом эмиссии. Политика пассивного сопротивления в среднем стоила Германии, по вычислению автора, не менее 200 миллионов золотых марок в месяц, а по позднейшим данным они в сентябре месяце доходили до 40 миллионов золотых марок в день. И, несмотря на эти чудовищные расходы, Куно решительно ничего не сделал для привлечения буржуазии к участию в финансировании пассивного сопротивления. Весь бюджет в это время представлял сплошной дефицит, а все расходы страны покрывались при помощи бумажно-денежной эмиссии, т.-е. за счет инфляционного налога. Как водится во всех истинно «демократических» го-

сударствах, и в «демократической» германской республике вся тяжесть обычных налогов падает почти целиком на рабочих и служащих. Свыше $^1/_3$ доходного бюджета дает подоходный налог, и подавляющая часть этой суммы составляется из 10 % отчислений с заработной платы и жалованья. Так, в июле 1923 г. на 2,1 миллионов золотых марок подоходного налога, внесенных капиталистами, вычеты из заработной платы рабочих в счет того же налога, дали 25,5 миллиона. При этом капиталисты платят налог с прошлого дохода и с большими опозданиями, вследствие чего весь налог сводится, в силу стремительного обесценения марки, к ничтожной сумме; рабочие же и служащие платят с текущего дохода, т.-е. с своего заработка и притом в момент его получки. Мало того, предприниматели, делая вычеты из заработной платы рабочих, задерживают вычитаемые суммы в своих руках в среднем на 2 недели, и таким образом государству возвращают только остатки вычетов, оставляя в своих карманах всю ту сумму, которую за это время потеряло государственное казначейство, и наживая, таким образом, чудовищные суммы. Не довольствуясь этими жульническими операциями, капиталисты с самым откровенным бесстыдством прямо увиливают от всякого платежа налогов, и когда Куно установил штрафы за просрочку налоговых взносов, то штрафы эти оказались столь ничтожны, что капиталисты весьма охотно выплачивали их, сторицею вознаграждая себя выгодами просрочки. Таким образом, правительство своей лицемерной политикой как бы легализировало ограбление страны кучкою наглых спекулянтов. В результате этой лицемерной политики налоговые поступления упали до $1^1/_2$—$2^0/_0$ текущих государственных расходов, а взимание целого ряда налогов, приносивших буквально гроши, превратилось в бессмысленную трату рабочего времени десятков тысяч чиновников.

К сожалению, недостаток места не позволяет нам остановиться на изложении дальнейших частей высоко интересной книги т. Дволайцкого. Но мы не можем не обратить внимания на прекрасный и общедоступный анализ, данный автором в III главе, посвященной вопросу об интервенции рейхсбанка и его директора Гавенштейна с целью стабилизации марки, а также провокационной учетной политике того же Гавенштейна, превратившего государственное кредитное учреждение в источник обогащения крупных капиталистов за счет ограбления государственного казначейства и обнищания масс.

Не можем не отметить также и тех интересных страниц книги в IV главе, где тов. Дволайцкий характеризует предательскую роль с.-д. в этой оргии грабежа и наживы, а также и в VI главе (стр. 82—83).

Очень интересна глава V, где в достаточно популярной форме дан анализ инфляционного (эмиссионного) налога и его влияния на различные общественные классы.

Вся книга в целом, чуждая агитационных выкриков и заезженных фраз, написана в марксистском, т.-е. строго научном духе, насыщена фактическим, главным образом, цифровым, и в значительной мере самостоятельно проработанном материалом, в общем, за исключением немногих страниц, доступная для средне подготовленного читателя, является одним из самых ценных вкладов в нашу литературу о современной Германии.

М. Брагинский.

И. МАЙСКИЙ. Современная Германия. Изд. «Красная Новь». М. 1924. Стр. 167.

Несколько оригинальных и переводных монографий, два-три опыта сводных работ о современной Германии, появившихся до сих пор на нашем книжном рынке, — далеко еще не дают исчерпывающего описания и анализа важнейших сторон внутреннего и внешнего положения Германии. Между тем в таком именно исчерпывающем труде в широких кругах русских читателей ощущается настоятельная потребность, ибо, по справедливому замечанию т. Майского (которое, впрочем, можно принять лишь с весьма существенными оговорками в сто-

рону СССР),«Германия в настоящее время стоит в центре внимания всей Европы и даже больше — всего мира». Этой потребности и имел в виду хотя бы отчасти удовлетворить т. Майский, выпуская в свет свою книгу «Современная Германия».

Справился ли автор со своей задачей?

Уже в предисловии к своей книге он указывает, что целый ряд весьма важных вопросов, за недостатком места, им не мог быть затронут. И в самом деле мы почти ничего не найдем в его книге о таких крупных вопросах, как социальное законодательство послевоенного и революционного периода, о движении фабзавкомов, о могущественных объединениях финансового и промышленного капитала, о системе ограбления ими страны и особых приемах эксплоатации трудящихся при помощи налоговых махинаций и самой беззастенчивой спекуляции особенно во время пассивного сопротивления в оккупированной области, об усиливающемся наступлении капитала на рабочий класс и его революционные завоевания, о теории и практике единого фронта и т. п.

Но и по целому ряду вопросов, затронутых автором в его книге, желательно было бы иметь более подробные и более фактические сведения. Так, автор совершенно правильно освещает предательскую деятельность социал-демократов и характеризует ее в уничтожающих (и вполне заслуженных) выражениях. Но не в этих суммарных характеристиках нуждается читатель, а в фактах,— голых фактах, которые сильнее всяких слов пригвождают всю германскую социал-демократию и ее вождей к позорному столбу. Побольше бы фактов о контр-революционных подвигах кровавой собаки—Носке или таких палачей рабочего класса, как Эберт, Шейдеман, Герзинг, Зеверинг и проч. Эти факты для читателя рабочего куда поучительнее и убедительнее самых красноречивых возгласов негодования (хотя бы и вполне законного и искреннего).

Желательно было бы также, чтобы наряду с данными, свидетельствующими о гибельном влиянии Версальского договора на промышленность, были приведены подробные сведения о таких последствиях Версальской петли, как культурно-просветительное оскудение страны и физическое истощение масс.

Судя по первым страницам рецензируемой книги и по структуре и содержанию некоторых параграфов, особенно в отделе «Рабочее движение», которому отведено $^2/_3$ книги, автор как будто задался целью именно составить учебное руководство по истории современной Германии, в котором действительно ощущается большая потребность. И можно только пожалеть, что т. Майский не остался до конца в той роли летописца, в какой он является перед нами в первом отделе, в большей части второго и на целом ряде страниц третьего и четвертого отделов его книги: он то и дело меняет роль историка на роль журналиста, и от этого книга оставляет впечатление произведения невыдержанного по своему характеру и тону изложения.

Об этом приходится пожалеть тем более, что т. Майский обладает всеми необходимыми данными для выполнения важной и ответственной работы по составлению серьезного учебного руководства — курса по изучению современной Германии: он обладает даром общедоступного и в то же время вполне литературного изложения, основательным знанием предмета и выдержанной марксистской точкой зрения.

Таким образом, на поставленный вопрос приходится ответить, что автор «Современной Германии» не совсем удачно справился со своей задачей. Тем не менее, книга, и при отмеченных нами недочетах, для значительного круга читателей окажется небесполезной.

М. Брагинский.

РАБОЧЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ.

1. А. ВЕНЕДИКТОВ. История международного рабочего движения. *М. Константинов.* — 2. О. РОЗЕНФЕЛЬД. История профдвижения на Западе. *В. Дитякин.* — 3. Материалы по истории профессионального движения в России. *А. Мильштейн.* — 4. Д. АНТОШКИН. Профессиональное движение в России *А. Мильштейн.*

А. ВЕНЕДИКТОВ. История международного рабочего движения. Из-во «Красная Новь». Главполитпросвет. Москва, 1924 г. Стр. 276.

Книжке присвоено весьма несоответственное ее содержанию название. Берешься за нее и думаешь, что перед тобою сейчас откроются страницы глубоко интересного и значительного даже в масштабах мировой истории процесса роста и борьбы пролетариата, не как эксплоатируемой группы в рамках той или иной капиталистической нации государства, а как единого мирового класса наемных рабочих. Не было еще в русской литературе печатных трудов, которые бы взяли рабочее движение как мировое целое и показали бы его силы и пути развития, его основные тенденции, его достижения и определившиеся цели и методы, а между тем, поскольку само движение уже давно фактически покрыло национальные движения своим интернациональным единством,—потребность в таких трудах назрела огромная. Этой потребности в сущности и рассчитывает удовлетворить т. Венедиктов чтением по вопросу международного рабочего движения лекций, которые и сведены им в литературно-обработанный труд. И потому ожидаешь найти в ней, судя по заглавию, именно то, что удовлетворяет указанной потребности. Но при первых же взглядах на текст и оглавление вы разочаровываетесь. В книжке помещены три обособленных, не обобщенных, не связанных даже редакционно, очерка о рабочем движении в Англии, Франции и Германии.

Таким образом, книжка в сущности представляет собою описание рабочего движения в отдельных европейских странах, вернее, только в трех доминирующих, и вопросов международного рабочего движения как такового не затрогивает. Только с этой точки зрения мы и будем ее оценивать.

Прежде всего два-три общих в отношении всей книжки замечания. Автор пользуется для изложения рабочего движения до войны только старыми источниками, при чем в довольно ограниченном количестве (я имею в виду только русскую и переводную литературу), упуская часто нужные из них. И из перечисляемых им источников (безразлично, приводится ли это только для ссылок или особенно для руководства слушателям) можно было бы без ущерба выбросить кое-что,—ну, хотя бы Крживицкого — «Генезис идей», Зомбарта — «Социализм и соц. движение» и др. Новых работ автор не использует. Зато,—что следует признать большим плюсом,—пользуется для освещения рабочих движений в разных странах в последнюю эпоху богатейшими данными статей, корреспонденций, докладов съездов Коминтерна и т. п. Это делает книгу более жизненной и современной.

Обращаясь к отдельным частям изложения, следует указать кое-какие из недочетов. Автор далеко не полно (я не говорю: не подробно) и мало последовательно описывает процессы нарастания и разрешения вставших перед английским пролетариатом отдельных задач борьбы,—как борьбы за избирательные права, за рабочее право, за право коалиции и т. п. По каждому из этих направлений борьбы английских рабочих создавались и действовали отдельные силы, достигавшие того или иного успеха, влиявшего на дальнейшее развитие и на другие стороны движения. К примеру, автор уделил внимание «борьбе за избирательную реформу», но о наиболее

важных для рабочего движения парламентских реформах 1867, 1884, 1910, 1911 и позднее ничего не сказал, если не считать выражения: «парламентские реформы 1867—1884 г.г. почти уже осуществили всеобщее избирательное право». Ничего не сказал он и о тех влияниях, которые эти реформы оказали на рабочее движение. Упущено много важных моментов в изложении борьбы за самостоятельность и юридическое лицо профсоюзов,—взять хотя бы первый попавшийся,—нажим на кассы тред-юнионов, последовавший за процессом по делу всеобщей стачки на железной дороге тафвалевской компании в 1900 г.

Всякий, знакомый с английским рабочим движением, представляет себе и сложность и грандиозность пролетарской борьбы на протяжении всего XIX в., в особенности в эпоху чартизма, знает мучительные искания тогда еще слабо сорганизованным пролетариатом выходов из ужасающих условий существования и его попытки образования хозяйственных соединений (кооперация), культурно-просветительных, профессиональных и др. Картины ужасающей эксплоатации не только мужчин и женщин, но и детей, бедствия и вырождение народа, вскрывавшиеся известными парламентскими комиссиями, начиная с 1796 г., история труда никогда не в состоянии будет забыть. А в книге т. Венедиктова ничего этого не чувствуешь. И нельзя в этом винить одни только «рамки статьи».

Таково же в общем впечатление и от очерка о Франции. Здесь автор абсолютно не справился с наиболее характерной для французского рабочего движения формой — синдикализмом. Сравнительно пространно изложив взгляды синдикализма и их критику, он не дал *истории* его развития. А между тем эта история представляет исключительный интерес. Не описано, как сплеталось синдикалистское движение с партийным социалистическим, как в процессе дальнейшего роста совершенно оторвалось от него к девяностым годам. «Биржа Труда» открывает свои действия не в 1886 г., а в феврале 1887 г. Мы опускаем много мелких погрешностей в данных, в системе изложения, и обращаем внимание лишь на некоторые из них. В маленьком предисловии к этой книжке т. Бухарин видит в ней «сводку элементарных сведений по истории рабочего движения», которая будет очень полезна преподавательскому кадру совпартшкол. Это можно принять,—но трудно согласиться с тем, что эта сводка «дает понимание внутренней связи рабочего движения». Как раз этого-то в книжке т. Венедиктова и нет.

М. Константинов.

О. РОЗЕНФЕЛЬД. История профдвижения на Западе. Синхронистические таблицы. Схема-конспект. Под редакцией Д. Шварцмана. Издание Редиздата ОГСПС. Одесса, 1923 г. Стр. 118. Ц. 75 коп.

В предисловии автор отмечает «вопиющую нужду» профработников в такого рода сводных обзорных пособиях и задачу книги определяет «не в сообщении читателю исчерпывающего знания истории профдвижения на Западе, а в максимальном пробуждении его самостоятельности, в систематизации имеющихся у него знаний, пополнении пробелов»... Цель намечена автором хорошо, такое пособие очень нужно, и так как автор сам признает, что в его работе, «как первой попытке этого рода, ...много промахов и недочетов» — наша задача указать их.

Для конспекта избрана история профдвижения в 4-х странах — Франция, Англия, Германия и Соед. Штаты, в приложении даны сведения по итальянскому и международному профдвижению за последние 20 лет. Схема состоит из 4-х разделов: 1) экономическое состояние страны, 2) политические условия развития рабочего движения, 3) организационное строительство и 4) идеология профдвижения. Для Англии избран трэд-юнионизм, для Германии — свободные профсоюзы, Франции—синдикализм, Соедин-Штатов—А. Ф. Т. и И. Р. М., это, конечно, далеко *не покрывает всей широты* профдвижения. Изложение идет то с XVI, то с XVII, то с нач. XIX вв. Масса сведений во всех 4-х разделах, безусловно полезных и интересных, но далеко не равноценных, есть много

мелочей, которые свободно могут быть опущены в конспекте, есть ряд *пробелов*. Так, берем на удачу в открывшемся отделе: Англия, годы 1911—14, особенно 1914—18 г.г., слишком бегло освещены, периода после 1921 г. нет совсем; Германия — мало о послевоенной эпохе и т. д. Франция—слишком общо о соц. партиях (стр. 68), вообще основной фон профдвижения — рабочее движение, особенно протекавшее в партийной оболочке, освещается *слабо*, нет, напр., четкой характеристики желтых партий и связи их с профсоюзами. Слишком бегло обрисована борьба Амстердама с Красным Профинтерном. Приложенные к схеме таблицы (стр. 111—116) составлены на-спех, мало показательны: так, статистика членов трэд-юнионов дана почему-то только за 1892—1911 г.г., хотя и в русской литературе можно найти много цифр; по Франции еще хуже — данные за 1893 — 1922 г.г., но разрозненные (1893—1899... 1905—1911), распределение синдикатов по специальностям дано лишь на 1905 г.,—какое значение такие цифры имеют сейчас? По Германии—только 2 даты 1913 — 1921 г.г. по союзам и сводные цифры за 1900 — 1922. Нет никаких таблиц распределения союзов по интернациональным объединениям, хотя данные опубликованы давно (ср. «Ежегодник Коминтерна», хотя бы). Указатель литературы включает всего лишь 33(!!) названия, составлен опять-таки на-спех, *полон ошибок*, ряд книг внесен лишь по очень отдаленной связи с темой, напр., Варга, Коган-Бернштейн, Боголепов; по Англии указаны лишь 4 книги, из основных работ Вэббов только «История» в изд. ВЦСПС, как известно, еще не законченная в этом издании; по французскому профдвижению пропущены — Вейль, Критская и Лебедев и др.; по американскому — только 3 книги, ибо 4-я — роман (Л. Скотта), хотя в моем, далеко не полном, списке литературы (см. в приложении к моему переводу Саймонса «Классовая борьба в истории Америки») их не менее 100.

2-е издание этой книги, тщательно переработанной, значительно дополненной, необходимо, ибо в этом издании она еще далеко не выполняет даже тех скромных задач, о которых составитель ее писал в предисловии.

В. Дитякин.

КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОН. ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. Истпроф ВЦСПС. Материалы по истории професс. движения в России. Сборник 1-й. Изд. ВЦСПС. М. 1924 г. Стр. 211.

Безразлично, кто откроет данный сборник: практический ли работник профдвижения или начинающий историк, — и тот и другой прочтет эти «материалы» с большим удовлетворением.

Мы здесь имеем первый опыт систематизации историч. материала во всероссийском масштабе.

Истпроф ВЦСПС имеет своей целью опубликование самых разнообразных работ и материалов, посвященных прошлому нашего профессион. движения.

Прежде всего сюда входят очерки и исследования, посвященные отдельным моментам и вопросам истории движения (стр. 5).

Сборник начинается двумя вводными статьями: Чекина—«О задачах изучения российского профдвижения» и Ю. Милонова—«Об основных проблемах историографии профдвижения в России».

В первой статье (стр. 7—15) автор подводит итог имеющейся исторической литературы по профдвижению и дает критический анализ этой литературы. Написана статья конкретно и содержательно. Вторая статья—Милонова—методологического характера (стр. 16—23).

Затем следуют «обзоры». Много уделено внимания союзу полиграфического производства (статьи Айзафта, Соловьева, Пирейко).

Металлисты поместили весьма интересные и ценные воспоминания старых работников московского райкома металлистов (стр. 133 — 152). К сожалению, материал весьма сырой, необработанный.

Страничка «из истории московского об-ва взаимопомощи официантов» Каца освещает труд ресторанной прислуги в годы 1902—1916 г.г. (стр. 43 — 59).

Особо следует отметить помещенную в сборнике «хронику профдвижения рабочих в России с 1890 г. по 1903 г.г. А. Каца (166 — 211).

Автор предполагает «дать иллюстративное пособие для преподавателей в проф- и совпартшколах» (стр. 166).

О важности такого труда не приходится говорить. «Хроника» нужна. Но то, что дано Кацем, является весьма беглым и схематичным. Не чувствуется остова, вокруг которого концентрируется вся хроника.

Итог: сборник «материалов» отвечает потребностям профработников — иметь «свою» историю в систематизированном виде.

Можно присоединиться к пожеланию редакции: «пусть материалы явятся тем центром, вокруг которого соберутся все силы, интересующиеся изучением истории российского профдвижения» (стр. 6).

Издан сборник довольно опрятно.

А. Мильштейн.

Д. АНТОШКИН. Профессиональное движение в России. Пособие для курсов по профдвижению. Издание ВЦСПС. Москва, 1923. Стр. 100.

Автор поставил задачу дать исторический обзор профдвижения от «возникновения рабочего класса в России» до «Октябрьского переворота». Этап, пройденный рабочим классом почти за два столетия, является таким грандиозным, что вместить этот этап в 100 страничках при всем желании нельзя. В этом—первый основной недостаток книжки.

Работа разбита на три главы: I. Рабочее движение до 1905 г. II. Рабочее движение с 1905—1917 г. III. Рабочее движение с 1917 г. до конца 1921 года.

Первая глава представляет собою конспективное изложение некоторых глав Туган-Барановского («Русская фабрика в прошлом и настоящем»), стр. 41, 64 и др. у Антошкина—стр. 9—10—весьма схематического изложения.

В подглаве «О реакции» после 1905 года автор отделывается общими местами: напр., стр. 33 «События 1912—1914 г.г.; питерские события 1914 г. и, наконец, революция 1917 года доказали правильность пути, намеченного большевистской партией. Но автор не расшифровывает эту правильность. Дальше на той же странице показаны цифры упадка рабочего движения до 1912 года Надо было показать рост стачечного движения с 1912 г.,так как именно этот год является переломным этапом в борьбе рабочего класса. Автор недостаточно осветил борьбу левого крыла профсоюзов с оппортунистическим настроением в рядах русских союзов. Над этим в особенности надо было остановиться в главе «О февральской революции».

Автор останавливается на рабочем контроле, но о главкизме, как о целой эпохе военного коммунизма, в работе нет ни слова.

Итог:

1) Задачу, поставленную перед собою,—обрисовать в историческом разрезе развитие рабочего движения с появлением капитализма до наших дней,— полностью автор не выполнил.

2) Работа «схематично и сухо изложена, скудость фактического материала и непропорциональность отдельных частей работы» (из предисловия редакции).

3) Не выявлена борьба меньшевистского крыла с большевистской частью профессионального движения.

Вместе с тем книга Д. Антошкина может и должна быть рекомендуема для начинающих изучать профессиональное движение, так как дает основные вехи по истории российского профессионального движения. **Д. Мильштейн.**

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА.

1. К. КНЕППЕЛЬ. Методы рациональной организации предприятий. *Л. Рабинович.* — **2. Г. ВИНТЕР. Пути к повышению производительности предприятий.** *В. Гальперин.* — **3. Д-р РЕНЭ ЛОФЕР. Организация труда с точки зрения физиологии.** *И. Гельман.* — **4. ИОГАНН РИДЕЛЬ. Рационализация труда.** *Р. Минц.* — **5. Проф. С. ЧАХОТИН. Организация, принципы и методы.** *И. Шпильрейн.* — **6. В. КЕНТ. Новейшая система управления промышленным предприятием.** *А. Нейфах.*

К. КНЕППЕЛЬ. Методы рациональной организаций предприятий. Installing Efficiency Methods. Авторизованный перевод инж. Ф. И. Давыдова. Под ред. Отдела Научной организации производства при ГЭУ ВСНХ. Государственное Издательство. Москва. Стр. 224.

Из многих переведенных за последнее время с иностранных языков трудов по научной организации производства выгодно выделяется книга К. Кнеппеля своей практичностью и применимостью к делу.

Реорганизацию производства автор не понимает только как смену оборудования, перестройку заводов по новому плану и т. д., он не требует невозможного. Он пытается найти пути к поднятию производительности заводских предприятий, применяясь к существующим условиям.

Планировка, систематизация работы, разделение труда, строгий учет—вот способы реорганизации и рационализации предприятия.

Правильность такой точки зрения как будто не требует доказательств, но реальные выгоды, которые приносит такая систематизация предприятию, не всеми хозяйственниками сразу учитывается. Наоборот, эти последние склонны взять эту точку зрения под сомнение.

Такой скептицизм, только медленно уступающий ряду логических доказательств, обрисовывает автор в первых главах своей книги, приводя примерный разговор реорганизатора-инженера с директором предприятия.

Эти главы, несмотря на несколько наивную форму изложения, обладают достаточной убедительностью и служат прекрасным введением к книге.

Подход к работе и план работы реорганизатора, составленный и детально разработанный Кнеппелем, не оставляет желать лучшего. Но для выполнения этой работы он предлагает аппарат, чрезвычайно громоздкий по конструкции и совершенно неприемлемый в наших условиях, где с успехом прививаются на предприятиях кружки НОТ, работающие с одним авторитетным руководителем и в полном контакте с администрацией завода.

Вопросы о лишних движениях, утомляемости и отдыхе рабочих, о системе поощрения требуют более обстоятельной и научной трактовки.

Но в общем книга может быть безусловно полезна и представляет собой ценный вклад в литературу по научной организации труда.

Книга переведена и переработана для издания на русском языке инж. Давыдовым.

Л. Рабинович.

ГУСТАВ ВИНТЕР. Пути к повышению производительности предприятий. Практическое руководство по применению системы Тэйлора. Перевод с немецкого В. Б—р. Изд. «Книга». Л.—М., 1924. Стр. 138.

Автор—практик в узком смысле этого слова. Этим и определяется весь подход его к научной организации труда, каковой он и считает систему Тэйлора.

Первая часть книги и посвящена этой системе, в которой Г. Винтер устанавливает «10 положений». При чем толкование своих «положений» он называет практическим применением системы, хотя, говоря о ряде чисто практичиских задач (круговорот материала, транспорт), ав-

тор довольствуется общим описанием того, *что делать* для их разрешения а не *как делать* конкретно.

Некоторым оправданием для него может служить осознаваемый им самим организационный принцип, рекомендующий, в зависимости от конкретной обстановки, применять те или иные средства. Но не следовало упускать из виду значения для практиков уже проделанного опыта,—а о нем-то Г. Винтер говорит очень мало.

В отношении конкретности материала дело обстоит более благополучно с вопросом о специализации, типизации и нормализации. Очень интересными для практиков-инженеров и техников являются упоминаемые автором труды «Комитета нормализации Германской Промышленности», вырабатывающего, совместно с Союзом Германских инженеров, нормальные типы продукции для разного рода производств.

Вторую часть книги автор уделяет вопросу о научном управлении. Здесь он, не внося ничего принципиально нового, дает схему организационного плана предприятия, где отсутствующим оказывается не кто иной как... рабочие. В этой же части упоминается бегло о заработной плате, об испытаниях профессиональной пригодности рабочих, о длительности и распределении рабочего дня. Бросается в глаза поверхностность автора, отличающего физиотехников, употребляющих «пробы» (tests), и психотехников, которые (стр. 97) «предпочитают итти путем чисто научных (психотехнических) экспериментов» (?).

Излишне упоминать, что в нормальных условиях психотехническому испытанию предшествует медицинское освидетельствование и антропометрическое измерение, и что понимание автора тестов, как характеризующих «в большей степени физические силы, нежели психические способности», совершенно не научно.

Более ценным является приложение, состоящее из практического описания организации конторской работы. Тут приведена, с приложением схемы и таблиц, система регистратуры и хранения документов.

Интересным в книге является один побочный момент. Как упоминалось, автор всецело принимает систему Тэйлора с ее методом установления уроков, премиальной системой оплаты труда и т. д. Но германская действительность заставляет изменить ее в одном пункте — в подходе к рабочему. Если методом Тэйлора было разъединять рабочих, чтобы затем входить в соглашение с каждым из них в отдельности, то у Г. Винтера не возникает сомнений, что в деле организации предприятия на новых началах необходимо заручиться, по меньшей мере, согласия фабзавкома. Как убедительный довод для рабочих, он приводит: «твои товарищи, и притом политически гораздо более выдержанные, все время дают полную производительность».

В общем книга лишена углубленного и систематического подхода к области научной организации труда. Однако, при более тщательной редакции и с добавлением предисловия, она могла бы явиться полезным пополнением литературы по НОТ.

Издана с внешней стороны книга удовлетворительно, корректура могла бы быть тщательней; есть опечатки.

Р. Гальперин.

Д-р РЕНЭ ЛОФЕР. Организация труда с точки зрения физиологии. Перевод с французского Н. Розенблит. Предисловие О. Ерманского. Госиздат. 1924 года. Москва—Ленинград. Стр. 76.

При том обостренном интересе, который имеется в настоящее время к вопросам организации труда, появление небольшой книжки Лофера является не бесполезным. Разработка вопросов организации труда приняла у нас почти исключительно техническо - организационный характер, а иногда заменяется даже целиком разработкой вопроса о рациональном администрировании и управлении.

Значение гигиены и физиологии при решении вопросов организации труда недостаточно оценивается работниками в этой области. Между тем добрая половина этой проблемы должна найти себе разрешение именно в физиологии и гигиене. Создание физиологического режима труда, устранение антигигиени-

ческих моментов из производства неизменно приводит к повышению производительности труда и к уменьшению заболеваемости и изнашиваемости организма рабочих. Далеко не всегда приспособление человека к машине отвечает интересам производства, гораздо чаще этому отвечает приспособление машины к физиологическим предпосылкам рабочего. С этой точки зрения основная мысль книжки Лофера является своевременной и полезной. Надо только отметить, что книжка эта значительно устарела. Статистический материал о заболеваемости рабочего населения, которым автор широко и беспорядочно пользуется, собран без всякой критики и анализа. Это совершенно обесценивает первую главу книжки—о переутомлении. Гораздо интереснее вторая глава, в которой мы находим данные научного исследования труда, произведенного самим автором. Здесь же мы находим несколько интересных мыслей о различиях между умственным и физическим трудом, правда, чисто интуитивного характера. В общем—книжка полезная, но лишенная таких исключительных достоинств, о которых говорит редактор в своем предисловии, характеризуя ее, как представляющую «огромный интерес» и долженствующую занять «видное место» в литературе по НОТ. Это неумеренное восхваление не делает книжки Лофера более интересной, чем она есть.

И. Гельман.

ИОГАНН РИДЕЛЬ. Рационализация труда. Пер. с немецкого Ю. Н. С. Под редакцией проф. С. С. Чахотина. Из-во «Книга» М.—Л. 1924. Стр. 75.

Еще одна азбука рационализации труда. Работа инженера Риделя даже еще более азбучна, чем «Азбука» Джильбрета. Книга претендует быть сжатым *руководством* по научной организации предприятий. Но ее можно назвать только *обозрением* проблем *науки о труде*. Да и то, если отбросить все агитационные вылазки на защиту НОТ'а. Такие вызовы врагам рационализации труда были, может, уместны во время написания книги, т.-е. в 1919 г., но сейчас они значительно устарели как в капиталистических странах, так и в СССР. Капиталист и сам умеет использовать достижения науки. У нас же целый Наркомат (НКРКИ) руководит научной организацией труда. А это доказывает, что роль НОТ'а в поднятии народного хозяйства нами осознана, и осознана очень крепко.

Лозунг Бухарина: *Коммунизм + американизм*,—усвоен вполне.

Таким образом, издание этой книги в 1924 году можно было бы считать ненужным, если бы не одно ее *преимущество*. Преимущество перед большинством западных авторов и в частности—Джильбретом.

Автор очень хорошо разбирается в «потогонной» системе Тэйлора и во всех последствиях ее применения. Правда, под сентенциями автора по поводу ужасного действия Тэйлоровской системы на рабочего скрывается страх перед тем, что терпение рабочего, в конце-концов, лопнет.

Но, тем не менее, критика системы основана на вполне научно проверенных данных.

Автором привлекаются и достижения *физиологии труда* (проблема утомляемости, распределения работы и отдыха) и *психологические* изыскания (проблема монотонии, проблема стимулирования к работе). Базируется он и на законах *заработной платы*, при чем подчеркивает недопустимость *хронометража*,—такого в общем несовершенного метода, как основы определения заработной платы. В указании автора на то, что американские рабочие добились отмены хронометража на государственных заводах, звучит даже торжество.

Тут же подвергается критике, правда, довольно кустарной и наивной, тэйлоровское бюро *функциональных мастеров*.

Но только эта *отрицающая* часть работы Риделя является *положительной*. Часть же *утверждающая* поражает своей *легковесностью*. Автор плавает по общим местам.

Поскольку дело идет о *приспособлении работы к работнику*, т.-е. о рационализации внешних условий работы, об

усовершенствовании орудий труда и о нормализации трудовых движений, — дело куда ни шло. Автор—спец и исключительное обилие примеров несколько спасает положение. Довольно конкретен автор и в главе о *передаче трудовых навыков*. Методика обучения, если и не исчерпана вообще, то во всяком случае наглядно показана.

Что же касается до главы о *приспособлении работника к работе*, об отборе работников, пригодных по своим психофизическим свойствам для данной профессии, то несколько общих фраз, примерчик для проформы — и все. Подробно останавливается автор на необходимости при испытании наблюдать за поведением испытуемых как во время инструктирования, так и во время объявления результатов испытания.

Между тем все достижения психотехники — новейшее течение ее — *профориентация* (выбор для испытуемого соответствующей профессии), новые методы *изучения свойств*, необходимых при каждой профессии, как, например, *трудовой метод* (овладение психологом трудовыми навыками), более совершенные методы *определения* у испытуемых *профессионально-важных* психофизических свойств,—все это обойдено в работе Риделя. Это, конечно, не вина Риделя, так как книга написана еще в 1919 г. Но безусловно налицо ошибка переводчика и редактора. Нельзя выпускать *явно устаревшую* книгу без каких бы то ни было примечаний, дополнений и предисловия. Нельзя было оставить без примечаний и некоторые патрональные похлопыванья по плечу рабочих.

Техническая сторона книжки могла бы быть значительно лучше. Мы уж так привыкли к известной *яркости* печатного текста, что читать эти сплошные страницы несколько трудно.

Общая же конструкция книжки очень хороша. Четкое разделение на части и выделенные из текста примеры. Но это, очевидно, заслуга только автора.

При более умелом монтаже текста книга была бы вполне пригодна для неподготовленного читателя. В таком же виде, как она есть, пожалуй, книга слишком трудна.

А ведь это—не серьезный труд, а почти агитброшюра.

Р. В. Минц.

Проф. С. С. ЧАХОТИН. Организация, принципы и методы. Госиздат. М. — Л. 1924 г. Стр. 196. 99 рисунков и таблиц. 4000 экз. Цена не указана.

Книга С. С. Чахотина, прибывшая к нам в первый раз в берлинском издании, теперь снова издана Госиздатом.

Книга пытается дать краткие сведения о всех вопросах научной (или, как автор говорит, рациональной) организации труда. Ценными в книжке нужно признать ясность и понятность изложения, разнообразие использованных материалов, обилие и хороший подбор иллюстраций.

К недостаткам относится полная оторванность от читателей, для которых книга написана: несмотря на предисловие, в котором автор указывает на важность рационализации организации труда для СССР, — специальные потребности СССР и положение организации труда у нас в настоящее время совершенно не освещены.

В заключении, которое посвящается вопросу «о значении насаждения принципа рациональной организации труда для СССР», автор говорит об организации в будущем времени и совершенно не учитывает того громадного организационного опыта, который проделан уже за семь лет революции, и той организации организаторов, которая работает у нас под руководством ЦКК и РКИ.

Несмотря на этот основной недостаток, книгу Чахотина можно рекомендовать, как техническое руководство, вводящее в основные вопросы НОТ, хотя и не дающее достаточно проверенных, современных и особенно подходящих в настоящих условиях сведений.

И. Шпильрейн.

ВИЛЛИАМ КЕНТ. Новейшая система управления промышленным предприятием. С предислов. Г. Гаитта. Перев. с английск. инж. М. С. Горфинкель. «Книга». 2-е изд. Москва—Ленинград, 1924 г. Стр. 188.

Идеи «научного управления предприятием» в настоящее время получили уже всеобщее признание. Но за последнюю четверть века все более обнаруживается тенденция расширить этот принцип далеко за пределы, в которых его мыслил Тэйлор, американский его родоначальник.

Сама жизнь заставляла на каждом шагу и теоретиков и практиков научной организации промышленности выходить из рамок тэйлоризма и охватывать «все, что так или иначе имеет связь с промышленным предприятием»,—как выражается Генри Гаитт в своем предисловии к книге Кента.

Заслугой Кента, одного из авторитетных в Америке специалистов производственной науки, является то, что он сумел обнаружить слабое место тэйлоризма и предвидеть тот путь, по которому должно пойти дальнейшее разрешение проблемы.

«Главнейшим фактором здесь является стремление создать научно обоснованное исследование всех явлений в деловой области и наглядно зафиксировать в письменной форме испытанные на практике трудовые методы для всех отраслей производства».

Оперируя понятием «станочного часа» (т.-е. отношением коэффициента производственного использования станков к капиталу, вложенному в предприятие), Кент вскрывает перед нами опасность непомерного увеличения накладных расходов, если завод не работает с полной нагрузкой. Достижение же полной нагрузки возможно лишь при научной организации сбыта,—таков вывод, привести к которому читателя Кент ставит своей задачей.

Свои мысли автор излагает в отчетливой и даже увлекательной форме повествования о конкуренции двух заводов, из которых один перемещает центр тяжести своего внимания именно на научную организацию сбыта своих фабрикатов.

Шаг за шагом анализирует Кент структуру обоих предприятий и к концу книги для читателя ясно, что все шансы в предстоящей борьбе будут на стороне второго, уделяющего внимание «проблеме сбыта», если только первое не усвоит его методов.

«Размер нашего сбыта, — говорит Кент, — определяется нашими способностями в качестве продавцов, нашим искусством распознавать, какие изделия требует широкой рынок и какие из них мы можем выгодно производить. Наша слабость кроется в том, что мы упустили из виду возможность заниматься фабрикацией различных изделий для сохранения полной производственной нагрузки завода, а также в том, что не делали попыток найти более выгодные пути для сбыта наших изделий».

Создание института «производственных разведчиков», которые принимали бы на себя инициативу своевременного проведения реформ по всем отделам предприятия и тем самым сообщали бы ему наибольшую гибкость в следовании за требованиями рынка,—такова практическая мера, на которой останавливается мысль Кента.

Но попробуем развить его мысль дальше и «поставить все точки над и», чего не решается сделать Кент, скованный рамками буржуазной идеологии.

«Научная организация сбыта» должна привести к еще более ожесточенной борьбе за рынки и в процессе ее окончательно доказать преимущества концентрированного капитала над рассеянным.

«Скоро наступит время, — говорит сам Кент,—а может-быть, оно уже и наступает, когда гвозди будут покупаться в железной торговле, владельцем которой является железо-и сталеделательный завод, получающий, к тому же, руду, уголь и известняк из собственных горных предприятий, выплавляющий сам чугун и подвергающий его в своих же предприятиях всем операциям переработки, вплоть до выделки гвоздей, поступающих на рынок». Такова система, при которой накладные расходы упадут до минимума, а производственный коэффициент возрастет до максимума.

Таким образом, неизбежна гегемония трестированной промышленности. Если же довести эту точку зрения до логического конца, то необходимо прийти к идее единого государственного производственного плана, идея которого враждебна умирающей капиталистической системе хозяйства.

Книга Кента, кроме ее значения для практиков нашей промышленности, ценна, таким образом, и для теоретиков производственной науки, как показатель современного состояния архиконцентрированного американского капитализма, все больше и дальше упирающегося в тупик своих собственных хозяйственных и социальных противоречий.

А. Нейфах.

ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ.

1. Б. ЭЛЬСКИЙ. Стенные газеты и их организация. *А. Сигорский.* — 2. I. А. М КЛЕЙНБОРТ. Очерки рабочей журналистики. II. Рабкор и стенная газета. III. С. СРЕДИНСКИЙ. Газетно-издательское дело. IV. П. КЕРЖЕНЦЕВ. Газета. V. ВЛ. ПЕТРЯК. Печать комсомольских ячеек. *Я. Шафир.* — 3. Н. ЛЕНИН (В. УЛЬЯНОВ). Задачи рабочей печати. *Я. Шафир.* — 4. А. БОЛЬШАКОВ. Советская деревня за 1917—1924 гг. *Я. Шафир.*

Б. ЭЛЬСКИЙ. Стенные газеты и их организация. «Библиотека культработника». Изд. МГСПС. «Труд и Книга». М. 1924. Стр. 62. Тираж 5000.

Книжку Б. Эльского, одну из первых попыток систематизировать опыт постановки и ведения стенных газет и дать руководство в этой области, следует признать очень удачной и очень полезной.

«Стенная газета» в нашей массовой агитработе — еще младенец, на губах которого еще не обсохло материнское молоко обыкновенной ежедневки, типографской политической газеты. Стенная газета — совершенно особый способ привлечения внимания массового зрителя (прежде всего—зрителя!); способ этот более сродни плакату, лозунгу, революционному лубку, чем знакомому нам типографскому газетному листу. Стенная газета—явление пока еще необычное в нашей общественности,—и примитивна, и сложна: есть в ней, конечно, кое-что и от обычной газеты; плакатное же взято тоже только условно, и общий и цельный облик *стенгаза* являет собой особый синтез различных агитационных приемов.

Маленькое руководство Б. Эльского ценно тем, что автор, целиком учитывая весь опыт московских стенгазет, прежде всего подчеркивает особый характер стенгазеты вообще; второстепенные частности и технические подробности ее издания уже сами собой вытекают из признания первого положения. Вот ряд основных положений автора о стенгазете вообще (особо характерное мы подчеркиваем):

Стенгазета «прежде всего, носит *местный* характер — в этом ее основное отличие от обыкновенной газеты. Та стремится быть универсальной, всеобщей, дать все обо всем, обслужить возможно больший круг читателей,—эта рассчитана на определенную аудиторию, на свое предприятие или учреждение, из его интересов исходит и его обслуживает. Стенная газета — зеркало предприятия».

С другой стороны, она — «постоянный и неустанный культурно-политический и союзный агитатор, простым языком на простых, взятых из заводского обихода примерах разъясняющий читателю-рабочему задачу и лозунги политического и союзного дня». В этом есть известное сходство стенгазеты с обыкновенной газетой,—и дело тут лишь в методе агитации: обыкновенная газета дает общие положения, факты с широким обобщением,—стенгазета имеет возможность по-

дойти к сознанию рабочего — «с материалом, взятым из непосредственно окружающего его мира, заговорить с ним языком знакомых и близких ему фактов, его доподлинной «самделишной» повседневной жизни».

Отсюда же вытекает и взгляд на стенгазету, как на особый вид *массовой общественной работы*, основой которой является максимальная самодеятельность ее создателей, редакторов, корреспондентов (стенкоров) и читателей.

Еще недостаточно проработан сложный вопрос о содержании газеты и непосредственно связанный с ним вопрос о порядке расположения материала в стенгазете, самой технике ее. Кстати, техника стенгазеты—как техника плаката и лубка—особо важная сторона стенгазеты, настолько же важная, насколько важно и ее содержание, с которой она неразделимо связана, не в пример обыкновенной газет. В разбираемой книжке этим вопросам посвящено несколько специальных главок, очень удачно (большая заслуга издания!) иллюстрированных снимками с некоторых московских стенгазет, как примерами желательного и нежелательного подхода к стенгазете.

Разбирая вопрос о «программе», постоянных отделах стенгазеты, автор резонно предупреждает о нецелесообразности ставить передовые статьи по политическим вопросам (это гораздо полнее и удачнее сделает обыкновенная газета, которую стенгазета в этом отношении не может и не должна заменять). Политическую злобу дня, ударный современный вопрос удобнее дать в виде краткого, сгущенного, чеканного *лозунга*, ярко бросающегося в глаза и быстро запоминающегося. Передовицу же удобнее давать на *местную* тему (заводскую, учрежденскую), связывая выводы статьи с обще-политическим и экономическим положением.

Далее — обязательные отделы стенной газеты. Их немного: местная жизнь, фельетон (юмор, сатира), беллетристика, партийная и профессиональная жизнь, уголок молодежи, уголок женщины и—почтовый ящик. Составитель книжки подчеркивает особое значение *материала производственного* в стенгазете, через который масса сотрудников знакомится с состоянием своего производства и втягивается в активное обсуждение связанных с ним вопросов. К такому материалу следует подходить особенно осторожно, отнюдь не культивируя тона критико-ругательного, наоборот — подчеркивая положительные стороны и достижения.

Считаем необходимым подчеркнуть также наиболее удачную и приемлемую для сознания читателя-массовика *юмористическую и сатирическую форму* изображения отрицательных сторон производства, быта и пр. В газете-плакате, газете-агитке эта форма особенно уместна и целесообразна.

Вполне резонно указывается автором и большая важность *почтового ящика* газеты, как особого способа агитации за участие в газете.

Техника стенной газеты.—Нужно заметить. как техника в музыке, в стихотворении, в плакате,—так и техника стенной газеты играют колоссальную роль в значении и смысле газеты. Стенгазета с не очень удачным содержанием, но прекрасно внешне обработанная, будет куда ценнее и оставит в сознании зрителя-читателя куда более глубокий и значительный след, чем стенгазета, идеально выдержанная в смысле содержания, но слепо напечатанная, неряшливо сверстанная, невидная и бледная.

Нужно признать книжку Эльского особенно ценной именно потому, что в ней осуществлен изложенный выше взгляд на стенную газету, по нашему мнению, единственно правильный, в противовес многим культработникам, проповедующим обыкновенную политическую газету, только наклеенную на стену. Автор книжки вполне прав, указывая на то, что стенная газета «читается стоя, мимоходом; поэтому к ней должны предъявляться те же требования, что и к *плакату;* прежде всего—*сосредоточенность, яркость и выразительность*. Она должна сначала привлечь к себе внимание, а затем уже—прочитать себя всю от заголовка до почтового ящика».

Автор, на основании достаточно широкого опыта московских стенных газет (обзору их посвящена особая глава

книжки), дает целый ряд ценных советов по технике стенгазеты: о ее величине («стенная газета должна разворачиваться в ширину, а не в вышину»), о резком разграничении отделов — рамками или короткими лозунгами, о характере и форме самих лозунгов, о названии газеты, о заголовках («заголовок—настоящая душа заметки»), о «шрифтах» стенгазеты, о ее «печатании» и «верстке».

Особая глава разбираемого руководства посвящена редколлегиям стенных газет, и особо—стенкорам. Подчеркивается положение, что «материальное тело стенгазеты, ее плоть и кровь—корреспонденты...» и «в стенгазете редактор или редколлегия пишут только передовую и почтовый ящик,—все остальное, т.-е. 95% материала, дают стенкоры». И вытекающее отсюда другое положение: «жизненность и значение газеты можно измерять количеством корреспондентов-рабочих, втянутых в ее обслуживание; этим же определяется и общественный характер ее».

Стенкоры — новая формация и массового общественного работника, и литератора—особенно крепко должны запомнить, что они не только критики и судьи, но общественные работники, но участники и строители жизни.

Прекрасной книжке Б. Эльского желаем долго здравствовать.

А. Сигорский.

А. М. КЛЕЙНБОРТ. Очерки рабочей журналистики (1873—1923 г.г.) Стр. 163. Изд. «Петроград». 1924 г.

РАБКОР И СТЕННАЯ ГАЗЕТА. «Новая Москва», 1924. Стр. 74.

С. СРЕДИНСКИЙ. Газетно-издательское дело. Стр. 92. Изд. Гиж'а. 1924.

П. М. КЕРЖЕНЦЕВ. Газета. 3-е изд. «Красная Новь». 1924. Стр. 173.

Вл. ПЕТРЯК. Печать комсомольских ячеек. «Новая Москва». М. 1924. Стр. 76+8 таблиц.

Рост политической активности трудовых слоев населения, неоднократно отмеченный руководящими кругами партии за последний год, повлек за собой повышение интереса к вопросам печати. Партия стала уделять большое внимание печати. И это вполне понятно. За последний год рабкоровское движение сделало огромные успехи. Число рабкоров в настоящее время достигает уже десятков тысяч. Стенные газеты уже играют известную роль в жизни наших предприятий.

Понятно поэтому появление у нас за последнее время и литературы, пытающейся учесть новый опыт и руководить новым журналистом, обслуживать его. В этой новой литературе много скороспелого, непродуманного, известная ее часть является халтурой. Но и в этом сказывается факт *приобщения масс* к печати, приобщения не только в качестве читателей, но и писателей.

Книжка А. М. Клейнборта устанавливает преемственность между нашим рабкоровским и, пожалуй, пролеткультским движением и дореволюционными попытками войти в литературу многих и многих самоучек из рабочих и крестьян.

Движение это, поскольку у нас имеются об этом печатные и другие документы, началось в 1872 году «писателем из народа» И. З. Суриковым, который объединил вокруг себя крестьян-самоучек. В этот кружок вошел поэт Дрожжин, сын кучера, приказчики Раззоренов и Козырев и босяк Дерунов. В 1873 году этим кружком выпущен первый литературный сборник «Рассвет».

Возникшие в 80-х и 90-х годах аналогичные кружки были прямо или косвенно связаны с суриковцами. Движение это принимает сравнительно широкий характер. Альманахи, составленные передовиком-рабочим, крестьянином и недоучившимся интеллигентом, появляются не только в столицах, но и в провинции, подчас даже в глухой провинции. Из таких кружков вышли некоторые довольно талантливые поэты, как уже упомянутый Дрожжин, Н. Клюев.

Надо, однако, отметить, что в большей части этих литературных альманахов о революции и о революционных настроениях нет ни слова. Интеллигентская литература того времени была куда политически радикальнее настроена.

Обычный мотив «народных» писателей—это «доля бедняка», тихая незлобивая жалоба на свое бедственное положение. Так что стихи П. Я., например, должны по сравнению с этими мотивами считаться революционным громом.

Несколько лучше обстоит дело с сборниками чисто пролетарскими, появившимися после 1905 г. В некоторых из них мы впервые встречаем имена Филиппченко, Герасимова и др. В произведениях пролетариев-писателей в смысле революционности дела обстоят лучше. Большая часть пролетариев-писателей в той или иной мере причастна революции.

Мне сума не по плечу,—
Я принес с собой мозоли,
Крепкий молот, жажду воли,—

говорит пролетарий-поэт.

В полном соответствии с характером значительной части нашего пролетариата, в этих сборниках впервые слышен голос ушедшего из деревни на фабрику крестьянина. Сравнение города с деревней производилось у нас в литературе и до того. Но дворянин-поэт и разночинец тоже обыкновенно рассматривали город, как нечто противоестественное, как причину всех зол и несчастий. Наоборот, деревня—это для них место идиллическое: там, где растут цветы, где отдыхаешь от трудов и забот,—словом, местность дачная...

Не то опролетаризовавшийся крестьянин. Он и в деревне тяжело работал, работает и в городе. Противопоставить город деревне он может лишь в другом смысле — с точки зрения перспектив, настолько в городе его стремление к свободе получает известную возможность осуществиться.

Только в городе возможны
И движенье, и борьба,
А равнины безнадежны,—
Такова равнин судьба.

Конечно, это уже свое слово, небольшое, но все же свое собственное, отражающее свои особые переживания, непонятные тем, кто привык «на лоне природы» отдыхать.

Очень рано появился рабочий журнал, посвященный экономическим и политическим вопросам. Клейнборт упоминает целый ряд журналов. Тут и пользовавшийся широкой известностью журнал «Рабочая Мысль» (1897 — 1898 годы), ставший впоследствии органом «Союза борьбы», тут и рукописный «Гуслимысли», «Голос низа», «Вольная думка» (1904—1910 гг.). Все эти журналы ставят своей целью — вовлечение рабочих в борьбу экономическую, а отчасти политическую.

Особенно интересен журнал «Заря Поволжья», который был посвящен, как об этом свидетельствует «Заря Поволжья», «интересам рабочих и торгово-промышленных служащих».

Клейнборт очень подробно и с большой любовью говорит обо всех этих попытках самоучек пройти в литературу, проникнуть в запретное для них царство.

Эта история рабочей журналистики представляет большой интерес не только для журналистов. По истории рабочей журналистики, по всем этим «Гуслям-мыслям» и «Вольным думкам» особенно наглядным становится, насколько Октябрьская революция подготавливалась в сознании пролетарских масс еще десятки лет тому назад.

Конечно, книжка Клейнборта далеко не охватывает всего движения «рабочей журналистики». Нам лично известен ряд сборников, выпущенных на юге России рабочими в годы 1912 — 1914, о которых у Клейнборта нет ни слова. Это совершенно естественно, многие из этих альманахов пропали бесследно. Во всяком случае общее представление об истории рабочей журналистики из книжки Клейнборта читатель получит.

Издана эта интересная книжка очень серо.

«Рабкор и стенная газета»—это сборник статеек и протоколов «суда над рабкором и стенной газетой», состоявшегося на выставке стенных газет.

В предисловии мы читаем: «Сборник является одной из первых попыток объяснить это новое явление (т.-е. рабкоровское движение), определить его место в ряде других действующих сил, связать его с основными задачами партии и помочь рабкору, селькору и пишущему в стенной газете в их повседневной текущей работе».

Это, конечно, слишком много для небольшой, хотя и интересной, книжки. Интересны речь Ярославского, статьи Л. Сосновского и Демьяна Бедного.

К статье последнего считаем нужным сделать следующие оговорки. Совет рабкорам — «приучить себя к утренней работе», т.-е. к рабкоровской работе, по совершенно понятным причинам, невыполним. Вторая оговорка относится к книге англичанина Смайльса «Самодеятельность», в которой, по мнению Демьяна Бедного, «есть чему поучиться», что «эту книгу наши дряблые интеллигентики высмеивали».

Рискуя попасть в число «дряблых интеллигентиков», мы, тем не менее, считаем нужным указать, что «англичанин Смайльс» был большим пошляком, и книга его содержит в себе ряд вздорнейших нравоучений о пользе труда, что богатства наживаются личным трудом, а бедность есть результат лени.

Верно указаны в речи обвинителя недостатки многих рабкоровских корреспонденций: трафаретность, казенщина. Комплименты, расточаемые некоторыми участниками сборника стенным газетам, навряд ли принесут пользу делу. Книжка в общем полезна, хотя и не помогает «рабкору и селькору и пишущему в стенной газете в их повседневной текущей работе». Зато она ставит кое-какие вопросы рабкоровского движения, а это имеет известное значение. Издана книжка хорошо.

«Печать комсомольских ячеек»—обзор стенных комсомольских газет. Сопоставлением т. Петряк хочет выяснить, что̀ есть «добро» и что «зло» для стенной газеты.

Книжка многообещающая, если судить по оглавлению: «О самом главном, интернациональное воспитание, политика, быт, соль газеты, творчество, сатира и юмор, язык газеты» и даже «механизм газеты». Это многовато.

Книжка полезная в общем, но некоторые оговорки к ней сделать необходимо. Главное: т. Петряк неправ, когда требует от стенных газет информации общеполитической, хотя бы в виде сводок. Он доходит до того, что требует для этих сводок и географической карты, «чтобы читатель знал, где находится Лондон или другой город».

Это и трудно выполнить и ненужно. Напрасна ссылка на т. Троцкого: он в своей статье о газете говорит о печатной, а не о стенной газете.

Для последней самое важное—это освещение, широкое и основательное, жизни ячейки, отдельного предприятия. Общая газета не может входить во все мелочи, интересующие членов того или иного завода, стенная может и должна это делать. В этом—смысл ее существования.

Отход от этой задачи в значительной мере делает издание стенной газеты лишним. Точно так же не рекомендуем переписывать из газет заметок «о заграничном комсомоле». Этак стенная газета превратится в общую, заменить которую она вообще не в состоянии.

Книжка для комсомольцев полезная.

Книга С. Срединского «Газетно-издательское дело» содержит в себе много интересных данных о положении печати в России в дореволюционное время и теперь. Больше всего материала о старой буржуазной печати. К сожалению, автор не везде обобщает приводимые им в изобилии факты и цифры...

Газетчики (разумеется, новички) с интересом прочтут главы, посвященные вопросам газетного хозяйства. Известная часть книжки С. Срединского, очевидно, была составлена давно и оттого несколько устарела. Так, например, все то, что он говорит о рекламе, эти—«тридцать лет я был лысым» и пр. Это устарело давно. В этой области очень много нового и интересного, добытого психотехникой. Кое-что интересное для себя газетчики найдут в книгах проф. Чахотина «Организации», Ерманского «О рационализации торговли».

Слаба последняя глава «Пресса и капитализм». Издана книжка очень даже скверно и небрежно.

Учебник П. М. Керженцева о газете продолжает оставаться единственным пособием по вопросам газетоведения, о чем свидетельствует появление третьего издания.

В новом издании прибавлены кое-какие главы, помещенные в свое время

в «Журналисте» и в «Рабочем корреспонденте». Таковы «НОТ и газета», «Новые журналисты» и др.

В главе о НОТ'е поставлен, между прочим, вопрос об изучении газетного читателя, вернее, его читательских интересов. Этот вопрос огромной для нашей печати важности. Наши редакции непосредственно читателя не чувствуют. Изучение читателя должно быть главным регулятором нашей печати, лишившейся старого регулятора — конкуренции.

К сожалению, т. Керженцев об этом важнейшем для нашей печати вопросе говорит мельком и в самом общем виде. Суть же дела требует *наиконкретнейшей* постановки вопроса, как поставить дело изучения читателя.

Глава, посвященная рабкорам, как почти все появившееся в последнее время по этому вопросу, навряд ли удовлетворит рабкоров. Все эти «заповеди»— будь точен! будь краток!—на практике имеют мало значения для человека, только начинающего писать.

Для рабкоров и вообще для новых журналистов следовало бы создать нечто в роде теории журналистской словесности, в которой были бы показаны и проанализированы различные формы журналистского «творчества». Конечно, в этой области списывать не у кого— придется творить. Но в такой книге сейчас чувствуется большая нужда.

Издана книжка Керженцева очень хорошо.

Я. Шафир.

Н. ЛЕНИН. Задачи рабочей печати. «Красная Новь». 1924 г. Стр. 99.

Вопрос о значении и роли печати, с точки зрения интересов буржуазии, был разработан в трудах буржуазных демократов в XVIII столетии.

Как обстоит дело с точки зрения стремящегося к своему освобождению пролетариата: нужно ли подвергнуть этот вопрос новому обсуждению или же социализм в вопросах демократии и демократизма просто присоединяется к тому, что в свое время сказали теоретики буржуазии?

В работах Владимира Ильича мы и по *этому* вопросу находим исчерпывающий ответ. В отличие от буржуазных демократов, для которых исходной точкой служат естественные права отдельного человека, взятого вне конкретной исторической обстановки, Ильич рассматривает печать как орудие и средство классовой борьбы.

Поэтому он не может считать печать особой «державой», независимой и суверенной, как это на словах делают и буржуазные демократы, и сторонники социальной демократии.

Печать есть «коллективный агитатор, пропагандист, организатор». Но Ильич не ограничивается этими определениями. Он вскрывает каждый раз, когда ему приходится говорить о печати, неимоверно большую роль ее. «Газета,—указывает Владимир Ильич в письме, недавно опубликованном в «Молодой Гвардии»,— отвечает *на все*». Если сопоставить различные места, относящиеся к этому вопросу, то можно смело утверждать, что Ильич считал печать *функцией социальной связи*. Это в общей постановке вопроса. Переходя к частностям, мы увидим, насколько различие в предпосылках сказывается во всем.

Прежде всего вопрос о «свободе печати». Буржуазные демократы мыслили себе свободу печати, как право отдельного индивидуума выражать свои мысли в устном или печатном виде.

Ильич же вопрос рассматривает в связи с основными моментами классовой борьбы. Свобода печати была «всемирно великим лозунгом»,—постольку, поскольку он означал освобождение печати от власти королей, помещиков, от средневековщины.

Нельзя говорить о свободе, не указав точно, *кого от чего освободить надо*. Совершенно очевидно, что только такая постановка вопроса соответствует исторической действительности.

Французская революция осуществила только *в этом смысле* свободу печати. Если же толковать этот лозунг формально, как это делают сторонники народовластия, то и французская революция нарушала эту свободу на каждом шагу.

Как обстоит дело с пролетариатом в этом вопросе? Ильич указывает, что сейчас конкретно содержание этого ло-

зунга сводится к освобождению масс от влияния попов, помещиков, буржуазии. Особенно в таком освобождении нуждаются крестьяне.

Вопрос следует ставить не только в отрицательном виде,—в смысле устранения тех или иных тормозов,—но и в *положительном* смысле: как обеспечить за массами *возможность* иметь свою печать. Дело сводится к предоставлению в распоряжение народных масс известных материальных средств,—типографий, бумаги и т. п.,—без которых никакое признание прав ничего не дает.

Кроме того, Ильич с самого начала своей работы в «Искре» резко подчеркивает отличие рабочей печати от буржуазной. Последняя видит свое главное достоинство в «литературщине», в спецовских кунстштюках. В пролетарской печати «литературщина» играет (должна играть) самую ничтожную роль. Основным нервом рабочей печати является ее связь с рабочими, участие последних в печати.

Неоднократно Ильич к этой мысли возвращается, настаивая на необходимости широкого участия рабочих в печати. Здесь следует искать начала теперешнего рабкоровского движения.

Вот это выступление против журналистской замкнутости, против цеховщины, против монополии на печать и составляет одну из замечательных особенностей ленинских взглядов на печать.

Он наметил, таким образом, те новые вехи, которые и обещают в этой области *большие перемены* как в содержании, так и в форме.

Нечего поэтому распространяться насчет того, насколько нужно собрать вместе все, что писал Ильич о печати.

К сожалению, рецензируемая книжка составлена наспех и небрежно. Не включена, например, статья Ильича против Мартова и других за то, что они участвовали в буржуазной печати. («Могут ли с.-д. участвовать в буржуазных газетах».) Из «Что делать» можно было бы также взять еще несколько интересных отрывков, и многое другое.

С другой стороны, почему-то здесь дана статья Ильича «О журнале «Коммунизм», в которой речь идет о том, что орган австрийской компартии страдает «детской болезнью левизны».

Понятно, что статья эта не имеет отношения к «задачам рабочей печати».

Кстати: заголовок этот несоответствует содержанию. В значительной части статей речь идет не «о задачах рабочей печати», а о печати вообще. Корректура невозможная. Не только имеются ошибки, но и пропуски слов. Пропущен ряд примечаний без указаний на то, что такие пропуски сделаны.

Я. Шафир.

А. М. БОЛЬШАКОВ. Советская деревня за 1917—1924 г.г. Экономика и быт. Из-во «Прибой». 1924. Стр. 172.

А. М. Большаков изучал в течение семи лет Горицкую волость, Тверской губернии. Большаков, как он себя рекомендует,—«историк», «крестьянин». Несколько слов про оценку работы самим Большаковым. Он говорит: «мой метод—начинать изучение экономики крестьянской Руси (!) с волости — есть единственно правильный путь». Тут оспаривать приходится, во-первых, утверждение, что это «мой метод»: ни мой ни твой, а старый, давно известный и по существу ничей; во-вторых, не «единственно» правильный.

Сделав эти оговорки, мы, тем не менее, должны указать, что книжка А. М. Большакова очень интересна. Но тон у нее особый, специфичный: «наша Русь», «дефекты, нанесенные хозяйству революцией»; про политику Наркомзема в деревне он цитирует слова Гамлета: «что-то гнило в царстве датском» и т. д. и т. п. Дело в том, что этот «тон» сказывается и на исследовании. Особенно ярко это сказывается в воистину анекдотической 29-й таблице «Прибыль и убыток населения волости за весь революционный период», в которой прибыль от революции равняется 562.326 р. 37 к., а убыток—1.173.545 р. 82 коп. Правда, Большаков после этого уверяет, что «крестьянство материально от революции не проиграло», но это он делает не на основании цифр, а интуитивных наблюдений. Этот убогий бухгалтерский подход к революции сказывается во многих местах.

Большаков начинает свою работу с обследования крестьянского бюджета.

Он приходит к заключению, что «относительная величина доходности от продуктов полеводства несколько поднялась по сравнению с таковой доходностью мирного времени».

Далее он отмечает, что «количество бесскотных хозяйств все время падает», что сейчас посев значительно увеличился. В общем и он констатирует хозяйственный подъем деревни. Он только не замечает борьбы между различными прослойками деревни. Он, правда, ждет «революции» для крестьянского хозяйства, но здесь речь идет об агрономической революции, когда деревня «сбросит старую личину, искаженную уродливыми гримасами нужды, и создаст себе новое лицо, озаренное улыбкой довольства». Очень интересна глава о «сравнительной тяжести обложения земли», где Большаков сравнивает тяжесть обложения в такие моменты: XVI век, 1614 г., 40-е г.г. XIX века, 70-е годы, 1892—1903, 1915, 1918—1923 г.г. Таблица включает в себе следующие данные: среднюю крестьянскую запашку, валовой доход с 1 десятины, прямые налоги с 1 десятины и $^0/_0$-ный налог к валовому доходу. Данные касаются разных районов. $^0/_0$ налога к валовому доходу составлял в дореволюционное время не меньше $22^0/_0$, после революции он колеблется от 5 до $13^0/_0$, в 1923 году составлял $9^0/_0$. Эта цифра достаточно ярко показывает, насколько основательны разговоры о необычайной тяжести нашего обложения для деревни.

Бытовые очерки Большакова представляют большой интерес. «Самогонка в деревне», «Работа созидания», «Суд», «Дело народного просвещения», «Религия, церковность, духовенство»—заслуживают самого пристального внимания.

Центральным местом этой работы надо, однако, считать данные Большаковым 35 таблиц, характеризующие волость во всех, так сказать, разрезах.

Жаль только, что эта интересная книга испорчена политиканством.

Издана книжка серовато.

Я. Шафир

ИСТОРИЯ.

1. Русская история.

1. Е. КОЛОСОВ. Государева тюрьма—Шлиссельбург. *М. Клевенский.* — **2. Аграрный вопрос в совете министров (1906 г.).** *Ю. Спасский.* — **3. С. ВЕРМЕЛЬ. Московское изгнание (1891—1892).** *Б. Павлов.* — **4. А. БОГДАНОВИЧ. Три последних самодержца. (Дневник).** *М. Клевенский.*

Е. Е. КОЛОСОВ. Государева тюрьма — Шлиссельбург. (По официальным данным.) Предисловие Н. А. Морозова. Издательство «Атеней». Петроград, 1924. Стр. 255.

Официальные документы, легшие в основу книги Е. Колосова, — это те донесения комендантов Шлиссельбурга, которые регулярно посылались с самого момента открытия тюрьмы в департамент полиции и командиру корпуса жандармов. За десятки лет (1884 — 1905) таких донесений в Шлиссельбургском жандармском управлении накопилось целые горы. Содержание этих документов весьма разнообразное,—тут и «Сведения о поведении и занятиях заключенных Шлиссельбургской крепости» за 20 лет, и «Содержание тетрадей, исписанных арестантами Шлиссельбургской тюрьмы», и медицинские отчеты о состоянии здоровья заключенных, и шифрованные телеграммы о разных событиях в крепости, и переписка о назначении нижних чинов в Шлиссельбургскую тюрьму, и даже «Разговоры арестантов Шлиссельбургской тюрьмы, веденные посредством ватерклозетных труб». Еще в 1905 — 1906 г.г. эти документы за умеренное вознаграждение чинам департамента полиции были скопированы для редакции «Былого». Небольшая часть — о смерти Минакова, Мышкина и Гинзбург — была опубликована в заграничном «Былом». Поз-

же вся кипа материалов поступила в распоряжение Е. Колосова. Часть он напечатал в «Киевской Мысли» за 1914 год. Теперь, основательно изучивши весь свой материал, Колосов создал на основании его целую книгу, очень ценную для истории русского революционного движения. Жандармские донесения автор сопоставляет с имеющимися в печати мемуарами и отдельными записками самих заключенных, освещая одно другим. В предисловии Н. Морозов, весьма компетентный в данном случае свидетель, говорит: «Психологическая сторона шлиссельбургской жизни обрисована автором совершенно верно, а фактическая и хронологическая часть установлена настолько полно, что не остается желать ничего лучшего». Книга дает полное представление о том, как создавалась тюрьма и как формировался для нее особый «отборный» персонал, как жили день за днем шлиссельбуржцы, выдерживая неимоверно-трудную борьбу за сколько-нибудь сносные условия существования, как они болели и умирали, как их казнили, как они кончали самоубийством, как сходили с ума. Последний вопрос освещен особенно полно, занимая в книге очень видное место. Кроме официально признанных душевно-больными Щедрина, Конашевича и Похитонова, сильным душевным расстройством в той или иной форме, в тот или иной период страдали и многие другие — Игн. Иванов, Арончик, Ювачев с его религиозным помешательством, Грачевский, Клименко, Буцинский и пр. На основании приведенных в книге официальных данных становится совершенно очевидным, что поступок Минакова, ударившего тюремного врача, был поступком уже совершенно ненормального человека, у которого явилась бредовая идея, что врач его чем-то отравляет. Казнили психически-больного человека. В сущности говоря, совершенно здоровым психически не был, пожалуй, ни один из шлиссельбуржцев. Условия жизни в проклятой тюрьме были таковы, что не выдерживали и сами тюремщики. Двое из комендантов, Покрошинский и Добродеев, получили на службе довольно основательное психическое расстройство. Некоторые сами уходили со службы, боясь сойти с ума в такой обстановке.

Интересно отметить, что Н. Морозов находит в жандармских донесениях относительную объективность. «Я не знаю, как отнесутся к приведенным здесь сообщениям мои товарищи по заточению, но относительно себя я должен сказать, что был очень удивлен, когда увидел, что в большинстве приведенных здесь докладов коменданты Шлиссельбургской крепости относились к нам более объективно, чем я ожидал. Ничего такого, что представляло бы умышленную злостную клевету, я не нашел в приведенных здесь выписках».

М. Клевенский.

ЦЕНТРАРХИВ. Аграрный вопрос в совете министров (1906 г.). Госиздат. Москва — Ленинград, 1924. Стр. 177.

Печатаемые документы дают не маловажный ключ к уразумению событий революции 1905—1906 г.г. В эти годы, как и 12 лет спустя, аграрный вопрос был одной из тех центральных осей, вокруг которых вращалась борьба революционных сил. Рабочее движение пробудило крестьянство от вековой спячки. Крестьянин перестал — по меткому слову Ленина — «сосать лапу» и выступил на авансцену революции. Мужицкий кулак ударил по помещичьей усадьбе.

Опубликованные Центрархивом материалы рисуют яркую картину переполоха, охватившего дворянство и правительство. Обломовка встрепенулась и ломает себе голову над роковым вопросом, как спастись. «Записки, проекты, резолюции устремляются то прямо к царю, то в совет министров. Даже генерал-адъютант Клейгельс (киевск. ген.-губер.) подносит в виде записки свою лепту. Тут же между ног у сановных аграриев путаются казенные «художники слова» — Суворин, Меньшиков и, наконец, проф. Мигулин, хитроумно советующий царю, как разогнать Гос. Думу, сыграв на крестьянской темноте.

В настоящем издании мы находим известный проект Кутлера с объяснительной запиской к нему и цифрами распределения земельной собственности

по отдельным губерниям Европ. России. Говоря словами объяснительной записки, проект допускает «принудительное отчуждение, обставленное самыми серьезными ограничениями в целях ограждения имущественных интересов владельческого класса». Принудительное отчуждение нужно прежде всего самим помещикам: только отчудив по «справедливой» цене часть своих земель, смогут они сохранить «неприкосновенную значительную часть своих владений». Иначе — опасается автор записки — владельцы «лишатся всего и притом на самых разорительных для себя и для всей страны условиях». Проект Кутлера был мертворожденной бюрократической утопией. Неприемлемый для русских аграриев, поскольку они строили свои классовые расчеты на разгроме революции, выкуп части земель по выгодной помещикам цене был бы отброшен, как негодный лоскут, революцией, если бы она победила. Разгромить крестьянское движение военно-полицейским наскоком, разбить общинную скорлупу, чтобы из нее вылупились крепкие хуторяне-собственники, — так мыслили себе наши аграрии спасение самих себя и своего достояния от революции. «Достаточно сделать крестьянина собственником,—пишет главноуправляющий землеустройством Кривошеин,—чтобы он сознал всю чудовищность экспроприации собственности, сознал бы всю преступность насильственного покушения на чужую собственность».

В Гос. Думе наши аграрии видели, не без основания, оплот против крестьянского движения; они домогались поэтому ее скорейшего созыва. Об этом просят и симбирское и тульское дворянство. По мнению некоего дворянина Кайленского, Дума — последняя ставка, и если она не будет авторитетна для крестьян, то настанет пугачевщина. Между прочим, целых восемь проектов царского манифеста о неприкосновенности священного права собственности так и не вышли за порог министерских канцелярий. Царизм побоялся рискнуть последними лохмотьями своего авторитета.

В ворохе проектов и записок почти полностью сформулирована столыпинская аграрная программа, бывшая основой правительственной земельной политики, после того как революция 1905 года была разбита. Поместное дворянство получило отсрочку своей классовой гибели более чем на десять лет. И лишь следуя за пролетариатом, разрешило свою вековую распрю с помещиком крестьянство.

Ю. Спасский.

С. С. ВЕРМЕЛЬ. Московское изгнание (1891—1892) Впечатления, воспоминания. Издание автора. Москва, 1924. Стр. 45.

В рецензируемой брошюре автор на основании личных воспоминаний рассказывает о том, как проводилось в жизнь опубликованное весной 1891 года распоряжение правительства о выселении из Москвы всех евреев-ремесленников. По расчетам автора,—правда, предположительным,—из Москвы на основании этого распоряжения было выселено около 38 тысяч евреев. Многие из них уже давно жили в Москве, имели в ней постоянное обзаведение и определенные занятия. При таких условиях выселение из Москвы являлось для них катастрофой и ставило невольных эмигрантов в исключительно тяжелое положение.

В истории отношений царского правительства к евреям много темных и мрачных страниц, и та из них, которая развертывается перед читателями автором рецензируемой брошюры, отнюдь не может быть причислена к самым мрачным. Те ужасы, которые пережили евреи, выселяемые из Москвы в 1891—1892 г.г., как бы ни были они тяжелы для них, бледнеют в наших глазах, когда мы вспоминаем о погромных волнах, пробегавших время от времени по России, или о таких фактах, как «ритуальные» процессы. Это, однако, не уменьшает интереса брошюры и не лишает факты, рассказанные в ней, их мрачного колорита. Интересующиеся политикой царского правительства в еврейском вопросе не пройдут мимо того, что автор брошюры называет «московским изгнанием». Интерес брошюры в том, что в ней впервые даются более или менее подробные сведения о событии, которому она посвящена.

Нельзя не отметить, что в рецензируемой брошюре читатель найдет немало

фактов, ярко характеризующих московскую администрацию того времени, во главе с вел. князем Сергеем Александровичем, и отношение к выселению евреев русского купечества, видевшего в этом выселении избавление от опасных для себя конкурентов.

Б. Павлов.

А. В. БОГДАНОВИЧ. Три последних самодержца. Дневник. Издат. Л. Ф. Френкель. 1924. Стр. 503. Тираж 5000.

А. В. Богданович — жена в своем роде «знаменитого» генерала Богдановича, автора многочисленных патриотических брошюр и листков, распространявшихся с помощью губернаторских циркуляров. Больше 30 лет дом Богдановича усердно посещался самыми разнообразными людьми более или менее черносотенной марки. Жена Богдановича, ведшая аккуратно каждый день дневник, заносила туда не только свои домашние дела, но и то, что доходило до нее от ее многочисленных посетителей — всякие слухи и толки, характеристики правящих лиц и пр. В настоящем издании дано только незначительное извлечение из дневника, ведшегося с 1879 по 1912 год (записи с 1882 по 1887 г. не найдены). Отброшено все личное и домашнее, взято только «характерное», по мнению редакции, и то получился объемистый том в 500 страниц. Один только указатель личных имен, встречающихся в книге, занимает 59 страниц с отдельной нумерацией и приложен в виде отдельной вкладки.

Из того, что напечатано в вышедшем издании, очень значительная часть лишена всякого интереса. К чему, напр., такие записи: «31 октября. Завтракал с нами сегодня Пуришкевич» или «20 ноября. Про князя Имеретинского говорят, что он умер вследствие того, что принимал лекарства для того, чтобы не стариться, которые возбуждали его и которые вредны для сердца»? Ровно ничего не дают записи общеизвестных фактов,—в роде того, каков был приговор над лейтенантом Шмидтом, какого чиновника убили такого-то числа,—если они не сопровождаются никакими комментариями. От своих посетителей Богданович собирала всевозможные сплетни и все это, без всякого разбора, записывала. При выборе того, что стоит печатать, редакции следовало быть более разборчивой, чем была генеральша в своих записях. Зачем было, напр., воспроизводить заведомо нелепые сплетни о домашней жизни Л. Толстого в разных местах книги? Иногда записываются совершенные несообразицы. «Витте в заседании совета министров недавно сказал, что министерство внутренних дел менее других бывает осведомлено: напр., относительно Гапона в прошлом году оно было уверено, что 9 января Гапон бежал за границу, — в день, когда были в Петербурге беспорядки, а на самом деле Гапон спокойно оставался в Петербурге и почти ежедневно в продолжение 10 дней часа по 2 сидел у него, Витте». Итак, Витте сообщил в совете министров, что он укрывал важного преступника, розыскиваемого полицией! Лакеи царя и великих князей были частыми посетителями и усердными осведомителями Богдановичей,—и чего только не черпала генеральша из этого источника! «Сегодня был камердинер герцога Лейхтенбергского. Рассказывал про жену герцога, что она встает в 11 часов вечера, до 9 часов утра не спит, а день спит. У нее 8 собак. Ночью приказывает из 12 кур вынуть печенки, сжарить их в сливочном масле и подать им. Собаки ежедневно истребляют 300 бисквитов; делают им куриные котлеты, а дети едят на третий день то, что собаки не съели». Для кого «характерно» это глупое лакейское вранье?

Все эти нелепости и никчемности загромождают книгу. Если бы выбросить их беспощадно, уменьшив этим книгу, примерно, наполовину, то получился бы материал, не лишенный исторического значения. Сама по себе генеральша совсем не интересна, но она — характерная представительница определенной общественной группы, и дневник ее — рупор того, что происходило за 30 с лишним лет в бюрократических верхах Петербурга. Если бы требовались лишние доказательства того, что руководящие классы совершенно изжили себя в последние десятилетия перед революцией, то книга Богданович от начала до конца,

является великолепным доказательством этого положения. Венценосцы представлены здесь без всякой идеализации. Особенно выразителен образ Николая, даваемый совокупностью многих записей. Это — бессовестный лицемер, мелкий пакостник, ни к чему не способный тупица. Вся царская семья также представлена весьма колоритно, общим резюме может служить вырвавшееся у Богданович в одном месте восклицание: «Надо отдать справедливость, что у нашей царской семьи совсем разнузданные нравы». В частности Николай Николаевич аттестуется, как «жалкое и гнусное существо», а Михаил Александрович, как дурачок. Министры, которые стоят в центре внимания автора «Дневника», не раз заставляют Богданович горько сокрушаться о том, что в таких руках находится управление Россией. Вот характеристика целого «кабинета» в 1890 г. «Гирс—это хоть честный человек, Филиппов — мошенник, человек без принципов, Вышнеградский — плут, Чихачев — купец не из безукоризненных, Дурново — глуп, Гюббенет — нахал, напыщенный и односторонний, Воронцов—дурак и пьяница, Островский — семинарист, Манасеин, — про этого, кроме дурного, ничего больше не слышно. Вот люди, которые вершат судьбами России и окружают царя». К высшему духовенству Богданович относится с полным презрением, давая выразительные рассказы о нравах его представителей. Союзы «русского народа» и «Михаила архангела», руководители и рядовые члены которых постоянно толклись у Богдановичей, неизменно представляются генеральше «клоакой и грязным вертепом», куда вошли все отбросы человечества.

Если таковы цари, великие князья, высшее духовенство, министры, чиновники, «патриотические» организации, то на что же опереться? Естественно, что будущее России представляется реакционной генеральше в самом страшном виде. Слухи о войне в 1910—1912 г.г. пугают ее, — она убеждена, что война неизбежно принесет с собой революцию.

Книге предпослано небольшое предисловие Е. Вавилова, написанное в неприятном, фельетонном тоне. Зазывающее заглавие: «Три последних самодержца», данное редакцией, не соответствует содержанию книги,—в ней идет дело не только о самодержцах, хотя, естественно, им отводится много внимания.

М. Клевенский.

---

2. История революционного движения в России.

**1. А. ТАНЕЕВА (ВЫРУБОВА). Страницы из моей жизни. *А. Сергеев.* — 2. Экономическое развитие и классовая борьба в России XIX и XX вв. *В. Дитякин.* — 3. Группа «Освобождение труда» (из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич и Л. Г. Дейча). *Г. Лелевич.*— 4. В. МЕДЕМ. По царским тюрьмам. *М. Клевенский,* — 5. А. ПРИБЫЛЕВ. В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма. *Б. Козьмин.* — 6. Техника большевистского подполья. *К. Злинченко.* — 7. Б. ГОРЕВ. Из партийного прошлого. Воспоминания. (1895—1905 г.г.). *В. Невский.* — 8. Ф. САМОЙЛОВ. Воспоминания об Иваново-Вознесенском рабочем движении 1906—1911 годов. *Д. Фурманов.* — 9. В. ВЛАДИМИРОВА. Контр-революция в 1917 г. (Корниловщина). *Г. Лелевич.* — 10. В. ВЛАДИМИРОВА. Революция 1917 г. *С. Пионтковский.*—11. Октябрь на Кубани и Черноморьи. *С. Пионтковский.*—12. Л. ПОЛЯРНЫЙ. Последний перевал. *Д. Фурманов.*—13. Декабрь на Красной Пресне. *К. Злинченко».*

А. ТАНЕЕВА (ВЫРУБОВА). Страницы из моей жизни. 1923 г. Стр. 200. (Место издания не указано.)

В опубликованной Центроархивом супружеской переписке Николая и Александры Романовых автор лежащей перед нами книги фигурирует под именем «Ани» (иногда—несколько одиозно—«коровы»), как близкий друг, порой утомительно-неотвязный, но чем-то крепко спаянный с высокопоставленными корреспондентами. Из этой переписки видно, что в царскосельском «маленьком до-

нике» Вырубовой происходили свидания Александры и Николая Романовых с «благодатным старцем» Григорием Распутиным. Александра Федоровна написала как-то мужу, что «Наш Друг» (Распутин) считал это посредничество Вырубовой ее «службой» царской семье и запретил ей, на этом основании, уехать, когда она собралась однажды съездить куда-то по своим делам: она нужна была троице, правившей Россией, как хозяйка своего рода «конспиративной квартиры».

Борьба известных общественных кругов с влиянием Распутина на царскую семью направлялась одновременно и против Вырубовой. Это было хорошо известно Александре Федоровне, и когда «старец» был убит Юсуповым и др., царица поселила свою фаворитку во дворце, так как была уверена, что очередь теперь за ней. После февральской революции Вырубова была разлучена с Романовыми, долго сидела в Петропавловской крепости, была выпущена, потом вновь арестовывалась несколько раз, скрывалась у разных лиц в Петрограде и, наконец, зимой 1920 г. бежала через Финляндию за границу. Там ею и были дописаны и опубликованы настоящие записки, начатые еще в России. Значительную часть этих записок составляет подробное описание послереволюционных злоключений автора. Но для нас эти «страницы» представляют наименьший интерес, хоть они и составляют эпилог яркой, заставлявшей так много говорить о себе жизни. Наоборот, внимание читателя фиксируется на первоначальных главах повествования и связывается, главным образом, с такими вопросами: как возникла и на чем держалась удивительная дружба этой женщины с Александрой Федоровной и, особенно, с Николаем, какую роль играл при ней и через нее Распутин, верны ли общественные толки того времени, что с ее помощью последний целиком овладел слабовольной и суеверно-религиозной царской четой, подчинявшейся его вещаниям и угрозам, как дикари подчиняются шаману, не только в делах личной жизни, но и в вопросах политики, внутренней и внешней, и т. д.

Читателя, однако, постигает разочарование, и он скоро приходит к выводу, что имеет дело с весьма лукавым мемуаристом, который поставил своей целью не объективную передачу «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», накопленных в итоге прожитых годов, а тенденциозное, местами беззастенчиво лживое освещение своей личной роли и роли своих покровителей в интересующих читателя событиях. Это—работа на тезис, попытка реабилитации «возлюбленной императрицы Александры Федоровны», которой автор посвятил свой труд, и, конечно, самореабилитации.

В первых главах воспоминаний г. Вырубовой излагается история ее назначения ко двору, сближения с царской семьей, неудачного замужества и развода, описывается придворная жизнь, обстановка и времяпрепровождение царской семьи, даны симпатичные характеристики Николая, детей его и Александры Федоровны, с которой сближение автора, если ему верить, произошло за игрой на рояли в четыре руки, а также на почве интереса к книжкам религиозного содержания и любви к церковному пению. Правда, она не забывает упомянуть о том, что царица ревновала ее к Николаю (эта ревность ярко сквозит в опубликованных письмах Александры Федоровны), но делает вид, что ревность эта всегда представлялась ей беспричинной и непонятной. О Распутине, к удивлению читателя, она говорит мельком, почти как о второстепенном персонаже. Отвергая слухи об его чудовищной развращенности, она как будто не склонна видеть в нем «божьего человека»,—на чем была помешана царица,—чудотворца и пророка. По ее нынешнему мнению, у Распутина была только «некоторая прозорливость или чуткость» (стр. 88). Она уверяет, что политика чужда была Распутину: «разговоры у их величеств с ним были только на отвлеченные темы и о здоровье маленького наследника» (стр. 90). Распутин будто бы только один раз вмешался в политику, и это было еще в 1912 г., когда вел. кн. Николай Николаевич старался уговорить Николая II вмешаться в балканскую войну. Но стоит хотя бы бегло перелистать третий том «переписки Николая и Александры Романовых», чтоб убедиться, что в годы войны не было ни

одного крупного вопроса внутренней и внешней политики, который не подвергся бы обсуждению царицы и Распутина на свиданиях в «маленьком домике» автора мемуаров. В своих письмах 1916 г. царица прямо называет отставку Николая Николаевича «делом Нашего Друга», а г. Вырубова уверяет, что ни Распутин, ни Александра Федоровна нисколько не повинны в этой отставке: были, дескать, объективные причины — военные неудачи, неудобства двоевластия и т. п. Г. Вырубова роняет фразу, что она вообще считает себя «неспособной дать о Распутине критический отзыв» (стр. 85). Почему?

В рассказе об убийстве Распутина неверно передано содержание письма Ф. Ф. Юсупова Александре Федоровне (сравн. IV т. «Красного Архива»), но сообщаются некоторые любопытные штрихи отношений, установившихся после этого убийства между царской семьей и великими князьями. Представляет историческую ценность рассказ о жизни Николая и его семьи под арестом в Царском Селе. Характерно, что революция, по мнению Вырубовой, была просто результатом интриг Бьюкенена, великих князей и Госуд. Думы, и в этой революции «Россия, как и Франция XVIII столетия, прошла через период полного сумасшествия». О революционных событиях и своих злоключениях этой эпохи Вырубова повествует с благочестивой миной христианской кротости и всепрощения, но вряд ли она обманет кого-нибудь этой ханжеской маской.

К книге приложено несколько писем Александры Федоровны, Николая и детей к Вырубовой за время заключения их в Царском Селе и Тобольске. Вырубова говорит, что при печатании писем бывш. императрицы «пропущены только некоторые фразы и личные переживания государыни, которые слишком для меня святы, чтоб передавать их огласке». (стр. 146). Не входя в оценку переживаний бывш. царицы, следует, однако, отметить редакторский прием г. Вырубовой при печатании царских писем, так как он характерен для оценки искренности ее книги. В письме Александры Федоровны из Тобольска от 10 декабря 1917 года г. Вырубова делает пропуск после слова: «я так рада, что тебе нравится моя синяя книга, в которую я переписывала»... Читавший «Переписку» Романовых, легко догадается, что в письме речь идет о шаманской абракадабре Распутина в виде телеграмм и телефонограмм, посылавшихся нередко на имя самой «Ани» для передачи по дальнейшему назначению и переписывавшихся царицей бессонными ночами в эту самую «синюю книгу» с душеспасительной целью. Нам думается, что эта редакторская купюра бросает свет на «святость переживаний» и автора настоящих мемуаров.

А. А. Сергеев.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В РОССИИ XIX и XX в.в. Том I. Составил С. Вознесенский. Изд. «Прибой». 1924. Стр. 318. Ц. 2 р.

В предисловии составитель определяет цель выпуска в свет своей книги «чисто практической задачей—дать в руки учащимся на рабфаках, в парт. школах, на вечерних курсах и в проч. (?) учебных заведениях пособие, более или менее *приноровленное к потребностям и интересам взрослого учащегося*» (курсив везде наш). Материал книги распадается на 2 части: а) статьи, главным образом, марксистские, которые «позволяют установить определенную точку зрения на изучаемые явления», и б) статистические данные и выдержки из источников, «дающие ей фактические обоснования». Содержание книги—«экономическое развитие России на пространстве XIX и XX веков и порожденная им борьба классов в форме как идеологических течений, так и активных общественных движений», основная же задача—«*помочь читателю исторически подойти к пониманию Великой Российской революции, нащупать ее корни* в условиях развития капитализма, углубления классового расчленения в нашем обществе, обострения антагонизма между отдельными классами».

Хрестоматийный поток нашего времени, как известно, очень велик, и, чтобы какому-нибудь изданию выделиться из него, нужно многое. Цели, задачи, метод составления разбираемой хрестоматии очень симпатичны, больше того — они

правильны и поставлены фактическим отсутствием подобных изданий; но одно дело — теоретические, программные заявления, *другое* дело — их выполнение. На последнем мы и остановимся. Привлечено в разбираемом томе около 92 отрывков различного характера — от перепечатки целых статей до небольших таблиц и документов, здесь все — и пользующиеся давнишней вполне заслуженной известностью статьи М. Н. Покровского, и неизбежные выдержки из книг Туган-Барановского и Струве, и отрывки из «Русской Правды» Пестеля, из сочинений и писем Станкевича, И. Аксакова и др. «Богатство, страдающее нищетой!». Действительно: хронологически этот том охватывает период с конца XVIII в. до 60-х годов XIX, но зачем тогда цифры для XVII в. и трех четвертей XVIII? почему идеологические движения — славянофильство и западничество берут 70 стран., а декабристы только 15 (источники декабризма) и петрашевцы всего лишь 2, почему такое роскошество в характеристике Александра I (21 стр.—2 статьи) и бедность в характеристике Николая I (1—2 стр.), и, наконец, что самое важное для «понимания Великой Российской Революции — *полное отсутствие* данных о жизни рабочего класса в первой полов. XIX в., хотя об этом уже опубликован достаточный и очень интересный материал хотя бы в «Архиве истории труда в России»; также отсутствуют данные о крестьянских движениях этой эпохи [1]); наконец, почему Киреевский, Аксаков и В. Боткин интереснее Герцена и Бакунина, о которых почти нет ни слова, и разве для характеристики первых русских социалистов-утопистов нет статей более ценных (марксистских), чем отрывок из Пажитновского «Развития социалистических идей», а где же русские «марксисты» 40-х и 50-х годов (см. работу т. Рязанова), где отражение в России 1848 года и т. д. Короче говоря, *хорошо* составлена *только* первая часть книги русская экономика в конце XVIII и первой половине XIX века (129 стр.), *очень ценно* привлечение большого количества таблиц (65) с *хорошими* комментариями (хотя и здесь есть пробелы, нет, напр., сведений о жел.-дор. строительстве и его значении). Во второй же части автор включил много материала, *не* отвечающего *им* же поставленной задаче (см. «нащупать корни...») и опустил более исторически ценный материал. Во 2-ом издании, которое, несомненно, должно скоро выйти, ибо такая книга нужна, нужно, во-первых, побольше почерпнуть о николаевской эпохе, во-вторых, много добавить о положении рабочего класса и крестьянства, в-третьих, привлечь материал по истории социалистических идей, более значительный и характерный, в-четвертых, дать материал о настроении обывательской массы (хотя бы из записок Вигеля, Никитенко и т. п.) в-пятых, приложить хорошие указатели, в-шестых, больше привлекать марксистской литературы, в этом издании, вопреки заверениям автора, занимающей лишь 50%.

В. Дитякин.

[1]) Одна табличка (стр. 105—106) заведомо недостаточна.

ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА» (из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич, Л. Г. Дейча). Под редакцией Л. Г. Дейча. Сборник № 1. Комитет по увековечению памяти Г. В. Плеханова. Гиз. Москва, 1924 г. Стр. 309. Тираж 4000 экз. Цена не указана.

Рецензируемый сборник является первым в обширной серии, предположенной к выпуску Комитетом по увековечению памяти Плеханова и посвящённой детальной разработке истории группы «Освобождение Труда». Первый сборник разделяется на две почти равных части: воспоминания и материалы. Из воспоминаний наибольшую ценность представляет очерк редактора сборника Л. Г. Дейча «Первые шаги группы «Освобождение Труда». Впервые мы конкретно знакомимся с первоначальной деятельностью пионеров русского марксизма. Ярко обрисована чрезвычайно тяжелая обстановка, в которой начала свою работу группа «Освобождение Труда». Враждебность подавляющего большинства революционной эмиграции, отсутствие всяких связей с Россией, абсолютное безденежье,—вот отличительные черты этой обстановки. Эти сообщения Л. Г. Дейча

находят себе подтверждение в письме Тихомирова к Лаврову от 6 августа 1883 г. Вот что пишет Тихомиров в ответ на сожаления Лаврова по поводу разрыва Плеханова и др. с «Вестником Народной Воли»: «Что касается того, что без них вести невозможно, то я этого не понимаю. Трудно, мало людей,—это правда. Но ведь они при таком настроении—не плюс, а минус; разве имена?! Но имена уже вовсе же не такие, чтобы окупить все остальные неудобства. Что касается их противодействия, то оно опасно только тогда, когда вы имеете их в своей среде. А извне! Да разве же есть во всей заграннце хоть один человек, хорошо к ним относящийся. Они со всеми в ссоре в большей или меньшей степени. Здесь их противодействие не имеет места. Что касается России, то в настоящий момент они там тоже ничего не имеют» (стр. 250). Разумеется, Тихомиров несколько преувеличил, но в общем картина близка к истине, и остается восхищаться изумительной энергией членов группы, преодолевших все эти препятствия. Воспоминания Дейча очень интересны и поражают массой деталей. Есть в них, однако, мелочь, вызывающая некоторые сомнения: на стр. 26 Л. Г. Дейч сообщает, что Бородаевская «вовсе ничего не присылала», а на стр. 91 он пишет о том же, добавляя слово «кажется». Следовательно, в первом случае он категорически сообщал о факте, которого определенно не помнит. Эта мелочь заставляет признать, что чрезвычайно ценные воспоминания Л. Г. Дейча нуждаются в тщательнейшей фактической проверке.

Из других воспоминаний наиболее интересны мемуары Е. Н. Игнатовой «Братья В. Н. и И. Н. Игнатовы» и заметка вдовы Плеханова «Наша первая встреча с Ж. Гедом». Воспоминания О. К. Булановой «Черный передел» не дают ни одного нового факта по сравнению с воспоминаниями того же автора в № 24 «Былого» за 1924 г. В высшей степени богат и ценен отдел документов. Тут мы находим неоконченную статью Плеханова о Радищеве и письма Энгельса, Плеханова, Дейча, Засулич, Кравчинского и Тихомирова. Письма эти представляют собою колоссальный исторический интерес. Любопытны пять писем Энгельса. Характерно, что в ноябре 1883 г. один из основоположников научного коммунизма ждал скорой революции в России: «Политическое положение в России так напряжено, что кризис может произойти со дня на день. По-моему, возможно даже, что в России печать будет свободна раньше, чем в Германии» (стр. 137). Важны также замечания Энгельса о «праве наций на самоопределение» (стр. 142). Одно из писем Степняка-Кравчинского позволяет восстановить историю приглашения группы «Освобождение Труда» на Парижский конгресс Интернационала 1889 г. Оказывается, инициаторы конгресса группу непосредственно не пригласили, а обратились к старым народникам Кравчинскому и Лаврову. Последние отказались, так как никаких организаций не представляли, представительство же на конгрессе было не персональным, а групповым. И вот Кравчинский посоветовал Лафаргу пригласить группу «Освобождение Труда» (стр. 234 — 235).

Чрезвычайно странно, что и в этом сборнике Л. Г. Дейч продолжает защищать свою ошибочную точку зрения, будто при разрыве с народовольцами «теоретические разногласия с народовольцами не имели существенного значения» (стр. 16). Если в 1883 г. так еще могло казаться, то теперь такое мнение не только наивно, но и насквозь идеалистично. Здесь не место останавливаться подробно на этом вопросе, но необходимо отметить, что опубликованные в сборнике документы свидетельствуют как раз о том, что причиной разрыва были глубокие теоретические расхождения. В письме к Аксельроду от 15 июня 1883 г. тот же Дейч писал: «Нужно тебе заметить, что, несмотря на внешнюю кажущуюся солидарность (с народовольцами),—как они, так и мы сознаем, что по существу мы сильно отличаемся друг от друга». И далее в том же письме говорится: «Мы с Жоржем (Плехановым, *Г. В.*) откровенно тебе сказать, думаем, что никогда народовольцы не сделаются сознательными социалистами, марксистами, а останутся бланкистами, энергичными и предприимчивыми революционными заговорщиками» (стр. 166 — 167). Впро-

чем, ценность сборника — отнюдь не в историческом анализе и освещении. Он важен и нужен, как исторический источник, он ценен обилием *нового фактического и документального материала*. Из иллюстраций следует отметить впервые появляющуюся карточку В. Н. Игнатова.

Г. Лелевич.

В. МЕДЕМ. По царским тюрьмам. (Тюремные воспоминания.) Перевод с еврейского с предисловием Д. Заславского. Издат. Товарищество «Книга». 1924. Стр. 88. Тираж 3000.

Надо сознаться,—в книжке этой интереснее предисловие Заславского, чем самые письма Медема. Предисловие дает представление об оригинальной фигуре Медема, яркого и очень своеобразного представителя еврейского социалистического движения. Происходя из совершенно денационализированной семьи еврейского врача, Медем был типичным русским интеллигентом, а наружность имел прямо аристократическую,—отсюда его прозвище «граф». Он не ушел целиком в русское революционное движение, подобно многим другим евреям-социалистам из буржуазной среды, а связал дело своей жизни с «Бундом». Ему пришлось с азов учиться по-еврейски, он преодолел все и стал выдающимся еврейским оратором и литератором. Роль его в «Бунде» и влияние на еврейскую рабочую массу были очень велики. Медем был выдающейся фигурой и на общерусских партийных съездах: на лондонском съезде 1907 г. он был, напр., членом президиума, в котором заседал вместе с Лениным и Даном, и проявил такое уменье вести крайне бурные собрания, что его прозвали в шутку «русским Зингером». В 1923 г. Медем умер в Америке. Деятельность его в последние годы жизни была преимущественно литературной, а не политической.

Письма Медема относятся к 1915—1916 г.г., когда его, уже совсем больного, перевозили из тюрьмы в тюрьму по этапу—из Варшавы в Орел и обратно, в связи с изменением положения на военном фронте. Освободился он из тюрьмы лишь после окончательного вступления немцев в Варшаву. В письмах Медема нет ничего о политике и социализме; они рисуют автора с личной интимной стороны и дают картины тюремно-этапной жизни. Никакого сравнения, напр., с тюремными письмами Розы Люксембург, тоже интимными прежде всего, письма Медема не выдерживают, — его писательское уменье художественно передавать свои переживания гораздо ниже. Что касается до внешней тюремно-этапной обстановки, то это вещь уже достаточно общеизвестная.

М. Клевенский.

А. В. ПРИБЫЛЕВ. В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма. Из воспоминаний народовольца. Госуд. Изд. Ленинград, 1924 г. Стр. 79.

В рецензируемой брошюре соединены два доклада, прочитанные А. В. Прибылевым в Ленинградском музее Революции.

В первом докладе А. В. Прибылев подробно рассказывает историю динамитной мастерской, организованной народовольцами в Петербурге весной 1882 г. Автор был хозяином квартиры, в которой была устроена мастерская, и принимал ближайшее участие в работе по изготовлению взрывчатых снарядов. Он подробно рассказывает о том, как организовывалась мастерская, как шла в ней работа и как, наконец, 5 июня 1882 г. она была захвачена жандармами, переарестовавшими постепенно всех принимавших участие в ее работах. Оказалось, что с самого возникновения мастерская была под наблюдением Судейкина,—для подготовляющегося убийства которого в ней, между прочим, и изготовлялись снаряды,—и, если, тем не менее, она просуществовала три месяца, то лишь потому, что Судейкин нарочно дожидался приближения ее работ к концу. А. В. Прибылев весьма живо и интересно рассказывает о всех моментах, связанных с организацией мастерской и работой в ней, и попутно дает яркие, хотя и краткие характеристики всех принимавших участие в работе мастерской, особенно главного руководителя ее члена

Исполнительного Комитета «Народной Воли», М. Ф. Грачевского.

Второй доклад А. В. Прибылева представляет собою краткую историю Карийской тюрьмы за то время, когда в ней находились политические каторжане (с 1873 по 1889—1890 г.г.). Автор, сам отбывавший каторгу на Каре, хорошо знаком с условиями жизни в этой тюрьме. В своем докладе он сообщает много интересных сведений о постепенном заселении Кары политическими каторжанами, об обстановке и условиях жизни, в которые они там попадали, и о духовной жизни заключенных. В своем рассказе он захватывает не только то время, когда он сам находился на Каре, но и более раннее, хорошо знакомое ему по рассказам его товарищей по заключению. Думается, что автор несколько идеализирует условия жизни политических на Каре, которые, по его собственным словам, представляются ему теперь в «исключительно розовом свете». Конечно, «что пройдет, то будет мило», но из истории Кары никак не вычеркнешь знаменитой карийской трагедии, которой, между прочим, автор, посвятивший ей интереснейшую статью в № 1 (8) журнала «Каторга и Ссылка» за текущий год, в рецензируемой брошюре совершенно не касается,—а это, конечно, не дает малознакомому с Карой читателю возможности получить полное представление о жизни политических в этой тюрьме.

Нельзя не признать также, что автор не совсем прав, когда он говорит, что все политические заключенные на Каре «жили одной общей жизнью, без потрясений, без проявления деспотизма одних и порабощения других, без проявления насилия отдельных групп или большинства», что все политические образовали «идеально сложившуюся общину или артель». Известно, что в истории Карийской политической каторги были моменты весьма острые, разбивавшие заключенных на два лагеря и до крайности обострявшие отношения между ними. Достаточно указать на такой хотя бы факт, как повешение товарищами по заключению нечаевца Успенского, совершенно неосновательно заподозренного в осведомлении тюремного начальства о подготовлявшемся побеге. Известно, какие натянутые и тяжелые отношения образовались между заключенными после этого убийства. Обо всем этом А. В. Прибылев не говорит ни слова. Равным образом он не говорит и о самом убийстве Успенского. Только в одном примечании он мельком упоминает о «печальном эпизоде с нечаевцем П. Успенским». Что это за «печальный эпизод», он читателям не разъясняет, а между тем пора уже всесторонне выяснить это темное дело; молчать далее смысла нет, раз в печать уже проникли кое-какие сведения об этом деле.

Правда, убийство Успенского имело место в раннем периоде истории Кары, но и позже, когда впечатление, произведенное им на заключенных, сгладилось, отношения между ними далеко не всегда и не во всем были такими идеально-товарищескими, как говорит А. В. Прибылев. Достаточно указать хотя бы на известный «Дневник карийца» Як. Стефановича, интересный прежде всего как документ, свидетельствующий о том, что карийцы отнюдь не всегда жили «одной общей жизнью, без потрясений» и т. д.

Несмотря на сделанные выше замечания, надо признать, что и второй из докладов А. В. Прибылева представляет большую ценность, так как читатель находит в нем много интересных сведений о жизни карийцев, их переживаниях, отношениях с начальством тюрьмы и т. д.

Б. Козьмин.

ТЕХНИКА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ. Сборник статей и воспоминаний. Выпуски I и II. Истпарт. Стр. 297 и 176. Госиздат. Ленинград—Москва.

Сборник является одним из образцов систематизации неисчерпаемых материалов Истпарта по специальным областям истории РКП (б.) и революционного движения как в сфере организационного строительства, техники и методов борьбы, так и в сфере выявления моментов непосредственного революционного действия и руководства пролетарскими массами.

Сборник в своих двух первых выпусках включает ценные исторические материалы не только по работе центра и всей сети революционных партийных организаций: Ленинграда, Москвы, Смоленска, части Поволжья, Кавказа, Киева, Восточного района и т. д., но захватывает часть и заграничной техники Р. С.-Д. Р. П., тесно, конечно, связанной с внутренней подпольной техникой России.

Некоторая часть воспоминаний статей сопровождается краткими автобиографическими и биографическими очерками, дающими очень интересные литературные портреты т. т. Л. Б. Красина, А. Енукидзе, В. Соколова, В. Бонч-Бруевича и других товарищей.

Сборник снабжен и фотографическими снимками некоторых из них или иллюстрациями выдающихся эпизодов, как, например, снимок с останков «подпольной» типографии ЦК партии, «чудом» сохранившейся с 1904 г. Организована она была в подпольной глубине подвала, так наз. «Кавказского магазина» (по Лесной ул., № 55) товарищами Стуруа, С. Енукидзе, Богомоловым (Чортом), В. Соколовым, Л. Б. Красиным и другими.

Чрезвычайно интересные воспоминания тов. Енукидзе — «История организации и работы нелегальных типографий Р. С.-Д. Р. П. на Кавказе (1900 — 1906 г.г.)» снабжены примечанием, что «эта статья в виду ее особенного интереса была предварительно напечатана в № 14 «Пролетарской Революции»...

Но таким примечанием можно было бы сопроводить чуть ли не большинство воспоминаний, перепечатанных в сборнике, как, например, «Кавказский магазин» — Соколова. «Первый русский мимеограф» — Бонч-Бруевича. «Черный гектограф» — Ольминского, «И дешево и сердито» — Лепешинского и др. Ничего, конечно, нельзя иметь против перепечаток всех этих весьма ценных документов по истории нашей партии и революции, но едва ли *целесообразно* и *экономно* перепечатывать их в книгах все того же Истпарта, хотя бы и в переработанном виде, *ничем не увеличивая этим их доступности для широких масс, так мало или в огромном большинстве еще совсем незнакомых с историей нашей партии.*

В краткой библиографической заметке невозможно дать обстоятельный отчет об этом очень ценном сборнике, обещающем быть не менее интересным в дальнейших выпусках.

Значительную часть первого выпуска занимают воспоминания т. В. Соколова, а за ними т. Бонч-Бруевича, которые, помимо своей большой ценности для истории партии и большевизма с самых давних времен, богаты еще воспоминаниями о том, кто стойко и твердо вел Р. С.-Д. Р. П. за собой, кто вырывал из нее изо дня в день все сорные плевелы, всю гниль соглашательства и оппортунизма и довел ее до великой Октябрьской революции, превратив в единую и могучую РКП большевиков, осуществляющую мировые коммунистические цели революционного пролетариата.

Очень хотелось бы привести здесь все те эпизоды из партийной и личной жизни Ильича, о которых так красочно рассказывает т. «Бонч», но, к сожалению, все они слишком велики. Очень интересен момент издания первой большевистской газеты «Вперед», в основу издательского фонда которой были вложены... «золотые часы с золотой цепочкой Мих. Степ. Ольминского»...

Кроме того, в сборнике помещены новые воспоминания т.т. Красина, Стуруа, Соколова, Бонч-Бруевича, Гершановича, Розенбера, Штейман, Богомолова, Доброхотова, Голубкова, Залежского.

Все они дают довольно уже полную и связную картину работы по технике большевистского подполья.

К. Элинченко.

Б. И. ГОРЕВ. Из партийного прошлого. Воспоминания. 1895 — 1905. Госуд. Изд. Ленинград, 1924 г. Стр. 89.

Воспоминания т. Горева охватывают самые интересные и оживленные и идейной и организационной борьбой периоды нашей истории: период «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (1894 — 1897 г.г.), период «Искры» и 1905 год. Перед читателями проходит бо-

гатая и интересная событиями, встречами, характеристиками и фактами деятельность типичного нелегального профессионала-революционера, над созданием и организацией которых издевались так много и долго наши враги и которые сами создали единственную по своей мощности и идейной выдержанности партию.

Не говоря уже о том, что большой интерес приобретают те строчки, в которых один из деятельнейших работников «Союза» после провала Ленина и товарищей рассказывает о работе «Союза»,—большую ценность имеют и те сообщения, какие делает т. Горев о таких фактах нашей истории, как, например, подготовка к первому съезду партии. Вместе с воспоминаниями Б. Л. Эйдельмана, П. Тучапского и еще двух-трех товарищей страничка, написанная т. Горевым, имеет большое значение.

Что особенно придает живость и интерес воспоминаниям этого периода,—это стиль, манера письма т. Горева. Краткий, ясный, точный и вместе образный язык автора так и переносит вас в ту эпоху, в шумную толпу студентов и курсисток, на улицы холодного Петербурга с его каменными громадами, шпионами, студенческими спорами, шуточками-стихотворениями, сатирами, ходившими среди молодежи, и с начинающимися раскатами рабочего революционного движения.

Период искровской своей работы т. Горев описал не менее занимательно, чем период «Союза борьбы». Особый интерес приобретают черты из жизни В. И. Ленина, с которым т. Горев встретился в Лондоне.

«Ленин жил, — говорит т. Горев, — в 2 или 3 маленьких комнатках с женой, Н. К. Крупской, и ее матерью, которая неизменно сопровождала их во всех эмигрантских скитаниях и вела их несложное хозяйство. Ленин вел почти отшельническую жизнь. С утра он ходил обыкновенно в общественную читальню, где просматривал лондонские газеты, главным образом, «Таймс». Затем он отправлялся в Британский музей, где работал до вечера. Он восхищался прекрасными порядками и удобством читального зала музея... По вечерам Ленин посещал иногда английские собрания (на которых и я был несколько раз вместе с ним), отчасти из политического интереса, отчасти для практики английского языка, которым он занимался весьма усидчиво. Он брал обменные уроки у интеллигентного англичанина, который преподавал ему английский язык взамен русского. В результате, когда я был в Лондоне, Ленин, проживший там уже около года, довольно свободно объяснялся по-английски и этим отличался от других эмигрантов, напр., от Веры Засулич, которая, покупая что-либо в лавке, пальцем указывала нужный ей предмет. Единственное развлечение, которое позволял себе Ленин, были музыкальные концерты, которые он очень любил».

Любопытна и та характеристика, какую дает т. Горев поистине ужасной работе Н. К. Крупской: ее бесчисленной и тяжелой конспиративной переписке в качестве секретаря «Искры» (стр. 59).

Работа т. Горева в России в качестве агента О. К. по созыву второго съезда партии тоже дает очень много интересных, а часто и новых данных. Как старый подпольщик и профессионал, Горев называет множество имен, раскрывает много кличек и псевдонимов, которые известны только товарищам, принимавшим близкое участие в движении, дает картину предсъездовской работы в Петербурге и отчасти в провинции (кстати, на стр.64 тов. Горев говорит, что в Воронеже этого периода был комитет «экономистов» Владимира и Лидии Махновцов (Акимова),—это верно, но там уже существовала и небольшая искровская организация, основанная пишущим эти строки).

В высшей степени ценны и новы воспоминания т. Горева о 1905 г.; здесь ново его сообщение о Таммерфорской конференции большевиков, в декабре 1905 г., о которой так мало сведений вообще, о Совете рабочих депутатов и о взглядах т. Ленина на этот первый орган власти пролетариата, о втором Совете, о междупартийном совещании, где присутствовал Милюков, и т. д. и т. п.

Словом, небольшая книжечка т. Горева очень ценна и интересна: просто любителя занимательного чтения она увлечет, а историку станет необходимой, так как дает множество интереснейших и цен

нейших данных, помогает устанавливать даты, имена, клички и проверять факты.

В. Невский.

Ф. Н. САМОЙЛОВ. Воспоминания об иваново-вознесенском рабочем движении 1906—1911 годов. Госиздат. 1924 г. Стр. 124.

Если оценивать работу тов. Самойлова как историческое исследование рабочего движения за указанные годы, следует, конечно, сказать, что она страдает основным, серьезным недочетом: отсутствием систематичности изложения и полноты материала, а равно и отсутствием научного анализа развертывавшихся событий. Но автор и не претендует на признание своего труда как научного капитального произведения— это всего-навсего воспоминания, довольно случайные, разрозненные, захватывающие факты и неодинакового масштаба и неодинаковой ценности. Вы встретите здесь воспоминания о создании окружного комитета Р.С-Д.Р.П., о предвыборных кампаниях в государственные думы, зарождение профсоюзов и на ряду с этим случайные воспоминания о каком-нибудь старике Андрее Ефимыче, не любившем слушать революционные песни, воспоминания о зеленой травке, поющих птичках, мимолетных настроениях, повседневных радостях и печалях. Словом, материал неодинаковой ценности. Но почему же читается книжка с таким захватывающим интересом, почему оставляет она такое серьезное впечатление и почему эти как бы случайные наброски в результате дают неотразимую убедительную картину? Потому это происходит и потому картина дорисовывается сама по себе, что автор дает огромную массу хотя и сырого, но богатейшего по смыслу и чрезвычайно колоритного материала, что ни в едином случае вы не почувствуете фальши и надуманности, что каждый, самый мелкий по видимости, фактик он преломляет через призму пролетарского миросозерцания. Описывает он, положим, свои настроения «на земле» — у огорода, в деревне — и не просто описывает их, а дает понять, как в самомельчайших случаях «бытие определяет сознание», как обстановка властно воздействует и как разлагает, даже опошляет, чистокровного пролетария-борца, из одной обстановки и среды попадающего в другую, противоположную по существу. Этот способ передачи материала не надуманный, не искусственный, — он совершенно естественно и органически выдержан на протяжении всей работы. Дает ли автор картинки рабочего быта, взаимоотношений с фабричным начальством, или рассказывает о самодурстве полицмейстера и полуидиотика губернатора, советующего рабочим стоять крепко «за веру, царя и отечество», —вы невольно по этим сочным четким штрихам дорисовываете и восстанавливаете самостоятельно всю систему классовых взаимоотношений того времени, всю напряженность классовой борьбы и даже намечающиеся ее перспективы и возможности. И трудно сказать—в чем бо́льшая ценность этой книжки: в тех ли исторических, порой документальных материалах, которые в ней приводятся, или в этом сочном богатейшем и колоритнейшем бытовом материале? Будучи активным работником профессионального движения, автор особенно подробно останавливается именно на этой форме борьбы и в частности на истории профсоюза ситцепечатников, председателем которого он одно время состоял. Большевики в Иваново-Вознесенском районе господствовали тогда (как и всегда) совершенно безраздельно; руководящая роль принадлежала им и в профдвижении. Менее подробно останавливаясь на работе чисто партийной, касаясь ее как бы вскользь, он в то же время многообразно и отчетливо, хотя и разбросанно, передает нам многострадальную историю профорганизаций, полностью зависевших от государственных самодуров, которые вольны были их разрешать и прикрывать и снова разрешать и снова прикрывать, законапачивая по тюрьмам членов правления, устраивая гнусно-подлые церемонии жандармских судов. Годы революционного подъема и годы спада революционной волны, годы черной реакции,—все они, конечно, по-разному отражались.

будто в зеркале, и на судьбах профессиональных организаций. Это своими набросками убедительно показывает тов. Самойлов. Мы знаем, что за этой второю книжкой автор готовит третью, охватывая дальнейший период — «Звезды — Правды» — подъема рабочего движения. Надо думать, что и эту новую работу мы станем читать с таким же интересом, как очерк 1906—1911 годов.

Дм. Фурманов.

ВЕРА ВЛАДИМИРОВА. Контр-революция в 1917 г. (Корниловщина). Истпарт. Изд. «Красная Новь». Москва, 1924 г. Стр. 224. Цена 1 р. 20 к.

Огромное историческое значение корниловщины прямо пропорционально слабому знакомству читательской публики с историей этого эпизода. Поэтому следует всячески приветствовать издание Истпартом обстоятельной и ценной монографии тов. Владимировой. Автор широко использовал газеты 1917 г., воспоминания и документы, появившиеся впоследствии, как в советской, так и особенно в белогвардейской печати, наконец, множество неопубликованных документов, хранящихся в Ленинградском и Московском историко-революционных архивах. На основании этого богатейшего материала автор проследил шаг за шагом капитуляцию Керенского перед буржуазией в послеиюльский период, подпольную работу офицерских организаций, их связь с кадетами и капиталистами, фактический ход самой корниловской авантюры, отклики масс на нее, разложение корниловских войск, крах авантюры, миндальничанье Керенского с арестованными заговорщиками, наконец, политические результаты авантюры. Фактическая полнота, обилие новых данных, вдумчивый, в общем, подход,—все это придает книге тов. Владимировой значение первоклассного исторического источника, без которого не обойдется никто из изучающих развитие революции 1917 г.

Следует, однако, отметить и один *серьезный* недочет рецензируемой книги: автор почти не дал *классового* анализа событий, он не попытался проследить, какие общественные классы стояли за спиной действующих групп и лиц, в частности даже не подумал проанализировать линию мелко-буржуазной демократии. Отсюда — очень сбивчивая характеристика роли Керенского в корниловщине. Тов. Владимирова не дала отчетливой формулировки своего взгляда на этот вопрос. Отдельные фразы заставляют подозревать, что она считает, будто Керенский разорвал с Корниловым, так как сам метил в военные диктаторы. Вот одна из этих фраз: «Не доверяя друг другу, затаив взаимную ненависть и скрежеща зубами, Керенский и Корнилов продолжали, однако, вместе тащить колесницу буржуазной контр-революции, надеясь в последний момент остаться в одиночестве и пожать лавры «диктатора» (стр. 124). Эта точка зрения безусловно отдает вульгаризацией. Бесспорно, что политика Керенского объективно проложила дорогу Корнилову, но не менее бесспорно, что роль Керенского была ролью мелкобуржуазного демократа, а не претендента на пост военного диктатора. Тов. Ленин еще в июне 1917 г. прекрасно охарактеризовал это положение председателя временного правительства: «Не Церетели или Чернов лично и даже не Керенский призван играть роль Каве́ньяка — на это найдутся иные люди, которые скажут в надлежащий момент русским Луи-Бланам: «Отстранитесь», но Церетели и Черновы, являются вождями такой мелко-буржуазной политики, которая делает возможным и необходимым появление Каве́ньяков»(Собр. соч, т. XIV, часть I, стр. 267).

Упрощенное представление, смешение разных, хотя бы и соседних, классовых сил не позволило тов. Владимировой разобраться в истории с посредничеством В. Львова, сыгравшим такую крупную роль в деле ликвидации заговора. Тов. Владимирова, смешав в одну кучу. Керенского и Корнилова, поверила сообщениям корниловцев, пытавшихся после провала авантюры избавиться от ответственности, доказывая, что Корнилов действовал с согласия Керенского, неожиданно, мол, струсившего и повернувшего назад. Основной вопрос тут:

поручил ли Керенский Львову во время первой беседы 22 августа выяснить мнение Корнилова о трех комбинациях смены правительства или нет. Сам Керенский утверждает, что он лишь согласился выслушать в дальнейшем сообщение Львова о желаниях правых кругов. У нас нет оснований не верить этому свидетельству, ибо приведенные в книге т. Владимировой воспоминания самого Львова вовсе не говорят, будто Керенский давал ему поручение говорить о трех комбинациях (стр. 129). Остается предположить, что или Львов напутал, или Корнилов лгал, утверждая, что Львов передавал ему упомянутое поручение Керенского. Принимая во внимание вздорность и хлестаковство Львова, приходится склониться к первой версии. Характерно, что сами корниловцы, утверждавшие сперва, по понятным политическим соображениям, что поручение Львова было подлинным, впоследствии, когда эти политические соображения потеряли значение, признали правдоподобность первой версии. Вот свидетельство Набокова: «Милюков впоследствии выражал предположение, что Львов «жестоко напутал» во всей этой истории» («Временное Правительство». Изд. «Мир», стр. 76). Таково же свидетельство сэра Джорджа Бьюкенена: «Совершенно нельзя объяснить роли, сыгранной в этом деле Львовым. Он извратил позицию Керенского перед Корниловым и позицию Корнилова перед Керенским. Но я не могу сказать, был ли он мошенником или глупцом. Во всяком случае, он оказался зловредным интриганом» («Мемуары дипломата». Гиз. Стр. 254). «Зловредность» Львова объективно облегчила ликвидацию заговора. Преступления Керенского, воплотившего в себе все худшие черты российского мелкобуржуазного соглашательства, достаточно тяжелы, чтобы чувствовать потребность в добавлении к ним фантастических и чтобы была необходимость в пересмотре вышеприведенной ленинской характеристики.

Из других недочетов следует отметить слабое освещение деятельности Каледина в дни корниловщины. Отчасти это объясняется тем, что автор почему-то совершенно не использовал ценнейшего сборника «Корниловские дни», изданного в 1917 г. «Союзом социалистов народной армии». Напрасно автор относит Переверзева к числу министров-кадетов, подавших в отставку 2 июля. Переверзев был одним из «министров-социалистов» и ушел в отставку позже по другому поводу. Последнюю главу, занимающую больше, чем пять предыдущих вместе взятых, следовало бы разбить на несколько глав.

Несмотря на все вышесказанное, ценность работы тов. Владимировой, как *первого* обстоятельного *фактического* исследования о корниловщине, настолько велика, что отодвигает все дефекты на задний план.

Г. Лелевич.

В. ВЛАДИМИРОВА. Революция 1917 года, т. IV, август—сентябрь. Истпарт. Ленинград, 1924 г. Стр. 422.

Вновь вышедшая часть многотомного издания Истпарта посвящена одному из интереснейших, но мало разработанных периодов революции семнадцатого года. Август-сентябрь—это период корниловщины. Окончательная подготовка, выступление и ликвидация корниловского движения падают на август и сентябрь. В сентябре ясно обрисовывается борьба за подступы к Октябрю. Печатных материалов об этом периоде крайне мало. Непосредственные участники корниловщины—генералы Лукомский и Деникин, министры врем. прав. Львов, Керенский и Савинков дали о ней свои показания-мемуары. ВЦИК'ом был издан сборник документов, постановлений и воззваний, изданных в дни корниловщины и давно ставших библиографической редкостью. Рассказывает о ней очень интересные сведения и Милюков в своей книге, посвященной русской революции. Остальные события и настроения классов и партий за этот период не затронуты в литературе, и о них можно судить лишь по газетам того времени. Ясно, конечно, что то, что есть в литературном обороте об этом времени, далеко недостаточно. Поэтому хроника Владимировой приобретает особый интерес, от нее ждешь

многого,— новых документов и данных. О типе издания говорить уже приходилось. Приходилось уже говорить и о том, что выдержки из документов не могут заменить самих документов. Эти методологические замечания если и уменьшают научную ценность книги, то все же уничтожить ее интереса не могут. Благодаря хронике т. Владимировой историк имеет ценную сводку документальных данных. Вся книга распадается на две части: хронику и приложение к ней.

Хроника составлена на основании газетных данных, а относительно корниловского движения даются и архивные сведения, правда, не многочисленные и иногда в отрывках уже напечатанные: напр., стр. 147—разговор Толстого с Коротковым. Остов книги составляют выдержки из протоколов заседаний ВЦИК'а за этот период,—материал интересный, хотя и не недоступный. На ряду с этим в книге дается много выдержек из различных резолюций и постановлений различных рабочих организаций и политических партий. Слабо дан в книге материал по профессиональному движению, совсем недостаточно чисто хронологическое упоминание о том или другом съезде или выступлении собственнических группировок. Но в общем это—технические недостатки, вся же книга в целом дает очень много интересного, и пока не имеется документов, изданных целиком; при всех методологических недостатках такого пользования, все же придется пользоваться работой т. Владимировой.

Гораздо хуже обстоит дело с приложениями, несмотря на то, что в приложениях т. Владимирова дает документы целиком. Прежде всего приложения довольно шаблонны—даны по большей части общеизвестные и легко доступные документы, с одной стороны, с другой—приведены вещи, отсутствие которых не испортило бы «приложения». Такие документы, как резолюция объединенной демократии на Москов. Гос. Совещании, можно найти повсюду; для историка, пока не напечатаны источники, важнее документы, чем стихи Демьяна Бедного; смело можно обойтись в документальном приложении без описания поездки кронштадтцев в Сестрорецк или питерских рабочих в Кронштадт. Для иллюстрации того, что происходило в частях Корнилова, двинутых к Петрограду, можно бы было использовать мемуарную литературу, хотя бы показания Вороновича из Архива гражданской войны в России, данные архивного дела, а не одни «Известия». При изданных источниках необходимо точно указать, откуда взято, а то, например, при очень ценном приложении 25 об аграрном движении сказано только—из статьи «Кий», без всяких дальнейших указаний; в приложении 69—голодная демонстрация в Орехово-Зуеве—совсем не указано, откуда взят приводимый документ. В высшей степени ценным и важным документом является приложение 60—письмо ген. Алексеева к Милюкову, но откуда его заимствовал составитель хроники—не указано. В общем приложения дают официальные документы—декларации и резолюции, главным образом, материалы, в значительной своей части общеизвестные и легко доступные,—поэтому приложения, за немногими исключениями, большим добавлением к хронике не являются. Сама же хроника в отрывках и выдержках пытается дать представление о целом ряде документов, представляющих наименее освещенный период истории революции 1917 года. Это делает книгу ценной и интересной,—пока нет других сборников материалов, историки принуждены будут пользоваться данными, собранными т. Владимировой.

С. Пионтковский.

ОКТЯБРЬ НА КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЕ. Кубано-черноморский Истпарт. Краснод., 1924 г. Стр. 166.

Сборник «Октябрь на Кубани и Черноморье» с внешней стороны ничем не отличается от плеяды подобных сборников, издаваемых провинциальными отделами Истпарта. Это—воспоминания очевидцев и участников, скомпанованные более или менее одинаково. Кубанский Истпарт надеется «регулярно издавать имеющиеся у него богатые материалы, соблюдая определенный план и последовательность». Должно-быть,

для доказательства, что и план и материалы имеются—в сборнике не дано ни одного документа, а зато даны воспоминания о Сочинской республике 1905 г. об Октябре 1905 г. в Екатеринодаре и дневник Рындина с Кубани на Дон. Если приведенные материалы и не свидетельствуют о наличии плана, то они свидетельствуют о наличии интереснейших и ценных исторически материалов в распоряжении Кубанского Истпарта. Воспоминания о Сочинской республике 1905 г. ценны для попытки восстановления картины размаха революции 1905 г. и учета ее организационных форм. Дневник Рындина, хотя и не вносит ничего существенно нового в показания о корниловском походе Суворина, Половцева или Гуля, интересен все же для обрисовки настроений кубанской части, будущей корниловской армии, до ее встречи с Корниловым; в этом отношении он гораздо существеннее, правдивее и интереснее воспоминаний, изданных под псевдонимом «Кубанец». Остальные материалы сборника — сплошь воспоминания — посвящены «Октябрю» на Кубани, т.-е. первому периоду борьбы за власть. История революции на Кубани и Черноморье имеет уже свою литературу— упомяну хотя бы книгу Ладохи «Очерки гражданской. борьбы на Кубани», книгу Г. Покровского «Деникинщина», воспоминания Вороновича; о положении на Кубани говорят воспоминания, посвященные деникинщине, Раковского «В стане белых» и «Конец белых», и Соколова «Правление генерала Деникина», рассказывается самим Деникиным в его воспоминаниях, но это, за исключением книги Ладохи,—во-первых, показания врагов, и, во-вторых, они касаются позднейшего периода — периода господства белых на Юге. Напечатанные же в рассматриваемом сборнике воспоминания и показания касаются пока лишь первого момента борьбы на Кубани, лишь ее начала: все они даны активными участниками борьбы. В них чрезвычайно ярко выявляется классовая структура Кубани и Черноморья, они удивительно ясно и ярко показывают, на чьи плечи падала тяжесть борьбы с казачьей буржуазией и стоявшим за ней революционным вороньем. История гражданской войны в России полна трагических положений, героических подвигов и беззаветного мужества, но, наверно, нигде, кроме Кубанско-Черноморского района, она не давала такой пестроты, такого разнообразного сплетения самых разнородных сил и положений, выступавших ожесточенными противниками «Октября». Острота классовых столкновений, их неизбежность и их упорство чувствовались на Кубани с первой минуты. Воспоминания, собранные в сборнике, выявляют эту напряженность и остроту классовых битв на Кубани, рисуют первый этап битв и борьбы за власть на Кубани.

С. Пионтковский.

Л. ПОЛЯРНЫЙ. Последний перевал. Изд. «Пролетарий». 1923 год. Стр. 102.

Год назад Л. Полярный выпустил книжку под заглавием «Пути победы»— очерк героических походов Красной армии, боровшейся с Врангелем. Данная книжка «Последний перевал» содержит несколько заново переработанных глав из предыдущей и, кроме того, три художественных эскиза из гражданской войны: «Наши раны», «Язык» и «Пулю в лоб». Материал и свеж и занимателен, читаешь его не без волненья. Впечатление усугубляется от того, что автор оперирует по преимуществу с «простыми» героями, из рядовых чуть заметных участников великих событий,—тех, которые создают красноармейскую толщу, которые выдерживают на себе все испытания и невзгоды и в конечном счете дают победу.

У этих героев и героизм совершенно особенный — неприметный, неэффектный, почитаемый ими самими за рядовое, повседневное дело. Говоря о материале рассказов и записок, следует сказать, что автор отсеял здесь безусловно наиболее ценное, свежее и интересное. Но когда мы подходим к оценке работы тов. Полярного с точки зрения формы, отчеканки, строгости и оригинальности самого стиля, художественной необходимости отдельных мест, — надо признаться, что тут не все благополучно. Над отделкой автор поработал мало

и часто фальшивит общими, ничего не говорящими местами; берем, к примеру, стр. 65:

«— Вы американка?—вопросом встретил сестру раненый, уставя на нее лихорадочный взгляд.

«— Да, я сестра Американского Красного креста!—покраснев ответила сестра, нагибаясь к раненому.

«— Не трогайте наших ран!—воскликнул раненый, прижав рукой простреленную грудь...

«Сестра вскочила, хотела что-то сказать, задрожала, но не могла выговорить ни слова...

«— Наша кровь проливается по милости ваших... Ваши пули пронизывают русские сердца... мы в призрачном милосердии не нуждаемся!

«Раненый отрывисто вздохнул, кровь просачивалась сквозь зажатые пальцы...

«Сестра стояла на месте и широко раскрытыми глазами смотрела на раненого...

«— Мы презираем вас... мы презираем рабство... презираем смерть... — умирая за рабочую республику, — стонал раненый...

«Сестра продолжала стоять. Она еще не уяснила, что это значит. Изящной американской леди были чужды и непонятны боли русского рабочего...

«— Уходите... уходите... мы ненавидим ваше милосердие! — кричал раненый. Глаза его искрились, лицо передергивало судорогой...»

Это уж слишком напыщенно и неестественно. Такие картины не только не зажигают — наоборот, раздражают ложным пафосом. Так не страдают — предсмертному состоянию чужд декламационный дух. Или вот дальше, на стр. 66:

«Равномерная трель пулеметов и знакомые звуки взрывов привели в чувство истекающего кровью героя. Открыв глаза, он увидел тяжелое положение своих товарищей, в нем проснулся еще раз дух бойца; делая нечеловеческие усилия, он поднялся на ноги. Крепко зажав в правой шашку, левой прикрыв простреленную грудь, он крикнул: «Товарищи, вперед!», и, шатаясь, пошел на броневик... алая кровь сочилась сквозь пальцы, текла по руке, крупными каплями падала на шинель и землю... Ободренная возгласом раненого товарища кавалерия снова двинулась вперед... Опять оглушительно рвалась картечь, засыпая наступающих огнедышащим вихрем, дымом и землею... Все смешалось в черных облаках, падали люди и лошади...»

Опять что-то неловко, и опять читателя в краску вгоняет неестественность и манерность. К тому же герой «пошел», а кавалерия за ним поскакала. Тут опять-таки досадная невязка.

В целом ряде других мест (стр. 71, 72, 73, 75, 94)—грехи того же порядка. Фамилии действующих лиц: Добровольский, Бойцов, Станков — это опять отдает «детской болезнью» примитивного литераторства: по фамилиям сразу надо понимать, с какой категорией лиц имеешь дело. Такому прекрасному материалу надо бы было дать более тщательную отделку.

Дм. Фурманов.

ДЕКАБРЬ 1905 ГОДА НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ. Сборник статей и воспоминаний, под редакцией В. Невского. Агитпропотдел Краснопресненского Райкома РКП (б). Госиздат. М.—П. Стр. 187.

В целом ряде воспоминаний «декабристов» 1905 года, принимавших активное участие в московском вооруженном восстании, прекрасно и почти целиком выявлена вся великая драма пролетариата, потерпевшего под напором непробудившихся еще царских солдат физическое поражение на улицах Москвы, но одержавшего огромную победу в умах и сердцах революционного рабочего класса по всей России. Все понимали, что московские рабочие не напрасно «взялись за оружие», что это лишь незначительный пока отряд грядущей великой армии пролетариата и что поражение часто знаменует собою начало победы. И действительно, это восстание было началом конца не только российского самодержавия, но и самодержавия буржуазии, против которой сражались большевики, в своем стремлении смести с дороги царизм.

Тов. Седой, один из главных героев этой драмы, «уверяет, что в числе дека-

бристов Пресни 1905 года были не только рабочие Красной Пресни, но и рабочие Замоскворечья, железнодорожного района, центра и рабочие, примыкающие к Красной Пресне». Это подтверждается и многими другими «декабристами» в воспоминаниях, помещенных в этой книге, ценной особенно тем, что в ней, кроме полноты картины, исчерпывается множество дополняющих ее деталей. Красная Пресня все более и более стягивала к себе все наиболее революционные силы Москвы, превратившись в своего рода *крепость* хотя и плохо вооруженных сил почти одного рабочего состава, в общем только до тысячи человек. Лишь изредка, то здесь, то там, встречаются попутчики-интеллигенты, меньшевики, группки эс-эров, анархисты, или вдруг ярко засверкает такая удивительная, но мимолетная фигура, как трагически погибший сын фабриканта, студент Н. П. Шмидт. В общем же и целом — главнейший персонаж исторической драмы, превращающейся в наше время уже в нечто легендарно-героическое, составляет рабочий-массовик, с которым тесно сливаются их передовые вожди, иногда целые группы партии пролетариата— социал-демократов большевиков.

По всем воспоминаниям разбросано очень много интереснейших эпизодов этой героической борьбы. Часто воспоминания о декабрьском восстании связаны с личными биографиями участников — самих себя и других, что также представляет интересный материал для составления *биографической истории* одного из величайших моментов мировой революционной борьбы рабочего класса за свое освобождение, подобно имеющимся биографическим повествованиям об участниках революции 48 года или Парижской Коммуны. Некоторые воспоминания сопровождаются еще и историческим анализом не только самого восстания, но и в связи вообще его с ходом революции 1905 года и даже в преемственной связи с Парижской Коммуной и с революциями 1917 года, как последствиями всех предшествовавших им революционных движений (Доссер, Виноградов, Владимирский, Седой и др.).

Книжка читается с интересом, но местами скучновата, *не для историка*, конечно, а для обыкновенного читателя, вследствие очень частых повторе́ний одних и тех же моментов и эпизодов в большинстве воспоминаний, хотя и в различном освещении.

Она является довольно сырым собранием материалов—воспоминаний по истории декабрьского восстания. Важно, что в ней, кроме уже известных имен, выявляется еще целый ряд других, среди которых есть и участники дальнейшего революционного движения, а также и Октябрьской революции. В тексте книги помещен целый ряд фотографий: Виноградова, Николаева, группы активных участников (27 чел.), с перечислением их имен, Колокольникова, Шмидта, Розанова, Владимирского, Седого, а также «Карта Москвы в декабре» и карта Миусского района, одного из главнейших центров боя.

Книга открывается вступительной статьей В. Невского, в конце которой приведены «такие правильные, такие точные и такие хорошие слова вождя революции В. И. Ленина: *«Этого приобретения ничто не в силах отнять у революции»*.

Как не похожи эти вещие слова Ильича на легкомысленно брошенные Г. В. Плехановым слова о декабрьском восстании: «не нужно было *браться за оружие*», возмутившие и надолго взбунтовавшие против него того, кто двенадцать лет спустя стал во главе пролетарских революционных масс России, совершивших великий Октябрьский переворот. Внешний вид книги, с великолепной иллюстрацией на обложке, не оставляет желать лучшего.

К. Злинченко.

3. История революционного движения на Западе.

1. ПУЖЕ ДЕ СЕНТ-АНДРЭ. Тайные творцы французской революции». *А. Ольшевский.* — 2. Н. КАРЕЕВ. Французская революция в историческом романе. *Гордон.*—3. П. ВЕРНЕР. Баварская Советская республика. *И. Ильинский.*

POUGET DE SAINT-ANDRÉ. Les auteurs cachés de la Révolution française. (D'après des documents inédits.) Paris. Libr. académique. Perrin et C-ie 923. 296.

ПУЖЕ де СЕНТ-АНДРЭ. Тайные творцы французской революции. (По неизданным документам.) Париж. Академич. изд. Перрен и К-о. 1923. Стр. 296.

Небезызвестный писатель Ж. де Местр возникновение французской революции объяснял дьявольским наваждением. Пуже де Сент-Андрэ не согласен с этой несколько устарелой точкой зрения и обещает, как подобает историку, *беспристрастно* изучить тайную подоплеку революции и изложить *факты, принадлежащие истории*, т.-е. держаться в строго научных рамках. Иллюстрацией его «беспристрастности» и «научности» и служит вся его работа.

Хотя в заголовке и стоит: «по неизданным документам», но, просматривая ссылки автора на литературу вопроса, убеждаешься, что работа составлена, главным образом, по печатным источникам. И тут автор проявил действительно трогательную «беспристрастность», ссылаясь не только на труды Олара, Сореля, Матьеза и других серьезных историков, но и беззастенчиво обобрав такую почтенную книгу, как исследование аббата Баррюеля, более ста лет тому назад переведенную на русский язык под заглавием: «*Записки о якобинцах, открывающие все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы*».

Имеются и другие перлы, но и одного Баррюеля довольно, чтобы оценить всю «научность» труда нашего историка.

Далее, поставив перед собой ряд вопросов о «тайных движущих силах революции», автор и тут не сумел подняться выше суждений среднего французского лавочника. Даже самая постановка вопросов чрезвычайно красноречиво обрисовывает «научность» его подхода к такой большой и широкой теме. Почему наказы в Генеральные Штаты продиктованы как бы одним тайным комитетом? Почему был казнен добросердечный король, хотя Франция терпеливо сносила власть несравненно худших монархов? Почему понадобилось пролить столько крови, чтобы добиться реформ, которые Людовик XVI давал даром? Какая тайная рука управляла партией, толкавшей революцию к насилиям?—Вот круг вопросов, в которых беспомощно барахтается наш «историк» и вылавливает из всевозможных мемуаров все сплетни, которыми старается ошарашить неискушенного читателя. Конечно, чтобы поразить его своими выводами, надо блеснуть ученостью, и автор с усердием, достойным лучшего применения, последовательно рассматривает роль, которую играли в революции масоны, евреи, протестанты, швейцарцы, иностранцы вообще, Австрия, Пруссия и, наконец, английские агенты. И, произведя смотр всем этим тайным и явным врагам католической религии и монархии, «историк» приходит к выводу, что к последним дням Директории иностранному «синдикату» (англо-прусско - австрийско - еврейско - масонскому!), во главе которого стояла Англия со своими агентами, удалось достичь цели: «казалось, что анархия бесконечна, католическая религия уничтожена, Франция разорена и дезорганизована и не сможет больше играть роли в Европе».

Но, говорит автор, британское правительство упустило из виду, что, «сея анархию, оно подготовляло диктатуру», и переворот 18 брюмера выдвинул на сцену в лице Наполеона нового, еще более опасного врага Англии.

Так, добавим мы, был посрамлен коварный Альбион, и так пишут «историю» по «неизданным» документам. Для полноты картины не хватает ссылок только на «протоколы сионских мудрецов». Будем надеяться, что в следующем издании этот пробел будет пополнен.

Д. Ольшевский.

Н. КАРЕЕВ. Французская революция в историческом романе. Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого. Петроград, 1923 г. Стр. 154.

Очень добродушная книжка. «Живя летом 1917 года в одном поместье, где была большая библиотека», маститый историк «нашел в ней ряд романов из эпохи Великой революции и стал читать их один за другим, а потом и в Петербурге дополнил еще это чтение кое-какими еще подобными произведениями». Из этого послеобеденного чтения и возникло сто пятьдесят четыре печатных страницы, посвященных некоторым общим рассуждениям о том, что̀ такое исторический роман и чем он быть должен, а главное—изложение «своими словами» двадцати одного романа и пьесы, посвященных французской революции, начиная с Дюма-отца и кончая Ромэном Ролланом и некиим М. А. Загуляевым. Что касается общих рассуждений, то, боясь как-нибудь исказить непосредственность и простоту взглядов автора на взаимоотношение истории и исторического романа, дадим слово ему самому: «оба вида литературы занимаются *воспроизведением* прошлого, но если история должна передавать лишь реальную правду,—то, что̀ было, как оно было, то самая сущность исторического романа заключается в *сочинительстве*, в выдумке того, чего *не было*, но что могло бы быть по условиям времени и места. Нужно только, чтобы вымышленные образы, положения, происшествия были правдоподобны, чтобы не сочинялись исторические события, которых не было, чтобы историческим деятелям не приписывались деяния, созданные фантазией романиста, т.-е., одним словом, чтобы научный (?) историк не имел права сказать романисту: «А здесь вы, милостивый государь, сочинили сами». Теперь пусть читатель сопоставит слова, выделенные нами курсивом, и попробует хоть что-нибудь понять в приведенной выдержке! Не лучше, чем с общими соображениями, обстоит дело и с изложениями романов. Это в полном смысле слова гимназические «изложения» со всею присущею им невинностью содержания и неприхотливостью слога. Жалко, что недостаток места лишает нас возможности привести, например, изложение фабулы «Боги жаждут» А. Франса: можно держать какое угодно пари, что тот, кто познакомится с этим превосходным романом по «изложению» его фабулы Н. И. Кареевым, читать его в подлиннике не захочет — до того он покажется пустоват и скучен.

Для кого и зачем написана и напечатана книжка,—совершенно непонятно.

Гордон.

П. ВЕРНЕР. Баварская Советская республика. Перевод с немецкого, под ред. С. Шульмана. Изд. «Красная Новь». Москва, 1924 г. Тираж 7000. Стр. 171.

О Парижской Коммуне 1871 г. мы имеем довольно богатую литературу, переводную, оригинальную и в том числе такие солидные исследования, как работа Н. М. Лукина. Политические уроки Парижской Коммуны, преподанные в ярком освещении «Государства и революции» Ленина, стали, можно сказать, элементом политграмоты. А в то же время коммуны XX в. — Венгерская и Баварская советские республики — как-то обойдены вниманием нашей литературы, хотя для современности и для политических прогнозов ближайшего будущего интерес их необычайно велик.

Книжка Вернера идет навстречу этому интересу. Написанная в 1919 г., вскоре после трагических событий баварской советской революции, она содержит ряд сведений, ближайшим образом ценных и для современности. Так, характеристика баварского крестьянства, даваемая отлично осведомленным автором, может послужить серьезным предостережением для тех, кто рассчитывает на револю-

ционную рабоче-крестьянскую солидарность в Германии. «Крестьянство Баварии зажиточно... Это крепкое, себе на уме, племя, политическая воля которого направлена в сторону примитивной демократии... Коммунистическая революция и у *сельских рабочих* не может рассчитывать на понимание и помощь... В Баварии рассчитывать на деревню может только контр - революция» (15 — 16). Весьма сдержанна и оценка, даваемая Вернером городскому пролетариату. «Безусловно надежными показали себя только рабочие тяжелой индустрии» (17).

Весьма интересны приложенные к книге декреты и воззвания советских правительств, отдельных органов власти и коммунистической партии Баварии. Некоторые иллюстрируют естественную неопытность впервые взявших власть представителей рабочего класса. Например, приказ коменданта г. Мюнхена от 14 апреля 1919 г. гласит: «Автомобили и т. п. подлежат задержанию». Что означает буквы «и т. п.», остается неизвестным: мотоциклы, велосипеды, коляски? В декрете о рабочем контроле подчеркивается самостоятельное и, повидимому, влиятельное положение «умственных работников» в производстве (66) — характерная для Запада черта. Интересны некоторые штрихи из области революционного правосознания советских деятелей Баварии с их нелюбовью к юридическим тонкостям и хитросплетениям. «Баварский Ленин» — Евгений Левинэ высказывался против иммунитета членов Комитета Действия, ибо в советской республике, где у власти стоит сам рабочий класс, иммунитет его представителей является бессмыслицей (81). Декрет о жилищных мероприятиях, между прочим, предписывал судьям карать обходы закона строже, чем прямое неповиновение (122),—вероятно, к большому огорчению адвокатов.

Несмотря на выдающийся интерес книги, пользоваться ею надлежит с осторожностью, в виду сомнительных достоинств перевода. Мне не удалось достать немецкого подлинника для сличения, но безграмотность переводчика бросается в глаза. Вот образцы его стиля: «они спасовали против юридических попыток» (8); «всяческие следствия его отпугивали» (18); «положение вещей развернется до определенного предела» (24); «он был полон... организационного таланта» (62). Это далеко еще не все, но беспримерным надлежит признать перевод Hic Rhodus hic salta — здесь роза, здесь танцуй... (111). Издательству «Красная Новь» приличествовало бы больше заботиться о доброкачественности своих изданий, и, если уж необходима особая редакция для перевода небольшой книжки, то поручить это дело сведущему лицу.

И. Ильинский.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ.

1. К. ТАХТАРЕВ. Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. *П. Преображенский.* — **2. ОТТО НЕЙРАТ. История античного хозяйства.** *Г. Пригоровский.* — **3. Хетты и хеттская культура.** *Н. Щербанов.* — **4. Проф. В. БУЗЕСКУЛ. Открытия XIX и начала XX века в области истории древнего мира: II. Греческий мир.** *Н. Щербанов.*

К. М. ТАХТАРЕВ. Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. Ч. I. Гиз. Ленинград, 1924. Стр. 37.

Казалось, можно было бы приветствовать появление книги К. М. Тахтарева, как первой попытки дать столь необходимый для вузов учебник по истории развития общественных форм. И, тем не менее, при ближайшем знакомстве книга сильно разочаровывает. Трудно отделаться от впечатления, что она запоздала, по крайней мере, лет на 20. В этом убеждает не только цитируемая автором и часто без всякого разбора

(компиляция рядом с оригинальными трудами) литература, но и самые взгляды автора на конкретный материал.

Первая часть труда К. М. Тахтарева имеет характер теоретического введения, в котором разобраны построения эволюционистской школы в этнологии и ее противников в 90-х годах, с одной стороны, и некоторых представителей теоретической социологии—с другой.

Здесь поражают два обстоятельства. Для К. М. Тахтарева несомненно, что эволюционисты старого типа вышли победителями из своей полемики с Вестермарком, Гроссе, Старке, в то время как ясно, что все эти «реакционеры» стояли на почве того же метода, как и их противники, будучи только осторожнее в его применении, и таким образом ни в коем случае новаторами считаться не могли. Очевидно, К. М. Тахтареву решительно ничего неизвестно о той борьбе школ, которая волнует этнологию за последнее время, и труды Грэбзира, Фоя, Анкермана, Риверса (последние), показавшие, сколь сложна казавшаяся такой простой и старым эволюционистам, а вместе с ними и К. М. Тахтареву, эволюция человеческого общества, ему просто неведомы. Столь же неполна у автора характеристика и теоретических направлений в социологии — здесь к Марксу и Энгельсу автор прибавил еще Ле-Пле и этим ограничился, забыв и французское направление, группирующееся вокруг «Anneé Sociologique» и германскую социологию с Максом Вебером, Фиркантом, Оппенгеймером и др.

Так же несложно у К. М. Тахтарева и изложение конкретного материала. Дородовое или тотемическое общество характеризуется им исключительно на австралийском материале, при чем австралийский палеолитик относится им к эпохе Мустье (!) и рассматривается без всякого внимания к тем культурным областям, на которые Австралия распадается при более внимательном изучении. При установлении социальной структуры австралийского общества почти исключительным предметом внимания автора служит тотемический клан, но почти не затрогивается роль орды и парной семьи, что является довольно странным после трудов Уплера, Малиновского, Кнабенганса, Вундта и даже последнего труда Кунова. Вся сложность этой «первобытной» культуры ускользает от читателя.

При характеристике дальнейшей эволюции родового общества прежде всего поражает, что К. М. Тахтарев упорно держится старой схемы хозяйственной эволюции — охота, скотоводство, земледелие, совершенно не касаясь вопроса о том, насколько эта схема является теперь удовлетворительной, что является более, чем сомнительным после трудов Эд. Хана и его последователей. Столь же упрощено представляется К. М. Тахтареву и характер родового общества, которое им выводится из тотемических групп, в то время как здесь кроется целая научная проблема, хорошо очерченная московским этнологом А. Н. Максимовым в его статье «Теория родового быта». Столь же примитивно по схеме— тотемизм с анимизмом, культ предков— изложена и эволюция религиозных верований — ни чародейство ни аграрный культ почти-что не затронуты автором.

Таким образом, основным пороком книги К. М. Тахтарева служит ее крайняя упрощенность, иногда доходящая прямо до искажения, соединенная с малой осведомленностью автора в научной литературе двух последних десятилетий и малой критичностью в подборе своих сведений. Разумеется, при отсутствии соответствующей литературы на русском языке, читателю придется пользоваться и книгой К. М. Тахтарева. Но будет печально, если она примется им целиком на веру и останется единственным источником его сведений по генетической социологии и этнологии.

Проф. П. Преображенский.

ОТТО НЕЙРАТ. История античного хозяйства. Госиздат. Украины. 1924. Стр. 105.

О. Нейрат, автор настоящей книги, вышедшей уже вторым изданием в популярной серии «Aus Natur und Geisteswelt», представляет собою своеобразную в немецкой экономической науке фигуру. Вопросы социализации производства были давно объектом его научных интере-

сов. После ноябрьской революции в Германии он оказывается автором (или точнее со-автором) большого проекта социализации, вышедшего из среды социалистов большинства. Одновременно он выпускает ряд небольших работ, посвященных вопросам социализации («Wesen und Weg der Sozialisierung», 1919; «Die Sozialisierung Sachsens», 1919, «Vollsozialisierung» 1920, и др.). В начале 1919 г. он становится председателем баварского «Wirtschaftsamt» и остается в этой должности во время советской республики в Баварии, после ликвидации которой он оказывается приговоренным к $1^1/_2$ годам заключения в крепости [1]). Социально-экономическими интересами автора объясняются и его занятия античной историей. Здесь,—в экономике древнего Египта, Спарты, Римской империи с конца III в,—он находит интересующие его элементы централизованного планового хозяйства и вытекающие отсюда своеобразные формы натурального хозяйства, совмещающегося с высокой степенью культуры. С этой точки зрения он и старается трактовать историю античного хозяйства. Как общее введение в изучение античной экономики (автор, не ограничиваясь Грецией и Римом, дает также краткий очерк экономической истории государств Древнего Востока), книга будет прочтена с большой пользой. Автор, конечно, не специалист по древней истории, но достаточно компетентен, чтобы его книга в общем была на высоте современных знаний в этой области. Перевод очень точен и надежен в исторической части; переводчик (редактор?) даже исправляет некоторые промахи, вкравшиеся в изложение автора. Не вполне удачен только перевод некоторых теоретических терминов: терминология Нейрата несколько своеобразна и для правильного перевода требуется знакомство с его остальными экономическими трудами. «Lebensformen» нельзя перевести как «быт». «Kriegswirtschaft» есть именно «военное хозяйство» (как ясно следует из дальнейшего текста), а не «хозяйство военного периода». «Административное хозяйство»—слишком узкая передача термина «Verwaltungswirtschaft», который в других работах автора противополагается» «Verkehrswirtschaft», т.-е. хозяйству, базирующемуся на свободном обмене.

Проф. Г. Пригоровский.

[1]) Эти сведения о личности и деятельности автора, как объясняющие некоторые его построения, было бы недурно предпослать переводу.

ХЕТТЫ И ХЕТТСКАЯ КУЛЬТУРА. Статьи Ж. Контено (пер. с франц. Н. Н. Хлебниковой) и А. А. Захарова. Тексты хеттских законов (пер. с нем. А. А. Захарова). Редакция и предисловие И. Н. Бороздина. Государственное Издательство. «Всемирная Литература» (серия «Культура Востока»). MCMXXIV. Стр. 153, с 18 рис. в тексте + 1 карта.

Едва ли можно считать случайностью выход, немедленно за двумя книгами по эгейскому миру (А. А. Захарова и Б. Л. Богаевского), труда, посвященного хеттам и хеттской культуре: определенно внимание, и притом самое пытливое, устремлено ныне, когда еще не затихли голоса о «закате Европы», на Восток. Если в элементах эгейского мира ищут разгадки соотношений Востока и Запада и своеобычия культуры Европы, то в хеттской культуре жаждут найти ответа на многие, еще загодочные стороны культурных достижений и проявлений, между прочим, Крита, Микен, античного юга России. Возможно, что снятие покрова с еще сравнительно мало отчетливой хеттской культуры приведет к столь заманчивому знанию .чуть ли не изначальных культурных основоположений. Книга заключает в себе: 1) интересное, вводного типа, предисловие И. Н. Бороздина (стр. 7—12), 2) переводную статью Ж. Контено «Хетты» (стр. 13 — 14), 3) оригинальную статью А. А. Захарова «Хеттская культура» (стр. 42 — 125) и 4) Хеттские законы (стр. 126 — 152) в количестве около 200 параграфов.

Книга отлично помогает разобраться в прошлом хеттов, и авторы приложили все старания, чтобы строго-объективно представить все, что добыто в данной области соединенными усилиями науки

русской и западно-европейской, которой осталось еще многое уяснить в таких первоважных вопросах, как, напр., расовое происхождение хеттов и их язык (мнения, в большинстве, склоняются к признанию хеттов не-семитами, а их языка — индо-европейским, наиболее близким латинскому). Читается книга легко, она порою увлекает своим вдумчиво-тщательным описанием великого прошлого, ставшего давно бывшим, ушедшим, когда сходились и сталкивались такие культурные миры, как Египет, Ассирия и Хетты, сумевшие (стр. 38) преградить семитам дорогу в Европу.

Отпечатана книга привлекательно, на хорошей бумаге; рисунки вышли достаточно удачны. Упущений мало: на стр. 8 набор слегка перепутан, что затемняет чтение (порядок строк должен быть, считая строки сверху, следующий: 1, 2, 3, 4, 5, 6 включая в нее конец строки 10 (11, 7, 8, 9, 10, 12); на стр. 18 несомненный недосмотр редактора,—Тель-Амарна не «древняя столица фараонов Аменхотепов III и IV», ибо г. Яхтантон (Тель-Амарна) стала и была столицей лишь при Аменхотепе IV; на стр. 64 «готоровский» надо исправить на «хаторовский» (ср. стр. 80); на стр. 80 читаем «лицо (эпюкского) сфинска имеет сходство с египетской царицей Нефрет (XII дин., ок. 2000 г. до р. Хр.); «очевидно, здесь недоразумение, и надо полагать, что имеется в виду принцесса Нофрет, изваяние коей (из известняка, в группе с принцем Рахотеном, Каирский музей (относится к Древнему царству) последние эпохи III дин. или к IV дин.; см., напр., Д. Maspero «Guide du visiteur au musée du Caire. 1914, стр. 71; von Bissing в Springer-Walters. «Handbuch der Kunstgeschichte». I. 1921, стр. 21. R. Graul «Einfürung in die Kunstgeschichte», 1923, табл. 6, рис. 21; Баллод «Очерки истории древне-египетского искусства», 1924 г. стр. 81); на стр. 114 не совсем точны сведения о происхождении супруг фараонов Аменхотепов III и IV, кои не были родом из царства Митанни: первая была фивянкой (в 1902 — 1903 гг. Дэвис нашел гробницу ее родителей, Юйу и Туйу, граждан Фив), вторая, Нофретете, также была простой египетской горожанкой. Пользование рисунками отчасти затрудняется отсутствием под ними нумерации и соответствующих в тексте ссылок.

Книге надо пожелать самого широкого распространения, которого она всецело заслуживает своими бесспорными положительными сторонами, вводя в сложный мир хеттской старины.

Н. Щербаков.

Проф. В. П. БУЗЕСКУЛ. Открытия XIX и начала XX века в области истории древнего мира. II. Греческий мир. Издание «Academia». Петербург, 1924 г. Стр. 182. Цена 1 р. 80 к. золотом. Тираж 2500 экз.

Второй выпуск труда проф. В. П. Бузескула, известного знатока античной истории, отведен древне-греческому миру. В семи главах рассматривает автор те археологические открытия, кои явили во многих случаях совершенно новые, неожиданные страницы, целые эпохи из истории античной культуры.

Автор начинает свой обзор с «знакомства с греческими памятниками до XIX ст.», переходит затем к «XIX веку до 60-х годов», отводит «Шлиману и его раскопкам в Трое, Микенах и Тиринфе» главу 3-ю, переходит в главе 4-й к «Олимпии, Пергаму и прочим открытиям 70—80-х годов», останавливается на «находках греческих папирусов», посвящая две последние главы «эпиграфике и раскопкам в конце XIX и в начале XX века» и «Криту и критско-микенской или эгейской культуре». Написанная увлекательно, с горячею любовью к своему предмету, с исключительным по своей широте и глубине знанием вопроса, на основании личного ознакомления со многими из упоминаемых мест раскопок, книга проф. Бузескула производит самое отрадное впечатление.

К таким книгам не может быть иного отношения, как полное признание их достоинств, и вот почему так трудно ее рецензировать. Автором привлечен весь доступный ему материал, вся литература вплоть до самых последних годов, обнаружен редкий талант в композиции, и только по долгу рецензента решаемся мы отметить вкравшиеся недоразумения.

Прежде всего думается, что если бы открытия русских археологов были выделены в особую, самостоятельную главу, то было бы облегчено, напр., пользование книгою в целях справочных; может-быть, эпиграфика нуждается также в отдельной главе. Что касается остальных замечаний, то они—порядка более корректурного: на стр. 8 автор ошибочно называет Морозини дожем,—им Франческо Морозини стал в 1688 году, а в злосчастном для Парфенона 1687 г. Морозини был генерал-капитаном венецианских войск; на стр. 32 год раскопок Куль-Обы надо исправить (показан 1831 год вместо следуемого 1830 г.); на стр. 59 и 130 основателем большого пергамского алтаря назван вместо Евмена II Аттал II; на стр. 71, в примечании, пропущен интересный этюд проф. И. В. Цветаева о танагрских терракоттах; на стр. 168 слл. вместо двух кубков из Вафио упомянут один; на стр. 20 угловую лежащую мужскую фигуру западного фронтона Парфенона автор именует Илиссом (Кефисом),—ныне в ней склонны усматривать скорее приток Кефиса, Эридан (см. C. Robert «Archaelogische Hermeneutik». 1919 г., стр. 58); начертание греческих имен хотелось бы видеть иным; на стр. 44 фраза «...плитою, на которой стоит колонна» (речь идет о так наз. Львиных воротах) может ввести в некоторое заблуждение, ибо из описания не явствует, что колонна выполнена рельефом на плите; на стр. 57 не совсем понятно, зачем автор Праксителева Гермеса и Нику Пэония выделил из статуй и причислил к памятникам.

Перед нами — явление, красноречиво свидетельствующее о той высоте, до какой доходила русская наука истории,—завещание, призыв крупного ученого итти тем, что и его, путем, бережно относиться к фактам и к истине.

Н. Щербаков.

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ.

1. К. КОРШ. Марксизм и философия. *И. Луппол.* — **2. Г. ГЕФФДИНГ. Учебник истории новой философии.** *И. Луппол.* — **3. А. ДЕБОРИН. Книга для чтения по истории философии.** *Г. Гордон.* — **4. I. Г. ГЕФФДИНГ. Очерки психологии, основанной на опыте. II. В. СТРУМИНСКИЙ. Психология.** *Г. Баммель.* — **5. История философии в марксистском освещении.** *Г. Баммель.* — **6. Очередное извращение марксизма. О «теории» Енчмена.** *Г. Баммель.* — **7. И. СЕВАСТЬЯНОВ. Лекции по философии живой природы.** *С. Васильев.* — **8. Э. КРЕЧМЕР. Строение тела и характер.** *А. Залкинд.*

КАРЛ КОРШ. Марксизм и философия. Перевод с немецкого, под редакцией и с предисловием Гр. Баммеля. «Октябрь Мысли». М. 1924. Стр. 89.

Брошюра К. Корша представляет собою четыре первых главы задуманной им большой работы «Историко-логические исследования по вопросу о материалистической диалектике». Судя по заглавию, работа обещает быть весьма интересной; автор ее — марксист-философ, примыкающий к другому теоретику, Г. Лукачу. Правда, выражение К. Коршем солидарности с Г. Лукачем после книги последнего «История и классовое самосознание» заставляет несколько насторожиться по отношению к нашему автору, ибо наличие у Лукача некоторого уклона в сторону чистого гегельянства налицо,—но все же это не должно вызывать у читателя враждебного предубеждения.

В рецензируемой брошюре автор далеко еще не высказался,—пока он только ставит и пытается разрешить проблему взаимоотношения марксизма и философии. Общая точка зрения его вполне пра-

вильна: марксизм не может отмахнуться от философии, снятие проблемы философии в наших условиях есть немарксистская постановка вопроса. «Марксизм не может уничтожить философии, не претворив ее в действительность». Автор остроумно пользуется аналогией с отношением марксизма к государству. Отрицательное отношение марксизма к буржуазному государству, очевидно, не должно было влечь за собой снятие проблемы государства. Так же обстоит дело и с философией. Напротив, отказ Второго Интернационала от обсуждения марксистской теории государства означал отказ от революционного марксизма; точно так же отказ Второго Интернационала от обсуждения марксистской философии знаменовал отречение от того же революционного марксизма. Конечно, уже здесь можно возразить кое-что Коршу. Как никак, а Плеханов-философ, Ленин с «Материализмом и эмпириокритицизмом», даже Каутский эпохи «Анти-Бернштейна»—свидетельствуют, что и до рождения Коминтерна живы были традиции ортодоксального марксизма.

В предлагаемых главах по существу только и содержится указанное положение. Во внешности изложения К. Корш следует практике немецких буржуазных ученых. Необычайная пространность изложения, обилие цитат, отсылки к будущим главам, наконец, достаточное количество повторений и отсутствие простоты неприятно режут глаз русского читателя, привыкшего к краткому и непосредственному стилю наших дней.

Конечно, указанные замечания относятся к внешности книги. Но можно сделать ряд возражений и по существу.

Раз автор говорит об отношении марксизма к философии, то читатель в праве требовать, не дожидаясь второго выпуска, ответа на вопрос: как же определяет автор философию, ибо самая проблема может быть решена только после такого определения. К. Корш много раз говорит о материалистической диалектике; эту диалектику он понимает как единство субъекта и объекта и единство теории и практики. Но очевидно, что только этим не исчерпывается диалектический материализм, тем более что у Корша, как и у его старшего товарища Г. Лукача, синтез субъекта и объекта грешит против ортодоксально-марксистского понимания. Диалектику Корш хочет видеть только там, где есть *сознание*. т.-е. *в обществе*. В пределах опубликованных глав автор не останавливается подробно на выяснении в положительной форме своего тезиса, но и из них уже явствует, что диалектики *в природе* Корш не признает. Нужно ли говорить, что это—не точка зрения диалектического *материализма*. а возврат к диалектической концепции Гегеля-идеалиста. Не случайно в этом отношении и следующее деление Коршем истории марксизма, как философии: первая фаза, до революции 1848 года, философская par excellence, вторая—до конца XIX века, характеризуемая устранением марксизма от философии и, наконец, третья, приходящаяся на революционные годы XX века и, по мнению, а быть-может, и устами Корша, приносящая разрешение проблемы «марксизм—философия». Таким образом, выпадают философские работы Ф. Энгельса, но зато выпирает, и это тоже не случайно, не законченная материалистическая работа Маркса «К критике гегелевской философии права», каковой особенно оперирует Корш. Автор предисловия Гр. Баммель прав, когда говорит: «Теоретическая позиция нашего автора есть не что иное, как та позиция, которую занимал Маркс в конце 1843 г. и в начале 1844 г.». Очевидно, что даже в призыве «назад к Марксу» надо знать меру и не возвращаться к младо-гегельянству сороковых годов. В наши дни это будет призывом не к ортодоксальному диалектическому материализму, а взыванием к «старо-гегельянству».

Как может марксист с философской подготовкой отнестись к такому мельком, и едва ли не случайно, брошенному положению К. Корша: «Лишь с той *наивно-метафизической* (курсив наш.—*И. Л.*) точки зрения буржуазного здравого рассудка, которая противополагает мышление бытию, как нечто самостоятельное, и определяет истину, как согласие представления с находящимся вне его и «отражаемым» им предметом, можно отстаивать мнение, что хотя формы экономического сознания... имеют некото-

рое объективное значение, так как им соответствует некоторая действительность... но более «высокие» способы представления являются лишь беспредметными фантазиями»... Здесь столько путаницы, что на распутывание нам потребовалось бы вдвое больше предоставленного места. Следует только сказать поэтому, что трактование истины, как «согласия представления с находящимся вне его предметом», всегда было точкой зрения диалектического материалиста Маркса. В тезисе же К. Корша есть все, что угодно: и махизм, и идеалистическое *тождество* субъекта и объекта, но нет только основ марксистской философии.

К сожалению, повторяем, сам Корш не дает своего определения философии. То она выступает у него как «теория социальной революции (буржуазной? пролетарской?—*И. Л.*), охватывающая все области общественной жизни как одно целое», то вообще, как выражение революционного движения. Мы бы сказали, что это очень обще. Быть-может, более конкретно К. Корш выскажется в дальнейшем? В таком случае приходится ждать. Пока же автор выявил себя субъективно диалектическим материалистом, но объективно, к сожалению, изрядным путаником с уклоном в сторону диалектического *идеализма*.

И. Луппол.

ГАРАЛЬД ГЕФФДИНГ. Учебник истории новой философии. Перевод с немецкого с предисловием Л. Аксельрод. Гос. Издат. Москва, 1924. Стр. 266.

Если к изданию у нас книг подходить с узко прагматической точки зрения, то выход в свет *учебника* истории новой философии представился бы неосновательным и излишним. Учебник по какой-либо дисциплине предполагает прежде всего школьное изучение данной дисциплины, являясь пособием для учащихся. Именно такое элементарное пособие, написанное в помощь изучающим историю философии, и представляет собою учебник Г. Геффдинга. Между тем история философии отсутствует в учебных планах наших вузов. Имеющаяся же история *материализма*, очевидно, требует в значительной степени привлечения в соответствующие учебники такого материала, который обычно в курсы по истории философии или вовсе не привлекается (элементы истории естествознания) или привлекается в чрезвычайно незначительном количестве и в искаженной форме (философские системы материализма). Нужную нам историю материализма учебник Г. Геффдинга заменить не может.

Однако, интерес к истории философии и изучение ее никогда не ограничивались тесными стенами высших учебных заведений. Это положение справедливо и для наших дней. То внимание, какое молодая и широкая читательская масса оказывает выходящим в свет книгам по философии, и прежде всего книгам материалистического направления, свидетельствует о живом интересе к теоретической мысли. Теоретическая же мысль современности — ничто без знания истории этой мысли. С этой точки зрения книга по истории философии вполне оправдывает свое появление.

Пока у нас нет истории философии, написанной марксистом, приходится довольствоваться сравнительно «объективными и беспристрастными» курсами буржуазных историков. К таким книгам, несомненно, можно отнести учебник Геффдинга. Конечно, автор не марксист; конечно, он не «запятнан» историческим материализмом. Связь классических философских систем с общественными условиями, их породившими, вовсе не намечена у Геффдинга. Его объяснения в этой области беспомощны и ничего не объясняют, подчас вызывают улыбку. Напр., переход от систем XVII века к философии просвещения XVIII века Геффдинг дает в таких положениях: «Великие системы и опытная философия влияли на сравнительно тесный круг. Но около середины XVIII века *возникло стремление* распространить идеи бесшумно делавших свою работу мыслителей в более широких кругах». В лучшем случае Геффдинг объясняет революционный характер французского просвещения тем, что «старый порядок здесь был более замкнут и относился более отрицательно к новому, чем в Англии и Германии».

Но если мы оставим наши невыполнимые для автора требования—применять к истории философии метод исторического материализма, если мы ограничимся логическим анализом философских систем,—то в этой области мы должны будем признать, что Г. Геффдинг стоит головой выше многих историков философии и кстати, pro domo sua, значительно выше недавно переведенного у нас неокантианца К. Форлендера.

Геффдингу чужда спиритуалистическая точка зрения; его интерпретация и изложение, по необходимости краткое, по отношению ко многим классикам философии в общем приемлемы. Автор предисловия, Л. И. Аксельрод, справедливо отмечает те положительные стороны учебника Геффдинга, которые выгодно отличают его от других историков философии: таковы страницы, посвященные Гегелю, французской философии XVIII века и некоторые другие. От автора, который не является диалектическим материалистом, большего, пожалуй, требовать нельзя.

Но именно это вот обстоятельство во многом роняет достоинство книги. Автор, не принимая материализма, уделяет материалистическим системам слишком мало места. Вольтер и энциклопедисты занимают у него всего четыре страницы, в то время как рядом стоящий Руссо получает семь страниц. Параграф, посвященный Л. Фейербаху, выполнен неудовлетворительно: Геффдинг силится доказать, что Фейербах не был материалистом. Не приходится говорить, что о Марксе читатель может узнать лишь имя, которое Геффдинг приводит, когда на протяжении пяти строчек говорит о левых гегельянцах.

Таким образом, учебник Геффдинга далеко не идеален, но ориентировать начинающего изучать философию он способен. Читатель только не должен останавливаться на Геффдинге; ему следует перейти к чтению классиков и при чтении их пользоваться марксистской литературой.

Автор предисловия высказал несколько дельных соображений по поводу книги, но предисловие мало может дать начинающему читателю, на которого, очевидно, рассчитан русский перевод элементарного учебника. В этом отношении очень помогло бы, если бы список классических работ, данный Геффдингом, был дополнен указаниями русских переводов; иначе полезный в общем список совершенно теряет смысл в глазах читателя, не владеющего иностранными языками. Кроме того, отнюдь не повредил бы список, к сожалению, небольшой, марксистских работ, посвященных авторам, на которых останавливается Геффдинг.

С внешней стороны издание оставляет желать лучшего. Мы, к счастью, начинаем отвыкать от книг с такой внешностью, и напрасно Госиздат вновь напоминает, что книги все-таки можно издавать на разных сортов бумаге и без сшивки.

И. Луппол.

А. ДЕБОРИН. Книга для чтения по истории философии. Т. I. «Новая Москва». 1924. Стр. 446.

Книга, составленная А. М. Дебориным и вышедшая из Института К. Маркса и Ф. Энгельса, представляет собою хрестоматию по истории философии, первый том которой охватывает античную философию, философию эпохи Возрождения, материализм и рационализм XVII века, эмпиризм и материализм в Англии XVII и XVIII веков и социальную философию XVIII века. Вся книга для чтения рассчитана на три тома, из которых второй посвящен французскому материализму и немецкому идеализму до Маркса, а третий—специально марксизму. Пока вышел только лежащий перед нами том первый, снабженный предисловием составителя. В этом предисловии А. М. Деборин так определяет смысл и задачу своей хрестоматии: «Книга для чтения по истории философии» имеет целью удовлетворить потребность в таком сборнике, где были бы собраны классические образцы, извлечения из подлинных произведений мыслителей. Наша книга представляет собою своеобразную *историю философии*, рассказанную самими творцами ее. Приводимые нами образцы являются, конечно, не случайно выхваченными, а тщательно

подобранными отрывками, в которых изложены центральные идеи соответствующего мыслителя. С другой стороны, мы стремились к возможно большей полноте. «Признаться, с большим недоумением прочли мы только что приведенные слова предисловия, ознакомившись предварительно с содержанием книги, так как нам кажется, что нет в этой книге «полноты», да и вопрос о «центральных идеях» в некоторых случаях, как ниже покажем, по меньшей мере, спорен. Начнем с полноты. Античная философия представлена Гераклитом, Левкиппом и Демокритом, Платоном и Аристотелем, Эпикуром, Сенекой, Секстом Эмпириком, Лукрецием. Вот и все. Если составитель преследовал «полноту», то спрашивается, как он мог пропустить пифагорейскую школу, влияние которой можно проследить едва ли не до наших дней, элеатов, диалектика которых оказала такое мощное влияние на последующую философию греков, да и не только греков—Зеноновы апории и посейчас являются камнем преткновения для математиков,—наконец, Сократа? Правда, насчет последнего нам могут сказать, что мы знаем его только в тривиальном изображении Ксенофонта и в сильно идеализированном образе Платона, но ведь не остановило же А. М. Деборина то обстоятельство, что о Левкиппе мы знаем непосредственно только один подлинный афоризм. Затем, куда же пропали софисты,—пусть хоть один Протагор,—и Плотин? Как можно при таких условиях говорить, что «в предлагаемой работе представлены почти все крупные мыслители как идеалисты, так и материалисты»? Затем, следуя дурному примеру многих историков философии, составитель пропустил,—вряд ли ради «полноты»—ни много, ни мало, как всю средневековую философию. Между тем совершенно необходимо было дать несколько отрывков для характеристики спора номиналистов с реалистами и в высокой мере ценно было бы представить в той или иной мере такого глубокого и влиятельного ученого и философа, как Рожер Бэкон. Несравненно лучше обстоит дело с новой философией. Но и здесь, например, напрасно пропущен Телезий, среди философов Возрождения ясно выраженный сенсуалист и едва ли не материалист, хотя и не совсем последовательный. Необходимо было представить Кеплера, раз уж составитель включил в хрестоматию Галилея и Ньютона, что совершенно справедливо и весьма ценно. Затем непонятно отсутствие если не Гейлинкса, то хотя бы Мальбранша. Нет шотландцев, Бэйля, Паскаля, Вольтера, Кондильяка... Теперь читателю, вероятно, ясно, что «полнота» рецензируемой книги очень и очень относительна.

Теперь несколько слов насчет «центральных идей». В общем и целом это обещание составителя, пожалуй, выполнено, но в некоторых весьма существенных пунктах не совсем. Первый пример: Платон представлен отрывком из «Парменида», в котором трактуется проблема «единого и многого». Отрывок этот вовсе не характерен для Платона, и если читатель заглянет в краткое изложение философии Платона, сделанное составителем на 20 строчках,—спорное от начала до конца и просто невразумительное,—то никак не согласится, что именно *этот* отрывок следовало дать для характеристики творца «объективного идеализма», как именует Платона А. М. Деборин. Составитель и сам чувствует, что дело неладно, и указывает, что отрывок из диалога приведен им как образец Платоновой диалектики. Но ведь книга преследует цели «полноты» и посвящена не одной только проблеме развития диалектического метода: иначе абсолютно непонятно было бы мирное сожительство в хрестоматии диалектиков с такими мыслителями, которые диалектическому методу совершенно были чужды. Точно так же, конечно, нельзя было ограничиваться по отношению к Лейбницу только рассуждением о непрерывности, а следовало бы дать отрывок из «Новых опытов» с критикой Локка: иначе непонятно, в чем заключается априоризм Лейбница.

Все это вместе взятое приводит нас к убеждению, что, при всей полезности данной книги,—насколько, разумеется, вообще можно говорить о пользе хрестоматий по философии,—она отнюдь не является «своеобразной историей философии» и никакого учебника по истории философии, даже «идеалистического», за-

менить не может. Не помогут делу и краткие, неравномерно скомпанованные (Платон 20 строк, Сенека полторы страницы, Беркли 17 строк,—Бруно страница и т. д.), беглые и спорные словарные справки составителя. Что касается предисловия к книге, то оно опять-таки дает и слишком много, и слишком мало: первое — потому, что в нем, по выражению старой латинской пословицы, говорится «обо всем и еще кое о чем», второе— потому, что для знающего такое предисловие не нужно, а незнающего оно собьет с толку, так как недостаточно ясно, а кроме того, не обходится без явных противоречий и притом вовсе не таких, какие составляют жизненный нерв диалектики.

Переводы, вновь сделанные для хрестоматии т.т. Баммелем, Воденом, Гутерманом, Каревым, Лупполом, Румером и Юринцом, выполнены хорошо.

Г. Гордон.

Г. ГЕФФДИНГ. Очерки психологии, основанной на опыте. Перевод с немецкаго Я. Колубовского. Издание 7-е. Допущен Научно-Педагогической Секцией Государственного Ученого Совета. Государственное Издательство. Москва, 1923. Стр. 308.

В. Я. СТРУМИНСКИЙ. Психология. Опыт систематическаго изложения основных вопросов научной психологии с точки зрения диалектическаго материализма. Выпуск первый. Киргизское Госуд. Издательство. Оренбург, 1923. Стр. 412.

Мировоззрение Геффдинга, как философа, трудно поддается обычному «школьному» определению. Наиболее преобладающий в его исследованиях эклектический способ мышления способен ввести в заблуждение всякого, кто попытался бы причислить его к «спинозистам» или «кантианцам». В нем совмещаются более сложным образом агностические настроения с позитивизмом, идеализмом в области философии, с натурализмом в психологии. Вот почему принципиальная часть его книги оказывается двусмысленной псевдопозитивной теорией принципов психологии, и в этом смысле аттестация научно-педагогической секции Гус'а, по существу говоря, весьма легкомысленна. Бесспорно, психология Г. «основана на опыте» (как, напр., и его «Философия религии», которая переведена на русский язык тт. Базаровым и Степановым), но «опыт» Г.—продукт того своеобразного, характерного для известной части представителей идеализма, способа мышления, который лучше всего характеризуется размежеванием «точек зрения» и подчинением последних заранее готовым предпосылкам. С «точки зрения» психологии Г. критикует спиритуализм, «метафизический идеализм» (стр. 16) и считает необходимым «уберечь» эмпирическое исследование от мистики и умозрения» (стр. 289). Но, как философ, Г. никак не может примириться с материалистическим пониманием психологии, так как, по его мнению, невозможно сводить область «духа» к области «материи» (стр. 55, 61 и др.). Отсюда понимание психологии как «науки, в которой пересекаются наука о природе и наука о духе». «Психология образует основание, на котором строятся идеальные науки о духе, логика и этика». И, как обоснование этого хода мысли,—довод: «знание души и знание тела исходит из двух различных источников» (стр. 29). Нужно ли доказывать, что психология, основанная на таком опыте, есть плод дуалистического мировоззрения? Можно ли сомневаться в том, что этот метафизический дуализм духа и материи не оставит никакого следа в разработке специальных проблем? Правда, Г., если можно так выразиться, слишком физиолог, чтобы увлекаться метафизикой, но весь логический план его «психологии» и конечные выводы, к которым он ведет читателя, обсуждая специальные проблемы, носят все следы искажающего же влияния метафизического дуализма, и когда Г. говорит о необходимости рассматривать психологию как часть общей биологии (стр. 25), то это замечание теряет принципиальное значение, и попытка дать «психологию, основанную на опыте», оставляет нерешенным кардинальный вопрос, который должен быть решен во всяком психологическом исследовании,— вопрос о материалистическом и идеалистическом понимании психологии.

Кроме того, последнее немецкое издание книги Г. относится к 1908 году. Книга, которая вышла 7 лет тому назад, фактически не может не трактовать истины, давно превзойденные наукою или отодвинутые ею на задний план. Это ясно хотя бы из того, что тот колоссальный опыт, который *заставила осмыслить* психологов, и, главным образом, представителей экспериментального направления,—*империалистическая война* 1914—1918 г.г. остается вне кругозора автора. След., и с этой стороны книга не дает полной картины совершенного состояния психологической науки даже в ее идеалистическом понимании.

Книга Струминского, во всех отношениях,—любопытное явление. Это, несомненно, яркое пятно в нашей бедной марксистской психологической литературе. Изданная в далеком Оренбурге, в Киргизской советской республике, без единой иностранной книги, без всякой претензии на кабинетную ученость и эрудицию, книга С. производит живое и сильное впечатление той настойчивостью, с какой автор проводит социологическое толкование психологии во всех ее принципиальных и специальных проблемах. Памятуя, что реформа науки или пролетарская культура не могут быть созданы в четырех стенах кабинета, что нельзя идеологическое творчество мыслить, как созидание всякого рода отвлеченных формул и рецептов, которые затем бросаются из кабинета в жизнь, т. С. мыслит новую психологию, как отражение в сознании техники нормальных общественных отношений, а поскольку речь идет о творчестве отношений в направлении к социалистическому строю, постольку, по его мнению, психология должна быть мыслима, как идеологическое выражение социалистической революции. Вот почему наш автор стоит на совершенно правильном пути, когда свои наблюдения и обобщения он черпает из политических речей и книг Троцкого, Зиновьева, Ленина, Бухарина и др. Другое дело, конечно, как он выполняет свою задачу.

Книга может быть охарактеризована, как попытка дать социологическое освещение основных вопросов психологии. В связи с этим у автора вполне убедительно обоснована мысль о необходимости монистического понимания душевной жизни, утверждающего психическое не как «мистическое нечто», а как функцию биологического и социального организмов. Убедительны также рассуждения автора о процессе производства материальной жизни, как той необходимой почвы, из которой только и возникают и развиваются психологические идеи, играющие в этом процессе производства определенную вспомогательную роль при помощи выработки практических приемов воздействия на индивидуума, как на участника производства. Но если поставить вопрос, насколько автор овладел методом исторического материализма, то его попытку дать новое исследование по психологии в свете нашей современности следует признать неудавшейся в некоторых весьма существенных отношениях.

Задача автора, очевидно, заключалась в том, чтобы доказать и раскрыть во всем своем полновесном значении социологическую и историческую обусловленность психической жизни. Но «социологическая обусловленность» сама по себе еще ничего не говорит, и автор правильно усматривает здесь необходимость самостоятельного анализа, но, к сожалению, он далек от того, чтобы поставить проблему так, как следует ставить ее марксисту. Вместо четкого и ясного понятия «социального класса», у него всюду мы встречаем туманное и двусмысленное понятие «социальной среды» (стр. 278, 291), вместо личности, как члена того или иного социального класса,—личность, как продукт «социальной среды» (стр. 302) и т. д. Что же такое эта «социальная среда»? Социальная среда,—по мысли автора,—из которой возникают психологические идеи и в которой развивается и действует индивидуум, есть своеобразное целое «организованного опыта». Исторически этот «социально-организованный опыт», по его мнению, меняет свои формы, проходя следующие стадии развития; эпоху первобытной неорганизованности народных масс, период авторитарного строя («когда,—поясняет автор,—отдельные лица или даже небольшие группы берут на себя организаторскую роль!») Затем период индивидуализма и (!)

период коммунизма (стр. 167). Неудивительно, разумеется, что на протяжении всей излагающей эту схему главы автор ничего не говорит о понимании истории человечества, как истории борьбы классов, или что в последней заключительной *ее* части, излагающей психологические проблемы при коммунистическом строе, автор *ничего* не говорит о диктатуре пролетариата. Социальная обусловленность психики автором мыслится, как обусловленность социально-организованным опытом, а социально-организованный опыт мыслится в категориях... коллективной психологии. Поэтому, доказывая, что психологические идеи возникают и развиваются в процессе производства материальной жизни, автор не замечает, как он же сам психологизирует тот же процесс материального производства. Отсюда опасность растворения мнимой «общественности» (автор не знает, что всякая общественность есть прежде всего общественность тех или иных социальных классов), мнимой «социальной среды» в коллективной психологии. И в самом деле, автор даже теряет критерий, который помог бы установить, где начинается психология и кончается экономика. Он цитирует Маркса: «в общественном *производстве* своей жизни люди *вступают* в определенные, необходимые и от их воли не зависящие *отношения*,—производственные отношения. Совокупность этих отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис»,—автор подчеркивает взятые мною курсивом слова и затем спрашивает: «производства, производственные отношения, установка этих отношений,—разве это не психические процессы? Маркс в этом не сомневался» (стр. 86). И, поясняя эту в корне ошибочную, конечно, мысль, автор продолжает: «но в процессе раскрытия и обоснования марксистской идеологии марксисты об этом забыли, как-то незаметно утеряли из виду, и теперь необходимы продолжительные усилия, чтобы вернуться к старой еще неискаженной точке зрения» (ib.). Итак, в процитированном месте Маркс рассуждает как психолог. Но вывод автора противоречит тем положениям, которые он же выдвигает ниже, на стр. 94: «вовсе не как психолог выступает Маркс»... и т. д. Здесь у автора или непонимание того, что он хочет сказать, или какая-то опечатка, которая сбивает с толку читателя.

Совершенно ясно, что подобное психологизирование всей экономики не может остаться бесследным и для самой психологии. Если «общественность» и «историческая среда» теряются в тумане коллективной психологии, то индивидуальная психология, очевидно, лишается права на самостоятельное существование и совпадает с той частью физиологии, а также анатомии, которые посвящены исследованию строения и отправления нервной системы»(стр.333).Понять душевную жизнь, по мнению автора, значит понять механизм нервной системы. Отсюда ясно, что психология как таковая, строго говоря, вычеркивается или берется в кавычки, а о душевной жизни говорится постольку, поскольку говорится о функциях нервной системы. К сожалению, автор и в этом вопросе весьма неясен; и в самом деле, при его постановке вопроса, нельзя говорить, как это он все-таки делает, о «психологических переживаниях», о «самонаблюдении, регистрирующем в нашем сознании факты психических переживаний», и т. д. и т. д. Подобные взгляды развивались недавно в книжице Э. Енчмена [1]), но у него нет непоследовательности Струминского, и если книжица Е. заслуживает, так сказать, «снисхождения», так как она есть плод не кабинетного размышления, а определенного общественного настроения известной части нашего молодого поколения, то с теми же идеями, защищаемыми в серьезном многотомном исследовании, следует всячески бороться. И не даром наш автор сочувственно относится к Енчмену; в настойчивой последовательности его он с сокрушением видит «причину, почему положения автора вызвали отрицательное отношение к себе даже в некоторых марксистских кругах, несмотря на их полное соответствие духу марксистской идеологии» (стр. 406). Эта мысль автора сама по себе есть формулировка основных ошибок его книги. Подобно тому как социологическая об-

[1]) См. рецензию «Печ. и Рев.», 1923 г., кн. IV, стр. 225.

условленность личной душевной жизни не есть—в марксистском смысле—обусловленность туманными категориями «социальной среды», «социально-организованного опыта», «исторической обстановки», и т. д.; точно так же обосновать марксистскую психологию не значит взять ее в кавычки или вычеркнуть и растворить без остатка в физиологии или анатомии. О кабинетных рассуждениях старых психологов, или о каких бы то ни было коррективах к теории Павлова, конечно, не может быть и речи. Речь идет лишь о том, что революционные эпохи, и в первую голову наша, имеют, и не могут не иметь, не только «физиологию», но и свою психологию. Понять душевную жизнь в свете диалектического материализма вовсе не значит отрицать ее право на существование.

Есть недочеты и в полемической части книги С. Его полемика против Плеханова, напр., не выдерживает никакой критики. Автор обвиняет последнего в том, что он придерживался дуалистической теории в вопросе о духе и материи. Маркс, по мысли автора, говорил об идеях, о мышлении, о воле, о сознании, о теориях, и «его терминология не дает дуалистических представлений» (стр. 81), Плеханов же всюду говорит о «душе», и, следовательно, он дуалист. Но автор упускает из виду, что Плеханов говорил о «душе» в полемике с А. Богдановым (см. «От обороны к нападению»), употребляя терминологию своего противника, а это, как известно. есть обычное явление.

После всего вышесказанного, я думаю, нет нужды объяснять, насколько С. близок к философии А. Богданова. Эта близость ясна для всякого, и мне остается только подтвердить ее свидетельством самого автора на стр. 174. В другом месте он, не без сожаления говорит, что «построения Богданова, иногда чрезмерно схематические и слишком мало конкретные, встречаются за последнее время все с большим недоверием. В частности его теория авторитарных отношений также подвергается критике». «Однако,—возражает наш автор,—возможно все-таки отстаивать право в известной степени пользоваться схематическими построениями».

Таковы недостатки этой живой, написанной с большим увлечением, и несомненно, интересной книги. Теоретическое осознание диалектического метода и строго марксистское понимание социологии — таковы два требования, которым не удовлетворяет книга С. Но на конкретных связях его суждений, на богатейшем фактическом материале, на всей его настойчивой критике старой психологии настолько сильно запечатлены глубокий склад ума и живой интерес к задачам нашей великой современности, что, думается, в ближайшей обработке книги автор сумеет овладеть методологическим оружием марксизма в его чистой, в его заостренной форме

Григорий Баммель.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ В МАРКСИСТСКОМ ОСВЕЩЕНИИ. Статьи и отрывки из произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, К. Каутского, Н. Ленина, Поля Лафарга, А. А. Богданова, А. Деборина, Л. Аксельрод, Фр. Меринга, Г. Кунова, Г. Роланд-Голст, И. Штерн и В. Засулич. Часть I. Составили Б. Столпнер и П. Юшкевич. Издание т-ва «Мир». Москва, 1924. Стр. 292.

Еще одна хрестоматия и еще одно доказательство того, что хрестоматия в той форме, в какой она культивируется на рынке, по существу не способна принести какую-либо пользу. Или не надо составлять хрестоматии, или надо составлять их так, чтобы не способствовать научному развращению молодежи. На царящий у нас хрестоматийный хаос надо обратить внимание. Надо определить, каким методологическим требованиям должна удовлетворять литература подобной категории. Это необходимо по одному тому, что авторы, повидимому, раз став на «точку зрения хрестоматии», начинают злоупотреблять или бессистематичностью и беспринципностью, которые превращают научную работу в простое *коллекционерство* отрывков разнообразного характера, или невежеством и нежеланьем определенной категории читателей самостоятельно заняться предметом.

Подобных методологических трудностей не избежала книга тт. Ст. и Ю. Как и *все* «марксистские хрестоматии», она методологически колеблется между «книгой», «сборником статей» и «сборником отрывков». Просмотрев внимательно содержание, можно убедиться, что перед нами собрание пронумерованных отрывков. Напр., отрывок об Эпикуре, отрывок о Плотине и т. д. Когда, напр., читаешь отрывок № 10: «Фалес, Анаксимандр, Анаксимен» или отрывок № 61: «этические взгляды Гельвеция», то остается совершенно цельное впечатление о трактуемых в этих отрывках философах. Если бы вся книга была построена по этому принципу, она бы выиграла в колоссальной степени; именно она близко подошла бы к типу «книги», а не случайного «сборника»,—к типу «книги», которая говорила бы сама за себя. Теперь же читатель должен сперва разобраться в самом плане расположения материала, который при первом же брошенном взгляде страшно компрометируется «методом» нумерации отрывков. Читатель будет искать освещения той или иной историко-философской проблемы, и будет видеть только пронумерованные отрывки. Значит—надо выбросить всю эту нумерацию, которая смахивает прежде всего на музейно-коллекционерское отношение к материалу. Это—во-первых. Отсюда вытекает вторая задача. Выбросить нумерацию—значит сделать хрестоматию более близкой по типу к книге, т.-е. связать отрывки таким образом, чтобы книжку можно было читать страницу за страницей. Для этого надо отказаться от того методологического «лицемерия», которое характеризует всех наших писателей-хрестоматистов и которое заключается в том, что, если нет цельного материала, то выхватывают отрывки и дают им собственные заглавия, или же, в благоприятном случае, дают цельные статьи, сохраняя заглавия авторов: это нарушает цельность впечатления от хрестоматии, раз вообще мы твердо решили дать хрестоматию.

С этой точки зрения следующие изменения должны быть внесены в хрестоматию тт. Столпнера и Юшкевича.

Ввести распределение материала по главам и уточнить главы так, чтобы адэкватно соответствовать тексту. Напр., отрывки №№ 3 — 7 гораздо шире и богаче, чем то единственное заглавие, которое их охватывает.

Далее все цельные статьи всюду, где это требуется текстом, разделить на отрывки по соответствующим темам и главам. Напр., в рецензируемой хрестоматии мы имеем следующие статьи, переведенные на русский язык впервые (и в этом смысле, взятые вне рамок книги, сами по себе представляющие большой интерес),—это «*Г. Кунов* «Философия и хозяйство», *П. Лафарг* «Проблема познания», далее цельные большие выдержки из книг *П. Лафарг*, «Экономический детерминизм», *Кунов* «Die Marxsche Geschichts-Gesellschafts und Staatstheorie» и др. Возьмем для примера первую статью. Читателю хрестоматии (есть такой читатель!) она в такой форме, в какой здесь приведена, ничего не говорит. Но, несомненно, и для плана книги, и для такого читателя она говорила бы больше, если бы мы разбили на несколько частей, т.-е. одну часть, со стр. 12 до 18, отнесли бы к главе: «История философии с материалистической точки зрения», а все остальные части разделили по главам — о Парменида, Гераклите, Платоне и т. д. Точно такова же должна быть судьба и остальных статей, помещенных в «хрестоматии». Напр., отрывок № 9 «Три этапа греческой философии» для нашего читателя хрестоматии будет говорить скорее о Платоне, Аристотеле, Эпикуре и менее всего о «трех этапах греческой философии»,—это тем более необходимо указать, что соответствующие отрывки о Платоне, Аристотеле и т. д. как раз бедны и малосодержательны. Мое отношение к хрестоматии вообще достаточно ясно указано в самом начале. Но если мы условились говорить о хрестоматии и решились на выхватывание отрывков из прекрасных и достойных изучения авторов, то давайте проводить этот принцип до конца.

Теперь по существу. Нужно сказать, что вся первая половина книги, трактующая о греческой философии, внушает большие подозрения. Прежде всего укажем некоторые теоретические «мелочи». Можно соглашаться с мировоззрением А. А. Богданова в какой-либо работе,

не претендующей на марксистское отношение к предмету, но в книге, которая хочет дать историю философии в марксистском освещении» всякая солидаризация с мировоззрением А. А. Богданова требует тщательной предварительной проверки. У него, несомненно, марксисту можно и кое-что брать, но и это «кое-что» должно быть сперва положено на весы марксистского анализа. С этой точки зрения такие страницы, как 36, 46 («универсальная подстановка») или 44 («комплексы опыта») совершенно ничего общего с марксизмом не имеют.

Я не буду вдаваться в подробную критику по существу историко-философских проблем, затронутых в «хрестоматии». Но я должен указать, что в отделе о «греческой философии» я не нашел ни одного отрывка, который выдерживал бы историко-материалистическую и, значит, научную критику. Желанье дать во что бы то ни стало «марксистское» имя и отсутствие критического отношения к «марксизму» этого «имени»—большой промах со стороны составителей. Среди буржуазных ученых—археологов, филологов, правоведов и даже политических писателей мы иногда находим «более» материалистическое объяснение историко-философских фактов, чем у иных «марксистов». Из первой части книги, кроме отрывков из Лафарга, Маркса и Плеханова, все требует самого строгого и осторожного отношения к себе.

Теперь о второй части, посвященной новейшей философии. Эта гораздо лучше составлена. У составителей под рукою были Ленин, Плеханов, Энгельс, и все операции над ними они проделали с большим уменьем, хотя и тут, вместе с Куновым, проскользнули не-марксистские взгляды. Но тем более следует выдвинуть относительно этой части те методологические требования, о которых я говорил выше.

Мы были бы глубоко несправедливы, если, исходя из всего предыдущего, не приветствовали бы появления книги. Потребность в такой книге, несомненно, чувствуется. С другой стороны, это есть первая попытка выступить на поприще хрестоматии под знаменем такой проблемы, которая все еще ждет своего подлинно марксистского освещения. Поэтому пожелаем, чтобы указанные недочеты были исправлены во втором томе или во втором издании рецензируемого тома, которое, несомненно, потребуется.

Григорий Баммель.

ОЧЕРЕДНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ МАРКСИЗМА. О «теории» Енчмена. Сборник статей под редакцией С. Гириниса. „Новая Москва". 1924. Стр. 139.

В краткой рецензии, написанной и напечатанной сейчас же после появления книжки Э. Енчмена: «Теория новой биологии и марксизм» («Печ. и Рев.», за 1923, № 4), мне уже приходилось высказываться об «енчменизме» по существу. Поэтому сейчас мы займемся его критикой.

После блестящей отповеди т. Н. И. Бухарина («Енчмениада») мы имеем—теперь новую книгу об Енчмене. Это—сборник статей различных авторов, помещенных в московских журналах: *Л. Ческиса*, «Непроизводительный труд», *В. Коппа*, «Неслыханные открытия», *С. Гириниса*, «Марксизм дыбом» и *Вл. Сарабьянова*, «Хлестаковщина или наивность?» Статьи эти — не одинаковых достоинств, но в целом, все-таки дополняя друг друга, дают цельную и убедительную критику пресловутой «теории новой биологии». Наиболее интересна по выдержанности и серьезности статья В. Коппа с мало говорящим заглавием. Он дает критику енчменизма в целом, его взгляды на психику, природу, язык и заканчивает анализом теории школы И. П. Павлова с точки зрения диалектического материализма. Статья В. Коппа написана сжато, без излишней полемической запальчивости и болтливости «вокруг да около». Статья Л. Ческиса в сущности есть характеристика литературной манеры Енчмена. Зато очень содержательны статьи С. Гириниса и Вл. Сарабьянова; первая посвящена выяснению реакционной сущности енчменизма, как учения *солипсизма*, а вторая — выяснению проблемы психического и его связи с физическим.

Брошюра появляется своевременно. Нужно согласиться с редактором, что разностороннее освещение вопроса под общим углом зрения диалектического материализма поможет читателю, интересующемуся новейшей «истребительной» теорией, уяснить подлинную сущность енчменизма, как очередного реакционного уклона в сторону от материализма к идеализму.

В брошюре есть один пробел, на который необходимо указать. В ней вовсе не уделено должного внимания социальному анализу енчменизма. Я считаю заблуждением взгляд т. С. Гириниса, который говорит, что «сама по себе эта своего рода «детская болезнь левизны» не представляла бы большой опасности для молодого организма: впрыснуть порядочную дозу исторического материализма — как рукой снимет». К сожалению, это не так. Он сам говорит: «Мы нисколько не удивимся, если услышим о появлении обособленных «ячеек» воинствующего енчменизма среди учащейся молодежи». Енчменизм — не только «заблуждение», «абсурдность»,—это и социальное явление, которое как таковое, в значительной степени изжито нами, пройдено нашей учащейся молодежью. В явлениях усталости и психологической депрессии, создаваемых не объективно - ненормальным состоянием преподавания марксистской теории в наших вузах и рабфаках, а субъективно-напряженным участием в революционной борьбе, в гражданской войне и пр.,—нужно искать корни енчменизма. Сам же автор его, кроме того, так и просится под лупу психоанализа. Но, конечно, тот и другой вопрос требует более подробного и тщательного рассмотрения, чем это сделано в брошюре или здесь у нас.

Г. Баммель.

И. СЕВАСТЬЯНОВ. Лекции по философии живой природы. Туркестанское Госуд. Изд. Ташкент, 1922 г. Стр. 185.

«Современный читатель,—пишет т. Севастьянов в предисловии,—нуждается не только в знакомстве с методами и итогами науки, он прежде всего нуждается в обосновании стройного марксистского мировоззрения... Здесь нужно не только «излагать» учение Дарвина, Уоллеса, Геккеля, Роменса и других, но здесь нужно строить мост между биологией и марксизмом, между естествознанием и современным воинствующим материализмом пролетариата». Может-быть, выражение «строить мост» слишком сильно; дело тут, разумеется, не в постройке, а в понятном и цельном изложении уже построенного. Но, несомненно, верно, что при почти полном отсутствии на нашем книжном рынке толковых популярных книг, обобщающих достижения биологии, такого рода изложение всегда заслуживает большого внимания, тем более, если оно исходит от диалектика-материалиста.

Тов. Севастьянов сделал попытку, опираясь на факты биологии, дать картину живой природы так, как она представляется человеку, не носящему идеалистистических очков. Первые главы книги, посвященные круговороту веществ как внутри организмов, так и между организмами, возникновению жизни и процессу трансформизма,—дают в общем стройную и достаточно подробную характеристику организованной природы. Не прибегая к упрощениям, автор кратко и понятно излагает все основные моменты современной биологической теории. Удовлетворительна также и глава об отношении человека к природе, где т. Севастьянов, вращаясь в кругу идей «Размножения и развития» Каутского, дает несколько интересных иллюстраций и подвергает критике «биологическую социологию». Но дальше уже идет целый ряд ошибок.

Разбирая вопрос о психической жизни организма, т. Севастьянов подвергает резкой критике «бушменское очеловечение природы». При этом в пылу полемического жара он зачисляет Плеханова в одну компанию с... епископом Джорджем Беркли. Говоря о гилозоизме Геккеля, т. Севастьянов заявляет: «Епископ Беркли вполне дал бы свое благословение атеисту Эрнесту Геккелю, ибо тот начал проповедывать излюбленный епископский панпсихизм»... И дальше добавляет: «На этом месте споткнулся

и Плеханов, когда в книге «Основные вопросы марксизма» он приписывает учение о чувствительности нео-ламаркистам и полагает, что подобное учение сходно с учением материалиста Фейербаха и что Маркс и Энгельс отнеслись бы к этому, «пока еще, правда, плохо разработанному направлению естествознания с самым живым интересом». Здесь, конечно, самое очевидное недоразумение как по отношению к Беркли, так и по отношению к материализму и в частности—Плеханову. Прежде всего то, что т. Севастьянов называет «панпсихизмом» Беркли, есть самый типичный, возникший на почве субъективного идеализма, спиритуализм, конечно, ничего общего, даже никакой внешней аналогии, не имеющий с материалистическим объективизмом Геккеля. Смешивать берклеянство с гилозоизмом, даже в той несколько мистической дымке, которую придал ему Геккель, возможно только для человека, достаточно не сведущего в истории философии. Но ставить Плеханова, одного из самых ярких противников новейшего берклеянства — эмпириокритицизма, на одну доску с достопочтенным епископом, это уже совсем непозволительно. Гилозоизм Плеханова достаточно резко отличается от панпсихизма Геккеля, так как Плеханов по существу идет за французским материализмом и Фейербахом. Теоретик русского марксизма здесь соприкасается, например, с Дидро, небольшую статью которого «Спиноизист» он часто любил цитировать, отгораживаясь от вульгарного материлизма.

Отметая в сторону гилозоизм, т. Севастьянов не дал абсолютно никакого указания на возможность какого-нибудь другого решения вопроса, который он счел бы более научным. Он, например, пишет: «Каким образом количественная сторона движений электронов, атомов, молекул, молекулярных групп в клетках мозга переходит в качество ощущений под влиянием толчков из внешней среды, мы пока не знаем. *Но как раз здесь мы имеем наиболее демонстративный случай перехода количества в качество*» (курсив автора). Эта фраза как нельзя лучше показывает, что в поисках за каким-нибудь выходом из положения т. Севастьянов рад ухватиться даже за «скачок», хотя для него должно быть очевидным, что никакой «скачок» не сможет представить собою заплату, если в теории есть прореха. Плоха была бы диалектика, если бы «скачки» служили такими заплатами! Но, к счастью, их функция не в этом. Апелляция же т. Севастьянова к «скачку» только лишний раз показывает, что на одном только механическом принципе в вопросе о генезисе познания далеко не уедешь. Плеханов, будучи отличным диалектиком, ясно отдавал себе в этом отчет.

Известная путаница есть у т. Севастьянова и в вопросе об относительности нашего познания. Некоторые мотивы его рассуждений по этому вопросу (напр., «мы, оперируя нашими личными ощущениями, оперируем в сущности сами собой, познаем только свой внутренний мир») граничат с абсолютным релятивизмом и слишком поздно являющийся «критерий практики» не рассеивает этого впечатления.

Несколько странным является в книжке т. Севастьянова то, что он почти совсем не коснулся такого нового отдела биологии, который обещает очень много дать в будущем, именно—рефлексологии. Пара фраз, чтобы отделаться от Павлова и Бехтерева, а затем декретировать правильность точки зрения Вагнера, конечно, более чем недостаточна. Исследования Павлова, напр., заслуживают специального разбора.

Поэтому у книги один основной недостаток—автор ее биолог и недостаточно знаком с философией. Поэтому целый ряд формулировок, относящихся к философии, неотчетлив, и встречаются зачастую, как мы уже указали, грубые ошибки.

Таким образом, в своем философском содержании книга неудовлетворительна. Фактический же материал и биологическая часть ее обнаруживают у автора популяризаторский талант, не сбивающийся в вульгаризацию.

С. Васильев.

Э. КРЕЧМЕР. Строение тела и характер. ГИЗ. 1924 г. Стр. 288.

Не всякое биологическое учение материалистично. В лице витализма, например, мистическая реакция перекинулась и в биологию. В лице фрейдовской сексологии под флагом биологии же скрывается попытка построить метафизический мостик к социологии [1]), и т. д. и т. д. Поэтому одного биологического подхода совершенно недостаточно для признания того или иного учения исчерпывающе материалистическим, т.-е. совпадающим с единственным объективно-научным марксистским миросозерцанием. К числу подобных теорий, вызывающих ряд серьезных сомнений, принадлежит и учение о характере известного современного психопатолога Э. Кречмера.

Характерологическая концепция Кречмера чрезвычайно проста. Человек рождается с тем или иным строением желез внутренней секреции, определяющим в основном строение его тела и его характер. Дальнейшее развитие человеческого характера есть лишь пассивное развертывание того основного биологического типа, который врожденно присущ человеку. Кречмер устанавливает три постоянно повторяющихся главных типа строения тела: астенический, атлетический, пикнический. *Астеник* обладает слабым ростом в толщину при среднем неуменьшенном росте в длину, при чем женщины не только худощавы, но и малорослы. *Атлетик*—сильное развитие скелета, мускулатуры и кожи. *Пикник* — сильное развитие внутренних полостей тела (головы, бедер, живота), склонность торса к ожирению, при нежной структуре двигательного аппарата (плечевого пояса и конечностей). Эти основные *биологические типы*, по Кречмеру, обнаруживают отчетливое сродство с определенными группами душевных болезней, а именно: 1) ясное биологическое сродство имеется между пикническим строением тела и предрасположением к маниакально-депрессивному (циркулярному) психозу. 2) Ясное биологическое сродство между строением астеников и атлетиков, и предрасположением к шизофреническому психозу (расщепление психики, влекущее к глубокому душевному распаду). 3) Напротив, незначительное сродство между шизофренией и пикническим строением, с одной стороны, и с другой—между циркулярным, психозом и астенически-атлетическим строением. При этом Кречмер полагает, что строение тела и психоз не стоят друг к другу в прямом клиническом отношении. Строение тела—не симптом психоза, но строение тела и психоз, телесные функции и внутренняя болезнь, здоровая личность и наследственность являются сами по себе частичными симптомами основной конституции, и правильно понять их можно лишь по совокупности всех факторов. Далее Кречмер, на ряду с циркулярным и шизофреническим психозом, констатирует, по стопам современной психиатрии, еще и колеблющиеся состояния, которые он называет «циклоидом» и «шизоидом»,—отражающими в легкой степени основные симптомы шизофренического и циркулярного психоза, с специфическим же их соответствием определенному строению тела. В характере циклоидов Кречмер отмечает три группы психических признаков циклоид: 1) «общительный, добросердечный, ласковый»,—либо же он: 2) «веселый, юмористичный, горячий»; либо он: 3) «тихий, спокойный, впечатлительный, мягкий». У циклоидов много радости в работе, кипучей практической энергии, но у них нет твердой непреклонной, решительной энергии, лишь редко они обладают сильным честолюбием. Влечение к труду и самомнение у них сильнее, чем стремление к высоким идеалам. Качества, основанные на интрапсихических напряжениях, все эксцентрическое, фанатичное чуждо циклоидам. Это в одно и то же время их сила и слабость. У шизоидов же наблюдаются как раз обратные явления. В то время, как циклоиды—это прямые, несложные натуры, чувства которых в естественной, непритворной

[1]) Хотя в остальном у того же Фрейда имеется много чрезвычайно для марксизма ценного. См. об этом в нашей книге «очерки культуры рев. врем.», а также нашу статью в кн. 4 «Краси. Новь» с. г.

форме всплывают на поверхность и в общем каждому вполне понятны,— шизоидные люди имеют, наоборот, *поверхность и глубину*. «Язвительно-грубая, или ворчливо-тупая, или желчно-ироническая, или моллюско-подобно-робкая, бесшумно-скрывающаяся — такова эта поверхность». Шизоид: 1) не общителен, тих, сдержан, серьезен (без юмора), чудак; либо он: 2) застенчив, боязлив, тонко чувствует, сантиментален, нервен, возбужден; друг книги и природы; либо же он: 3) послушен, добродушен, честен, равнодушен, туп, глуп. Шизоидные темпераменты находятся *между полюсами раздражительности и тупости*, так же как циклоидные темпераменты—между полюсами *веселости и печали*. Лишь тот владеет ключом к пониманию шизоидов, кто знает, что у них не одна только чрезмерная чувствительность или холодность, но *та и другая вместе*. Циклоидное добродушие — это добросердечие, готовность разделить горе и радость, активная доброжелательность. Добродушие же шизоида слагается из боязливости и утраты аффекта: это уступка окружающим, вследствие равнодушия, смешанного с робкой боязливостью оказать им сопротивление. Циклоидное добродушие—это дружеское участие; шизоидное—боязливая отчужденность...

Пока мы имеем перед собой лишь патологические или полупатологические натуры. Кречмер, однако, идет дальше. Он полагает, что проблема характера развернется во всей шири лишь тогда, если психопатологический результат перенести в *нормальную психологию*. В этом, по К., нет никакого скачка. «Перенося связующие нити меж строением тела и психическим предрасположением на все варианты психопатической личности и *отодвигая*, благодаря этому, грубое душевное расстройство, как исходный пункт нашего исследования,— мы неожиданно оказываемся *среди здоровых людей*, среди знакомых нам лиц. Здесь у нормальных четко выступают перед нами те черты, которые мы видели там в *искаженной* форме. Те же самые типы строения тела, а за ними та же психическая стимулирующая сила. Те же самые задатки, которые здесь являются разумными регуляторами здоровой психической установки, — там, нарушая равновесие, гибнут, подвергаясь расстройству».

Исходя из этих двух основных патологических типов, Кречмер пытается все человечество разделить на *две* характерологические группы: *циклотимики* и *шизотимики*. Шизотимики — это те, из которых рекрутируются шизофреники, циклотимики — в одной группе с циркулярными. Но в то же время названия «шизотимический» и «циклотимический» ничего общего не имеют с вопросом—«здоровый или больной», так как они представляют собой лишь *термины для больших общих биологических типов*, заключающих в себе *огромную массу здоровых* и лишь небольшую группу психозов. У большинства шизотимиков вовсе не бывает психических расщеплений, а у большинства циклотимиков отсутствуют резкие эмоциональные колебания; названия, служившие для обозначения болезненного, К., целесообразности ради, применил к здоровым.

Итак, *все люди*,—здоровые, кандидаты в больные и сами больные, — принадлежат либо *к циклотимикам*, либо к *шизотимикам*. Здоровые циклотимики—это болтливо-веселые, спокойные юмористы, тихие, душевные люди, либо беспечные любители жизни, либо энергичные практики. Здоровые же шизотимики, наоборот,—это тонко чувствующие аристократы, чуждые миру идеалисты, холодные властные натуры-либо сухие и психически параличные. Таков их путь, ибо «такими они роди, лись»...

Небезынтересны и характерны некоторые «социологические» экскурсии К. У всех представителей абстрактной, метафизической науки прошлых столетий наблюдаются резко шизотимические формы строения тела,—у наглядно описывающих естествоиспытателей современности, наоборот, — пикнические, И далее: «Блестящим примером гениального вождя, который сочетает в себе все богатые черты циклотимического характера, является Мирабо, разумный руководитель первого периода французской революции,—великодушный, со

здравым смыслом, свободный от фанатизма и доктрин». (Робеспьер, как увидим ниже, и вообще якобинцы не вызывают симпатий К.) Еще дальше: «Бессистемная политика Лютера, зависящая от его настроения (циклоид) и пинкническая тучность немецких князей налагают на первый период германской реформации циклотимический отпечаток». Еще ниже: «Эту шизотимическую триаду—*идеализм*, *фанатизм*, *деспотизм*—мы находим у более крупной и глубокой личности—Кальвина. Робеспьер действует как его карикатурный двойник в другом столетии. Таково же идеалистически-теократическое революционное владычество Савонаролы во Флоренции» (видимо, наш т. Ленин, «жестокий кремлевский диктатор», был бы причислен к шизотимикам).

Общие соображения К. (конечно, не социологические его откровения) не лишены, как видим, оригинальности и подчас, образной яркости. Однако, их слабой чертой является, с одной стороны, частая бездоказательность, подтягивание фактов к заранее намеченным выводам,—с другой стороны, излишний *биологический статизм* в подходе к характеру, чем и обусловлены, между прочим, его своеобразные биологические экскурсии в общественную жизнь Нет, конечно, никаких возражений против разделения всех людей на типы быстрого или медленного *темпа*, на социабельные или закупоренные натуры, на реалистов и фантастов,—тем более, что в иной форме подобные *полюсные деления* производились и прежде: холерик — флегматик, эгоист — альтруист, активный—пассивный, синтетический—аналитический тип и т. д. К этим уже существующим и во многом устаревшим, группировкам К. прибавляет несколько новых соображений, иногда чрезвычайно ярких и тонких, практически далеко не всегда малоценных, в чем и заключается его научная заслуга. Однако, именно новые, действительно революционные характерологические течения, исходящие преимущественно из психоаналитической школы (Фрейд, Адлер) и из учения о рефлексах устанавливают возможности тонких и богатых *вариаций* в этих индивидуальных установках—в зависимости от *благоприобретенного опыта*, обусловленного влиянием окружающей среды: в этих вариациях резко изменяется как темп, так и *тип* психических реакций; закупорка личности («вытеснение») замещается полной социальной раскрытостью («катарзис», «сублимация»), и т. д. Это возможное *влияние внешней среды* вообще у К. совершенно не раскрыто. «Схизо» или «цикло» появляются у него каким-то странным, «аутобиологическим» путем,—и механически, путем чисто биологического же давления, передаются по наследству. Может ли классовое положение (позиция эксплоататорства или эксплоатируемости), историческая эпоха (революция, реакция) толкать к тому или иному типу—в большей или меньшей степени, остается совершенно неясным. Даже, обратно,—эпоха и класс у К. сами приобретают особый непреодолимый уклон под давлением этих индивидуальных «цикло», «схизо» (реформация, французская революция), от последних же зависит и содержание, направление научных изысканий эпохи. Это, конечно, уже сплошная метафизика,—лишний довод за осторожное отношение к новейшим биологическим теориям, особенно таким, которые пытаются прорваться в социологию.

Ведь если по нелепой *биологической случайности* в рабочем классе окажется теперь преобладание сверхиндивидуалистических «схизо», нам так и не дождаться коллективизма,—разве только немедленно и энергично не приняться за массовые браки представителей пролетариата с циклотиками, иначе же никак не смешаешь контр-революционные карты биологии...

Ценны, но не новы соображения К. о *тесной связи психической нормы и психической патологии*, дающей возможность полагать, что некоторые психозы—лишь количественное сгущение нормы, в итоге чего и получается новая качество—болезнь. Однако, как и во всем прочем, и здесь К. не раскрыт до конца: внешняя ли среда, врожденные ли свойства, приобретенные ли изменения организма, и в каком именно их соотношении, обусловливают этот переход от нормы или «почти нормы» к психозу?

Нам же представляется совершенно бесспорным, что роль социальной среды в этом переходе играет огромную роль.

В общем и целом, при значительной принципиальной и научной неприемлемости ее, книга К. все же представляет собой достаточно большой интерес, в значительной степени углубляемый литературным талантом автора, блестящей образностью его языка. Перевод в этом отношении, как и всегда в таких случаях, неизмеримо хуже оригинала, но научная сторона его, проведенная под редакцией проф. П. Б. Ганнушкина, безукоризненна.

Д. Залкинд.

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.

1. Вопросы воспитания нормального и дефективного ребенка *С. Гуров.* — **2. Методы и формы политико-просветительной работы.** *В. Чарнолусский.* — **3. Проф. А. ГРАБОРОВ. Вспомогательная школа.** *Б. Кронин.* — **4. І. Акад. УСПЕНСКИЙ. Избранные математические развлечения. II. Г. ШУБЕРТ. Математические развлечения и игры.** *Проф. В. Костицын.* — **5. Е. КЕЛЬМАН. О постановке юридического образования в высшей школе.** *С. Минц.*

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ НОРМАЛЬНОГО И ДЕФЕКТИВНОГО РЕБЕНКА. Сборник статей, под редакцией проф. А. С. Грибоедова, А. К. Борсука и В. В. Белоусова. Госиздат. Ленинград, 1924. Стр. 232.

Вопросы воспитания ребенка вообще, а дефективного—в особенности, волнуют сейчас, как никогда, не только людей, специально посвятивших себя педагогической работе, но и вообще всех активных членов нашего общества и наши законодательные органы. И прежде всего потому, что в результате войны и революции, как их следствие, отклонения в поведении ребенка от привычной всем «нормы» стали особенно часты и заметны именно теперь.

Небывалые социальные сдвиги, годы тяжелого недоедания, а иногда и острого голода, захватившего большие кадры детей, сделали вопрос о новых свойствах детской психики, о новых подходах к детям актуальнейшим вопросом нашей педагогической жизни, так как нельзя воспитывать ребенка, не зная «до тонкости» его «душу» в ее нормальных проявлениях и в болезненных уклонах, временных и постоянных.

Поэтому всякую книгу, помогающую разобраться в вопросах психологии, педологии, неврологии и евгеники, дающую научно проверенный материал для распознавания истинного содержания сущности ребенка, мы должны приветствовать.

До последнего времени, под односторонним влиянием теории наследственности, превалировало убеждение, что детские недостатки—вне зависимости от сферы, затронутой ими,—происходят только от наследственных причин. По общему мнению, дефекты детского ума и характера, недочеты воли и проявлений «морали»—явления, говорящие о дегенерации, вырождении, что корни их более или менее глубоко заложены в болезнях и расстройствах предшествовавших поколений, что эти дефекты—неумолимая и неизбежная необходимость, «с молоком матери» впитавшаяся в существо ребенка. Работы последних лет опровергают теорию «чистых» последователей теории наследственности, и в этом отношении статья проф. П. Г. Бельского—«Типология этически-дефективных несовершеннолетних», в части, касающейся образования и развития социально-этических эмоций, дает чрезвычайно очевидные доказательства громадного или — нам кажется—решающего значения социальных факторов в деле формирования личности.

Разбивая все поступки человека на три категории: а) делание чего-нибудь, б) воздержание от чего-нибудь, и в) пре-

терпевание чего-нибудь, проф. П. Г. Бельский устанавливает, что «в жизни люди считают себя правомочными и правообязанными, имеют притязания и обязанности благодаря внутренним психическим переживаниям, привычным, затверделым, устойчивым, *установившимся, благодаря социальным условиям, в которых живут люди*» (курсив мой. *С. Г.*).

Соглашаясь за некоторыми ограничениями с положением проф. Петражицкого, что «эмоции управляют физической жизнью, телодвижениями и бесчисленными иными физиологическими процессами, а равно психической жизнью одушевленных существ», проф. Бельский указывает основные методы воздействия на этически-дефективных детей, при чем, на ряду с «бодрой верой воспитателя в воспитанника» и сублимацией, в качестве одного из действительных способов перевоспитания дефективных, рекомендует и получившие права гражданства в наших учреждениях Соц. Восп. формы активной детработы: кружки, самоуправление и т. п.

Мы прежде всего остановились на этой статье сборника потому, что, по нашему мнению, она является центральной в сборнике. С другой стороны, остальные статьи сборника—проф. Белоусова, Эвергетова, Петчель, Чабан,—касающиеся вопросов ручного труда и трудового воспитания, являются как бы дополнением, указывающим принцип построения и методы работы с детьми и в первую очередь с детьми, представляющими типы отмеченных и разобранных проф. Бельским аномалий.

Из статей этого порядка нам кажется наиболее интересной статья проф. Эвергетова—«Технический элемент в процессе игры». «Игра выбирает способности, которые легко вызывают действия, для которых даны налицо естественные предрасположения, избегает переутомления, *непрерывно вносит чувство новизны* (курсив мой. *С. Г.*), но в то же время, чтобы получить действительную радость в игре, «нужно пройти некоторые промежуточные стадии *выучки*, как при какой-нибудь хозяйственной или школьной работе». Перед педагогом-дошкольником такое утверждение ставит задачу не только организовать игру, но и выучить детей играть, сообщить им ряд технических игровых навыков, т.-е. необходимо разобрать не только план игр, но и методики различных игр. Это—новая и интересная задача, разрешения которой нужно ждать от педагогов.

Несколько особняком от других в сборнике стоит статья проф. А. К. Борсук—«Эстетическое, прекрасное в освещении биопсихологии». Первая в сборнике, она не связана с содержанием последующих статей, составляющих одно, дополняющее друг друга целое, и, очень интересная сама по себе, она была бы, кажется нам, более на месте в качестве вводной статьи в другом сборнике, трактующем вопросы эстетического воспитания.

В целом сборник—чрезвычайно интересная, нужная именно в условиях нашего «сегодня» книга, оформляющая научно, и достаточно понятно, что каждый из педагогов чувствует и видит; книга дает возможность понять нашего живого ребенка—и прежде всего поэтому эту книгу нужно рекомендовать всякому, кто серьезно занят вопросами воспитания—педагогу, врачу и общественному деятелю.

С. Гуров.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. Указатель литературы. Выпуск I серии указателей журнала. «Вестник Книги», под редакцией Л. Н. Троповского. Главполитпросвет. Библиографическое бюро. Издательство «Красная Новь». М. 1924, стр. 215.

Задача указателя «подвести итоги методической и организационной работы, итоги не количественные, а качественные, выявить сдвиг, внесенный сюда революцией, этапы и пути, какими шла эта колоссальная ломка старого. Составителям «хотелось обратить внимание на все, наиболее типичное, и не только положительное, но и отрицательное, выявить хотя бы и крупицы новых методических достижений». Указатель включает преимущественно литературу, вышедшую за два года (1922—1923 и частью 24 г.г.), и притом не только книги, но и журнальные статьи; из более ранних из-

даний помещены лишь очень немногие. По большинству произведений дается краткая аннотация и определенный отзыв—характеристика составителей. Все отзывы строго выдержаны с точки зрения принятого общего современного направления политико-просветительной работы. Указатель заключает следующие отделы: Заветы Ленина о просвещении. Общие вопросы политпросветработы. Ликвидация неграмотности и малограмотности. Задачи, методы и формы агитации. Политпросветработа в деревне. Клубная работа. Самообразование. Методы учебных занятий со взрослыми Обзор литературы по экскурсионному и выставочному делу. Библиотечное дело. Продажа книг, как просветительная работа.

Указатель представляет собой серьезно-проработанный и продуманный труд, пользование которым доступно, однакоже, лишь для хорошо подготовленных политпросветработников; для работника-массовика он слишком велик и труден. С точки зрения работника-практика, вообще было бы гораздо целесообразнее, если бы составители значительно сократили его объем и превратили его в указатель избранной, подобранной в определенном направлении литературы. По существу его надо и сейчас рассматривать, главным образом, как таковой. С общебиблиографической стороны дефектом указателя является сравнительно слабое развитие объективной аннотации книг и преобладание в нем резкой, определенной оценки их с принятой в основу определенной точки зрения проводимых в настоящее время принципах работы.

Из частных дефектов указателя укажу два. В отзыве об издании «Народный дом» сотрудников Лиговского нар. дома не указана наличность в нем исчерпывающей старой литературы о нар. домах, в то время как отмечается гораздо менее полная библиография по этому же вопросу в «Народн. домах» Харьковского издания. Затем, раз уже составители помещают наиболее важные старые издания, то следовало бы включить в библиотечный отдел указание на такой исключительный памятник в этой области, как труды первого всероссийского съезда по библиотечному делу. Очень желательно также включить в программу указателя отсутствующие в нем сейчас вопросы спорта и физкультуры.

В. Чарнолусский.

Проф. А. И. ГРАБОРОВ. Вспомогательная школа. (Школа для умственно-отсталых детей). Госиздат. Москва—Петроград, 1923. Стр. 328.

В настоящий момент, когда вопросы борьбы с беспризорностью, в особенности, после посвящения этой важнейшей задаче фонда имени В. И. Ленина, привлекают широкое и действенное внимание, обостряется интерес и к вопросам детской дефективности, неизбежно сопутствующей беспризорности. Борьба с последней не в меньшей мере, чем по линии материальной, по линии призрения, должна вестись по линии педагогического воздействия на беспризорных, перевоспитания их, так как, в конечном счете, не так страшна беспризорность физическая, как беспризорность воспитательная, и одно с другим неразрывно связано. Одним из далеко не изжитых недостатков даже нормального темпа работы с беспризорными является недостаток подготовленного персонала. Два существующих высших учебных заведения и некоторое количество курсов по подготовке и переподготовке работников-дефектистов не в состоянии насытить всю потребность в них, и зачастую рецидивы детских правонарушений, стремление детей уклониться от определения в учреждения для дефективных,—а значительный процент беспризорных дефективен,—весьма тормозит всю работу. В такой обстановке выпуск руководства по работе с дефективными и отсталыми детьми целиком примыкает к работе по борьбе с беспризорностью и заслуживает особого внимания.

Прежде всего нужно сказать, что содержание труда проф. Граборова шире его заглавия, и книга полезна не только для узкого круга педагогов-дефектистов, но и для всех воспитателей и всех руководителей детских учреждений. Общие понятия о детской дефективности и причинах ее возникновения вводят

читателя в сферу вопроса, трактуемого достаточно научно и выдвигающего социальный фактор происхождения дефективности на достаточно важное место. Проф. Граборов выделяет, как самостоятельный фактор, наследственность, перечисляя исключительно болезненные начала: алкоголизм, сифилис и проч. Мы полагаем, что социальный фактор, без наличия определенной болезни, также должен быть включен в число наследственных причин дефективности. Рубрику «социальные факторы» следовало бы несколько развить, выделив такие, как жилищные условия, воспитательную заброшенность. Далее следуют инфекционные заболевания и механические повреждения во время родов. Здесь следовало бы, в качестве факторов дефективности, отметить еще два момента: условия зачатия и течение беременности.

Охарактеризовав вкратце, но достаточно ясно, действие отягченной наследственности разных видов на ребенка и коснувшись других причин дефективности, автор устанавливает следующие 3 общих группы дефективных и отсталых детей: 1) дети-психастеники, с наиболее слабо выраженной дефективностью, характеризующейся общей нервно-психической слабостью; 2) дети, запущенные в педагогическом отношении, дающие дефективность временного характера и легко устранимую рациональной педагогической обстановкой, и 3) дети слабоумные, которых можно подразделить приблизительно на три группы: дебильность, имбецильность и идиотию. Мы не вполне уверены в безошибочности и полной точности как основного деления дефективных, так и деления третьей группы их, с утверждением автора, что «слабоумие есть стойкое состояние, длящееся всю жизнь». Но это—сложный и далеко не проработанный вопрос педологии, и останавливаться на нем мы не будем, тем более, что практическая ценность ряда указаний автора в дальнейшем от этого не уменьшается.

Достаточно убедительно доказывая, что дефективные дети должны непременно иметь свою школу, при чем лучшей формой борьбы с дефективнностью является детский дом, школа же должна, по крайней мере, стремиться к тому, чтоб стать школой продленного дня, проф. Граборов излагает историю борьбы с дефективностью и детской отсталостью на Западе и у нас, и переходит к самой ценной части своего труда, излагающей практические подходы к работе с дефективными, начиная с методов и способов определения различных, соответственно его терминологии, форм и степеней дефективности. Приведенные живые примеры с подробными характеристиками дают богатый практический материал, хотя нужно признать, что для чисто педологического подхода практических указаний автор дает недостаточно, и без других педологических руководств сколько-нибудь точного и углубленного исследования ребенка составить не удастся.

Следующая часть книги излагает общевоспитательные принципы, значительная часть которых касается не специально дефективных детей, а вопросов воспитания вообще. Как в общей части этого изложения (глава «Основы воспитания умственно-отсталых детей»), так и в главах, посвященных отдельным сторонам воспитательной работы («Воспитание воли», «Воспитание интеллекта», «Нравственное воспитание», «Сексуальное воспитание», «Эстетическое воспитание», «Детский досуг» и т. д.), проф. Граборов весьма широко пользуется ссылками на такие педагогические авторитеты, как Джемс, Вундт, Лесгафт, Руссо, Песталоцци, Барт и другие, весьма мало пользуясь новейшими и более материалистически настроенными авторами. С этой точки зрения не все бесспорно в главах: «Нравственное воспитание», «Обществоведение», «Ручной труд». Специфичность работы с дефективными в этих чисто методических главах выражена не особенно отчетливо, и трудно не рекомендовать практическим работникам для ориентации в этих областях работы пользоваться не только трудом проф. Граборова, но и общеметодическими трудами, тем более, что проводимый им предметный, а не комплексный подход к постановке всего преподавания никакими особенностями дефективных автор не мотивирует. Несомненно, специфичны и весьма полезны для практиков главы «Психическая ор-

топедия» и «Сензорная культура». Нельзя сказать, чтоб методы «психической ортопедии», предлагаемые автором, были бесспорно самыми совершенными и универсальными. Среди работ Центрального Педологического института найдется также не мало теоретических не менее рациональных подходов к этой задаче, но здесь вновь мы вступаем в область, еще точно не установленную, в которой дискуссия и опыты в разных направлениях только желательны. Этот же опытный характер носят и практические указания в главах: «Отбор детей в вспомогательную школу и изучение ребенка в школе» и «Вопросы организации и ведения вспомогательных школ», ибо точно установленных и зафиксированных принципов в этих областях еще не существует.

В общем же необходимо констатировать, что труд проф. Граборова содержит много весьма ценного материала, но безоговорочно можно рекомендовать его только работнику, обладающему марксистским подходом к педагогическим вопросам. Нельзя сказать, чтоб проф. Граборов расходился с таким подходом резко: это мы не заметили, но дискуссионные положения, утверждения и советы местами встречаются. Книга, вероятно, потребует второго издания. Весьма желательно, чтоб автор более тесно согласовал ее методическую часть с новейшими положениями в соответствующих областях, ослабил ссылки на старую педагогику и более ярко выделил моменты, характеризующие специфические особенности работы с дефективными и отсталыми детьми.

Б. Кронин.

Акад. УСПЕНСКИЙ. Избранные математические развлечения. Кн-во «Сеятель». Ленинград, 1924. Стр. 264 in 8°.

Г. ШУБЕРТ. Математические развлечения и игры. Пер. под ред. проф. С. О. Шатуновского. Изд. 2-е. Кн-во «Матезис». Одесса, 1923 г. Стр. 188 in 8°.

Математические развлечения всегда пользовались широким распространением в самых разнообразных общественных кругах. Материал для них заимствовался из всех отделов математики, но преимущественно из двух, работа в которых, по крайней мере в первоначальной стадии, требует только гибкости ума: теории чисел и геометрии положения. К этим категориям относятся почти все известные игры, карточные фокусы, магические квадраты, лабиринты, «волк, коза и капуста» и т. д. и т. д. С другой стороны, очень многие вопросы геометрии положения сводятся к вопросам теории чисел и комбинаторики. Оригинальность книги акад. Успенского заключается в том, что обычный в сборниках математических развлечений материал расположен так, чтобы его последовательное изучение явилось своеобразным введением в теорию чисел. Приобретенным этим путем навыкам мысли подводится итог в прибавлении к последней главе, где даются элементы теории сравнений.

Совершенно другой характер имеет книга проф. Шуберта. Приблизительно тот же материал, как и у акад. *Успенского*, не систематизирован и не идет в известном логическом порядке.

Это—ряд непринужденных очерков, каждый из которых представляет известный интерес и которые можно читать в любом порядке. Переводчик, проф. Шатуновский, прибавил к некоторым из них дополнения математического характера.

Нет сомнения, что обе книги, написанные выдающимися учеными, будут иметь широкое распространение, тем более, что ни та ни другая не принадлежат к скучным книгам: в этой области, как и во многих других, все роды хороши, кроме скучного.

Проф. В. А. Костицын.

Е. И. КЕЛЬМАН. О постановке юридического образования в высшей школе. Киев, 1923. Стр. 20.

Брошюра Е. И. Кельмана о постановке высшего юридического образования, представляющая собой отдельный оттиск из «Научных записок Киевского Института Народного Хозяйства», изящная по форме изложения и концентрирующая вопросы юридического образования

в сфере современных социальных отношений, представляет интерес не только для юристов, но и для всех интересующихся вопросами социального воспитания и подготовки кадров квалифицированных работников умственного труда.

Автор, анализируя русскую и немецкую литературу по вопросу о подлежащей подготовке юристов-практиков, могущих в уровень потребностей своего времени оказаться достаточно подготовленными для всестороннего обслуживания переменного развития хозяйства, намечает три основных области «правовой стихии»: право, как «*форма хозяйственной деятельности*», право как «*форма административной деятельности*» и, наконец, «*государственно организованная защита права*».

По этим трем рубрикам автор пытается провести группировку работников права, ибо каждая из указанных областей права имеет свои особенности и индивидуальные задания.

Критикуя прошлый опыт правового развития в плоскости *историзма* и *догматизма*, автор склоняется к той группе немецких ученых, которые центр тяжести юриспруденции переносят из области правовых норм в область познания правовых отношений.

«Юридическое образование должно ввести юриста в курс современного хозяйственного оборота с его новыми формами экономической борьбы и вновь образовавшимися конструкциями хозяйственных отношений», вслед за Zitelman'ом, твердит автор.

Все эти вопросы, тревожные с точки зрения потребностей нашего времени, одинаково затрагивают все сферы нашего хозяйственного строя, в среде которого подготовленный юрист-практик в одинаковой мере необходим, как и инженер, экономист, статистик и т. д.

Процесс усложнения общественных отношений требует от высших технических элементов нашего хозяйственного организма гораздо большего, чем простой механической сноровки; в этом отношении автор безусловно прав, рекомендуя вместо «монопольного господства юридических наук»—«множественность научных познаний» для выработки работника права с твердым реалистическим мировоззрением, но одновременно здесь надо рекомендовать большую осторожность, чтобы не создать уклон к диллетантизму.

К недостаткам брошюры следует отнести недостаточный учет автором дисциплинирующей и культурной роли права, как такового, что в наших условиях оформления нашего социального бытия играет особенную роль.

С. Минц.

НАРОДЫ И СТРАНЫ.

1. I. ДИОНЕО. Англия после войны. II. Ф. СНОУДЕН. Программа рабочего правительства Англии. *И. Ильинский.* **— 2. Н. БОБЫНИН. Персия, ее экономическое положение и внешняя торговля 1903—1923 г.г.** *С. Минц.* **— 3. К. БЕК. Обитель снегов.** *А. Крубер.* **— 4. Ф. КОН. Современная Польша.** *И. Будкевич.*

ДИОНЕО. Англия после войны. Изд. «Пламя». Прага, 1924. Стр. VII+284.

Ф. СНОУДЕН. Программа рабочего правительства Англии. Изд. «Красная Новь». Москва — Ленинград, 1924 г. Стр. 52. Тираж 5000.

Новому читателю Дионео мало известен. Это—старый сотрудник «Русского Богатства», давно — еще в 1890-х годах переселившийся в Англию, откуда он ежемесячно присылал своему журналу интересные и богатые содержанием письма. Почти все они перепечатаны в имевших недурной сбыт сборниках «Английские силуэты», «Рефлексы действительности», «Меняющаяся Англия» и др. В качестве эмигранта он, разумеется, без выпадов против «красной диктатуры» обойтись не может. Но приводимые автором факты из хорошо знакомой ему жизни Англии

сохраняют независимо от этого самый живой интерес.

Английская история издавна давала материал для поучительных размышлений на тему о преимуществах медленного «органического» развития перед революцией. Законные рамки—превыше всего. Герцог Сетерлэндский имел (и имеет) право собственности на $1^1/_2$ миллиона акров (акр — около десятины) сельскохозяйственных земель в разных графствах Англии. В начале XIX века этому землевладельцу пришло на мысль превратить фермы в овечьи пастбища. Фермерам было приказано убираться, куда хотят. 15 мая 1814 г. их коттеджи были сожжены, а 15.000 человек вынуждены были эмигрировать в Канаду. Сейчас в Соединенном Королевстве земледелием занято около 9% всего населения. Лорд Сельборн, один из крупнейших помещиков страны, указывает на необходимость новых мер к сохранению этой угасающей породы людей. Достопочтенный лорд испытывает, вероятно, недостаток в рабочих руках. Или, может-быть, фермеры, предки которых изгнаны были другим лордом, герцогом Сетерлэндским, предлагают графу Сельборну слишком невыгодные условия. Органическое развитие имеет, очевидно, свои неприятные моменты. Впрочем, преимущества его, повидимому, достаточно велики, коль скоро «Times» мирится с властью рабочей партии во имя соблюдения конституционных традиций (126). Любовью к закону были, разумеется, вдохновлены и английские мужики, которые отплывали на кораблях в Канаду, когда сиятельный герцог предавал огню их коттеджи. На ряду с юридическими идеологиями над умами англичан господствуют еще и религиозные. Рамзей Макдональд принадлежит к пресвитерианскому исповеданию и аккуратно выполняет свои религиозные обязанности. Госпожа Сноуден восстает против большевизма, потому что он враждебен христианству. «Большевики упразднили бога, как контр-революционера, и вместо него поставили Карла Маркса» (91). Английская Рабочая партия, конечно, на такое дело не пойдет. Она не утратит респектабельности, которую столь ценит всякий английский джентльмен. Поэтому ряды ее в изобилии пополняются самыми респектабельными джентльменами. «Честолюбивые, проницательные деятели,—пишет Дионео,—спешат перейти из других политических партий в новую организацию, так как верят в ее развитие» (141). В результате партия обогащается умственными силами, но утрачивает однородность. Законник Патрик Хастингс весь век прожил в хитрых лабиринтах накопленных за шесть веков английскими судами прецедентов. Клайдский революционер Кэрквуд признает только одни писания—сочинения Ленина и один прецедент—Октябрьскую революцию 1917 года (132). Дионео затрудняется представить себе, как будут они все вместе строить «новый социальный порядок, основанный на братстве».

Мистер Филипп Сноуден, супруг упоминаемой Дионео благочестивой дамы, ныне министр финансов рабочего правительства, в своей брошюре дает по существу ответ на недоумения Дионео. Ответ прост: надо вести *среднюю* линию, которую одобрили бы *средние* классы. Между прочим, надлежит удовлетворять и рабочих, не столько ради них, сколько ради интересов нации в целом. Для любителей спокойствия этот прием не нов. Его рекомендовал еще и отец политической науки Аристотель и «ангельский доктор» Фома Аквинский. «Значительная часть партии,—с удовлетворением отмечает г. Сноуден,—принадлежит к средним классам. В нее входят юристы, врачи, профессора университета, учителя, священники, инженеры, фабриканты, журналисты и даже земледельцы»(21). Ясно поэтому, что при власти рабочего правительства руководить политикой будет здравый смысл и умеренные элементы, строжайшим образом следуя конституционному курсу (18). Рабочее правительство не имеет в виду совершать коренную ломку в «законодательных тенденциях» (29). Наипаче же надлежит избегать насилия. Рабочая партия стоит за налог на капитал, ибо существующий ныне размер подоходного налога слишком велик для трудовых доходов. Налог на капитал, несомненно, будет благотворен для страны. Однако, если промышленники и капиталисты не согласятся на введение этого налога, рабочее

правительство поищет других источников дохода (45). Все это может, конечно, повлечь разочарование у некоторых сторонников рабочей партии. Преследуя политику балансирования между различными группами и классами, надо мириться с тем, что слишком требовательные и неумеренные люди (читай—революционные рабочие) отшатнутся от рабочего правительства (20). Но это вполне уравновешивается: во-первых, симпатиями средних классов, во-вторых, всегдашней лойяльностью гражданского ведомства, т.-е. чиновников, по отношению к тому правительству, которое в данный момент стоит у власти.

Картина, как видит читатель, достаточно ясная. Есть, однако, важное отличие правительства и партии Рамзея Макдональда от наших меньшевиков. Заключается оно в том, что англичане практичны. Излагаемый г. Сноуденом проект борьбы с безработицей путем постройки жилищ заслуживает самого пристального внимания и в условиях нашей действительности. Его мысли о перепроизводстве интеллигентных специалистов и об отношении образования к «ручному труду»—тоже вполне своевременны. Впрочем, печатаемые в наших газетах корреспонденции из Англии единодушны в признании большой практической сметки, обнаруживаемой рабочим правительством, при полном отсутствии революционной классовой струны в его политике. Поэтому вряд ли прав автор предисловия к переводу брошюры г. Сноудена, К. Радек, когда предсказывает (в марте с. г.) полное банкротство рабочей партии через несколько месяцев. Жизнь не раз уже опровергала такие поспешные предсказания. Иллюзии изживаются, но изживаются гораздо медленнее, чем обычно думают.

И. Ильинский.

Н. Н. БОБЫНИН. Персия, ее экономическое положение и внешняя торговля 1903—1923 г. Изд. Н. К. В. Т. ЗСФСР, под редакц. Г. М. Григорьяна. Тифлис, 1923 г. Стр. 557+56.

Литература о Персии на русском языке настолько бедна и скудна, что появление объемистого труда известного кооперативного деятеля Н. Н. Бобынина, возглавлявшего последние несколько лет нашу торговую деятельность в северной Персии, не может не обратить на себя внимания.

Большинство изданных в дореволюционное время работ о Персии имели весьма небольшой интерес и носили специфически военный характер, представляя собой издания Штаба Кавказского Военного Округа.

По большей части это были отчеты по поездкам в Персию офицеров Генерального Штаба с подробной разработкой персидских маршрутов, незначительным количеством попутных замечаний этнографического и экономического характера. Русская литература до сего времени не обогатилась ни одной работой, сколько-нибудь напоминающей работу Керзона—«Персия и Персидский вопрос», которая лишь отрывками приведена в одном из сборников в Изд. Штаба Кавказского Военного Округа.

В области экономики внешней торговли Персии нам известны две работы, мимо которых едва ли может пройти исследователь этого вопроса: 1) Г. И. Тер-Гукасов «Политические и экономические интересы России в Персии», 2 изд. 1916 года, и 2) Н. И. Шевров «Внешняя торговля Персии и участие в ней России», изд. 1913 г., которые, к сожалению, не отмечены среди источников, перечисленных автором (ст. 1 и 2).

Отчасти автору, повидимому, известна работа Тер-Гукасова, так как он делает ссылку на «Вестник Финансов Торговли и Промышленности» за 1915 г. Однако, в этом журнале работа напечатана не полностью.

Не отмечена автором и вышедшая в 1922 году работа А. Султан-Заде «Современная Персия», в значительной степени посвященная вопросам экономики Персии.

Главное внимание в книге уделено вопросам внешней торговли Персии, занимающим в книге 383 стр., и непосредственно экономике Персии со всеми отраслями ее хозяйства отведено лишь 113 стр.

Эта диспропорциональность, помимо непосредственного интереса самого автора, объясняется двумя причинами: ску-

достью материалов, освещающих экономический быт Персии, при наличии единственно хорошо разработанных материалов по внешней торговле Персии Tobl-con «Général du Commerce avec les Pays Etrangers», и, во-вторых, непосредственными интересами нашего экономического сотрудничества с Персией.

Первая часть — экономическая, составленная, повидимому, при явно недостаточном материале, едва ли может именоваться экономическим исследованием как в отношении методов, так и в отношении системы изложения.

Самое изложение материала, разбитого на случайные рубрики, часто не вполне соответствующие содержанию (так, напр., к государственному хозяйству отнесены частные концессии, небольшая глава о банках именуется кредитом и т. д.), представляется крайне схематичным и иногда ограничивается простым перечислением фактов, маршрутов, родов хозяйственной деятельности и т. д.

Действительно, следует считать, что перед автором был значительный и по большей степени совершенно необследованный материал, но его стремление— неограниченно расширить тему в значительной степени повлияло на характер изложения.

Мы не можем согласиться с трактовкой автором отдельных вопросов экономического быта Персии, в частности необходимо обратить внимание на прямую невязку в изложении автором проблемы и последствий концентрации землевладения в Персии.

Автор пытается набросать картину перехода персидского хозяйства от натурального к капиталистическому с начала XIX столетия (ст. 8 и послед.) и устанавливает стремление к расширению земельной собственности «под влиянием этого фактора», отразившегося также на всей экономике Персии.

Между тем, в дальнейшем изложении (ст. 10, 11) отмечается, что происшедшая концентрация (ст. 12) находит себе объяснение в политических причинах «пасилие, бесправие, произвол» (ст. 12); это тем более необъяснимо, что автором усваивается совершенно определенное отношение к экономическим факторам в социальном развитии.

Изложение рабочего вопроса дано в небольшом очерке, при этом автором решительно не дифференцированы понятия «трудящийся» и «пролетарий», отсюда и вызывающее недоумение,—*«недоумение»* автора в отношении персидских ремесленников и городской прислуги, в смысле признания их недостаточной революционности, несмотря на тяжелое положение, ибо история достаточно накопила опыта, чтобы установить, что это не те группы трудящихся, кои аккумулируют революционную энергию. Не представляют достаточного интереса главы о состоянии частного и государственного хозяйства, приближающиеся по методу изложения скорее к официальному отчету.

Отнесенные им, как мы уже указали выше, к государственному хозяйству, главы о концессиях просто перечисляют, кому и когда таковые давались, почти не останавливаясь на каждой в отдельности, давая лишь общие сведения о капитале и прибылях работающих обществ.

В этой части работа приобретает совершенно справочный характер, точно так же, как и в главе о путях сообщения, где перечисляются маршруты и количество прибывших пароходов в отдельные порты.

Обзор внешней торговли Персии автором совершенно правильно разделен на два отличные периода — до войны и революции в России и после таковых, ибо война и русская революция совершенно изменили картину экспорта и импорта Персии.

Прекращение ввоза и вывоза из России в течение всего этого периода решительно изменили все привычные в этом отношении перспективы, и Россия, составлявшая до 60% ввоза и до 66% вывоза, т.-е. около двух третей всего товарооборота Персии, резко сократила таковой уже в 1917 — 1918 г.г. и в 1919 — 1920 г.г. почти прекратила товарооборот с Персией.

Глава I, раздел о «Внешней торговле до войны и революции в России» (стр. 114—267) представляет собой весьма подробную сводку цифровых данных, дающих почти исчерпывающий материал по импорту и экспорту Персии, как в

отношении отдельных товаров, так и в отношении отдельных стран, участниц товарооборота, — однако, приведенные здесь данные по большей части представлялись и ранее известными и уже были подвергнуты подробной обработке (Тер-Гукасов).

Изложение послевоенного положения внешней торговли Персии с доведением ее до 1922 г. представляет исключительный интерес, ибо, кроме отдельных статей, обнимающих собою период лишь до 1917 — 1918 г.г., никаких материалов опубликовано не было (см. «Новый Восток» № 3, стр. 291).

Весь материал автором в этой части разделен на два периода с 1914 по 1920 г. и 1920 по 1922 г. в связи с заключением 26/II—1921 г. мирного договора РСФСР с Персией.

Данные, приводимые автором в отношении этого периода, представляют большой интерес, отражая собой исключительное влияние разрыва нормальных экономических взаимоотношений России с Персией.

В 1920 г. размер общего оборота внешней торговли Персии в денежном выражении в отношении 1913—1914 г. уменьшился лишь на 10%, «такое уменьшение можно было бы признать незначительным и положение Персии в общем благополучным, если бы немые цифры не скрывали в себе много таких обстоятельств, которые в корне разрушают «кажущееся» благополучие» (стр. 356).

Это внешнее соответствие довоенному обороту определяется резким повышением цен на импортные товары (коэф. 2) и значительным ростом вывоза нефтепродуктов англо-персидской нефтяной Компании из района Игустера.

Принимая во внимание эти два фактора, автор констатирует понижение импорта до 60% и экспорта (исключая нефтепродукты) более чем в $2^1/_2$ раза, однако, в течение этого времени были годы, когда экспорт сокращался и в 4 раза (стр. 356 — 357).

Это сокращение внешнего товарооборота находится в прямой связи с прекращением нормальных взаимоотношений с Россией, потребителем персидских экспортных товаров. Ибо «наиболее ценные культуры возникли и развивались в северных, северо-восточных и северо-западных районах Персии». Россия прекратила ввоз хлопка, риса, сушеных фруктов, коконов, и все наиболее важные отрасли хозяйства или сильно сократились (хлопок, рис), или совершенно погибли (шелководство) (стр. 359).

Точно так же в северных провинциях Персии при существующих транспортных условиях ни одна страна не могла снабжать дешевым сахаром, керосином, металлами, мукой, кроме России, поэтому замена российской продукции товарами других государств привела к их сильному вздорожанию, а следовательно, и сокращению потребления.

При отсутствии иных экспортных промышленных культур и прекращении экспорта в Россию, хозяйство Персии обнаружило стремление возвратиться к старым формам, к развитию посевов хлебных и огородных растений, нужных для внутреннего потребления (стр. 360).

В 1921 — 1922 г.г. Россия по заключению договора с Персией несколько увеличила свои обороты с Персией, однако и в этом году товарооборот составил 68,2 т. кранов, а по отношению к довоенному — 657,8 т. кранов в 1913—1914 г.г. понизился почти в 10 раз.

Одновременно с этим любопытно отметить, что в 1921—1922 г.г. Англия заполняет 76% импорта Персии, составляя 462,1 т. кр., при экспорте 159,6 т. кранов, принимая каковые цифры следует иметь в виду исключительно высокий экспорт нефтепродуктов 102 т. кр. и импорт для нужд англо-персидской компании 60,9 т. кр.

В отношении внешней торговли Персии последнего периода работа И. И. Бобынина дает исчерпывающие, впервые публикуемые цифры, отражающие ряд глубоких изменений не только во внешней торговле, но и в самой экономической жизни Персии.

Многочисленность приводимых цифровых данных делает изданную работу И. И. Бобынина ценным руководством для всякого, интересующегося вопросами внешней торговли Персии.

С. Минц.

КУРТ БЕК. Обитель снегов (путешествие на Гималайские ледники). Сокращенный перевод с немецкаго Э. Пименовой. Издание 2-е «Библиотека путешествий». Серия первая, под редакцией проф. С. Г. Григорьева, № 5. Государств. Изд. Ленинград, 1924 г. Стр. 143.

Небольшая книжка Бека (142 стр.), очевидно, нашла своего читателя, так как появляется во втором издании. Действительно, странствования автора в высокогорной области Гималаев описаны живо и занимательно. Книжка знакомит с ледниками, горными потоками Гималаев, с муссонными дождями Индии, немного и довольно бледно с флорой горной области, с некоторыми чертами нравов и быта населения, в особенности с внешними чертами их религии (монастыри, культ, идолы), но все это вскользь, между прочим, не давая ни о чем обстоятельного понятия. Надо думать, что это вина не автора (приводимые им сведения, несмотря на отрывочность, всегда надежны), а результат сокращений, произведенных переводчицей. В теперешнем же своем виде книжка едва ли дает какие-либо полезные географические сведения, кроме того, она очень устарела (написана в 1890 г.), а с тех пор исследование высокогорных областей Гималаев подвинулось очень далеко, даже на Эверест было сделано несколько попыток восхождений. Более интересными на наш взгляд являются главы, начиная с X до конца книги, в них меньше *буффонады* или *пинкертоновщины*, которой изобилуют первые главы и главным героем которой выступает проводник путешественника Ганс, который поглощает один блюдо, предназначенное для всех сотрапезников (стр. 12), вламывается в дамскую уборную (стр. 14), пытается чистить зубной щеткой сапоги (стр. 22), проламывает камин своей головой (стр. 37) и на протяжении всей книги мечтает о гороховой колбасе.

Такого рода приключения и маловероятные случаи постигают не одного только Ганса: на стр. 33 дама предлагает автору высунуть голову из окна вагона, чтобы ее отрезать; на стр. 12 утром в номере автора появляется индус с ножом, чем приводит его в смятение, пока не выясняется, что это брадобрей (но при чем же тут нож?); на стр. 44 автор небезуспешно борется с нечистой силой, которая в конце-концов оказывается дикой кошкой. Нам кажется, что большая часть этих и подобных эпизодов могла бы без ущерба быть выброшена. Кроме того, желательно было бы, чтобы все линейные данные приводились в метрической системе, а не в футах, милях и т. д. Встречаются кое-где и ошибки в транскрипции, так Гапеша именуется то Ганешем, то Ганезою (на стр. 134). Следовало бы также переводчице или редактору пояснить в примечании некоторые черты быта и культа индусов, иначе они останутся непонятными для юного читателя. Так, на стр. 134 говорится о странном возвышении в виде пуговицы на лбу Будды, но что это такое—не объясняется.

Проф. А. Крубер.

ФЕЛИКС КОН. Современная Польша. Издательство «Красная Новь». Москва, 1924 г. Стр. 115.

Проявляемый широкими кругами читателей интерес к «польским делам» может найти некоторое удовлетворение в только что изданной книжке тов. Феликса Кона. Автор не дает в ней, правда, систематического изложения данных и сведений, представляющих более или менее полную картину политической и хозяйственной жизни современной Польши, но составленные им главы в виде как бы отдельных «очерков» затрогивают наиболее интересные моменты современного положения «демократической и независимой» Польши. Необходимо отметить, что отсутствие оглавления несколько затрудняет «ориентацию» в содержании книжки и отдельных ее глав.

Глава I трактует главным образом, о роли П. П. С. при восстановлении Польши и во время ее существования вплоть до падения Пилсудского в конце 1922 г. Автор дает нам очерки прихода к власти героя Киевского похода Пилсудского, изменнической деятельности позорной памяти так наз. «рабоче-крестьянского правительства» Морачевского и

«заграничной политики П. П. С». Вполне понятно, что автор уделил сравнительно много внимания партии, сыгравшей роковую роль в судьбах пролетарской революции в Польше. Автор отмечает ее солидарность с II Интернационалом, «вопреки постановлениям XVII парт. конгресса», что, однако, следует считать вполне закономерным явлением, так как предатели из П. П. С. — Дашинские и Морачевские являются деятелями такого же пошиба, как Шейдеманы, Носке и др. Равным образом П. П. С. не отличается от других партий II Интернационала своей «зависимостью от Бельведера», так как, не говоря уже о «Бельведере» Эберта и Макдональда, можно отметить целый ряд фактов близкой организационной связи между социал-предателями и «левыми» правительствами. Польша представляет в этом отношении полную аналогию с другими «демократическими республиками», в которых соглашатели сыграли роль палачей рабочего класса.

В главе II автор приводит интересные данные о политике правящих кругов по отношению к областям с непольским национальным большинством, по отношению к Вост. Галиции и так наз. восточным окраинам. В присоединении этих окраин сыграл главную роль Пилсудский и его «левые» партии, которые представляют собой самое яркое выражение польского империализма, стремящегося к расширению на Востоке. Правда, «левые» выдвигали когда-то программу «федерации», о которой больше не говорится уже. На деле, на территории, захваченной Польшей в период пребывания Пилсудского у власти, проводится политика самого беспощадного национального гнета по методу небезызвестного проф. Стан. Грабского, сподвижника графа Бобринского в Восточ. Галиции, и проф. Гломбинского. За панский террор, свирепствующий ныне в Виленщине, Белоруссии, Полесье, Волыни и Вост. Галиции несет ответственность, в первую очередь, Пилсудский и его клика, организовавшая походы на Вильно, Минск и Киев.

Глава III касается периода пребывания у власти «первого правительства, которое буржуазия считает своим». Переход власти в руки правых в июне 1923 г. состоялся еще более «безболезненно», чем падение кабинета Морачевского. Автор говорит, что «период кабинета ген. Сикорского (последний перед приходом к власти правых) доказал полную неспособность радикальных крестьянских и мелко-буржуазных рабочих партий бороться с крайней реакцией». На самом деле Сикорский, все время проводивший с правыми единый фронт против коммунистов (о чем автор упоминает в дальнейшем), пал не как борец «за демократию» против реакции, а под давлением правых, желавших собственными силами осуществить программу укрепления буржуазного строя,—программу, совпадавшую во многом с идеями «левых», которую в 1924 году вновь суждено было проводить тому же Сикорскому, как министру прав-ства В. Грабского. О провале правых при попытках осуществления плана оздоровления финансов красноречиво говорят приведенные автором данные о состоянии польских финансов во второй половине 1923 г. В это время можно было еще наблюдать искусственный рост промышленности, развивавшейся благодаря инфляции, благодаря подачкам правительства и обнищанию рабочего класса.

Одним из условий создания нового правительства было соглашение между кулацкой партией Витоса и «Хиеной» (христианским объединением крупной буржуазии и помещиков). Компромисс сводился к закреплению в законодательном порядке фактической отмены «аграрной реформы». О значении аграрного вопроса и о банкротстве аграрной политики имущих классов автор говорит в главе IV, в заключении которой правильно отмечается, что неразрешенный аграрный вопрос продолжает висеть «как Дамоклов меч над польскими правящими классами».

Глава V по ходу событий должна была бы занять место после главы II. В ней автор излагает события, связанные с переходом власти от «левых» в руки «правых». Уже довольно продолжительный период правления Пилсудского показывает, что «левые» во многих отношениях были ничуть не «лучше» правых. «Левые» имели достаточно времени, чтобы

показать свое контр-революционное лицо как во внешней, так и во внутренней политике. Саботирование земельной реформы, борьба с «большевизмом», запугивание опасностью войны с «советами» и подготовка к новой войне,—все это послужило водой на мельницу «Хиены», которая решила испытать счастье, подражая при этом методам Муссолини. Результаты общеизвестны: банкротство правых на всех фронтах.

К концу 1923 г. к власти приходит правительство Вл. Грабского, покинувшего в свое время правых (нац. дем-ов) и сблизившегося с левыми. Это правительство объединенной буржуазии, проводящее под флагом оздоровления финансов политику наступления на пролетариат и беднейшее крестьянство. Политика стабилизации приводит в результате к ужасающему промышленному кризису,—таковы законы разложения капиталистического общества.

Одним из последних событий «достабилизационного» периода было краковское восстание рабочих в ноябре 1923 г. С тех пор происходит непрерывный нажим буржуазии на рабочий класс, усиливается гонение на коммунистическую партию, продолжается беспощадный террор по отношению к нац. меньшинствам в областях, «освобожденных» Пилсудским.

Книжка т. Кона читается с большим интересом. Русский читатель, ознакомленный с основными данными о современной Польше найдет в ней много для себя нового.

С. Будкевич.

НАУКИ О ПРИРОДЕ.

1. О. ХВОЛЬСОН. Характеристика развития физики за последние 50 лет. *А. Тимирязев.* — 2. СВАНТЕ АРРЕНИУС. Химия и современная жизнь. *Проф. Н. Изгарышев.* — 3. Ч. ЮНГ. Солнце. *А. Михайлов.* — 4. Э. ФРЕЙНДЛИХ. Основы теории тяготения Эйнштейна. *Я. Шпильрейн.* — 5. АСКАНИЯ-НОВА. Степной заповедник Украины. *Проф. Б. Житков.* — 6. Проф. А. НИКОЛЬСКИЙ. Летние поездки натуралиста. *С. Покровский.*

О. Д. ХВОЛЬСОН. Характеристика развития физики за последние 50 лет. Госиздат. Ленинград, 1924. Стр. 218. Цена 1 р. 20 к.

Автор поставил себе крайне интересную задачу—«сравнить физику начала 70-х годов XIX столетия с физикой начала 20-х годов XX столетия». Но задача задумана в еще более широкой форме. «На ряду с характером эволюции этой науки,—пишет в предисловии проф. Хвольсон,—я поставил вопрос об эволюции ее характера. Последнюю я вижу в появлении непонятных гипотез,—таковых не было в физике старой». Особенно ценно и заманчиво звучат обещания автора на 7-й стр.: мы постараемся разрешить задачу, «и притом с полной *откровенностью*» (курсив автора). «Мы не считаем возможным отказаться от указания тех темных сторон эволюции физики, возникновение которых нам представляется печальным шагом назад». Однако, как мы увидим, именно эта критическая сторона вызывает некоторое разочарование; к тому же ей отведено в книге сравнительно очень мало места: всего 11 стр. последней главы, если не считать небольших замечаний, рассеянных по всей книге. Начало книги дает картину, какую представляла собой физика пятьдесят лет тому назад, и, кроме того, излагаются те главы новой физики, которые непосредственно примыкают к старой. Далее идут главы: «Новые теории в старом духе» и «Новые теории в новом духе». Наконец, последние две главы посвящены итогам: в первой, содержащей 3 стр., подводятся итоги, которые характеризуют, по мнению автора, прогресс физики, во второй—регресс. Обзор старой и новой физики сделан с большим мастерством; несмотря на постоянные оговорки автора, что его

очерк далеко не полный, получается вполне законченная в наиболее существенных своих чертах картина фактических успехов физики за 50 лет. Но как только мы переходим к критической части, к анализу современных теорий, перед нами встают одно за другим серьезные недоумения. Прежде всего проф. Хвольсон считает регрессом дух электромагнитной теории Максвелля, которая заставила нас, после подтвердивших ее блестящих опытов Гертца, «окончательно отказаться от чисто механической теории колебательного движения частиц эфира» (стр. 157). Ни одним словом не упоминается о том, что к своей знаменитой теории Максвелль пришел путем построения и исследования механических моделей эфира. Правда, историю развития электромагнитной теории теперь принято замалчивать; о выводе уравнений Максвелля не принято говорить, их берут как непосредственно данные, вышедшие, как Минерва, из головы Юпитера прямо в готовом виде со всеми значками частных производных! Но ведь мы и должны были ожидать откровенного «указания... темных сторон». Умышленное затушевывание исторического развития теории, несомненно, темная сторона в развитии современной физики, хотя это и сейчас в большой «моде». Можно возразить, что модели, построенные Максвеллем, далеко не всех удовлетворили, а уравнения, которые из них вытекают, очень хороши; но, во-первых, нельзя же забывать, что уравнения родились из этих самых моделей, хотя бы и несовершенных, а во-вторых, что же из того, что модели в известном отношении не хороши? Надо же оставить что-нибудь будущим поколениям. В этом примере очень ярко сказывается метафизический склад ума проф. Хвольсона. Всякая теория должна быть идеальной или... или она не существует. Вся старая упругая теория света, по мнению проф. Хвольсона, уничтожена новой электромагнитной; а спрашивается, почему же целые главы современной оптики, как, например, диффракция, двойное преломление, интерференция и поляризация в новейших учебниках по электромагнитной теории формально изложены так, что страницу за страницей не отличишь от изложения старой френелевской оптики? Для всякого диалектически мыслящего ума все новое вовсе не безусловно отрицает старое. Старые положения науки, казавшиеся безусловными, в дальнейшем оказываются верными, но только в известных более ограниченных пределах: они входят в состав более общих, более всеобъемлющих теорий. Так, явления, объясняемые теорией квант, не укладываются пока что в рамки Ньютоновской механики, и весьма возможно, что и Ньютоновская механика и теория квант окажутся частями более общей и, быть-может, более стройной системы. Но Ньютоновская механика не отменяется теорией квант, напротив, теория квант очень широко использует классическую механику, но об этом в книжке проф. Хвольсона ни слова! В противоречии же с Ньютоновской механикой стоит и принцип относительности, об опытном доказательстве которого пока еще говорить рано. Но именно теорию относительности проф. Хвольсон считает абсолютной истиной, об очень многих веских доводах против учения Эйнштейна просто не упоминается, как, например, об опытных исследованиях «тонкой структуры» спектральных линий. «Она (т.-е. теория относительности) совершенно изменила ту механику Ньютона, которая господствовала в течение двух столетий; пришлось даже отказаться от основных положений этой механики, выраженных знаменитыми тремя законами (leges motus)» (стр. 190). Дальше он говорит с еще большей определенностью: «Старая механика Ньютона разрушена, так как от ее основных положений пришлось отказаться» (стр. 191), и после этого ровно через две строчки мы читаем следующее неожиданное заключение из всего сказанного: «Но при *обычных условиях* (т.-е. при малых скоростях—малых по сравнению со скоростью света) изменения оказываются незаметно малыми; так что *практически она* (механика) *остается* неизменной (курсив автора); астрономы, инженеры, архитекторы и т. д. никогда не перестанут ею пользоваться, как безошибочной основой своих рассуждений и вычислений». И все-таки проф. Хвольсон считает механику окончательно разрушенной, хотя «практики»

строят и будут строить на ней безошибочные расчеты! Совершенно не упоминается блестящая попытка Дж. Дж. Томсена объяснить изменение массы со скоростью, а также изменение массы, сопровождающее изменение энергии механикой среды, т.-е. механикой эфира, постепенным увлечением «связанного» силовыми линиями электрических зарядов эфира. Взгляды Томсена как раз и устанавливают связь между старой и новой физикой. Не упоминается также о новых крайне интересных попытках Ленара и О. Винера разобраться в механике эфира. «Старый» эфир, по проф. Хвольсону, давно сдан в архив. К новому эфиру Эйнштейна, который не может покоиться и не может в то же время и двигаться, проф. Хвольсон, и вполне основательно, относится скептически, но зато он подвергает сомнению существование эфира в том смысле, как его понимали и понимают физики. Весьма меткое замечание сделано на стр. 212: именно, что в современной физике или, точнее, у тех физиков, которые отрицают эфир или принимают новый Эйнштейновский, выплывает вновь действие на расстоянии «actio in distans», хотя они это упорно отрицают. Раз вместо эфира вводится «пустота с электромагнитными свойствами» или эфир, который и не двигается и не стоит,—то какая возможна непосредственная передача действия? Как пустота или нечто, не могущее двигаться и даже оставаться неподвижным, может что-то передавать—понять конечно невозможно; тем не менее, многие физики с метафизически-математическим складом ума считают, что и эфира нет и действия на расстоянии тоже нет! Совершенно непонятны жалобы проф. Хвольсона на то, что современная физика более не считает положительное и отрицательное электричество равноценным. Он сомневается в том, что объем частиц, положительно заряженных, менее объема электрона, но ведь хорошо обставленные опыты свидетельствуют, что это именно так, да и вообще—что же тут непонятного? Подводя итог, можно сказать, что все затруднения проф. Хвольсона вытекают из его метафизического способа рассуждения: всякая теория должна быть идеально, абсолютно верна везде и всегда, если же для нее уже наметились *пределы*, в которых она приложима и за которыми она требует поправок, то она безвозвратно погибла. Далее, если мы пришли к противоречию, которого мы не в состоянии разрешить сегодня, то, значит, мы его никогда не разрешим. Это и есть, по Хвольсону, отрицательная сторона современной физики: введение непонятных гипотез; если мы непонятное заменим «еще не понятое», то все разъясняется! Конечно, не в этих «болезнях роста» лежат отрицательные стороны науки, как это полагает проф. Хвольсон. Отрицательные стороны современной науки—это прежде всего систематическое замалчивание работ, идущих не в «модных» направлениях и не согласующихся с «модными» теориями, на которых строятся выводы, благоприятные для идеалистической философии. Этим недостатком в сильной степени страдает и книжка проф. Хвольсона. Во-вторых, попытки извратить и затемнить историческое развитие современных теорий, как это случилось с теорией Максвелля, и, наконец, нежелание разрешать противоречия, на которые ежеминутно натыкается настоящий исследователь,—попытка еще не понятое считать принципиально непонятным. Эта черта есть даже у знаменитого физика Нильса Бора. В заключении своей Нобелевской лекции он как бы мимоходом замечает: а может-быть, у атома свои законы, которые *ничего общего не имеют* с законами больших скоплений атомов, с которыми мы были раньше знакомы, т.-е. с нашей старой физикой? Все это, может-быть, и верно в том смысле, что законы, приложимые к отдельным атомам, изменяются, когда мы переходим к скоплениям атомов; но задача науки и состоит в том, чтобы изучить этот переход количества в качество, а не в том, чтобы в бессилии опускать руки перед трудностями, примиряться с противоречиями и не искать их разрешения. В этом отказе—искать разрешения противоречий, поставленных теорией квант, проявляется пессимистическое шпенглеровское настроение, и корни его, надо полагать, те же самые... Это безусловно отрицательное явление на почве современной науки, но оно и не вскрывается

автором. Как изложение фактических успехов науки за пятьдесят лет, книжка проф. О. Д. Хвольсона очень хороша; выводы же автора, его взгляды на современные теории крайне односторонние: он считает все новое уже законченным и как бы не подлежащим дальнейшему развитию. Все это вместе может основательно сбить с толку читателя-неспециалиста.

Д. Тимирязев.

СВАНТЕ АРРЕНИУС. Химия и современная жизнь. Перевод, под ред. проф. Н. А. Шилова. Научно-популярная библиотека. «Человек и Вселенная». VIII, 397. XXX стр. Изд. «Земля и Фабрика». М., 1924.

Книга С. Аррениуса охватывает целый ряд интереснейших вопросов, имеющих отношение к важнейшим сторонам народного хозяйства, техники и обыденной жизни. Так, отдельные главы книги, кроме двух вступительных, рассматривающих общие принципы химии, посвящены изложению следующих вопросов: 1) огонь, окисление и восстановление; 2) орудия, металлы; 3) культурная ценность кремнекислоты; 4) химия земной коры; 5) Руды и ископаемое топливо; 6) химия воды и воздуха; 7) источники энергии; 8) электричество и химия; 9) течение химических процессов; 10) краски, душистые вещества и лечебные средства; 11) целлюлоза, каучук; 12) химия и вопрос о хлебе; 13) рациональное использование естественных богатств.

Как видно из перечисленных тем, Аррениус в небольшой книге трактует их лишь с птичьего полета, а потому труд является общим обзором важнейших достижений прикладной химии, и притом обзором популярным. Конечно, мы в данном случае имеем популяризацию высшего порядка, и книга может быть вполне доступна лишь лицам, получившим некоторое развитие и подготовку, хотя бы в размере школы 2-й ступени, включая начатки химии. Но для этой категории читателей и для еще более подготовленных книга представляет необыкновенный интерес чрезвычайно целесообразным подбором фактов, их сопоставлением и освещением. Гений Аррениуса и в данном случае не изменил себе.

Особенно своевременно появление этой книги в связи с учреждением «Доброхима». Она дает, несомненно, много ценного тем, которые возьмут на себя пропаганду важности химической промышленности в массах и облегчит им труд более элементарной популяризаци

Книга переведена и издана очень хорошо.

Проф. Н. Изгарышев.

Ч. ЮНГ. Солнце. Государственное Издательство. 1923 г. Стр. 232.

Книга Юнга вышла первым изданием в Америке в 1881 году. С тех пор она неоднократно переиздавалась на английском языке и переводилась на другие языки, в том числе и на русский, при чем она подвергалась автором, а иногда и редакторами переводов, существенными дополнениям и переработке. В то время она действительно считалась лучшим руководством для детального ознакомления с физикой солнца. В конце девяностых годов прошлого столетия книга выкристаллизовалась в свою окончательную форму, и в дальнейшие издания (по крайней мере русские) существенных изменений не вносилось. С тех пор прошло четверть века, и за это время изучение солнца сделало огромные успехи. Развитие спектрогелиографических исследований и спектрального анализа вообще, открытие законов излучения, светового давления, радио-активных процессов и строения атома, в сильной мере расширили и видоизменили наши представления о солнце. Переработать книгу так, чтобы она соответствовала современному положению науки, значило бы ее почти целиком написать заново, за исключением лишь отделов, излагающих историю исследования солнца. Это мог бы сделать лишь человек, столь же хорошо знакомый с физикой солнца, как автор, умерший в 1908 году, и столь же талантливый популяризатор. Последнее русское издание выпущено «с изменениями и дополнениями» А. А. Белопольского. Несомненно, что наш маститый академик является одним из виднейших

астрофизиков, и он более, чем кто-либо призван к такой коренной переработке книги. Однако, в новом издании сделано лишь несколько мелких добавлений (напр., о явлении Зеемана), сокращены главы, относящиеся к описанию инструментов для изучения солнечной поверхности и изменены некоторые рисунки, отчасти в сторону их сокращения (напр., дана прекрасная таблица Ганского форм солнечной короны вместо ряда менее интересных рисунков в прежнем издании). Ряд же других фундаментальных вопросов остался в том же положении, как и 25—30 лет тому назад. Поэтому как-то странно читать про старые споры о существовании кислорода на солнце, о солнечной температуре и в особенности о законах излучения, не видя и намека на современное положение этих вопросов, получивших столь широкое и блестящее развитие. Если нельзя было переработать книгу так, как этого требует современное состояние науки, то следовало бы сохранить лишь исторический материал, который и до сего времени представляет большой интерес и ценность, оговорив, что книга дает не современные знания о строении солнца, а лишь историю исследования этого светила, притом не доведенную до настоящего времени.

Д. Михайлов.

Э. ФРЕЙНДЛИХ. Основы теории тяготения Эйнштейна. С предисловием А. Эйнштейна и с добавлением статьи В. Вина «Принцип относительности с точки зрения физики и теории познания». «Современные проблемы естествознания». Перевод Г. С. Ландсберга, под редакцией В. К. Фредерикса. Государственное Издательство. 1823—24 г. Стр. 99.

Волна интереса к теории относительности в широких кругах значительно спадает. Еще в прошлом году можно было встретить статьи о теории относительности в самых разнообразных журналах; доклады и диспуты о теории относительности привлекали громадное количество слушателей, при чем рассуждения о теории относительности напоминали споры начетчиков: в качестве аргументов цитировались фразы из книг Борна, Фрейндлиха, Бауэра, реже Лауэ и еще реже Вейля и самого Эйнштейна. Часто при этом цитированные мысли искажались, и потому у нас было сказано и написано не мало вздора по поводу теории относительности. Объясняется это увлеченье, повидимому, открывшейся возможностью порассуждать о новой материи, достаточно непонятной, чтобы казаться интересной. Ибо в нашем рабочем государстве, как и до революции, точное мышление не пользуется пока большим распространением, и нередко можно встретить весьма образованных по части словесности людей, поражающих своим невежеством в области наук физико-математических. Однако, из такого философического рассмотрения физических проблем редко выходит что-либо путное. Рассуждения по поводу теории относительности не могли привести ни к углублению теории ни к ее развитию там, где требуется многолетний совместный труд специалистов, посвятивших себя разработке идей Эйнштейна. Естественно, что широкая публика быстро охладела к модной новинке, о которой в разбираемой книжке справедливо сказано: «Всякому не-математику вход воспрещается».

Тем не менее, значение теории относительности так велико, что все большее число лиц, обладающих математической подготовкой, хотя бы в размере высших технических училищ, инженеров, учителей и т. д., стремится разобраться в сути этой теории.

На русском языке существует уже много книг по теории относительности. Переведены, например, книги Борна, Эддингтона, рассчитанные на малоподготовленного читателя. Более серьезными являются «Основы теории относительности»—четыре лекции Эйнштейна в Пренстонском университете, переведенные и дополненные Н. Н. Андреевым, и, наконец, руководство по теории относительности, написанное Я. И. Френкелем.

Разбираемая книга занимает промежуточное положение между популярными сочинениями и серьезными работами, дающими действительное изложение теории, но зато трудно усвояемыми.

Прекрасным введением является речь *Вина*, выясняющая физическое значение теории относительности в ее основных положениях. Весьма полезными надо считать последние страницы его речи, где он устанавливает различие между научным (физическим) подходом к выводам теории относительности и философскими обобщениями, в особенности гносеологического характера.

Э. Фрейндлих ограничил свою работу изложением теории тяготения, почти не касаясь явлений электромагнитных. Это дало ему возможность на трех печатных листах изложить основные положения специальной и общей теории относительности, затруднения классической механики и решение Эйнштейна, дающее в четырехмерном пространстве «геометрическое» истолкование тяготения. Фрейндлих избегает в своем изложении математических выкладок, но вместе с тем стремится всюду сохранить научную определенность мысли. Некоторые расчетные подробности выделены в дополнения, занимающие около двадцати страниц мелкого шрифта.

Прочитавши эту книгу, можно получить некоторое представление о трактуемых теорией относительности предметах, но все же полученные сведения имеют по необходимости самый общий характер. Если читатель задаст себе вопрос,— каковы же формулы для элемента дуги и тяготения, создаваемого одной материальной точкой,—то он вряд ли сможет, на основании прочитанного, разобраться в таком простейшем конкретном примере.

Для усвоения какой-либо теории необходимо иметь возможность применить ее хотя бы на нескольких конкретных примерах. Такой расчетный пример можно найти в книге Ганса Бауэра «Mathematische Einführung in die Gravitationstheorie Einsteins». Понятно, что разобраться даже в этих простых примерах нельзя без довольно сложных вычислений.

Избежав этих вычислений, Фрейндлих в своей книге дает возможность читателю с наименьшей затратой времени ознакомиться настолько с теорией тяготения Эйнштейна, чтобы решить, стоит ли ему более основательно заниматься этими вопросами. С этой точки зрения предварительного ознакомления книга Фрейндлиха будет полезна для русского читателя. Перевод выполнен внимательно и хорошим языком. Это обстоятельство, равно как и аккуратное издание, выгодно выделяет разбираемую книгу из числа русских изданий по теории относительности.

Я. Шпильрейн.

АСКАНИЯ-НОВА. Степной заповедник Украины. Сборник статей, под редакцией проф. М. Завадовского и Б. К. Фортунатова. «Природа и Культура». Кн. I. Госуд. Издат. Москва, 1924. Стр. 376.

Очень чисто и с многочисленными репродукциями фотографий изданная книга посвящена описанию современного состояния знаменитого зоопарка, созданного Ф. Э. Фальц-Фейном и теперь превращенного в государственный заповедник, и изложению результатов ряда работ, произведенных там несколькими учеными в 1919 — 1923 годах. Сборник содержит следующие отдельные статьи: М. М. Завадовский «Общий очерк и история развития Аскании-Нова»; Б. К. «Фортунатов «Два года жизни Аскании-Нова (1921 — 1922)»; И. К. Пачоский «Целинная заповедная степь Аскании-Нова; Б. К. Фортунатов; «Зоопарк» Н. И. Дергунов «Дикая фауна Аскании»; М. М. Завадовский «Экспериментальные исследования 1919—1920 г. г. в Зоопарке Аскании-Нова»; М. М. Завадовский «Акклиматизация млекопитающих и птиц в Аскании-Нова»; Б. К. Фортунатов «Гибридные стада за последние годы»; М. М. Завадовский «Исследования по экспериментальной зоологии летом 1923 года».

При чтении этой весьма интересной и полезной книги читающий ее культурный человек приходит прежде всего к двум важным и удовлетворяющим его заключениям: 1) что и в последние во всех отношениях трудные годы в Аскании велись специальные научные работы, и служащие учреждения всячески защищали его существование и целость; 2) что, несмотря на многие потери и повреждения, знаменитый заповедник в

основах своих все же сохранился и имеет право требовать себе лучшего будущего.

Среди описаний отдельных частей научного хозяйства Аскании в сборнике простотой и ясностью изложения и цельностью представленной картины выделяются статьи Пачоского и Дергунова. Но вообще весь материал, составляющий сборник, читается с большим интересом. Недостатком же книги является значительное количество редакционных и корректурных недосмотров. Они понятны при современных условиях работы специалистов и печатания, и я упоминаю о них собственно для того, чтобы обращено было на эту сторону дела особое внимание при следующих изданиях книги. Нужно будет исправить такие лапсусы и неточности, как указание, что Беловежская пуща находится в Минской губернии, что «неисчислимые» стада бизонов существовали еще в Америке 30 лет тому назад, и что «лет 40—45 тому назад табуны диких лошадей скакали в приднепровских плавнях» (стр. 46 и 47); некоторые неясности в статье о метисах (стр. 322 — 329) и др. Весьма многочисленны корректурные искажения в латинской номенклатуре, которая к тому же в некоторых местах должна быть уточнена и всюду снабжена именами авторов видовых описаний. К общему тону книги не подходят также, как нам кажется, фразы в роде — «Багровые заполнились закаты безумным стрекотом тысячи фазанов»,—и другие подобные.

Но все это не важные стороны дела. Важно, что авторы работали, и что они определенно и веско, и притом понятно и для неспециалиста, выясняют и подчеркивают то обще-культурное, научное и даже непосредственно-утилитарное значение, которое имеет и тем более может иметь в будущем Аскания-Нова. Гибель такого учреждения легла бы, поистине, несмываемым позором на страну и культурные слои ее населения.

Судя по данным разбираемой книги, можно надеяться, что такая опасность уже окончательно миновала. Но требуется, конечно, еще много труда и средств, чтобы привести заповедник в полный порядок, восстановив и упрочив разрушенное. К этому, как нам кажется, и нужно прежде всего стремиться, не увлекаясь пока проектами значительного расширения учреждения.

Проф. Б. Житков.

Проф. А. М. НИКОЛЬСКИЙ. Летние поездки натуралиста. 2-е изд. Государственное Издательство. Ленинград, 1924 г. Стр. 241.

Мало можно найти научно-популярных книг, написанных с таким мастерством, как книга Никольского.

Перед читателем встают живые картины отдаленных стран с их удивительным своеобразием природы, быта, людей, климата; он видит перед собой раскаленные пустыни Туркестана, величественный простор Ледовитого океана, роскошную природу Персии, угрюмые берега далекого Сахалина.

Описания Никольского не есть обычные описания научно-популярных книг. Во-первых, это рассказ очевидца, который рассказывает вам не из книг, а из лично им пережитого и виденного. Во-вторых, это именно *поездки*, которые все время совершает читатель рука об руку с автором. Динамичонсть—главное отличительное свойство книги Никольского. То, что дает автор, это мало назвать картинами,—это движущаяся кинолента, которая непрерывно проносится перед вашим взором и которую не перестаешь смотреть с жадным любопытством, не чувствуя ни малейшей усталости.

Непрерывное движение—вот основной метод Никольского, и на фоне этого движения все то, что говорит автор о климате, о ландшафте, о животном и растительном мире, приобретает ту исключительную яркость, которую не может заменить самое подробное и красноречивое статическое описание.

Но автор является не только превосходным и остроумным рассказчиком. Он прежде всего—натуралист, и все то, что он видит, он видит глазами натуралиста и дарвиниста.

Ландшафт его интересует не только как художника. Он видит в нем результат действия физико-географических сил

и конечное звено длинной цепи геологических времен. Растения у Никольского—это дети определенной географической области, это жители, приспособившиеся к тем или иным формам жизни, порождение своеобразных условий и той непрекращающейся никогда борьбы за существование, которая выкроила их на свой лад и снабдила их теми свойствами, без которых немыслима победа в вечном состязании организмов.

То же самое, конечно, приходится сказать о животных, о которых автор, как зоолог, умеет рассказать особенно много интересного.

Достаточно прочесть хотя бы описание животных, птиц, ящериц, змей, насекомых и пауков кизыл-кумов, чтобы в этом убедиться. Читатель, сделавший это, приобретет не только живое знакомство с внешностью и образом жизни этих существ, в его голове останутся, кроме того, превосходные иллюстрации к теории эволюции, яркое представление о том, что такое покровительственная окраска, мимикрия, приспособление органов, форм, инстинктов и всего образа жизни к окружающим условиям.

Организм и среда, как две непрерывно связанных между собою части единой природы,—вот тот основной мотив, который сопровождает автора, как исследователя посещаемых им стран.

Большую географическую ценность представляет описание острова Сахалина. Этот злополучный остров не раз был предметом художественного описания. О Сахалине писал Чехов, очень яркие наброски давал в своей книге Дорошевич. Но их, как и большинство русских авторов, Сахалин интересовал с его социальной стороны,—остров, как место ссылки царских времен. Никольский также не обходит в своем описании ни ссылки, ни каторжан, ни быта этих заброшенных на край света людей. Но никто вместе с тем не сумел дать такую яркую и живую картину природы этой земли, какую дает в своей книге Никольский. Читатель, привыкший смотреть на Сахалин лишь через траурную рамку ссылки, бывает неожиданно поражен, когда перед его глазами начинают развертываться захватывающие картины привольной и пышной растительности острова, величественного ландшафта и обилия животной жизни, составляющей истинное богатство острова.

Люди и быт, который рисуется автором,—это, конечно, быт прошлого, хотя и недавнего.

Та всепроникающая революция, которая всего коснулась, на все наступила, затронула каждый угол когда-то такой неподвижной и необъятной страны, не могла пройти даром для самых отдаленных краев великого СССР.

Но все же наш север, Туркестан, а также лежащие вне наших пределов Персия и теряющийся в тумане Тихого океана Сахалин остались и до сих пор теми же не только по своей природе.

Соотношение человека и географической среды осталось прежним, накладывая неистребимый отпечаток на образ жизни, а изменение социальной среды и новой экономики там еще так ново и так поверхностно, что говорить сейчас о преодолении исторической инерции было бы слишком рано.

Поэтому и с этой стороны «Поездки натуралиста» не могут считаться очень устаревшими, несмотря на то, что берега Ледовитого океана и пустыни Туркестана связаны теперь с центром железными путями, телеграфом, радио и другими более неуловимыми беспроволочными токами, которые порождены послереволюционными условиями жизни.

Было бы нелепо предъявлять к классической книге Никольского требования, чтобы она отражала то, чего еще не было в момент ее написания. Да и не в быте и не в человеческом обществе центр тяжести «Поездок натуралиста». Книга все-таки остается и останется классической книгой, которой будут зачитываться новые и новые поколения подростков, мальчиков, юношей,—книгой, которая будит любовь и интерес к природе, приучает смотреть на мир глазами физико-географа и эволюциониста и представляет неисчерпаемый запас чрезвычайно ценного материала для самостоятельной и плодотворной проработки целого ряда географических и биологических тем.

Переиздание книги Никольского Гос. Издательством поэтому можно только горячо приветствовать и вместе с тем

настойчиво рекомендовать «Поездки» как пособие при изучении географии СССР, как книгу для чтения подростков и молодежи, как настольную книгу педагога-географа, как материал для самостоятельной работы учащихся по методу Дальтон-Плана.

Хотелось бы только для будуших изданий «Поездок» пожелать лучшей бумаги, лучшего выполнения иллюстраций и, пожалуй, еще прибавления соответствующих географических карт.

С. Покровский.

НАУКИ О ЯЗЫКЕ.

1. Проф. И. ВАНДРИ. Язык. Лингвистическое введение в историю. *М. Петерсон.* — 2. ФЕРДИНАНД БРЮНО. Мысль и язык. *М. Кенигсберг.* — 3. Т. РАЙНОВ. Александр Афанасьевич Потебня. *М. Петерсон.* — 4. Проф. Н. ДУРНОВО. Грамматический словарь. *М. Петерсон.*

Prof. J. VENDRYES. Le langage. Introduction linguistique à l'histoire. Paris. 1921. XXVIII+420.

Проф. И. ВАНДРИ. Язык. Лингвистическое введение в историю. Париж, 1921. Стр. XXVIII+420.

Книга вышла в серии «L'evolution de l'humanite», издающейся под общей редакцией Henri Berr'a; она должна служить, как видно из подзаголовка, лингвистическим введением в историю; но автор не выходит за пределы лингвистики, резонно замечая (в предисловии), что историкам, по их специальности, он ничего интересного сообщить не может. Однако, назначение книги (для историков) сказывается в том, что в ней много внимания уделено социальной стороне языка. H. Bert характеризует Vendryes, как трезвого лингвиста, который основывается на фактах и не любит теорий, и это вполне подтверждается содержанием книги с начала до конца.

Книга состоит из введения (происхождение языка), пяти частей (1. Звуки. 2. Грамматика. 3. Словарь. 4. Образование языков. 5. Письмо) и заключения (Прогресс языка).

Во введении Vendryes доказывает, что происхождение языка—проблема не лингвистическая: она превышает средства, которыми лингвистика располагает. Сравнительное языкознание приводит к установлению индо-европейского праязыка, но это—язык далеко уже не примитивный, он—результат долгого исторического развития,—из него нельзя черпать материала для решения вопроса о происхождении языка. Ничего не дает для этого и изучение языков некультурных народов: и эти языки не примитивны; история их темна и загадочна. Нельзя опираться и на язык детей: условия его развития совсем иные, чем условия первоначального возникновения человеческой речи. Все, что возможно здесь, — это сделать попытку установить условия, позволившие человеку говорить; условия эти— психологические и социальные. Со всем этим нельзя не согласиться, и каждого, интересующегося проблемой происхождения языка, можно только отослать к этим немногим страницам трезвого лингвиста.

Не буду останавливаться на первой и пятой частях, хотя и в них читатель найдет много интересного.

Вторая часть — грамматика — поражает огромным сходством с морфологической системой Фортунатова.

Понятия *семантемы* (лингвистический элемент, обозначающий представление),

и *морфемы* (лингв. элемент, обозначающий отношения между представлениями) соответствует *основной* и *формальной* принадлежностям Фортунатова. Термин морфемы, впрочем, у Vendryes шире: он обнимает и несамостоятельные слова, выражающие отношения между представлениями.

Морфемами могут быть фонетические элементы (звук, слог или несколько слогов). Это то, что, по терминологии Фортунатова, называется аффиксами; сюда же Vendryes причисляет и несамостоятельные слова.

Во-вторых, морфемами могут быть чередования гласных (внутренняя флексия), напр., англ. foot—feet (по Фортунатову—флексия основы).

Далее указывается на существование нулевых морфем (les morphèmes zéro). По Фортунатову,—отрицательная формальная принадлежность.

Наконец, устанавливается, что и порядок слов может иметь формальное значение, как, напр., во фр. Pierre frappe Paul (Петр бьет Павла), где только порядок слов указывает, какое слово выражает субъект и какое—объект. Это явление Фортунатов называет формой словосочетания.

Сходство между Vendryes и Фортунатовым не случайно. Его можно объяснить, во-первых, влиянием на Vendryes де Соссюра, взгляды которого очень близки к взглядам Фортунатова (см. «Печ. и Рев.». 1923, кн. 6, стр. 29), а во-вторых, непосредственным влиянием Фортунатовской школы: судя по спискам литературы, Vendryes знаком с «Введением в языковедение» ученика Фортунатова—Поржезинского.

В этой же части рассматриваются грамматические категории, под которыми Vendryes понимает «значения, которые выражаются посредством морфем», как-то: род, число, время, вид, залог; здесь приводится много примеров, главным образом, из французского языка, при чем морфологические категории французского языка выступают совсем в ином освещении, чем обычно; это—материал для формальной грамматики французского языка, которая, насколько мне известно, еще не написана, о чем можно только пожалеть

В критике традиционных частей речи много интересного, но ей недостает ясности исходных пунктов. Может-быть, автору здесь помешало то, что он, не любя теорий, не рассматривает теоретически вопроса о форме.

В третьей части (словарь) автор уделяет большое внимание социальным факторам, влияющим на состав словаря и на изменение значения слов. К сожалению, классификация изменений значения слов у него логическая (сужение и расширение значения), справедливо осужденная Вундтом.

В четвертой части рассматриваются типические случаи образования литературных языков с большим количеством примеров, говорится о диалектах и специальных языках, о смешении языков, о родстве языков и о сравнительном методе, о правильности языка и т. д. Здесь тоже очень часто автор ссылается на социальные факторы.

В заключении, говоря о прогрессе языка, автор не считает возможным вводить в лингвистику понятия совершенства в буквальном смысле. Эволюция языков, говорит он, только отражение эволюции обществ, и только в этом смысле можно допустить гипотезу прогресса языка.

Это очень краткое изложение книги французского лингвиста, надеюсь, дает хоть некоторое представление о том, насколько она интересна. Специалист в ней найдет оригинальный синтез того, что сделано в лингвистике по общим вопросам, и обширную библиографию; студент и преподаватель языков—надежное руководство по основным вопросам языковедения; широкий читатель—строго научное, но вполне доступное и увлекательное изложение важнейших лингвистических проблем, знакомство с которыми необходимо каждому образованному человеку.

М Петерсон.

FERD. BRUNOT. La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage appliquée au français. Paris. Masson et C-ie. Editeurs. 1922. Pp. XXXVI+954. Prix: 50 fr.

ФЕРДИНАНД БРЮНО. Мысль и язык. Метод, принципы и план новой теории языка, примененный к французскому языку. Париж, 1922. Стр. XXXVI+954.

Книга известного историка французского языка Фердинанда Брюно совершенно необъятна по количеству привлеченного материала. В нее в систематическом плане и с методологическими целями и задачами входит весь тот багаж, который послужил автору для его многотомной истории языка. Рецензируемая книга, как показывает ее заголовок, преследует, очевидно, в первую очередь, методологические цели, ставит своею задачею реформу традиционного изучения языка, пересмотр устарелых грамматических схем и пытается наметить новую терминологию, основанную на живой, наличной данности языковых фактов. В обширном введении автор обосновывает и определяет направления своей работы. Его целью было дать не «Психологию» (он «даже заботливо избегал советоваться с психологами и их работами»), но также его целью была и не «Грамматика», по крайней мере, надо думать в нормативном понимании этого слова. «Все, что «автор» хотел,—это представить *методическое изложение фактов мысли, рассмотренных и квалифицированных в их отношении к языку и средств выражения, им корреспондирующих*» (курсив автора). Уже во «Введении» автор обнаруживает и много достоинств своей позиции и заставляет предположить наличие у него многих недостатков. Первым и главным является, на наш взгляд, то, что автор, выступающий с «новой теорией», не стоит на каком-либо твердом теоретическом и принципиальном фундаменте, а также, можно предполагать, не может похвастаться преодолением всей научной традиции вопроса, особенно поскольку он разрабатывался представителями логики и психологии. Как почти всегда бывает с лингвистами, Брюно лет на 20—30 отстает от современной ему философской науки, даже и там, где она работает над проблемою языка.

Во «Введении» Ф. Брюно очень остро полемизирует против притязаний исторической грамматики—раскрывать сущность языка в определенную эпоху, «сегодняшнего» языка. Не сомневаемся, что эта позиция подсказана была автору замечательным лингвистом Ф. де Соссюром, но характерно, что идеи женевского ученого очень быстро дали знать себя во французской науке. Эти оговорки и полемические выпады не помешали, впрочем, автору в самой работе привлечь обильнейший исторический материал, значительно осложнивший книгу и затемнивший ее основную задачу, хотя автор нигде и не прибегает к истолкованию того или иного современного явления языка из его происхождения. В своей методологической убедительности книга несомненно бы выиграла, если бы не загромождающее количество исторических экскурсов.

Переходя к основной части теоретического задания автора, мы должны обратить внимание на очевидную его неотчетливость. Что значит прежде всего—«факты мысли, рассмотренные и классифицированные в их отношении к языку»? Где приходилось автору встречать факты мысли, которые бы не были выражены словом? А с другой стороны, что значит—«их отношения к языку»? Если речь идет о построении принципиальной науки о возможных категориях значения—общей семасиологии, как она была задумана и исключительно последовательно разработана Антоном Марти (отчасти А. Штёром), то это дисциплина не эмпирическая и уж во всяком случае не лингвистическая, и Брюно здесь явно нарушает заявленное им желание не вступать в область «психологии». Если же речь идет о категориях выражения, наличествующих в языке, со стороны их значения, то это всецело покрывается второю частью формулы, представляет задачу собственно грамматическую, а введение первой половины формулы возвращает нас к худшим временам школьной грамматики, строившей свои категории применительно к принятым категориям школьной же логики. На деле,

при ознакомлении с содержанием книги Брюно, так и оказывается, при чем еще автор постоянно перебивается от анализа синтактической данности слова в направлении к его значению, к анализу кустарно установленных категорий значения и их выражению во французском языке. В этой области совершенно отчетливо ощущается у автора его незнакомство с достижениями семасиологии и общей грамматики. Язык, слово, как особый предмет, обладает специфическими предметными формами, вовсе не обусловливаемыми формальными, а тем более реальными значениями, которые выражены в слове. И как грубая логическая ошибка звучит заявление автора, что, если термометр обозначает степени температуры, язык также должен их обозначать. Подобное утверждение влечет автора в тексте его книги к постоянному приписыванию лексике формально-грамматических значений, к смешению словаря и грамматики и крайней неотчетливости устанавливаемых им категорий значения (напр., ожидание, надежда, беспокойство, боязнь, удивление, удовлетворение, сомнения и т. п.). В самом плане книги постоянно перемешивается, без какого-либо понятного читателю порядка или основания, удовлетворение то первой, то второй половины приведенной выше формулы.

В виду огромности материала останавливаться на рассмотрении фактического содержания книги невозможно, особенно потому, что для русского читателя важнее всего принципиальная сторона работы Брюно. Отметим только чрезвычайную слабость постановки проблемы имени, в которой автор не проводит самых элементарных различий. Так, напр., он подвергает сомнению существенность различения собственных и нарицательных имен на том основании, что собственное имя вовсе не обозначает единичный предмет, так как в Америке есть города Париж, Сиракузы, Мемфис, не говоря уж об именах лиц и фамилиях. Вместе с тем существенного отличия Брюно не замечает: одинаковые собственные имена есть только омонимы, обозначающие совершенно различные вещи, в то время, как нарицательное имя (апеллятив) говорит всякий раз о том же самом предмете, хотя бы назывались им и разные вещи. Значимость же собственного имени есть совершенно особая проблема, сводящаяся к установлению некоторых семантических черт, извлеченных из содержания первого носителя имени собственного, но далеко не при всяком наименовании имеет место подобная апелляция. Кроме того, различные функции собственного имени: указание на этническое, социальное и т. п. происхождение названной вещи,—не относятся к значению имени. Слабость основной семасиологической позиции Брюно здесь дала себя сильно знать. Таков один пример; их можно было бы умножить до больших размеров. Резюмируя, надо указать на необходимость сугубой осторожности в пользовании этой книгою. Ее эклектизм в принципиальном отношении есть наибольший грех. Автор не всегда отдает себе отчет, напр., в границах лингвистики, с одной стороны, и риторики и стилистики—с другой. Со всем тем книга безусловно интересна и особенно с точки зрения занятий французским языком. В этом направлении материал ее исключительно богат и может принести пользу вне зависимости от методологических принципов автора. С принципиальной же стороны она может породить множество праздных теорий у не критически относящегося читателя (напр., преподавателя).

М. Кенигсберг.

Т. РАЙНОВ. Александр Афанасьевич Потебня. Петроград. «Колос». 1924. Стр. 110.

Содержание книги сводится к следующему (буду пользоваться словами самого автора): «Сперва я представил Потебню в ореоле растущей известности его в широких кругах» (I гл.). «Затем попробовал набросать его облик, каким он рисуется при сопоставлении с одновременной *ученой* русской средой» (II гл.). «Дальше я попытался разобраться в его *интимной* психологии, насколько о ней можно судить по имеющимся данным» (III гл.). «В следующей главе я хотел познакомить читателя с совокуп-

ностью его идей в целом» (IV гл.). «В заключительной главе мне хотелось намекнуть на обще-философское и научное значение его идей» (V гл.).

Задачу свою автор формулирует в очень скромных выражениях: «В нижеследующем читатель найдет несколько рекогносцировок, предварительных разведок, предпринятых с разных сторон—с одною целью дать почувствовать духовную индивидуальность Потебни» (6). Он сам признает, что «этой характеристике Потебни недостает очень многого» (5), и с этим нельзя не согласиться. Автор слишком увлекся философской стороной идей Потебни, и Потебня, как языковед, остался у него в тени, тогда как надо было бы ждать, что лингвистические взгляды Потебни должны были бы стоять в центре внимания: Потебня прежде всего—языковед.

Для характеристики взглядов Потебни на язык автор избрал только один вопрос—об эволюции частей речи. Он излагает его безо всяких критических пояснений: оставляет читателя без необходимой перспективы. Приведу примеры.

На стр. 83—84 говорится: «Процесс разложения чувственных образов и образование частей речи Потебня проследил на развитии русского и родственных ему (славянских и литовского) языков, лишь изредка приводя аналогии из других языков. Но он надеялся, что этот процесс, при всех его индивидуальных изменениях, может быть прослежен во всех языках, по крайней мере новых. Началось разложение чувственных образов, насколько мы можем заметить, с образования слов, в которых современные нам функции главных частей речи, имен и глаголов, еще смешаны. Потебня называет эти слова «первобытными причастиями».

Автор не поясняет при этом, что процесса разложения чувственных образов никак нельзя проследить на развитии какого бы то ни было языка. То же самое надо сказать и об образовании частей речи. Имя и глагол уже дифференцированы в индоевропейском праязыке. Эпохи, в которую функции имени и глагола были бы смешаны, лингвистический анализ вскрыть не может. Это, между прочим, показывает, что выбранный автором вопрос никак не может служить для характеристики Потебни, как лингвиста.

Другой пример: «Наиболее ранняя, по мнению Потебни, форма глагола, это—инфинитив (неопределенное наклонение)» (88).

Надо думать, что автор не считает инфинитива наклонением, а только пользуется общеупотребительным термином, не думая, что он может ввести кого-нибудь в заблуждение. Едва ли можно так рассчитывать на читателя. Языковедение—не из популярных наук. Автор не указывает, что это утверждение Потебни противоречит показаниям индоевропейских языков, согласно которым инфинитив появился гораздо позднее (на почве отдельных и.-е. языков) других глагольных форм—лица, времени, наклонения, залога, вида,—которые существовали уже в индоевропейском праязыке. Есть в лингвистической части книги и недоразумения.

На 95 стр. автор утверждает, что «крупнейшее *сравнительно-лингвистическое* [1]) исследование Гумбольдта»: «Ueber die Kawisprache auf der Insel Jawa». Из этого исследования Гумбольдт, как известно, успел вполне закончить только «Введение», трактующее о различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Таким образом, это «Введение» посвящено самым общим вопросам языкознания и даже выходит за пределы его, и никакого сравнительно-лингвистического исследования не заключает.

С этим связано и другое недоразумение. По словам автора, «своими знаменитыми исследованиями по сравнительному языковедению он (Гумбольдт) определил во многом соответствующие воззрения Потебни»... (94). Автор, к сожалению, не дает фактических справок в подтверждение своего положения, но думаю, что ему его обосновать не удалось бы. Гумбольдт умер в 1835 г. При нем протекла самая ранняя эпоха в развитии сравнительного языкознания, только что (в 1816 г.) основанного

[1]) Курсив мой.

Боппом. Потебня же родился в 1836 г. Он был свидетелем научной деятельности Шлейхера, при нем возникла в 70-х годах в Германии школа «новограмматиков». Потебня не мог не быть в курсе того, что делалось в его время в классической стране языковедения, где он провел целый год в научной командировке. А если так, то его сравнительно-лингвистические воззрения не могли отстать от соответствующих воззрений Гумбольдта: сравнительное языкознание во время Потебни сделало огромные шаги по сравнению со временем, когда жил Гумбольдт.

Не могу еще не остановиться на одной очень заманчивой фразе (18 стр): «Потебня получил двухгодичную научную командировку, но пробыл в ней лишь год, впрочем, *отлично использованный*»... (курсив мой). Очень жаль, что и здесь автор ограничивается одним этим заявлением, не подтверждая его никакими фактическими данными. Это тем более жаль, что Ягич в «Истории славянской филологии» [1]) (552 стр.) выражается об этом годе совсем в ином духе. Надо думать, что автор располагает более обширными материалами, но он их не указывает.

Итак, мы ничего не узнаем о Потебне, как языковеде. Я не знаю, впрочем, можно ли это поставить автору в вину: он задавался целью «дать почувствовать огромную духовную индивидуальность Потебни». Предоставляю судить читателю, удалось ли ему это.

М. Петерсон.

Проф. Н. Н. ДУРНОВО. Грамматический словарь (грамматические и лингвистические термины). Издательство Л. Д. Френкель. Москва—Ленинград, 1924. Стр. 154.

Я нахожу очень удачной мысль—издать отдельно словарь терминов из области грамматики и других отделов языковедения. Энциклопедические словари, куда эти термины обыкновенно входят, гораздо менее доступны широким кругам, не так удобны для пользования и с трудом могут быть переизданы и видоизменены, что очень существенно для области, где многое еще находится в процессе образования.

Появление «Грамматического словаря» надо признать вполне своевременным. В настоящее время почти нет надежных руководств для изучения и преподавания родного языка, а «Словарь,—как справедливо замечает автор,—будет полезен тем, кому придется учить или учиться языку, главным образом, родному». Это пособие — очень надежное: из всех толкований терминов, которых в «Словаре» до трехсот, до 80 процентов не вызывают никаких возражений, что надо считать блестящим, особенно для первого опыта. Процентов 10 требуют редакционных поправок, напр., статья — «степени сравнения», изложенная очень трудным языком; и только последние процентов 10 требовали бы более существенных исправлений. Эти 10 процентов падают, главным образом, на морфологию — отдел очень трудный и весьма мало разработанный. Здесь автора можно упрекнуть иногда в непоследовательности. Так, совершенно справедливо требуя, чтобы «части речи» выделялись только по формальным признакам (см. статью «Грамматические классы слов»), автор «существительное» определяет по значению и, по моему мнению, неверно ссылается здесь на Фортунатова, который строго отличал грамматические классы слов от неграмматических. (Ср. также: В. Поржезинский «Введение в языковедение», 4, 147 стр. и Д. Н. Ушаков. Краткое введение в науку о языке, 6, 87 слл. Оба стоят на точке зрения Фортунатова.) В статье «Возвратная форма глаголов» функции 6 и 7 не соотносительны со всеми другими, и это надо было бы точно оговорить; впрочем, другие статьи, касающиеся залогов, дадут возможность самому читателю внести необходимые поправки. Однако, это—мелочи, совершенно не уменьшающие ценности книги.

Возникает еще вопрос—насколько полон «Словарь»? В нем можно отметить немало пропусков. Так, напр., термины «имперфект», «перфект» есть, а «аориста» нет; нет названий падежей; полезно

[1]) Эта книга осталась автору неизвестной (см. 103 стр., прим. 57).

было бы ввести названия языков и др. Однако, следует признать, что выбор терминов сделан очень практично и вполне соответствует той цели, которую автор себе поставил.

Я не сомневаюсь, что книга эта сделается настольной у каждого преподавателя русского языка, и у каждого, интересующегося вопросами языковедения.

М. Петерсон.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Архив братьев Тургеневых. Вып. 5 и 6. *Н. Гудзий.* — **2. Г. ГОРБАЧЕВ. Очерки современной русской литературы.** *Л. Войтоловский.* — **3. Историко-литер. сборник. Посвящается В. И. Срезневскому.** *Н. Кашин.* — **4. Л. Л. ТОЛСТОЙ. I. В Ясной Поляне. II. Правда о моем отце.** *И. Кубиков.* — **5. М. РЫБНИКОВА. По вопросам композиции.** *К. Локс.* — **6. Р. ВОЛКОВ. Сказка.** *Р. Шор.* — **7. М. СЕРОВА. Новгородские сказки.** *А. Смирнов-Кутаческий.* — **8. Н. ЧУЖАК. «Литература» к художественной политике РКП.** *А. Лежнев.*

АРХИВЪ БРАТЬЕВЪ ТУРГЕНЕВЫХЪ. Выпускъ 5-й. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816 — 1824 годы (III томъ). Подъ редакціей и съ примѣчаніями профессора Е. И. Тарасова. Выпускъ 6-й. Переписка Александра Иваиовича Тургенева съ кн. Петромъ Андреевичемъ Вяземскимъ. Томъ I: 1814 — 1893 годы. Подъ редакціей и съ примѣчаніями Н. К. Кульмана. Изданіе Отдѣленія Русскаго языка и словесности Россійской Академіи Наукъ. Петроградъ, 1921. Стр. VIII + 528 + II + 542.

Около пятнадцати лет тому назад в Академию Наук поступил богатый по обилию и ценности материала архив братьев Тургеневых, хранившийся до тех пор в Париже у сына Николая Ивановича Тургенева — Петра Николаевича, скоропостижно скончавшегося в 1913 г.; с 1911 по 1915 г. из этого Архива опубликованы два тома дневников и писем Николая Ивановича Тургенева, один том писем и дневника его старшего брата Александра Ивановича и путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. (всего 4 выпуска). После перерыва в 6 лет вышли, наконец, следующие два выпуска, обозначенные выше.

Особенный интерес, как и в предыдущих выпусках Архива, представляют дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. И то, что напечатано в III томе, представляет для нас сугубый интерес. Здесь рассказано Тургеневым о самом себе, о своих мыслях, чаяниях и ожиданиях в пору своей духовной и физической зрелости и в последние годы своего пребывания в России, с которой ему суждено было расстаться на целых 33 года. В дневниках мы найдем свидетельство о том, как человек, близкий к власти и в то же время до самозабвения любивший Россию и русский народ, расценивал и переживал происходившее вокруг него в русской жизни накануне 1825 г.

Основной пафос Николая Тургенева, основное чувство, наполнявшее всю его жизнь — до болезненности доходящая любовь к родине и жажда гражданского служения ей. Гражданственность, вольность, отечество — идеи, воспламенявшие декабристов, были священнейшими идеями и для Николая Тургенева.

В записи 1819 г. читаем: «Я весь состою из одной идеи — *беспредельная любовь к Отечеству!*.. Я ничего не вижу в жизни, кроме этого прелестного идеала, называемого отечеством. Оно — моя религия, моя любовь, мое бессмертие, мое все!».

Самое большое зло русской жизни, которое более всего смущает душу Тургенева — рабство, крепостное право и самодержавный строй нашего государства. Воспитанный на идеях французской революции, преданный почитатель и

ученик Руссо, он ратует против того и другого института, *побуждаемый прежде всего голосом нравственного чувства*. «Я теперь более, нежели когда-либо, ненавижу всю гнусность рабства, видя вблизи, до чего оно людей доводит и как оно существовать может. Все доводы, в защищение, в извинение рабства приводимые, суть самый пустой вздор».

Освобождение крестьян в интересах самого дворянства — так думает Тургенев. «О хамство, хамство! — пишет он.— Ты не видишь, что с освобождением крестьян ты само исторгаешься из рабства, из грязи, из варварства. Когда дворянство не будет иметь рабов, тогда и оно не захочет быть рабом престола». Отрицательное отношение к крепостному праву у Н. И. Тургенева не было лишь результатом его теоретических размышлений в кабинете петербургской квартиры. С условиями крепостного быта Тургенев знаком был по личным наблюдениям; он пристально всматривался в крестьянскую жизнь во время своих поездок в имение, а те несколько десятков страниц в дневнике, которые объединены общим заглавием «Тургенево», свидетельствуют о наблюдательности автора и об его серьезном и участливом отношении к положению своих крепостных.

К Александру I у Тургенева было положительное отношение; Т. даже симпатизировал этому государю, и все же он скорбел о том, что Россия живет под самодержавным строем, и мечтал о конституции. Он пишет: «Меня гнетет мысль, что я при жизни своей не увижу Россию свободною на правилах мудрой конституции. При всяком добром намерении, так сказать, падают руки, когда вспомню, что я осужден прожить вторую половину своего века в том же порядке вещей, который существует доселе. Это печально, грустно, ужасно, унизительно!».

В дневниках рассыпано много суждений, замечаний о различных сторонах государственной и административной жизни России. Служба в Государственном Совете давала Н. И. Тургеневу достаточно богатый материал для непосредственных наблюдений и умозаключений в этих областях. Не менее ценны и отзывы Тургенева о различных сановниках, которым приходилось быть вершителями судеб отечества. Общее заключение, к какому приходит Тургенев в результате своих наблюдений над русской жизнью, весьма неутешительно. «Я беспрестанно думаю теперь о состоянии России и ничего не вижу, кроме печального хаоса»,— пишет он. Тургенев знает, что история предъявляет к каждому государству свои счета, и он боится, сможет ли Россия по этим счетам оплатить: «Все счеты должны быть рано или поздно заплачены: дай бог, чтобы уплата... была счастлива для России». Но надежд на сносное будущее мало, потому что «бездна и хаос бедствий, от которых гибнет Россия, делает всякую надежду недостижимою».

Сам он мечтает о том, чтобы навсегда покинуть Россию и поселиться где-нибудь в Западной Европе, потому что чувствует полную свою бесполезность и ненужность на родине. Через все дневники неоднократно прорываются жалобы на одиночество, острую тоску и нестерпимую скуку, порой переходящую в полное равнодушие и отупение. Тургенев чувствует себя ненужным, лишним человеком у себя в отечестве и нестерпимо томится от этого сознания. Его жалобы на душевную боль и опустошение так часты, что их не исчерпаешь в краткой заметке. Он пишет: «Скука делается более и более серьезною и приближается к постоянному отвращению от жизни. Все окружающие меня вещи и лица к тому не мало способствуют. Не знаю, что из этого выйдет; не знаю, долго ли можно сносить такое положение. Между тем ум тупеет и сердце холодеет. Хамство, как тяжелый туман, затмевает силу духа и воображения»...

Так страдал и тосковал один из тех, кому не под силу было *помирить со своим нравственным чувством и со своим* свободолюбием современную ему русскую политическую действительность. Сантиментальная натура, сильно чувствующая, но мало действенная и не жизнеупорная, Н. И. Тургенев не способен был к реальной и суровой борьбе с тем, что он считал злом. Он, по примеру Ж. Жака Руссо, мог скорбеть о том, что мы «распространили разум, но сжали сердце». «Обогатили себя познаниями о земле и о небе, но утратили позна-

ние счастья человеческого», предпочли кареты, корабли, аэростаты, порох, машины—гражданской свободе, но он вряд ли мог активно добиваться того, что он считал общественным благом. Дневник его, веденный в селе Тургеневе, наглядно в этом убеждает. Он воочию видел дурные стороны крепостного права на примере собственных крестьян, но сам сколько-нибудь существенно не облегчил их участи. Как толстовский Пьер Безухий, он после немногих платонических попыток к реформам пасовал перед упорной силой крепостной традиции, борьба с которой его быстро утомляла. Не даром он тоже стремился из России, чтобы вдалеке от нее найти успокоение своему впечатлительному, но недостаточно мужественному сердцу. Он не был сильным человеком; он был гораздо слабее многих своих единомышленников-декабристов, одаренных талантом не только сердца, но и воли. И в качестве девиза ему больше всего подошли бы слова: «Уйди от зла и сотвори благо».

Выпуск 6-й Тургеневского архива занят преимущественно письмами Александра Ив. Тургенева к П. А. Вяземскому из Италии и Швейцарии. Самое интересное в них — впечатления автора писем от своего пребывания в Италии. А. И. Тургенев подробно знакомит своего адресата с прошлым и настоящим Италии, говорит много об искусстве и археологии. В письмах разбросано не мало метких замечаний и содержательных суждений. Но наиболее живой материал этого тома — помещенные в приложении выписки из писем Н. И. Тургенева к А. И. Тургеневу, в количестве 39-ти. Эти выписки, начинающиеся 1826 годом и заканчивающиеся 1832 г.—непосредственно почти примыкают к только что рассмотренным нами дневникам. В своих письмах Н. И. Тургенев оправдывается по поводу предъявленных ему обвинений в совершении государственного преступления в бытность его членом северного тайного общества. И в этих самооправданиях сказывается вся пассивность его натуры, неприспособленность ее к серьезным жизненным испытаниям. Душа его в крайнем смущении: «Я—государственный преступник! Я—изменник! Нет! Нет! Это невозможно!» восклицает он и неоднократно заявляет, что никогда тайному обществу не придавал серьезного значения. По словам Н. И. Тургенева, единственной целью его вступления в общество было содействие освобождению крестьян. Все эти признания явно свидетельствуют о той психической подавленности и угнетенности, в которой тогда пребывал Тургенев, и без того всегда склонный к меланхолии, порой переходившей в душевную прострацию. Эта крайняя меланхоличность Н. И. Тургенева в сильной мере питалась еще тем, что как раз в эту пору умер его младший брат Сергей, не выдержавший удара декабрьской катастрофы и сошедший от этого с ума. Смерть брата сильно и долго угнетала Н. И. Тургенева, и он после нее почувствовал себя окончательно как бы отшитым от жизни.

Оба тома обильно снабжены примечаниями. К дневникам Н. И. Тургенева приложено несколько набросков его статей, из которых наиболее существенны те, в которых речь идет о крепостном праве. К сожалению, ни тот ни другой том не сопровождаются вводными статьями редакторов.

Н. Гудзий.

ГЕОРГИЙ ГОРБАЧЕВ. Очерки современной русской литературы. Государственное Издательство. Ленинград, 1924 г. Стр. 179.

Настоящие «Очерки» связаны между собою, по заявлению их автора, «главным образом, попыткой применить марксистский метод к литературным явлениям» (стр. 3). Однако, «марксистскому методу» дается Г. Горбачевым весьма широкое толкование, почти не стесняемое никакими преградами. Это, во всяком случае, марксизм, который отличается очень разнообразными оттенками и легко сочетается и с футуризмом, и с формализмом и не останавливается перед сближением самых противоположных литературных тенденций.

Горбачев—типичный литературный эклектик (критик-соглашатель), с одинаковой готовностью цитирующий и Плеханова, и Эйхенбаума, и Троцкого, и Третьякова, и Арватова, и Буша, и Гумилева. Но цитата — ничто, если она

не вполне наша в индивидуальном смысле этого слова. Чтобы приютить под одной кровлей «марксистского метода» Троцкого и Эйхенбаума, Плеханова и Гумилева, необходимо слишком большая собственная оригинальность. А. Г. Горбачев черезчур легко подчиняется авторитету чужого слова. Любая фраза рождает в нем струю созвучных строчек. И в результате — спутанность, неясность и большая рутинность характеристик. Данные им литературные портреты Эренбурга, Алексея Толстого, Маяковского, Пильняка, Сейфуллиной и друг. чрезвычайно расплывчаты и навеяны различными образцами. Сводки различных мнений, не проведенных через критическую независимость автора, попытки примирять непримиримое придают «марксистскому методу» Г. Горбачева какой-то евангельский характер: автор не скупится на облака кадильного дыма даже и в том случае, когда он относится отрицательно к разбираемому художнику. Сказать точнее—он наделяет чертами величия почти всех новейших писателей. Так, Эренбурга он уподобляет... капиталистическому Щедрину наших дней, украсившему «старые марксистские стрелы... блестящими перьями парадокса и напитавшему их ядом злой и проникновенной насмешки» (стр. 40). Романы Алексея Толстого вызывают Г. Горбачева на сопоставление с... «Мертвыми Душами» Гоголя и «Парижем» Зола (стр. 47). Не обошлось также без сравнения с Г. Уэллсом и Джеком Лондоном (51). Борис Пильняк напоминает Г. Горбачеву «порою Тургенева, порою Белого и Достоевского» (стр. 56). А для вящшего величия присоединяет к этим именам еще имя Салтыкова (стр. 68), что не мешает, однако, Горбачеву одновременно давать и самые резкие оценки этим писателям, вдохновляясь при этом из источников, весьма далеких от склонности сравнивать Эренбурга с Щедриным и Пильняка—с Достоевским.

Зато в тех случаях, когда речь идет о писателях, заслуги которых еще мало разобраны другими, Г. Горбачев становится чрезвычайно скуп на суждения. Таковы, напр., странички, посвященные «поэзии Николая Тихонова», состоящие по преимуществу из стихотворных отрывков, сопровождаемых такими соображениями: «о форме Тихоновской поэзии много не скажешь» (стр. 89). Или: «все это эпически просто по языку, стиху и содержанию» (стр. 94).

Читается книжка Г. Горбачева легко и свидетельствует об авторской начитанности и интересе к литературе; будь в ней меньше юбилейного словословия и эклектически-примирительных тенденций, она могла бы служить небесполезным пособием при изучении современной литературы.

Л. Войтоловский.

ИСТОРИКО - ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК. Посвящается Всеволоду Измайловичу Срезневскому (1891—1916 г. г.). Издание Отделения Русского Языка и Словесности Российской Академии Наук. Ленинград 1924 г. Стр. IV+426.

Странно, что настоящий сборник историко-литературных статей, посвященный старшему ученому хранителю рукописного отделения библиотеки Российской Академии Наук Всеволоду Измайловичу Срезневскому его друзьями и почитателями, по случаю исполнившегося в 1916 г. 25-летия его учено-литературной деятельности, лишен обычных в этих случаях приложений: нет в нем ни портрета юбиляра, ни очерка его учено-литературной деятельности, ни библиографического списка его трудов и даже не оговорена причина их отсутствия.

По своему содержанию сборник очень богат и интересен, представлены самые разнообразные эпохи истории русской литературы, хотя немного более половины его статей посвящены XIX веку. В виду того, что сборник все же носит специальный характер, издан в небольшом количестве экземпляров (300), я остановлюсь на некоторых статьях, имеющих интерес для более широкого круга читателей.

Сборник открывается статьей покойного В. И. Семевского о малоизвестном петрашевце П. А. Кузмине, впрочем, даже по суду оправданном: он был оговорен агентом Липранди, Антонелли, который поспешил отметить появление

Кузмина у Петрашевского в своем доносе Липранди о пятнице 1 апреля 1849 г. (у Петрашевского собирались по пятницам). В июне 1848 г. Кузмин, только что в январе этого года окончивший военную академию и причисленный к генеральному штабу, был отправлен в Тамбовскую губернию для составления военно-статистического ее описания и военно-маршрутной карты этой губернии. Во время своей командировки он вел дневник, куда заносил свои заметки и наблюдения, обнаруживающие прогрессивный образ его мыслей. Дневник этот сохранился в «деле» Кузмина, послужившем материалом для статьи В. И. Семевского.

Интересные материалы к истории русской общественности находим в статье М. Лемке «Дело о публичных лекциях в 1860-х годах» (по неопубликованным документам), где, между прочим, приведен список всех публичных лекций в период 1859—1862 г. г. с указанием, конечно, не только лекторов и предмета лекции, но и городов, где они читались. Этот список свидетельствует, что начало лекций (1859 г.), как это и возможно было ожидать, положено в Петербурге. В 1860 г. Невская столица оставляет за собой первенство, но не исключительное право, и половина лекций, прочитанных в течение года, падает уже на Москву и провинцию. В 1861 г. на долю Петербурга приходится уже меньше половины, при чем выдвигается Казань, где тогда были собраны выдающиеся научные силы. В 1862 г. лекции не изобилуют своими количеством: это был год решительного поворота правительства на путь реакции. Лекции были прекращены, и надолго. Конечно, и за указанный период не все лекции разрешались: так, не была разрешена лекция полковника Лаврова (конечно, П. Л. Лаврова) о грамотности, которую он предполагал прочесть в мае 1861 г. в пользу воскресных школ, не были дозволены (1860 г.) лекции Стасюлевича «Предвестники общественной реформы в народной жизни XIV и VX ст.», даже лекция пр. Лохвицкого «Теория права», пр. Ивановского (1861 г.) «О французской конституции 1830 и 1852 г.г.», О. Миллера «О Белинском».

Состав лекторов был самый разнообразный, преобладали, конечно, профессора. Первой в России женщиной-лектором была учительница Аделаида Павло, прочитавшая в 1859 году лекцию по французской литературе.

Наконец, отмечу, что в статье приведена программа разрешенных Н. Г. Чернышевскому четырех чтений из политической экономии.

Очень ценны напечатанные в настоящем сборнике письма Н. В. и Л. П. Шелгуновых и М. И. Михайлова к Н. В. Гербелю, и не только потому, что вообще известно мало документальных материалов, на основании которых можно было бы составить подробную и верную биографию этих лиц, а особенно М. И. Михайлова. Они, между прочим, проливают свет на один в высокой степени важный момент в биографии М. И. Михайлова, касающийся издания прокламации «К молодому поколению». Несомненно, что главным деятелем в составлении ее был Шелгунов, что Михайлов умышленно принял на себя всю вину, выгородив, таким образом, своего друга. «Но вместе с тем,—замечает автор предисловия к данным письмам, Е. П. Казанович,—нам кажется несправедливым готовое утвердиться в литературе мнение, что Михайлов пострадал совершенно невинно и что, следовательно, Шелгунов допустил гибель заведомо невинного человека, которого он не мог не любить и не уважать и как самоотверженного друга своего, и как ценную общественную единицу; такое предположение слишком не вяжется с благородной личностью Шелгунова». Е. П. Казанович считает себя в праве и, мне кажется, вполне основательно, утверждать свое предположение о соучастии Михайлова в данном деле до тех пор, пока факты не докажут его несостоятельности. Он полагает, что «Михайлов не клеветал на себя, когда заявил на следствии, что часть воззвания, правда, самая незначительная по количеству и самая безвредная по содержанию, принадлежала ему». Это тем более справедливо, что ему доподлинно известно со слов Шелгунова, что Михайлов один ездил в Лондон печатать прокламацию. А настоящие письма как раз

и подтверждают этот факт, освещая, таким образом, очень важный и вместе с тем очень темный момент в биографии М. И. Михайлова.

Глубоко интересной является статья Н. Александрова: «А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере», представляющая собой извлечение из большого еще не напечатанного труда, для которого она имела вводное значение. Сообразно заданиям всего исследования, автор, по его собственным словам, не имел в виду дать в ней исчерпывающе-полную биографию А. О. Смирновой. А ее биография, как справедливо заметила ее дочь, «была бы отражением жизни русского общества в течение целого полувека и притом в самые захватывающие моменты», так как «за свою 73-летнюю жизнь Смирнова была свидетельницей многого и разного в русской умственной, политической и общественной жизни», от отблесков александровского периода до эпохи 60-х годов. Имя ее связано многими нитями с русской литературой и без его упоминания нельзя последнюю знать.

К этому должно присоединить необыкновенное своеобразие самой личности А. О. Смирновой, в письмах к которой Гоголь еще в 1842 г. подписывался: «Любящий без памяти Вашу душу»; П. А. Вяземский охарактеризовал ее: «Она была смесь противоречий», Н. М. Языков отзывался о ней в таких словах: «Сирена-очаровательница, плавающая в прозрачных водах соблазна», а Ив. Серг. Аксаков даже бросил дерзкие и резкие стихи:

> А Вы? Вам в душу недостойно
> Начало порчи залегло,
> И чувство женское покойно
> Развратом тешиться могло

По словам автора, в ее психике уживались флирт и душеспасительное чтение, светскость и пиетизм. Несомненно, как говорит Н. Александров, что «именно пряная дворцовая атмосфера, где балансировавший на грани скандального флирт уживался рядом с официальным пиетизмом, определила странную натуру с такой резкой биполярностью» интересов и настроений. В этом случае А. О. Смирнова является пышным цветком, распустившимся на этой гнилой почве. Но, с другой стороны, прав автор, полагая, что полный ответ на вопрос о характере изучаемого им лица может быть дан только психопатологией.

Желательно, чтобы полный труд автора не очень залеживался по условиям времени в его портфеле и поскорей вышел в свет.

В заключение отмечу еще несколько статей, заслуживающих внимания, хотя оговариваюсь, что, собственно, все статьи сборника очень интересны для специалистов. Тонкой по анализу является статья А. Л. Бема «Самоповторения» в творчестве Лермонтова, убедительна статья Н. К. Гудзия «Прототип Кулигина» (из литературной истории «Грозы» Островского), возбуждающая вопрос (хотя он и не поставлен автором) об одной особенности творчества драматурга, — вопрос о том, как претворялись под его пером те или другие более или менее выдающиеся над обычным уровнем личности и явления русской жизни. Наконец, упомяну две статьи, посвященные Л. Н. Толстому: 1) С. А. Переселенкова «Из истории отношений цензуры к Л. Н. Толстому» и более интересная 2) Г. З. Кунцевича: «Три старца» Л. Н. Толстого и «Сказания о явлениях святому Августину», поднимающая почти незатронутый вопрос об источниках произведений Л. Н. Толстого.

Н. П. Кашин.

Л. Л. ТОЛСТОЙ. В Ясной Поляне. Изд. «Пламя». Прага, 1923. Стр. 104.

Л. Л. ТОЛСТОЙ. Правда о моем отце. Перевод с франц. А. Андреева. Изд. «Книжный Уголок». Ленинград, 1924 г. Стр. 112.

Обе книги говорят об одном и том же, только с иной группировкой материала и глав, а также с некоторым учетом русского читателя—в первой книге и французского—во второй. Первая книга читается легко, потому что ее писал автор на русском языке, вторую—перевел беззаботный халтурщик, ухитрившийся даже известную толстовку Марию Шмидт переделать в Смит. В одном месте этого перевода положительно нельзя понять,

что к чему (конец стр. 96 и начало 97).

Но зато в этой второй книжке помещичье естество маленького Льва предстает перед читателем, пожалуй, красочнее, чем в первой.

Для истории жизни и творчества Л. Н. Толстого эти мемуары его сына не дают почти ничего. Да и весь характер рассказа направлен к тому, чтобы показать правоту своей матери в семейном конфликте, связанном с «завещанием» Льва Николаевича. Не угодно ли, напр., такое распределение света и теней в книге, предназначенной для французского читателя: «Противоречия с самим собой, самые экстравагантные моральные крайности, отрицание и пожертвование всеми материальными благами ради религиозных и духовных идеалов,—вот упреки, которые ставит Толстому рассудок. Прямая, женская натура, искренняя, вдумчивая, последовательная и цельная во всем, что она делала и говорила,—вот мнение о моей матери всех лучших друзей и поклонников отца» (стр. 43). «Уравновешенная и консервативная в душе, она не была согласна с разрушением без созидания» (стр. 50). Говоря о том, что графиня Толстая не могла принять идеи своего мужа и провести их в жизни, т.-е. отказаться от своих привилегий на землю, Лев Львович замечает: «У ней было слишком много здравого смысла, чтобы пускаться в подобную авантюру» (стр. 54). Так вульгарен делается этот потомок «благородных» предков, когда стремится утвердить классовые преимущества дворянской семьи.

В одном месте второй книги Лев Львович все же вполне правильно определил исходный пункт яснополянской семейной драмы, когда говорит об отце и матери: «он менялся с каждым годом, она же внешне и внутренне оставалась неизменной» (стр. 51). В этом вся суть.

Если бы Толстой оставался типичным представителем своего класса, каким он был до «Исповеди», мы не видели бы нарушенной идиллию его помещичьего бытия. Но эта гармония начинает трещать уже с того момента, как Толстой усомнился в смысле своего безмятежного барского существования. С этого времени перед нами начинает вырастать великая фигура представителя так наз. «кающегося дворянства». Когда Лев Львович подробно рассказывает о том, сколько преданности и самоотвержения вложила Софья Андреевна в свою семью, то этому можно вполне верить. Но ведь это самопожертвование, замыкаясь в пределах кастовой семьи, не мешало ей с исключительной, поистине, свирепой настойчивостью, бороться против всех попыток Льва Николаевича подтвердить свое учение отказом от классовых привилегий.

Толстой мучился тем, что земля не была отдана крестьянам, а для его сына это была бы только «авантюра». А между тем в обеих книгах Лев Львович временами выбалтывает такую правду, которая противоположность жизни яснополянских помещиков и окрестных крестьян сразу освещает, поистине, зловещим светом. Так, на стр. 25 книги «В Ясной Поляне» такая идиллия безмятежного жития: «Лакеи и горничные несут издали, из кухон, вкусный кофе, свежие сдобные булки, горячий хлеб с изюмом, жирные сливки и готовят все это на белоснежных скатертях. Господа встали, прогулялись, искупались и собираются кушать. Тетенька и моя мать сидят в белых капотах и пьют кофе с булками. Прислуга уже накрывает второй большой завтрак с кучей всяких яств». А на стр. 60 говорится о посещении Масариком Ясной Поляны следующее: «Масарик ездил со Львом Николаевичем в деревню посмотреть жизнь яснополянских мужиков. Войдя в одну избу, Масарик заплакал, увидев ту бедность, в которой живет русский народ. Отец рассказывал об этом с недоумением и сочувствием». Об этом же на стр. 36 второй книжки: «Войдя в избу, Масарик был изумлен нищетой русского народа и заплакал. Отец и все мы были поражены крайней чувствительностью чешского профессора».

Конечно, от такой дешевой вещи, как слезы Массарика, тульскому крестьянину легче не стало. Но здесь нас интересует другое: — отношение маленького Льва к этому факту.

Лев Львович не только свободен от этой «чувствительности», но даже, наоборот, может восхитить читателя своей

цельностью. Перед нами чудесный экземпляр дворянской оголтелости. Говоря о том, что яснополянские мужики смотрели на их жизнь завистливо и «даже с некоторой ненавистью», он выделяет приезжих духоборов: «Духоборы, в нравственном отношении стоящие несколько выше широкой массы народа русского, не решались открыто завидовать Толстому» (стр. 38). Итак, «нравственность» народная, по Льву Львовичу, определяется степенью сдержанности и незлобивости несчастного и обездоленного народа, при виде беспечального барского житья. Вот уже действительно: умри Денис—лучше не напишешь!

Семейная яснополянская распря вокруг «Завещания» Толстого после книг Черткова («Уход Толстого») и Гольденвейзера достаточно ясна. И когда Лев Львович стремится в центре этой истории поставить Черткова, о котором говорит с нескрываемой ненавистью, как о «хитром и злом человеке», то этим он только умаляет величие своего отца, делая его какой-то жалкой игрушкой в руках «интригана». К счастью, биограф Толстого — П. Бирюков (т. IV), даже не признавая правильным путь конспирации, на который встал Толстой, все же подробно говорит о его продуманном решении— сделать свои сочинения общим достоянием, выкупив предварительно их изданием яснополянскую землю для отдачи ее крестьянам. Все эти страницы Льва Львовича просто не соответствуют правде.

В заключении первой книги Лев Львович не может скрыть своей ненависти к совершившейся революции. Говоря о восприятии идей Толстого рабочими и крестьянами, он высокомерно заявляет: «русский народ, слушавший его почти целые полвека, ничего не понял из его учения».

Можно успокоить маленького сына великого отца: русский народ, в лице его передовых элементов, еще при жизни Толстого знал его учение. Но, в силу своих классовых интересов, как крестьяне, так и рабочие не могли принять положительной части его мировоззрения. Зато критика капитализма и поповского православия, данная Толстым, была встречена ими с энтузиазмом. Эту часть они «поняли» настолько хорошо, что бывший толстовец, а ныне отъявленный мракобес, Ив. Наживин, в своих «Записках о революции» заявляет: «Нельзя было говорить темным массам то, что мы говорили с Толстым. Они неизбежно извратили и окровянили все... Теперь ясно, что надо было как-то быть осторожнее» (стр. 52 «Зап. о револ.»).

Но даже и этой премудрости, понятной для Наживина, не дано постигнуть ограниченному уму бывшего графа.

И. Кубиков.

М. А. РЫБНИКОВА. По вопросам композиции. Изд-ство «В. В. Думнов, насл. Бр. Салаевых». Москва, 1924 г. Стр. 111. 3000 экз.

В книгу вошло пять очерков: «Приемы письма в «Войне и мире»; «Автор в «Евгении Онегине», «Движение в повестях и рассказах Чехова», «Рассказчик у Тургенева», «Единство во множестве». Принципиальное значение для всего метода автора имеет последний очерк, этот метод отличается прежде всего отсутствием строго установленных понятий. Говоря о сюжете, композиции, теме и т. п., следовало дать определение терминов, затем уже вести линию исследования. Вместо этого, мы встречаем ряд положений, правда, почти бесспорных, но, к сожалению, достаточно хорошо известных, напр.: «организовать такую громаду, как «Анна Каренина» или «Одиссея» без темы единой немыслимо», в поэмах Пушкина «Цыгане», «Полтава», «Медный Всадник» «видны две линии, личная, любовная и общественная, гражданственная», «приход Алеко выявляет две стороны его исканий: стать цыганом (?) и любить Земфиру», «кульминация поэмы — это убийство» и т. п. Приглядываясь к остальным статьям, всюду встречаем ряд таких же обобщений, т.-е. узнаем наших старых хороших знакомых — «характеристику» и «план сочинения». Здесь автор чувствует себя твердо и уверенно, с облегчением встречается с ними, и если бы не печальная современная необходимость склонять во всех падежах «сюжет» и «композицию» — все обстояло бы благополучно. Иногда,

гипнотизируя себя этими понятиями, автор подходит к вопросу не с того конца. Так, совершенно никчемными являются рассуждения о бессюжетности чеховской «Степи». Как и в каком смысле в данном случае прикажете понимать сюжетность? Можно ли требовать сюжета (какого?) там, где ему по замыслу автора и быть не полагалось?

Итак, главный недостаток книги Рыбниковой — ее теоретическая беспомощность. Отдельные наблюдения и некоторые выводы, основанные на фактическом материале, не так уж плохи, несмотря на влечение к банальностям. Удачнее других очерков «Рассказчик у Тургенева», лучший по внимательности и выполнению

К. Локс.

Р. М. ВОЛКОВ. Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки. Том первый. Сказка великорусская, украинская и белорусская. Государственное Издательство Украины. 1924. Стр. IX+238.

Работа Р. М. Волкова повторяет уже не раз делавшиеся попытки (Aarne, Смирнов) установить принципы классификации того огромного материала, который явился в результате более чем вековой работы собирателей сказок. Подвергая справедливой критике методы сравнительной школы, которая в поисках путей передачи сказки от одного народа к другому часто довольствовалась установлением чисто внешнего сходства, автор считает необходимым начинать с формального анализа сказки. «Задачею изучения сказки, — говорит он на стр. VI—VII предисловия,—является... установить: 1) что в сказке относится к форме, стилю; 2) сюжетные схемы сказок; 3) на основании сюжетных схем выделить те «простейшие повествовательные единицы», те мотивы, из которых, по тем или иным композиционным приемам слагаются сюжетные схемы». В основание классификации сказок автор считает необходимым класть не «сказочную тему», слишком «неустойчивый продукт творчества отдельного сказочника» и не «простейшую повествовательную единицу — мотив», а «сказочный сюжет, как постоянный комплекс мотивов, характерный для данной сказки».

Ведя к установлению «законов литературно-художественного творчества», формальный анализ сказок открывает в дальнейшем возможность собрать «богатейший материал из области народной идеологии» (в особенности, народной мифологии) и быта путем изучения сказочных мотивов; а установление быта может «повести к установлению хронологии, а может-быть, и генеалогии сказки».

Приложением метода является третья и основная часть книги — разбор сюжетных схем «сказок о невинно-гонимых», ведущий к установлению формул основных рецензий (напр., формула сказок типа «Мачеха — падчерица» — с — А. A^2—С. C^2—B_1—C^3. C^4) и созданию словаря мотивов. Со стороны метода здесь приходится отметить некоторую несогласованность с теоретическими предпосылками введения; а именно, автор объединяет рассматриваемые им сказки не столько по структуре и сюжетосложению, сколько по единству темы. Действительно: можно ли объединить в одном типе «сказки о невинно-гонимых», построенные на параллелизме сказки типа «Морозко», основанные на градации сказки типа «Золушка» и сказки типа «Подмененная жена», с характерным переломом действия (тем, что немецкие поэтики называют достижением нулевой точки),— сказки, столь же различные и по сюжетным схемам? Можно ли обозначать одним знаком А—«мотив отца, желающего жениться на дочери» (A^8) и мотив «мачехи, отправляющейся на бал с дочерьми и оставляющей падчерицу дома» (A^{13}). Правда, композиционно они играют ту же роль (завязки); но ведь автор ставит себе целью выделение «мотивов, как простейших повествовательных единиц»,— здесь же объединение возможно лишь при чисто тематическом понимании обоих мотивов, как «мотива преследования невинно-гонимой» (стр. 69); таким образом, автор повторяет еще в большей мере ту ошибку, в которой он обвиняет Bolte и Polivka, так как последние в своей классификации сказок гораздо крепче связаны, именно: с *сюжетными схемами* сказок бр. Гримм.

Ряд методологических возражений вызывает и предыдущая глава о «приемах сказочного стиля»; не давши определения самого понятия «стиля», автор считает возможным обобщить под «приемами стиля» мотивы, в собственном смысле этого слова (напр., мотив вещего животного), сказочные симптомы (напр., симптоматику бабы-яги), канонические формы композиции (напр., трехчленное нарастание) и чисто словесные (стилистические) формы (напр., зачины, формулы воззванья и т. п.). Точно так же автор иногда нарушает выставленное им (и очень важное) требование разграничения статического описания формы и позднейшего, в порядке исследования, генетического ее объяснения; так, он вводит в свой перечень сказочных приемов объяснение происхождения в русской сказке образа бабы-яги, предполагая в нем заимствование у восточных народностей (стр. 51).

Все эти мелкие недостатки не лишают, однако, книги Р. М. Волкова присущей ей ценности, как опыта формального анализа сказок,—опыта, необходимость которого в настоящее время вполне осознана и на Западе (ср., напр., статью v. d. Leyen'a в Germanisch-Romanische Monatsschrift VI); можно только пожелать продолжения этой работы в том же направлении, быть-может, с некоторым уточнением применяемых автором терминов.

Р. Шор.

М. СЕРОВА. Новгородские сказки. Изд. «Петроград». 1924 г. Стр. 1—77. Цена 50 к.

Когда пробегаешь странички небольшого сборничка М. Серовой и сравниваешь ее сказки с записями северных сказок акад. Шахматова, Ончукова, Зеленина и др., то невольно спрашиваешь себя,—народные это сказки или нет? И ответ по мере чтения обрисовывается сам собой: нет, сказки М. Серовой не подлинные народные сказки, хотя они и записаны от кр-ки Тихвинского у., Новгородской губ., Мавры Осиповны Доничевой; это—имитация или, лучше, *стилизация* народной сказки. Талантливая рассказчица, тонкий знаток не только особенности морфологии и синтаксиса, но и тончайших нюансов новгородского говора, Серова внесла много своего, придав *литературность* безыскусственной народной сказке. Это у Серовой на каждом шагу. Во-первых, народная сказка не знает характеристик. А тут: «баба... така трескотуха, така лоскотуха, не приведи господи!... Кажино-то слово в роту захватит, да своих десяток прибавит... и пошло, и пошло... Всих-то перебаломутит... баб-то всих волосьем промеж себя перевяжет! А сама все суха из воды выскочит... Этако зелье... Этако зелье... и не ухватишь ты его никак. Што вьюн промеж пальцов. Ена в стороны, а мужику досталось» и т. д. Во вторых, народная сказка эпична и потому не знает ни психологизма, ни драматизма. А у Серовой встретим такие сценки: «Забожилась баба: «да с места не сойтись. Да провалитца мне ставом. Да лопни мои глазынки, коли я»...—«Не-е, баба, и не божись»...—«Хоть помереть сей минутый».—«Да разрази меня царица небесная». Крутит мужик головушкой. «Ну хоть горсть земли съим».—«Ну, ланно, баба, земли ись не надобно, а только молчи... молчи, ради господа»...—«Цасенька!!! Да я!!»—примонула баба руки ко груди».—Ведь это целая сцена из драмы. В-третьих, народная сказка свободна, непринужденна и, в силу того, как бы обрывочна; она не будет спаивать отдельные моменты каким-либо искусственно связным литературным течением рассказа. У Серовой же такая искусственная подогнанность создает ровное, без шероховатостей и препон течение, усыпанное словечками «желанны вы мои» и проч.

Выдают литературную работу Серовой и некоторые выражения. Видна в них некоторая деланность, сочиненность. В другом типе речи она, может-быть, и не была бы особенно заметной, а здесь среди потока подлинно народной речи, отдельные выражения звучат фальшиво, неискренно, не по-народному: «А уж ко-оньки *картина!*». «А сладилси царь в чужи края на три года ехати... чужи порядки глядеть, што можно себе перенять». Обычная сказочная формула: «людей посмотреть и себя показать». Или: «у молодицы косищи черны до полу, брови

дугой, глаза што уголья—огнем палят», все достаточно гиперболично, стилизованно, по-народному и выразительно. И тут же рядом: «грудь высокая»; гиперболизм наших писателей идет куда дальше. Словом, чувствуется рука мастера. Да и весь этот новгородский говор сборника, так гладко выдержанный, в искусно подобранных выражениях, больше характеризует самую составительницу.

В отношении содержания—сборник Серовой, будучи стилизованным, не выходит из обычного сказочного материала. «Мудрая жена», «Жена доказчица», «Дурачок», «Вор Мамыка»,—все знакомые столь обычные сказочные сюжеты. Несколько выделяются оригинальностью «Наговорная водица», из бесконечной серии «О злой жене», как шептун умерил сварливость бабы, заставляя ее держать во рту с молитвой наговорную водицу, когда ее муж слишком станет свариться... Нового у Серовой—сочный быт, каким насыщены ее сказки. В них—ничего заоблачного, нет даже фантастики, кроме сказочной основы, по которой разводит у Серовой узоры живая жизнь и правда. Это вообще характерная черта сказки новейшего времени—преобладание бытового, реального над фантастическим.

Все это в конечном результате, несмотря на ненаучность записи, устанавливает ценность книжки Серовой. Это интересное литературное чтение, особенно в чужих устах. Оно усугубляется северно-великорусским новгородским складом («Нас вить, новгороцких-то, все этак дражнят»... [1]) *рассказчицы*. Еще никто не показал, как местный говор может быть мастерски использован для литературной речи, как ему можно придать художественно-выразительную, даже изящную форму, какой неиссякаемый источник для обновления нашей книжности таится у нас в говорах. М. Серова первая дала такой образчик. Недостаток в одном стал достоинством в другом. Быть-может, опыт Серовой будет толчком для широкого использования фольклора в разнообразных видах литературного творчества, особенно в области театра. Ценность в этом отношении сборника М. Серовой несомненная.

Д. М. Смирнов-Кутачевский.

Н. ЧУЖАК. Литература. К художественной политике Р.К.П. Всероссийский Пролеткульт. Москва, 1924 г. Стр. 109.

Чужак стоит среди «левого» фронта несколько особняком. Не то, чтобы он чем-нибудь существенным отличался от Арватова, Третьякова и иже с ними. Основные положения у них общие. Расхождение начинается лишь в вопросах второстепенных. Собственно, главная его причина лежит, как кажется, даже не в тех или иных программных положениях, а в том, что, во-первых, Чужак не так проникнут кружковым духом, заставляющим хвалить все свое, как прочие его соратники-футуристы, а во-вторых, сохранил еще остатки теоретической щепитильности, кое-что от теоретической требовательности марксизма и принужден время от времени (хотя и достаточно редко) осаживать своих совершенно беззаботных по части теории товарищей. Это делает его чужаком среди своих, но в то же время внушает им известное уважение. Мих. Левидов, леф поневоле, даже назвал его германски-глубоким мыслителем. В этом сравнении есть доля истины. Чужак пишет почти так же неповоротливо и тяжело, как немецкий профессор. Но немецкие профессора бывают разные. Гегель тоже писал суконным языком; однако, из этого не следует, что всякий, кто пишет суконным языком, является непременно Гегелем. Тяжеловесность изложения не есть еще признак и гарантия глубокомыслия. Надо к тому же быть справедливым к немецким профессорам: они, если и тяжеловесны, зато без стилистических претензий. У Чужака—то и дело претензии на остроумие и оригинальность.

В большей (сравнительно с другими лефами) теоретической требовательности Чужака—его сила и в то же время—его слабость. Он старается подвести под конструктивизм марксистский базис, а

---

[1]) «А видать, что у бабы в голове заморозки».

так как это—попытка заведомо безнадежная, то и получается вместо марксистского анализа схоластический комментарий к Марксу, попытка вывести из отдельных утверждений Маркса путем чисто-словесных софистических ухищрений нечто такое, что из них не только не следует, но что иногда и прямо противоположно им. Впрочем, это случается не с одним только Чужаком, а со всяким теоретиком лефа, как только он пробует опереться непосредственно на Маркса.

Рецензируемая книжка Чужака составлена из ряда статей, печатавшихся в «Горне», «Прожекторе» и др. изданиях. Они затрогивают самые разнообразные вопросы, но нового в них мало. Чужак здесь по большей части повторяет то, что им было уже сказано прежде (в первых книжках «Лефа» и т. д.). Разница между этими и прежними статьями на первый взгляд как будто та, что там автор *доказывал* свои положения, а здесь он их *прокламирует*, повторяет в форме максим. Но это только на первый взгляд. Чужак в сущности никогда не доказывает. Он в лучшем случае комментирует. Автору настоящей заметки приходилось неоднократно выступать против теоретических положений Чужака, ценность которых ему представляется чрезвычайно незначительной. Тем приятнее, однако, отметить в теоретической пустыне нашего критика несколько оазисов, несколько верных и дельных мыслей. Во-первых, Чужак указывает на законность и *публицистического* подхода к вопросам литературы. В текущей, злободневной, журнальной критике такой подход вполне уместен, больше — неизбежен, необходим. Но, конечно, не как *единственный*, а *на ряду* с другими. Но публицистический подход публицистическому рознь, — и Чужак очень убедительно показывает неверность, пристрастность, близорукость критической публицистики Волина и Сосновского. Вместе с тем сам Чужак далеко не свободен от их недостатков. Осуждая Волина за его статьи об Эренбурге и Брике, он, однако, употребляет те же приемы, что и Волин при разборе вересаевского «В тупике». Оригинально, пожалуй, только введение нового, так сказать, *арифметического* метода: подсчета количества строчек, посвященных изображению положительных и отрицательных сторон революции: 10 страниц отвратительнейших «наблюдений» и 2—3 строчки в стиле: «а может, как-то все это можно оправдать?»; следует страниц 5 «прослойки», переполненных ругательствами в роде «злодей», «мерзавцы», «хамы», и опять 10 — 15 страниц белогвардейских уток! Действительно, объективный метод, чего уж там! Математический метод.

Заслуженный отпор дает Чужак крылатому Эросу Коллонтай. Но этим положительная часть его книги исчерпывается. Все остальные положения, составляющие костяк книги, в достаточной мере спорны. Они сводятся к следующему: 1) «требование (партией) от каждого, нашего и попутного, автора совершенно определенной и четкой *целевой установки*», при чем «художник должен научно уяснить себе все наличные приемы воздействия, знать точно, что к чему,—он должен овладеть наукой о рефлексах и ею, плюс законами развития общества, руководствоваться». 2) «Искусство, познавая, *строит* жизнь... так называемая *изобразительность*—не дело класса строителей. Равно и так называемый объективизм». 3) «Упражнение *воли к победе*, упражнение воли к *строительству*, *к преодолению*». 4) «*Стандартизация* литературы под знаком грядущей победы». Вывод из всех этих положений: партия должна канонизировать в искусстве определенную *тенденцию*. А так как намеченная Чужаком тенденция проявляется, судя по его же статьям, только среди футуристов, то программа художественной политики Р. К. П. сводится у Чужака фактически к требованию «канонизировать» футуристическую школу.

Переходя к каждому положению Чужака в отдельности, нельзя не отметить их произвольности, субъективизма, того волюнтаризма, на который давно уже указал Воронский. Чужаку нет дела до того, чем является искусство на деле, каковы действительные его общественные функции, его методы. Sic volo, sic jubeo, а при переводе на обиходную речь—чего моя левая нога хочет,—вот основное правило, которым он руководствуется. Мы до сих пор не знаем искусства, которое бы не было изобразитель-

ным. Но что до этого Чужаку? «Изобразительность—не дело класса строителей», решает он — и баста. Искусство имеет свои методы, отличные от научных, бессознательный элемент играет в художественном творчестве крупную роль,— но Чужаку на все это наплевать. Художественное творчество *должно быть сегодня же, вот сейчас, рационализировано*, в него должны быть спешным порядком введены научные методы, а все подсознательное «свергнуто во имя диалектически развивающейся материи». Рефлексология — наука молодая, руководствоваться ее данными в такой сложной, еще не изученной, области, как художественное творчество и воздействие искусства на зрителя, слушателя, читателя, по крайней мере преждевременно,—но Чужак беззаботен и здесь: «Художник должен овладеть наукой о рефлексах и руководствоваться ею» в работе. Основной стержень всей теории Чужака: искусство, как строение жизни, в противоположность искусству—жизнепознанию—никуда не годится. Нельзя противопоставлять одно другому. Здесь перед нами две стороны одного и того же процесса. Познавая жизнь, искусство в то же время ее строит. Главная ошибка Чужака, однако, в том, что он не уточняет понятия «строение жизни», а когда пробует это делать, сбивается на ложный путь. В каком смысле искусство может «строить» жизнь? Организуя (общественное) сознание. И только [1]). Искусство есть одна из *идеологических* надстроек. Но когда Чужак начинает расшифровывать свое, намеренно сделанное слишком широким, определение, то получается нечто совершенно иное: искусство выступает у него не как организатор сознания, а как организатор вещей, не как идеология, а как материальное производство. В своей статье «Под знаком жизнестроения» («Леф», № 1) он так и определяет искусство, как производство ценностей — вещей. Дальше у него оказывается, что вещи бывают двух родов: просто вещи и «модели вещей». Здесь есть уже некоторая двусмысленность, так как модели вещей выходят на поверку той потайной дверцей, через которую протаскиваются снова в искусство идеи. Конечно, строго говоря, это неверно: «модели вещей» не могут быть ни в коем случае равнозначны (терминологически) идеям. Но терминология у «Лефа» почти всегда путаная. Здесь же путаница намеренная. Путем терминологического фокуса (идеи=моделям вещей) наш теоретик собирается и капитал приобрести (искусство — производство вещей) и невинность блюсти (сохранить — по крайней мере, по видимости — искусство, как идеологию). Арватов уж, по крайней мере, последовательнее. Он прямо заявляет, что «организация идей» (т.-е. сознания) «бесконечно чужда» искусству, и что последнее должно руководствоваться не «социально - идеологическими», а «социально-техническими» задачами.

Мы уже выше видели, что Чужак говорит о целевой установке, упражнении воли к борьбе и т. д., т.-е. об определенной организации сознания. Это, конечно, не укладывается в рамки искусства— производства вещей. Но, не останавливаясь далее на отмеченном противоречии, попробуем рассмотреть эти утверждения поближе. Что они обозначают? Только ли то, что мы должны стремиться к созданию искусства бодрого, жизнерадостного, активного, дисциплинированного? Или нечто иное? Ответ на это дает следующее замечание автора: «Так называемый объективизм не дело класса строителей». Конечно. Чужак берет здесь совершенно напрасно на себя смелость выступать от имени «класса строителей», т.-е. пролетариата. Отрицание объективизма не имеет ничего общего с марксизмом, который знает, что предмет искусства тот же, что и науки, т.-е. действительность, и что произведение искусства (как и научное исследование) тем выше, чем лучше художником познана и воспроизведена эта действительность в ее развитии и становлении. Пролетариату нечего бояться объективного изображения действительности со всеми ее темными сторонами. Этот страх присущ как раз буржуазии. Сам Маркс был меньше всего противником объективизма. В известном письме к Лассалю по поводу

[1]) По крайней мере, поскольку дело идет о литературе, живописи, музыке.

его драмы «Франц Ф. Зикинген» он советует ему «черпать вдохновение у Шекспира, а не следовать по стопам Шиллера с его превращением индивидуумов в простые рупоры духа эпохи», что он вменяет Лассалю «в наибольший грех». Отрицая объективный момент в искусстве, Чужак приходит неизбежно к агитке, т.-е. к упрощенному искусству. Агитка имеет законнейшее право на существование, но она далеко не исчерпывает всей области искусства.

«Упражнение воли к преодолению». Чужак в одной из своих статей расшифровал этот свой тезис. «Манная кашка» общедоступности, видите ли, не нужна. Искусство не должно быть легко усвояемым, а преодолеваться с трудом, в чем заключается своего рода тренаж для потребителя. Трудно, конечно, найти более дикую теорию,—особенно в условиях нашей наполовину неграмотной страны, где читателя надо прежде всего *приучить* к книге, а не отпугнуть от нее. Представьте себе, что эти требования (т.-е. чужаковские) обращены к науке и что учебники и научные сочинения вместо того, чтобы составляться наиболее просто и понятно, т.-е. с тем расчетом, чтобы усвоение их материала происходило с максимальной экономией усилий, пишутся возможно более запутанно, трудно и усложненно. Нашли бы вы это в порядке вещей? Если читатель захочет «упражнять» свою волю к преодолению, он, конечно, найдет для этого гораздо лучшее и более производительное занятие, чем расшифровка футуристических стихов. Теория Чужака есть, несомненно, не что иное, как подведение фундамента под здание футуристической практики.

А. Лежнев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ. С мешком за смертью. *А. Лежнев.* — **2. П. ЯРОВОЙ. На большой дороге.** *Л. Войтоловский.* — **3. Н. ЛЯШКО. Искра (рассказы).** *Л. Войтоловский.* — **4. I. АНДРЕЙ ГЛОБА. Венчание Хьюга. II. В. МАСС. Авантюра.** *В. Волькенштейн.* — **5. «Свиток», № 3. Альманах литературного общ. «Никитские Субботники».** *Н. Фатов.* — **6. П. РОМАНОВ. Землетрясение.** *В. Волькенштейн.* — **7. Л. ДЕЛЛЮК. В дебрях кинематографа.** *Л. Розенталь.* — **8. А. АДЕС и А. ИОЗИПОВИЧ. Книга о Гохе-дураке.** *А. Юрлов.* — **9. ДЖОН ПЕРИС. Кимоно.** *Л. Некора.* — **10. А. ШИРОКАУЭР. Лассаль.** *Е. Херсонская.* — **11. ИВАН ГОЛЛ. Метужалем, или вечный буржуа.** *И. Маца.* — **12. БРАТТ. Мир без голода.** *И. Анисенов.* — **13. К. ЭЙСНЕР. Испытание богов.** *В. Волькенштейн.*

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ. С мешком за смертью (Железный путь). Повесть. Изд. «Земля и Фабрика». Москва — Петроград, 1921 г. Стр. 237.

Повесть Григорьева явственно разбивается на две части. Первая — нечто в роде детектива, авантюрно-сыщицкий эпизод, разыгрывающийся в Москве 1918 г., в среде воров, иностранцев из миссий (похищение девочек для целей разврата), агентов уголовного розыска,— все на фоне голода, забитых путей, мешечничества. Вторая — повествование о том, как мурманские рабочие добывали хлеб у тамбовских крестьян в местности, охваченной восстанием. И та и другая часть удалась автору хорошо. Детектив очень занимателен, «захватывает» читателя, держит его в напряжении. Эпический рассказ рабочих, направляющихся за хлебом «с мешком за смертью», картина своеобразного товарообмена в глухом лесу между ними и крестьянами,— ярка, элементарно-наглядна, врезывается в память. Иногда в этой части (а также и в самом начале) автор немного растягивает повествование, замедляет его течение. Это, конечно, недостаток, хотя и не достигающий больших размеров. Хуже то, что обе части ни композиционно, ни по внутреннему содержанию не связаны друг с другом. Это—два независимых, самостоятельных рассказа,

у которых только и есть общего, что некоторые действующие лица. Связь их механическая: она осуществляется тем маршрутным поездом, в котором едет герой повести, Марк.

Другим крупным недостатком произведения Григорьева является то, что автором не учтен объект воздействия его повести. Неизвестно, непонятно, на какого читателя она рассчитана. Судя по тому, что ее герой—мальчик Марк, что в центре ее—приключения этого мальчика, что вообще большая часть действующих лиц—дети,—следует думать, что повесть предназначена для детей, для подростков. Однако, такие моменты, как похищение девочек подозрительными дамами для подозрительных целей, как сценка между Вилли и Аней, как подробности о «котах», говорят против этого. Во всяком случае, они мало уместны в произведениях для детей или подростков. Для взрослых же повесть С. Григорьева скомпанована слишком наивно.

Наконец, недостатком «Железного пути» надо считать и некоторую идеализацию «малюшинцев», т.-е. воровского элемента, которая проскальзывает у автора и не устраняется тем поучительным концом, присочиненным для назидания читателю (расстрел Стасика).

Все же, несмотря на отмеченные недостатки, «С мешком за смертью» является в целом очень незаурядной, живо, талантливо, увлекательно написанной вещью, быть-может, наиболее удачной в новой русской литературе попыткой создания приключенческой повести.

Д. Лежнев.

П. ЯРОВОЙ. На большой дороге. Повести и рассказы. Изд-ство «Красная Новь». Москва, 1924 г. Стр. 180.

Тема рассказов—революция. Борьба с Колчаком. Деревенские бунты. Сельские коноводы—кулаки. Растерянные учителя. Горячие парни — сорви головы. Чехо-словаки. Люди на грузовиках. Тяжелое деревенское раздумье. Тон одушевленный, воинственный, чуть напыщенный. Большая примесь романтики. В каждом молодом мужике — что-то от Святогора: струится дикость горячая по жилам; а рукав закинет — будто взмахнуть мечом-кладенцом собирается. Это мешает видеть каждую фигуру в полном ее очертании. Исчезает тусклая незначительность деревенских будней, и на всех событиях лежит печать героического вымысла. Местами автор умышленно придает повествованию легендарный оттенок («Слепой бунт»). И это вполне понятно: описываются сюжеты и картины, от которых веет великим трепетом великой эпохи. История ступает по трупам и возбуждает к героическим битвам, выдвигая из серых мужицких рядов фигуры почти аллегорические. В распоряжении автора имеются яркие краски и сильные слова. Впечатление ослабляет любовь к бенгальским эффектам. Лучший рассказ—«На большой дороге».

Л. Войтоловский.

Н. ЛЯШКО. Искра. Рассказы. Изд-ство «Красная Новь». Москва, 1924 г. Стр. 116.

Это—писатель, следящий за современной жизнью с необыкновенной тщательностью. Он не любит ни героических поз, ни романтических настроений. Следы авторских симпатий, которые легко открываются за словами его героев, не препятствуют четкости изображаемых лиц. Последние — люди элементарной психологии; с ними не происходит ничего экстраординарного. Но все их бытие окружено флюидами современности, и это наполняет их серенькие скромные фигуры особой значительностью. Пишет автор просто, без аффектации; события представляет такими, как они есть в действительности. Язык отличается чистотой и ясностью. Основной тон рассказов — отношение к революции деревни. Разрушают общий рисунок два случайных эскиза: «Воры» и «Весть о кончине». Лучший из очерков — и по живости сгруппированных фактов, и по властной яркости языка—«Лось».

Л. Войтоловский.

АНДРЕЙ ГЛОБА. Венчанье Хьюга. Московское театральное издательство. 1924 г. Стр. 76.

ВЛАД. МАСС. Авантюра. Траги-буффонада в трех актах. Изд. «Красная Звезда». Москва, 1924 г. Стр. 36.

Мотив Эдгара По («Королева-Чума») разработан А. Глобой с большой сценической остротой. Погоня матроса Хьюга за призраком умершей невесты Китти, его бодрое, бурное вторжение в царство мрачных и смешных видений, в синклит, окружающий Королеву-Чуму (они же—комедианты, скрывающиеся и пьянствующие в зачумленном квартале?), превращение Королевы-Чумы в Китти — венчание с Китти — новое превращение Китти в Чуму, убивающую Хьюга своим поцелуем—фантастический гротеск, где действительность переходит в сказку и сказка—в действительность. Несмотря на зловещие детали (как, напр., скелет, висящий перед собранием чумной аристократии, гроба и пр.), режиссер может придать спектаклю характер вызывающей бодрости: тон Хьюга весел и задорен, его речь, пересыпанная крепкими матросскими словечками и шутками, заражает свежей образностью и ритмическим напором (пьеса написана пятистопным ямбом), призраки Чумы не столь страшны, сколь жутко забавны. Их заседание является своеобразной сатирой на королевское правление. Сомнительные жесты викария дополняют пародию монархии пародией церковного обряда. Пьеса Глобы дает театру четкий и свободно развивающийся материал.

«Авантюра» Масса — эскиз оригинального жанра, присущего этому автору—некий парад гротескных фигур,—на этот раз, однако, объединенных стройной фабулой. В пьесе изображается судьба молодого поэта, изменяющего лозунгам бедноты, которой он служил, выступающего во «всемирном кафе-шантане»—и погибающего жертвой народного негодования.

Стиль пьесы несколько невыдержан: краткая, отрывистая декламация, импрессионизм 1-го акта переходит в финале в широко развитую драматическую сцену. Но в пьесе есть интересные сценические моменты, диалог местами остер, и режиссер может сгладить некоторую нецельность драматической композиции.

В. Волькенштейн.

«СВИТОК» № 3. Альманах литературного общества «Никитинские Субботники». Изд-ство «Земля и Фабрика». Москва, 1924. Стр. 252.

Этот альманах, не имея какого-либо объединяющего стержня, поражает почти полным отрывом от современности как в смысле тем, так и в смысле методов.

Беллетристическая часть сборника очень слаба. Не всегда удачной поделкой под народную речь отзывается наивный рассказ *А. Яковлева* «Конец старой сказки» на тему о том, как крестьяне сначала жертвовали заливной луг водяному, потом позволили его косить попу и, наконец, догадались скосить для себя (дань современности). Рассказ *Ив. Новикова* («Вечер в театре») о провинциальной актрисе, в молодости влюбленной в «учителя словесности», а потом отдавшей свое сердце товарищу по сцене, мог бы с успехом быть написан лет 50 тому назад каким-нибудь Шеллером-Михайловым. Выделяется лишь прелестная миниатюрка *П. Романова* «Светлые сны» и три лирических «Стихотворения в прозе» недавно умершего *А. Неверова*.

Стихи еще слабее и неинтереснее прозы. Тут находим и символическую чепуху *В. Звягинцевой* («Женщина») и *К. Лавровой* («Тончайшая нежность») и *бальмонтовское* повторение самого себя («Ася»), и антологическое стихотворение *О. Мандельштама* о том, как «Золотистого меда струя из бутылки текла», и плохую подделку под Игоря Северянина *А. Альвинга*, с недоуменным вопросом в конце:

И как мы сейчас назовем
Бушующий там миролом—
Грозой или просто ошибкой? (!)

Наиболее любопытной вещью I части сборника является предисловие *А. Белого* к переводу «Песни о любви и

смерти Корнета Кристофа Рильке», сделанному *Я. Гордоном*, в котором автор предисловия высказывает много интересных мыслей о том, каким должен быть идеальный стихотворный перевод, впрочем, нисколько не убеждая читателя, зачем нужно было переводить и печатать скучную повесть о любви и смерти корнета.

II часть сборника — историко-литературная. В ней не без интереса прочтутся специалистами статьи Л. *Гроссмана* «Пушкин и А. Шенье» (написана в 1919 г.) и *А. Пешковского* «Стихи и проза», хотя в первой неприятно поражает полное нежелание автора объяснить родственность психики Шенье и Пушкина социологически, во второй же кое-что представляется довольно спорным.

Из дальнейших одна статья стоит того, чтобы на ней более подробно остановиться. *Е. Никитина* (она же и редактор сборника) задалась очень интересной целью в статье «Поэты и направления (пути новейшей поэзии)» дать схему современной поэзии с краткими характеристиками отдельных поэтов библиографии. К сожалению, интересная по заданию статья совершенно беспомощна по выполнению. Не говоря уже о путанности самой классификации (об одних и тех же поэтах говорится в разных местах), поражает полное отсутствие сознания, что понять все разнообразие школ и течений современной литературы и научно их классифицировать можно, только *принимая во внимание классовую психологию* тех групп, которые выдвигают «поэтов и направления», и которые являются «потребителями» продуктов их творчества. Этого основного методологического стержня у Е. Никитиной нет и следа, более того, она, повидимому, стоит на определенно *индивидуалистической* точке зрения, чем и объясняются такие характеристики, как данная Шершеневичу, творчество которого понимается «как характерный уклон отдельной души (!) и воды революции», или странное разделение пролетарских поэтов на два группы, которые различаются, оказывается, тем, что одна (Самобытник, Ионов, Безыменский) ставила (?) в центре своего творчества содержание, а другая (Садофьев, Гастев, Кириллов, Герасимов, Александровский, Обрадович) «занялась формой». На первый взгляд может показаться, что статья Е. Никитиной выполнена с достаточной эрудицией и могла бы быть небесполезна, как справочник, но ближайшее рассмотрение показывает, что если тут и есть «эрудиция», то чисто *начетническая*, без уменья отделить существенное от несущественного, а потому и приводящая к ряду или ничего не говорящих определений или просто к фактическим ошибкам. Упоминаются никакого значения не имеющие и никому неизвестные поэты, в роде Колбасьева, Петникова, В. Мониной и пр. или знаменитые лишь тем, что «ведут свою генеалогию от Гумилева» (Н. Оцуп, В. Рождественский), что стихи их «однообразны и скучны» (Л. Берман), упоминается какая-то Хабиас-Комарова, которая своей целью поставила «подыскать рифмы к неприличнейшим заборным словам» и пр. Таким же поэтам, как Безыменский, отводится всего полторы строчки; Лелевич, Доронин и другие поэты группы «Октября» не упомянуты вовсе. Слишком интересуясь почему-то последователями Гумилева, при чем даже оказывается, что оный Гумилев не более не менее, как «вождь ленинградской (!) молодежи (что на это скажут комсомольцы и пролетарский молодняк), что «Цех поэтов» — «группа учеников Гумилева» «сплотила вокруг себя *весь поэтический молодняк*[1]) Ленинграда» и т. д., о группах «Молодая Гвардия», «Рабочая Весна», «Октябрь» и пр. *не говорится ни слова*, ничего не говорится также о многочисленных провинциальных поэтах; Д. Бедный охарактеризован весьма кратко, как «тенденциозный» поэт. Отдельные характеристики часто вызывают недоумение, или ничего не характеризуют или просто неверны. Что, напр., даст характеристика Н. Гумилева, из которой узнаем, что он «обнаружил почти неожиданное проникновение в романтически освещенное начало мира» (?!); о М. Волошине сказано лишь, что он «эстет»; Аксенов охарактеризован так: «Надуманность творчества поэтов боль-

[1]) Курсив подлинника. *Н. Ф.*

шой культуры». В. Пяст, тот самый Пяст, который не подавал Блоку руки после написания им «12-ти» и нагло сам же этим кичился в своих «Воспоминаниях о Блоке», охарактеризован тоже как «поэт большой (но—какой? *Н. Ф.*) культуры» и т. д. Кое-что в ней даже убедительно, но опять же вся беда в том, что автор, видимо, не понимает беспочвенности всякого синтеза, если он дается не на социологическом базисе.

Н. Фатов.

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ. Землетрясение. Комедия в 4-х действиях. Московское театральное издательство. Стр. 95.

«Землетрясение» — ряд сцен — веселое осмеяние интеллигенции, столичной и помещичьей, скрывающейся во время Октябрьской революции в глухом уездном городке, то ошеломленной переворотом, то пытающейся отстоять свои привычные привилегии (главным образом, по части жилой площади), то подлаживающейся к коммунистам, то — в момент мнимых или временных успехов контрреволюции — вновь охваченной монархическим воодушевлением.

Драма есть изображение цельного действенного процесса, а потому «Землетрясение» — не драма (хотя и сценическое произведение). Сюжет в пьесе отсутствует. Автор производит со своими персонажами различные опыты, то сталкивая их с представителями Советской власти и подвергая революционному воздействию, то обнадеживая поворотом к старым порядкам; последовательность этих экспериментов совершенно произвольна и случайна, и в результате получается нечто в роде бытового обозрения.

Пьеса развивается в виде почти сплошной массовой сцены. Автор пишет о своей пьесе: «...Героя нет, герой—коллектив. Центр действия должен сосредоточиваться около того лица, которое говорит, так как это всех касается, все встревожены и от всякого готовы ждать объяснения событий. Весь коллектив должен превратиться в одного героя». В этих словах скрывается некоторое теоретическое недоразумение. В *каждой* бытовой драме герой, в конце-концов, коллектив, то общество, чьи бытовые особенности порождают драматическое столкновение. Русское общество (а не Хлестаков или городничий)—герой «Ревизора». (Над кем смеетесь? Над собой смеетесь»). Коллектив купечества — герой различных пьес Островского и т. д. Но нужно различать коллектив и толпу. Для драматурга совершенно необязательно выводить на сцену толпу для того, чтобы показать жизнь коллектива. Совершенно необязательно выводить на сцену двадцать городничих (скажем, на приеме у царя), чтобы изобразить быт городничих; достаточен один гоголевский городничий, чтобы представить себе их всех. Именно потому, что личность порождена обществом, нет нужды демонстрировать все общество в виде нерасходящейся толпы; достаточно познакомить зрителя с несколькими характерными лицами. Чем ярче выписаны эти лица, тем рельефнее бытовая среда: в этом и заключается символика реалистического искусства. То обстоятельство, что «Землетрясение» развивается в виде четырехактной массовой сцены (прерываемой, правда изредка, коротенькими интимными сценами),—тесно связано с отсутствием подлинной драматической фабулы; отсюда эскизность ролей, отсюда утомительность однообразного сценического приема и т. д. Тем не менее, следует признать веселый юмор автора и его живую наблюдательность. «Землетрясение» — непритязательный, но забавный эскиз на пути создания нового бытового репертуара.

В. Волькенштейн.

ЛУИ ДЕЛЛЮК. В дебрях кинематографа. Перевод Е. Тараховской. Редакция А. Эфроса. Стр. 158. Тираж 5150.

Деллюк умер еще совсем молодым в начале текущего года. Он был довольно плодовитым беллетристом; писал романы и новеллы. Работал также на театре как режиссер. Но главные свои силы отдал кино. Основал журнал «Cinea», выступал в качестве критика, сценариста, и, наконец, постановщика картин.

Современная кинематография представляется многим чудесным миром, в котором раскрыт широкий простор художественному творчеству. Сюда устремляются перебежчики из других областей искусства. Но не надо забывать, что для Западной Европы и Америки кино прежде всего одна из отраслей крупной промышленности, весьма доходная и к тому же имеющая особое значение в деле формирования общественного сознания. В действительности здесь очень трудно сохранить независимость в своей работе. Поэтому, быть-может, Деллюк относится к кино не только с энтузиазмом, но и с иронией, которую все время выдвигает вперед.

Это насмешливое отношение к делу, которому отдаются все силы, еще усиливается благодаря сознанию иллюзорности всего, что мелькает перед нами на экране. Ведь все было совсем не так, как показали нам опытный съемщик и изобретательный монтажист. И поэтому не за кулисы, а именно в «дебри» кинематографа, так хорошо им изученные, уводит читателя автор. Он обладает острым зрением, способностью подметить самые характерные детали и умением показать все в самом необычном виде. К тому же он изобретателен, остроумен, а подчас едко насмешлив. Четко и выразительно очерчен им своеобразный быт мира, занятого продукцией фильм. А чтобы все показалось еще более странным, Деллюк ведет рассказ от имени любителя-статиста, впервые попавшего на съемку («Мемуары статиста»). Или же рассказывает «Историю собаки в театре кинематографических съемок на улице Тет-де-Буа». Но он не только разоблачает всю прозаичность процесса заснятия сцен в натуре или в ателье, но и рисует ряд типов отдельных киноработников. Изображая съемщика («Сципион»), кино-премьершу («Быть или не быть»), кино-режиссера («Конь Фауста»), Деллюк обращается к легкой сатире.

Сатиричны и изображения процесса демонстрации фильм. С тонким юмором издевается писатель над той музыкальной мешаниной, которую играет кинематографический оркестр. Великолепно описание сеанса в театре Патэ, его программы. Вот блестящий по сжатости и меткости пересказ «Патэ-журнала»: «Пуанкарэ открыл школу. Ловили семгу в Тихом океане. Испанский король появился в Сан-Себастьяне. Пуанкарэ открыл казарму. Скульптор улыбнулся у подножия большой кучи грязи, которую он, несомненно, на пари взялся осушить. Танцовщица заколыхала бедрами, садясь в автомобиль. Г. Пуанкарэ открыл похороны. Молодые люди в кальсонах отчаянно били ногами по несокрушимому мячу. Автомобиль, снабженный жирным номером (честное слово!) остановился у претенциозного столба. Господин Пуанкарэ открыл раненого. Я надеюсь, что романтизм этих символов поразит вас так же, как и меня. Поезд сошел с рельсов. Велосипедист упал в воду. Голый человек должен был переправиться через весь Париж вплавь из стыдливости! И господин Пуанкарэ открыл цилиндр!» («Фильма», стр. 141). Или вот несколько фраз из характеристики приключенческой американской фильмы с участием известной «кино-звезды» Пирль Уайт: «Катастрофы не прекращались. Дюжинами гибли поезда, автомобили летели кувырком, дома обращались в развалины или в пепел. Маленькая блондинка была коноводом... Вот тот самый тип, каким должна была бы быть современная горничная, умеющая управлять автомобилем, нагнать скорый поезд, когда позабудете опустить в ящик письмо, примирить людей в разных концах земного шара, найти состояние на дне погреба и распутывать, распутывать все, и т. д.» (стр. 141—142).

Деллюк потешается над идеалами и вкусами французского мещанства, над всей современной культурой, поскольку она отразилась в «художественной фильме» Патэ. Но все же он не зря в конце рассказа «Фильма» жалуется, почему не торгуют сандвичами в электро-театре, и, пожалуй, действительно готов просидеть несколько сеансов под ряд. В душе он—фанатик кино. Характерно, что в ряде рассказов изображено магическое действие кино на животных. Котенок обезумел, увидев свое изображение на экране («История котенка и его тени»). Лошадь пикадора погибла жертвой своего тщеславного желания обязательно попасть на фильму. («Кинематограф, корридэ

и смерть»). Подводные жители Тихого океана были готовы погибнуть, лишь бы разгадать тайну смелого съемщика, спустившегося к ним в воздушном колоколе («Перископ»). Экзотический зверек чего только не перетерпел, попав в руки Пирль Уайт и став участником приключенческой картины («Кильгару»).

Деллюк не ограничивается ироническим воспроизведением кинематографического мира или гротескным изображением животных, обладающих согласно его капризной фантазии человеческой психологией. Иногда он склонен обратиться к философской резиньяции (конец «Перископа») и к общественно-политической сатире («Собака Вудро Вильсона») или же ввести внезапно драматический мотив в юмористическое описание («Жаворонок». Статист, только что участвовавший в съемке сцены атаки, вспоминает, как год назад он лежал раненый на настоящем поле сражения).

Особо приходится ставить вопрос о том, как на литературных приемах этого своеобразного писателя сказалось его близкое знакомство с кинематографией. Что касается избранной им формы повествования, то здесь он остается в пределах традиций мопассановской новеллы. Самый темп рассказа нисколько не быстрее обычного. Правда, там где это требуется самой темой, мастерски воспроизводится кинематографический ритм. Предлагаем об этом судить по приведенным выше цитатам. От техники искусства экрана у Деллюка прежде всего умение напрячь внимание читателя, все время ждущего какой-либо неожиданности. Но не поворота действия или внезапного события, а чисто словесного трюка. Также от кино — капризность и случайность в развитии действия, временами нагроможденность отдельных фактов или просто приемов и склонность к гротеску вопреки видимости некоторого реализма.

Книга Деллюка—любопытное явление как по своей теме, так и по некоторым особенностям формы. Жаль, что редактор русского перевода не дал более обстоятельного и содержательного предисловия. Сказать о писателе, что «у него особо развитый глаз и специфическая впечатлительность, на особый лад формирующая его рассказы и составляющая их пафос»,—значит ничего не сказать.

Л. Розенталь.

А. АДЕС и А. ИОЗИПОВИЧ. Книга о Гохе-дураке. Роман из египетской жизни с предисл. Окт. Мирбо. Перев. А. Полякa. Ред. П. К. Грубера. Кн-во «Петроград». Ленинград, 1924. Стр. 256. Тир. 3000.

Предисловие Октава Мирбо, почти что восторженное, сравнивает эту книгу с Раблэ, Сервантесом, Стендалем, Флобером, Толстым. Это—некоторое преувеличение, чтобы не сказать больше. Конечно, Мирбо прав, когда с насмешкой противопоставляет «Гоху» любовным историям колониальных чиновников, различным размышлениям у развалин, которыми обычно наполняются восточные романы. «Гоха» серьезнее этого, но все же книга связана тысячью неуловимых нитей с тем родом французского экзотического романа, который когда-то еще Мопассан высмеял так зло («Наш милый друг»). Еще «Падаль» Боделэра потянула в сторону бесчеловечного натурализма; именно с этой точки началось мистическое разложение символизма: все в мире грязь и разложение,—отсюда два шага до признания, что «мир во зле лежит» и дальше дорога прямая. «Гоха» построен на двух основаниях: с одной стороны, это необходимость усладить читателя демоническими страстями Востока, курьезами быта, с другой—нарочитый натурализм, в основе которого лежит нездоровое желание очаровывать читателя наигрязнейшими подробностями жизни, обычно обходимыми молчанием. Что до Раблэ, который насчет всяких вольностей тоже охулки на руку не клал, то у него отсутствовал именно акцент на грязи, ему ничего не стоило вывалить вам с хохотом и фонтанами слюны массу самых подозрительных словечек. Но у Раблэ никогда нигде не подчеркивается, что он, распоясываясь, делает что-то, что болезненно ощущается, как стыдное и недозволенное. В натурализме последней формации присутствует иная тенденция: там вся грязища вываливается с велнкой

важностью и квази-суровостью, эдакая не просто грязь, а грязь с парадного подъезда, чуть что не гиератическая грязь,—грязь монументальная, с прелюдией и апофеозом. Этот подход заставляет вас морщиться,—«кто оправдывается, сам себя обвиняет», говорит французская пословица; ежели бы все это было так просто, как уверяет автор, чего же он так беспокоится, чего он так носится со своими вонючими сокровищами, как навозный жук с хранилищем своих семейственных забот? Поэтому от книги несет легким запашком честной бульварщины.

Сколько можно догадываться, роман относится, примерно, к XVIII веку. Нечто почти историческое. «Гоха» — юродивый, характерная подробность восточного города. Крепкий, широкий пейзаж, Нил и пустыня. Быт удивляет отсутствием интеллектуальной жизни. Авторам не приходит в голову рассказать о повстанческом движении, происходящем тут же в Каире, но где-то сбоку, показать мир восточной мистической науки, шейх-Эль-Заки показан только как обманутый муж, да и все деятели романа, кроме разве старика феллаха Абд-Эль-Акбара, только и занимаются, что предаются изнеженности нравов в самых разнообразных позах и положениях, а потом еще убивают своих женщин по тем же поводам. Но колорит книги силен и увлекателен. Мир рассматривается из-за решетки гарема, но он особый, особость его живо показана. Сам «Гоха» в романе почти случаен: хоть и вырисован картинно, вместо него можно было взять и что-нибудь иное. Быт Каира, старого, отнюдь не европейского Каира,—вот тема книги. По-своему, она обработана недурно.

Д. Юрлов.

JOHN PARIS. Кимоно. London and Glasgow Collins, chas-type press. 1922; pp. X+345.

ДЖОН ПЭРИС. Кимоно. Лондон и Гласго. Изд. Коллинс. 1922. Стр. X+345.

Роман Джона Пэриса «Кимоно» в течение 14 месяцев после выхода в свет (май 1921 года) выдержал пятнадцать повторных изданий. В английской прессе роман был встречен восторженными отзывами, а в Японии воспрещен ко ввозу, так как он беспощадно вскрывает язвы нового капиталистического японского общества, не слишком, впрочем, щадя и английское. Вот содержание романа.

Английский аристократ, сын лорда, капитан Баррингтон женится на богатой японской девушке Асако Фудзинами, увезенной еще в детстве из Японии в Европу «западником»-отцом и получившей французское воспитание. Его брак вызывает недовольство лондонских великосветских кругов: слышатся тупые рассуждения о нежелательности подобных союзов с представительницами «низшей» желтой расы, о низменности японской культуры, не проникнутой благотворными началами христианства и т. д.; однако, каждый, скрыто или тайно, признает, что миллионы Асако выкупают все. С другой стороны, японский посол глухо предупреждает молодых, что им лучше избегать посещения Японии. Тем не менее Баррингтоны из любопытства едут именно туда. Следуют блестящие описания Японии и бытовые сцены: автор жил на Востоке несколько лет и хорошо знает «Страну Восходящего Солнца». Баррингтоны сближаются с прежней семьей Асако—богачами Фудзинами. Тем очень хотелось бы разорвать европейский брак родственницы; они не желают принимать в семью человека чуждой расы и, главное, опасаются, что англичанин захочет крупный капитал жены вынуть из их предприятия, когда узнает его характер. Дело в том, что Фудзинами—монопольные владельцы Иосивара — кварталов публичных домов в японской столице и крупных портовых городах. С точки зрения японского капитализма, общества периода «первоначального накопления», такой способ наживы—на муках и позоре женщин — почти не заслуживает порицания; но ведь европейцы имеют свои предрассудки: они, конечно, не нравственнее, но зато гораздо лицемернее. И вот семья хитро подготовляет разрыв. Глупенькая и незнающая жизни, воспитанная во французском монастыре Асако легко поддается влиянию; ее недалекий муж легко попадает в ловушку. С помощью ловкой и беззастенчивой

интриганки, девушки полуяпонского полуанглийского происхождения, существа без родины и какой бы то ни было морали, восточной или западной, Фудзинами удается создать видимость супружеской измены. Асако уходит к родственникам; Барингтон делает весьма неловкие попытки оправдаться и примириться с женой, но, совершенно подавленный открытой ему, наконец, тайной происхождения богатства Асако, приходит в отчаяние и уезжает в Англию. После многих злоключений Асако, не могущая привыкнуть к чуждому ей укладу японской жизни, снова стремится к мужу, и супруги примиряются.

От большинства «экзотических» романов «Кимоно» сильно отличается своими действительными достоинствами. Прежде всего автор в самом деле основательно знает Японию и не подносит читателю никаких «развесистых клюкв» и «бедняков, питающихся одной зернистой икрой». Во-вторых, его герои—англичане и японцы—психологически выдержанные характеры, живые люди, а не марионетки. Касаясь рискованных тем, он ни разу не впадает в порнографию. Отдельные сцены и подробные картины японской жизни положительно захватывают читателя реализмом, детальностью, художественностью, часто напоминая манеру нашего Гончарова. Японское общество изображено всесторонне и без прикрас; картина получилась далеко не отрадная: разложение старой этики и поверхностное усвоение новой культуры, гнет разворачивающегося капитализма и милитаризма, подкупность администрации, тяжелое положение женщины и бедняка. Но и английской аристократии добросовестный автор не польстил: перед нами молодой лорд, добрый малый, но вовсе не привыкший мыслить, руководящийся в своих поступках правилами «хорошего тона» и смотрящий на людей Востока с высоты своей... физкультуры; декадентствующий артист дипломат; высокопоставленные и высоконравственные сплетницы и сводни от скуки и по призванию и т. п.; при этом культ золота и старинных предрассудков.

Талантливый роман безусловно заслуживает внимания.

Л. С. Некора.

А. ШИРОКАУЕР. Лассаль. Историч. ром. Гос. Изд. Ленинград., 1924 г. Перев. Каценельсона. Ред. Горлина. Стр. 204. Печатано 3 тысячи.

Предисловие к роману предупредительно сообщает, что на роман не следует смотреть ни как на художественную работу, ни как на исторически правдивую картину, и, тем не менее, авторы или автор предисловия находят оправдание изданию. «А в обстановке нашего длительного НЭП'а, пожалуй, и для русского читателя не лишено некоторой поучительности посмотреть, как «художественно» крадут у рабочего класса его вождей добрые буржуазные писатели».

Итак, выкраденный у рабочего класса третьесортным литератором, Лассаль — поучительная порция исследовательски-лабораторного метода для формально-социологической или социально-формальной школы—и только.

Портреты Лассаля, Маркса (а и он там есть), буржуа, дворян, рабочих, вся историческая обстановка и интимная жизнь Лассаля—не что иное, как те бомбаньерочные портретики и жанровые сценки, что с таким удобством фигурировали (увы! возобновляются и теперь) на всех кондитерских упаковках доброго старого времени.

Право, у нас, кажется, всякие отбросы сойдут за первый сорт, ежели им предпослать легонькую оговорочку, в роде предисловия к роману Широкауэра. И не художественно, и не правдиво, и пахнет потугами буржуазии омещанить фигуры вождей пролетариата, но... марка Лассаля на обложке—сбыт будет, а здоровые пролетарские желудки все, дескать, переварят.

Мещанская пошлость, легко усвояемая переварившимся в котле «культуры» массовым читателем на Западе, нашей молодежи вряд ли придется по вкусу. Мы, при всем нашем мелко-буржуазном окружении, выросли из рамок такой «культуры».

Кстати сказать, между Марксом и Лассалем автор полагает только ту разницу, что Маркс рассчитывал на длительную эволюцию рабочего класса (меньшевик, радуйся!), а Лассаль торо-

пился подстегивать исторический процесс, отчего и провалился.

И поучительно и просто.

Е. Херсонская.

IVAN GOLL. Methusalem, oder der ewige Bürger. (Kiepenhauer V. Potsdam. 1923); Chaplin (Filmpoème. Paris. 1922).

ИВАН ГОЛЛ. Мафусаил, или вечный буржуа. Изд. Кипенгауер. Потсдам, 1923. «Чаплин» Фильм-поэма. Париж, 1922.

Деятельность германского поэта Ивана Голла началась с возникновением немецкого «активизма», который ринулся с лозунгами «космического» человека и братства человечества против империалистической войны. Программа Голла, как и программа немецких активистов вообще,—освободить «дух» человека, чтобы этот идейно свободный человек построил «царство» индивидуальной свободы. Когда немецкий активизм пришел к банкротству своего миросозерцания, И. Голл стал «зенитистом». Романтический гуманизм Голла здесь получил несколько более реальный оттенок и пришел к признанию пролетарской революции.

Конечно, это признание еще не значит, что Голл стал революционером в коммунистически-пролетарском смысле этого слова. Но все же работы последней эпохи его очень полезны на идеологическом фронте пролетарской революции Запада. В том числе и драма его «Мафусаил».

«Мафусаил»—сатирическая драма современного Запада. Современного — не только по содержанию драмы или по идейному существу, но и по форме ее. Агония капитала—рождение пролетарской революции, и между ними безголовое бешенство буржуа. Такова западноевропейская жизнь, и вот—«Мафусаил». Правда, картина, которую нам Голл дает, не полная, но он этой полноты и не хотел. (Почему не хотел—это вопрос другой, о котором еще придется говорить). И. Голл хотел набросать только сатирическую и драматическую картину современного буржуа, и это совершенно удалось ему.

Мафусаил и семья его—самый острый шарж целого буржуазного класса,—такого, каким его только через очки классовой ненависти можно увидеть. Даже и не человеки эти фигуры, а только механизированные представления. Мафусаил—большое брюхо, которое научилось нескольким фразам, и для которого, кроме личных интересов, ничего не существует. Сын его—справочный отдел биржевой газеты, телефон-аппарат и счетная книга. Девочка Мафусаила — бумажная фигурка из какого-то романа Ж. Занда, или Куртс-Малера и т. д. Голл знает их хорошо, чувствует их страшно, презирает их бесконечно — и дает полный синтез существа их.

Но все это только негативная сторона ленты.

Голл, набросав очертания фигуры революционера, пробует перейти и к позитивной стороне,—к выражению стихийной силы революции. Но здесь он уже не был в силах сделать то, что необходимо надо было сделать. Картина революционного восстания и фигура молодого революционера слишком слабы. Голл еще не знает революции.

Упрямая сатира «Мафусаила» представляет уже второю эпоху миросозерцания поэта. Фильм-поэма «Чаплин»—ей предшествующая—переход Голла от гуманизма к классовому осознанию действительности.

Как по содержанию, так и по форме.

Чаплин—известный любимец американских кино-лент — этот «дорогой Чаплин» стал для Голла символом — символом «человеческой доброты». Он имеет для каждого печального, измученного человека наших дней свою улыбку; вся скорбь современного капиталистического общества как будто растворяется в смехе, которым одаряет общество Чаплин. Смех, и веселость — это самый большой подарок. По этому Чаплин—самый лучший человек наших дней: он благодетель общества, даже благодетель человечества.

Вот—основная мысль гуманиста Голла.

Но Голл, который постепенно развивается в направлении пролетарской революции, уже не полагается с такой полнотой на гуманизм, как прежде; он начал сомневаться. И «Чаплин» его —

не гармонический и не счастливый герой, но некий человек, который заключает в себе всю трагедию индивидуума. Веселость и вечная улыбка его—горькая ложь, от которой он не может освободиться, пока в мире останутся печальные, измученные люди.

Иван Голл, когда писал «Чаплина», еще не знал, что средством освобождения человечества служит не романтическая любовь, а классовая борьба трудящихся и пролетарская революция. В «Мафусаиле» он уже знает это, но знает только теоретически. Революционное убеждение—еще не кровь в сосудах его, но идеологическое развитие поэта, и в первую очередь реальные общественные отношения Запада указывают на то, что Иван Голл станет безусловно верным поэтом революции.

И. Маца.

БРАТТ. Мир без голода. Перев. с немецкого С. В. Крыленко. Изд. «Новая Москва». М. 1924. Стр. 256. Ц. 1 р.

Техника романа обличает большие успехи современной кинематографии: действующие лица, кроме одного, пересажены в книгу непосредственно с экрана. Фабула такова: мечтательный химик Белл (он вышел непосредственно из головы автора, это—тот единственный герой, которого Братт не отыскал в кино) изобрел чудодейственную химическую формулу, позволяющую насыщать человечество. Белл спасает от гибели при катастрофе на однорельсовой желдороге девицу - миллиардершу — Вивьян Гэхэм (Пирль Уайт), которой грозила опасность быть раздавленной «гигантской осью вагона» (каковой у однорельсового, одноколесного вагона быть не может, но это для кинематографа—пустяки), отсюда—знакомство с папашей, владельцем американо-мировых скотобоен и фабриканта консервов (Гарри Картер). Две системы питания готовы столкнуться, но пока не сталкиваются, — в дело вмешивается таинственный русский эмигрант—Сергей Шебеков (Конрад Вейдт). Он убеждает Белла в безнадежности его сношений с прогнившими миллиардерами и необходимости связаться с безработными и лумпен-пролетариатом, которые кровно заинтересованы в даровом питании.

Безработные и лумпен действительно и достаточно чудодейственно изготовляют лабораторию Беллу. Читатель легко поймет, что Белл влюблен в Вивьян, а она—в него. Идиллия расстраивается благодаря классовой лумпен-пролетарской нетерпимости фанатичного Сергея Шебекова, путем грязных интриг разрывающего нежные, хотя и живые узы, готовые срастить кроткую спортсменку Вивьян и гениального Белла. При помощи несчастно влюбленного в нее пилота (Лидтке) Вивьян увозит своего возлюбленного в бурную ночь на континент. Однако, она неосторожно вздумала с ним целоваться, а пилот, неосторожнее еще—оглянуться на своих пассажиров. Крак!.. аэроплан тонет в бурных водах Ламанша. Вивьян и пилот—погибли, Белл спасен мимо проходящим пароходом. Серия вторая. Белл в Нью-Йорке. Президент, чуть чуть не социалист, намерен использовать изобретение Белла. Государство принимает на себя кормление безработных новым продуктом. Однако, понятие безработных начинает толковаться распространительно, и кормлению оказываются подлежащими также и забастовавшие рабочие. Откуда: никто уже не хочет работать. Но не о хлебе едином жив человек, а и о костюме, равно, как и об отоплении-освещении и жилой площади. Все сии предпосылки мирного жития подвергаются исчезновению, как только нет основного стимула к работе: голода. Положение обостряется.

Серия третья. Грэхэм-отец — против Белла. Благородная борьба, обмен рукопожатиями, как на боксовом ринге, и полный локаут Белла. Сергей Шебеков просит у Белла прощения. Белл погибает по всем правилам последнего эпизода сильно-драматической фильмы. Мораль: «Нет, он не ошибся! Масса жила! Ее вечная сила жила и опять восстановит порядок!» (стр. 248). Вон оно в чем дело.

Белл, видите ли, вовсе не филантроп—его изобретение преследует совершенно практическую цель—равновесие в жизни современного ему общества нарушено. Капитал стал слишком сильно прижимать трудящихся, а у последних недостает средств легальной защиты. Не имея

легальных средств, трудящиеся способны, пожалуй, обратиться, к нелегальным методам борьбы, и тогда—о ужас!—нарушится порядок. Как видим, Белл, а с ним и его создатель Братт (Белл, уже сказано, не из кино, а из головы автора, т.-е. олицетворение наиболее дерзких мечтаний, на какие способен был Братт в эпоху, предшествовавшую написанию романа, а читатель вспомнит Спартаковскую неделю и прочие вещи, бывшие в Германии) очень дорожат сохранением порядка, ныне существующего или—еще верней—существовавшего до войны. Они склонны (Братт и его единомышленники, немецкие интеллигенты) даже помочь пролетариату защитить себя от сдирания седьмой шкуры, однако право на сдирание с пролетариата первых шести шкур для Братта сомнению не подлежит, и нарушение этого устоя влечет за собой—ужас! ужас!—нарушение порядка. Как ясно из предыдущего, немецкий интеллигент двадцатых годов в своем мировоззрении и в лице своих наиболее прогрессивных беллетристов ушел не так далеко от своих русских собратий эпохи нашей гражданской войны.

И тем не менее, роман интересен. У нас, он, пожалуй, интересней, чем в Германии: мы в нем читаем больше, чем хотел сказать автор. Мы видим, что никакие попытки соглашения пролетариата с самыми прогрессивными правительствами невозможны (очень хорошо это показано Браттом), мы видим, что прогрессивная интеллигенция в массе своей дальше маниловщины двинуться не может, мы видим, что в моменты решительных схваток она неизбежно оказывается на задворках движения, мы видим, что она не имеет еще понятия, о том, что близкий ей лумпен-пролетариат и пролетариат рабочий—явления весьма различные, мы лишний раз видим хорошую иллюстрацию формулы, что экономические завоевания трудящихся должны быть закреплены овладением и политической властью. И, хотя мы узнаем это из книги Братта помимо прямых намерений автора, или даже и вопреки этим намерениям, такая возможность позволяет нам считать эту книгу хорошей.

И. Д. Аксенов.

КУРТ ЭЙСНЕР. Испытание богов. Политический фарс в 5 действиях с международной пантомимой, Перевод С. С. Заяицкого и В. Э. Морица. Предисловие А. П. Пинкевича. Государственное Издательство. Москва—Ленинград, 1924 г. Стр. 136.

Придурковатый принц под влиянием хитроумных теологов, жрецов-наставников, превращается в жестокого короля. Ему противопоставлен некто Гульдар, индивидуалист, презирающий, по его заявлению, народ, но в то же время готовый умереть за него во имя абсолютно прекрасного будущего; эта концепция развита в ряде аллегорических сцен, лишенных подлинной сценической динамики, перегруженных торжественными монологами-речами, сложной диалектикой. Сатира на абсолютизм и милитаризм чередуется с расплывчатой романтикой. Сценически наиболее удачен безусловно забавный момент, когда мудрецы передают свои теологические познания: принц, сначала неуверенно, а затем все с бо́льшим воодушевлением повторяет за мудрецами их торжественные, вычурные речи. Очень слабы любовные сцены. Пьеса Эйснера не удовлетворит ни политика, ни драматурга. Плод тюремного досуга, как это помечено на титульном листе, пьеса интересна как фантазия общественного деятеля, как исторический документ эпохи.

В. Волькенштейн.

ИСКУССТВА.

1. Задачи и методы изучения искусств. *Акад. Ф. Шмит.* — **2. С. СЕГАЛЬ. Новая живопись в ее истоках и развитии.** *Л. Розенталь.* — **3. Н. ТАРАБУКИН. От мольберта к машине.** *Федоров-Давыдов.* — **4. КОРБЮЗЬЕ-СОНЬЕ. К вопросам архитектуры.** *Н. Яворская.*—**5. В. ВОЛЬКЕНШТЕЙН. Драматургия.** *П. Марков.*—**6. Н. ЛЕБЕДЕВ. По германской кинематографии.** *Л. Розенталь.* — **7. Проф. К. КУЗНЕЦОВ. Введение в историю музыки.** *В. Яковлев.*—**8. История русской музыки в исследованиях и материалах.** *С. Бугославский.* — **9. «Музыкальная Новь».** *Антон Углов.* — **10. П. ДУЛЬСКИЙ. Э. П. Турнерелли.** *Федоров-Давыдов.* — **11. Л. СВИОНТКОВСКАЯ-ВОРОНОВА. Российский Исторический музей. Резная кость.** *Проф. А. Некрасов.*—**12. В. НИКОЛЬСКИЙ. Старая Москва.** *А. Греч.*— **13. А. Н. КУБЕ. Венецианское стекло.** *М. Базыкин.*

Российский Институт Истории Искусств. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВ. Статьи Б. М. Богаевского, Игоря Глебова, А. А. Гвоздева и В. М. Жирмунского. «Academia». Ленинград, 1924. 8°. Стр. 239.

Из предисловия, написанного В. Зубовым, узнаем, что «настоящая книга является идейным обоснованием работы Росс. Института Истории Искусств». На двенадцатом году существования РИИИ понадобилось выяснить его «истинный облик». Он характеризуется тем, что в РИИИ занимаются «именно историею искусств, не археологиею, не историею материальной культуры, не историею драматической литературы, не филологиею». Но В. Зубов спешит добавить, что словам «история искусств» в РИИИ придается особый, узкий смысл: история искусств понимается как «выявление хода эволюции художественных форм»— и только. «Это не единственный подход к искусству», ибо искусство—«одна из надстроек, определяемых, как и все остальные, экономической структурой общества»,—но беда в том, что «марксистов, специалистов по истории искусств, почти нет». Без них, оказывается, можно, однако, обойтись: «После того, как со всех точек зрения исследованы причинные связи в создании тех или иных художественных форм, как чистый субстрат научной работы должна остаться кривая исторической эволюции формы, потому что в искусстве нет ничего вне формы, и все неформальное, что в него вкладывается, проходит через форму, в нее претворяется».

Тактичнее было бы обойтись без прокламирования марксистского подхода к искусству и даже без упоминания об оном; тогда можно было бы так не обижать логику. Разумеется, без социологического освещения узкое искусствознание будет довольно куцым, а безотносительная история «чистых художественных форм» будет отдавать старинкой. Но за всем тем, и в области, которую себе отмежевал РИИИ, предстоит немало работы, узко-специальной, но необходимой, и Институт сделает большое дело, если и впредь будет подготовлять материал и методы для таких исследователей, которым социология не будет казаться чем-то непомерно страшным и трудным.

Первая статья «Задачи искусствознания» (стр. 9—61) принадлежит Б. Л. Богаевскому. Это — типичный русский профессор, учившийся, как и многие другие русские профессора, в Германии. ничего, кроме Германии, не знающий и не признающий, и в самой Германии ничего, кроме цеховой факультетской науки. не видавший. Из французов он цитирует Бодлера, Фора, Фромантена; из итальянцев — Кроче и Вентури; есть с полдюжины ссылок на русских авторов—Кондакова, Бердяева, Виппера, Вальдгауэра, Миронова; сочинения же германских теоретиков не только в изобилии цитируются, но в изобилии же и подробно реферируются, и именно только ими и определяются взгляды

Б. А. Богаевского на «Задачи искусствознания».

Автор дает целую историю искусствоведческой мысли в германской университетской науке, начиная с Баумгартена, отца эстетики (сер. XVIII века). По прочтении первых восьми глав, добравшись, наконец, до Шпенглера и до отражения идей Шпенглера в работах Винтера, читатель не без горечи (на стр. 57) узнает, что все это он читал напрасно: искусствознание есть дисциплина, которая «только еще складывается», «объективные пути искусства» только еще должны быть найдены, и нахождение их—дело очень трудное: «с одной стороны, изучение искусства не должно превращаться в своего рода ученость; с другой—нельзя руководствоваться в понимании искусства исключительно только субъективными оценками». Оказывается, что «искусствовед должен быть знатоком искусства так же, как знаток искусства должен быть искусствоведом». Такое указание, конечно, очень ценно... Но при чем тут изложение германской теоретической мысли от Баумгартена до Шпенглера?

Проф. Богаевский полагает, что в германской науке «главное, поставлен ясно основной вопрос о необходимости изучения искусства, как самостоятельного явления». «Нет,—восклицает он,—ценность объективного свойства представляет прежде всего произведение искусства именно как таковое, в котором, в конце-концов, имя автора не имеет решающего значения». Утверждение «автономности искусства», «искусства, как факта, имеющего собственное бытие», постоянно встречается и на предшествующих этому заключению страницах статьи. «Искусствознание стремится выяснить цели искусства не эстетические и не исторические или психологические, но именно художественные»; искусствознание изучает «закономерность в явлениях искусства» и только «считает нужным соприкасаться также с историческими дисциплинами и пользуется, поскольку это ему необходимо, философией и психологией» (стр. 37). Для Института, изучающего «именно историю искусств»,—как пишет В. Зубов,—такое искусствознание как будто слишком «автономно»...

На втором месте в рецензируемом сборнике помещена статья И. Глебова «Теория музыкально-исторического процесса, как основа музыкально-исторического знания» (стр. 65—80). Автор подчеркивает (стр. 67), что «история музыки только-только что выходит из стадии научно-обоснованного накопления материала, не покидая, однако, этого дела». Он подчеркивает далее, что исследования в области истории музыки сугубо затруднительны, и очень метко указывает причины затруднительности: «только общекультурное развитие и знакомство с методами исторического исследования в других областях искусства может расширить кругозор специалиста-музыканта» (стр. 68). Он требует, чтобы историк музыки знал не только выдающиеся произведения данного автора, а весь музыкальный быт эпохи: отдельное произведение есть лишь «некий миг оформления звучащего материала» (стр. 72), при чем историк никогда не должен забывать динамики эволюции (стр. 74), и должен пытаться уловить «ритм исторического процесса развития музыки» (стр. 75). Все это требования. Они выполнены? Сам автор говорит, что не выполнены. История музыки есть? Нет, по признанию самого автора. А теория музыкально-исторического процесса, о которой говорится в заглавии статьи, откуда взялась? Ведь ясно, что теория исторического процесса может быть выведена только из истории, и никак не может быть предпосылкою — «основою» музыкально-исторического знания! К счастью для читателя, никакой «теории исторического процесса» в самой статье нет, и непонятно, зачем было портить очень интересную статью несуразным заглавием.

А. А. Гвоздев пишет об «Итогах и задачах научной истории театра» (стр. 83—121). Автор отнюдь не отожествляет театра с драмой, при чем он под театром понимает искусство действия (драму), а под драмой понимает драматически оформленную словесность, которая из аккомпанемента драмы с течением времени превратилась в основной стержень театра. Автор полагает, что историю театра надо изъять из ведения историков литературы и разрабатывать при помощи особого собственного метода.

И автор знает, что театр есть искусство во времени, что, следовательно, у исследователя старого театра под руками нет и не может быть подлинного объекта исследования. Выходит как будто, что история театра—научная история!—невозможна. Но у А. А. Гвоздева есть «воля к методу» (стр. 84), а потому... а потому история театра должна быть возможна! Автор сначала характеризует приемы старых историков—французских, итальянских, немецких, чтобы противопоставить им новейшее исследование Макса Германа. Книга Германа реферируется с таким увлечением, что читатель вот-вот поверит в невозможное, в полное воскрешение немецкого театра времен Ганса Закса, а затем, при помощи того же метода, и всей прочей старой театральной продукции. И тут А. А. Гвоздев читателя огорошивает: в течение шести лет все верили в реконструкцию Германа, а в 1921 другой профессор, А. Кестер, всю эту реконструкцию совершенно разбил и заменил новою!.. Увлечение читателя падает, и в дальнейшем, когда говорится об использовании живописных произведений для театральных реконструкций, за изложением следишь с величайшим интересом, но без веры: слишком ясно видно, что—при всей воле к методу, при всей учености и талантливости автора—дальше более или менее вероятных гипотез (да и то относящихся не к самому художественному существу) в деле реконструкции драматических действ ему пойти не удастся.

В. М. Жирмунский пишет о «Задачах поэтики» (стр. 125—168). «Поэтика есть наука, изучающая поэзию, как искусство», т.-е. «не эволюция философского мировоззрения или чувства жизни, по памятникам литературы, не историческое развитие и изменение общественной психологии в ее взаимодействии с индивидуальной психологией поэта-творца составляет в настоящее время предмет наиболее оживленного научного интереса, а изучение поэтического искусства, поэтика историческая и теоретическая. «Дав очень сжатый очерк истории такой именно поэтики, автор характеризует словесные образы, как материал, которым распоряжается поэт, и отличие поэтического языка от языка повседневно-практического, научного и т. д. Во второй главе поэтика расчленяется на свои главные отделы, и определяется сущность поэтического стиля, как «единства приемов поэтического произведения». В третьей главе дается образчик стилистического анализа стихотворения Пушкина «Для берегов отчизны дальной». В IV главе такому же анализу подвергается отрывок из рассказа Тургенева «Три встречи».

Заканчивается книга «Кратким отчетом о деятельности Российского Института Истории Искусств» (стр. 171—237). Это—увлекательный документ, который с удовольствием и со вздохом должны прочесть и прочтут, конечно, от строчки до строчки все те, кому дорого искусствознание. Сначала (стр. 171—184) дается общая история РИИИ, затем очерк деятельности Разряда истории изобразительных искусств (стр. 184—207), затем отчет Разряда истории музыки (стр. 207—213), отчет Разряда истории театра (стр. 213—219), отчет Разряда истории словесных искусств (стр. 219—225), отчет Научно-вспомогательного аппарата (стр. 225—229); в приложениях напечатаны официальные тексты. Прореферировать этот «Краткий отчет», 67 страниц мелкого петита, насыщенных фактическими данными, нет возможности. И насколько этот «Краткий отчет», являющийся внушительным и прекрасным памятником деятельности именно В. П. Зубова, значительнее и красноречивее, чем предисловие сборника! Этот отчет следовало бы напечатать крупным шрифтом и на первом месте, а статьи — в виде приложений. Ведь и в РИИИ вначале было дело («Im Anfang war die Tat»), а не слово.

Академик Федор Шмит.

С. СЕГАЛЬ. Новая живопись в ее истоках и развитии. Издание Е. А. Гутнова. Берлин, 1923. Стр. 71+32 иллюстр. на отдельных листах и 12 рис. в тексте. Тираж 500.

Обычно тех, кто не знает современной живописи, но хочет ее узнать, интересуют больше всего многочисленные и сложные программы отдельных течений, чье появление вызывало сенсацию. Этой потребности в ознакомлении с новым искусством

не столько по его достижениям, сколько по стремлениям, отвечает книжка Сегаля. Всего лишь на семидесяти страничках умещен весьма сжатый обзор разных художественных направлений последних лет во Франции, Германии и России. Охарактеризованы кубизм, футуризм, экспрессионизм, супрематизм, беспредметничество, конструктивизм, новейшая декоративная живопись, а также живопись театра. Названы наиболее громкие имена. Автор мало останавливается на анализе и выяснении ценности отдельных явлений живописи нашего времени. Пониманию таковой его книжка не может содействовать; зато она дает довольно систематическое, правда, весьма обобщенное, но все же яркое представление о существующих течениях. В этом—достоинство работы Сегаля; упреки должны быть направлены преимущественно против его стиля и избранной им схемы.

Автору очень не хватает того умения образно и немногими словами сказать многое, которым владеют опытные эссеисты. Поэтому зачастую его определения малосодержательны и не удовлетворяют читателя. Наприм., по существу все, что так восторженно говорится о кубизме, нисколько не убеждает в его значительности. Тон изложения приподнятый, иногда торжественный и в общем подкупает своей искренностью. Но надо признаться, что выражения в роде «железный ритм внутренней архитектоники», «острие аналитического ума», «нити творческого синтеза» звучат по-провинциальному претенциозно. Нехорошо также называть Сезанна интимно «старик», «старичок - провинциал». Совсем по-банальному описана «трагедия» Ван-Гога. «Уже слабеет воля, уже корчится в судорогах бессилия разум, уже заливает Движение мозг художника, и он становится его рабом и—жертвой. Врубель и Ван-Гог! Оба были распяты на кресте своего творчества» (стр. 34). Лучше было бы избегать подобных сопоставлений и введения драматического повествования, которые хороши лишь у подлинного художника слова.

Автор рассматривает современную живопись вне связи с идейными, общественными и экономическими явлениями нашего времени. Лишь в конце глухо упоминаются «жаждущие наживы и спекулирующие на картинах коллекционеры» (стр. 69). Конечно, дело личного мировоззрения исследователя представлять себе развитие искусства каким-то совершенно изолированным процессом. Но нельзя здесь не отметить бессилие автора сделать какие - либо общие выводы в своем заключении. К тому же избранная им схема отличается чрезмерной упрощенностью. Вполне правильно было обратиться к характеристике «истоков» современной живописи. Но это не дает повода из Сезанна, Ван-Гога и Гогена механически выводить кубизм, футуризм, Матисса и его школу. Ведь от Сезанна—не только кубизм, но—что гораздо больше—вся современная культура живописного мастерства. Этого словно не замечает Сегаль, и потому крупнейшие русские художники, как Кончаловский, Фальк и вся группа «Бубнового Валета», им упоминаются лишь вскользь. Неужели только потому, что их творчество нельзя определить при помощи какого-либо «изма»? Точно так же среди «соратников Пикассо и его последователей во Франции» оказались Модильяни, Дерен (о нем только 10 строк) и Вламинк (3 строчки), достойные, конечно, гораздо большего внимания и во всяком случае отдельной главы. Вообще последователей кубизма названо слишком много; напр., Франца Марка было бы правильнее поместить среди экспрессионистов. Механически связан с футуристами Ван-Гог. Конечно, в нем было «зерно футуризма», но по существу, пожалуй, он ближе немецкому экспрессионизму, чем итальянцам Карра, Балла, Северини и др. Наконец, и Гоген не так уж много значил для Матисса; быть-может, не больше, чем неоимпрессионисты и Сезанн. Слабее прочих глава об экспрессионизме, в число представителей которого включен почему-то Анри Руссо.

Книжка издана хорошо. Недурен и разнообразен подбор иллюстраций. Кое-что будет новым для русского читателя (например, снимки с работ для театра Ларионова и Гончаровой). Очень плоха обложка. Безвкусно сделана подпись на ней; неприятен воспроизведенный в красках рисунок Глэза.

Л. Розенталь.

НИКОЛАЙ ТАРАБУКИН. От мольберта к машине. Изд. «Работник Просвещения». М. 1923. Стр. 44 in 8⁰.

Теория автора и то, как он ее излагает—несомненно, разные вещи. И когда имеешь дело, как в этой книжке, с теорией искусства, идущей в разрез со всеми остальными,—с теорией, которую надо или целиком принять или целиком отвергнуть, то размеры рецензии не позволяют разбирать самую теорию, и на долю рецензента остается лишь оценка развития и изложения этой теории. И с этой стороны книжка Тарабукина заслуживает всяческого внимания. «Производственная» теория искусства с ее оценкой современности и прогнозом в будущее искусства изложена здесь очень четко и ясно, не оставляя почти никаких неясностей и двусмысленностей. В авторе можно уважать честного противника, не жонглирующего, как почти все конструктивисты-производственники, терминами и старающегося доходить в своих рассуждениях до логического конца. Отсутствует в книжке и обычный высокомерный тон новых «открывателей Америки», но тем более сильным диссонансом звучат ругательные выпады по адресу «эстетических способов» и «искусствоведов-гробокопателей». От этого милого обычая наших «левых» рубить с плеча и сваливать в одну кучу Муратова и Вёльфлина, Эфроса и Воррингера, Христиансена и марксистов-эстетиков автор все же не смог освободиться. А следовало бы!

Не считая себя «эстетическими снобами», не допускающими возможность каких-либо иных, кроме им известных форм искусства, мы можем без обычного озлобленного рычания подойти к книжке Тарабукина. И именно в силу того, что в теории конструктивизма есть все же некоторые правильные мысли, мы считаем нужным отметить нижеследующие несуразности в самом ее развитии у Тарабукина.

Он прежде всего забывает, что у нас сейчас еще не социализм, а только переходная эпоха, и если в будущем обществе искусства даже и не будет, то для нашей эпохи оно необходимо. Из того же мерила общественного быта и психики людей социалистического общества современными вытекает представление о будущей культуре, как о «цивилизации» в шпенглеровском смысле. Автор Шпенглера цитирует и с ним во многом согласен. Правильно учитывая возможность агитационной работы конструктивистов в современном производстве и утверждая, что в будущем всякий труд будет творческим, автор от этого совершенно неожиданно приходит к выводу о том, что в будущем не будет художественного творчества, как такового. Совершенно нелепо утверждать, что если все виды человеческой деятельности будут творческими, то те виды, которые были до этого творческими, исчезнут.

Мы отмечаем эти несуразности, как относящиеся к самому обоснованию и развитию теории и невольно бросающиеся в глаза читателю, если он даже станет на точку зрения автора. Что же касается самой теории, то критика ее не может войти в задачи этой рецензии, так как пришлось бы опровергать основные предпосылки автора. Это—теория искусства, совершенно противоположная по своему существу марксистской теории, и так как в этой книжке автор не пытается, как Арватов, цитатами из Маркса бить по марксизму, но использовывает для этой цели Шпенглера, мы оставляем его в покое. Ну что же, еще одной псевдонаучной теорией искусства больше. Нам не привыкать к этому.

Федоров-Давыдов.

LE CORBUSIER-SAUGNIER. Vers une architecture. Les éditions G. Cres et C-ie. Paris (Quatrième édition.) Стр. XI+230 in 8⁰.

КОРБЮЗЬЕ-СОНЬЕ. К вопросам архитектуры. Изд. Г. Крез и К⁰. Париж (четвертое изд.). Стр. XI+230 in 8⁰.

Книга Корбюзье-Сонье (отдельные главы которой появлялись раньше в журнале «L'esprit Nouveau») является характерной для нашей эпохи,—эпохи, когда появился конструктивизм.

Перелистывая данную книгу и видя на одной странице воспроизведения автомобиля и Парфенона (стр. 107) и затем выписки из журнала «L'esprit Nouveau», как, например: «новый дух есть дух конструкции» (стр. 69), можно предпола-

гать, что идеи автора являются идеями конструктивиста. Но такое предположение было бы ошибочным; может-быть, данная книга и представляет большую ценность тем, что автор пережил романтизм машины, который был характерен для конца XIX и начала XX века и который так явственно ощущается еще у русских конструктивистов.

Правда, основой всей архитектуры Корбюзье-Сонье считает конструкцию, но конструкция не совпадает с архитектурой. Конструкция—лишь грамматика, архитектура же—пластическое искусство, которое должно вызывать известные эмоции.

Прежде всего архитектура должна быть современной, и потому Корбюзье-Сонье нападает на тех архитекторов, которые строят в каком-либо «стиле». Это является не целесообразным, так как с каждой новой эпохой появляются новые потребности. Наша же эпоха управляется законами экономии, и потому, как особенно целесообразной для современности, автор отмечает постройку домов сериями. В данном случае постройка домов приравнивается к постройке машин, но Корбюзье-Сонье и называет дом «машиной для жилья». Отсюда все должно быть приспособлено для наибольшего удобства и в то же время отсутствовать все неутилитарное.

Как одно из основных требований для архитекторов, Корбюзье-Сонье выдвигает необходимость использования всех новых материалов, как железо-бетон, стекло. Материалы эти, конечно, отразятся и на общей конструкции, так, например, нецелесообразно стеклянные стены делать толстыми.

Итак, поскольку архитектура является утилитарной, то план здания и его наружный вид определяются утилитарностью, но это только с одной стороны, с другой же, поскольку архитектура является пластическим искусством, то и план определяется творческим воображением архитектора.

Вот эти две предпосылки Корбюзье-Сонье мы вполне можем принять, как общие и характерные для архитектуры всех эпох. Но Корбюзье-Сонье идет дальше, он далеко не приемлет всей архитектуры, в частности он не приемлет готическую и, наоборот, для него ценной является архитектура египетская и греческая (Парфенон). Этот факт является вполне понятным. Корбюзье-Сонье требует от архитектора, чтобы его план был прост, в основе лежала бы простая геометрическая фигура, т.-е. он уже предопределяет «пластическое воображение» архитектора. Отсюда вытекает, что та архитектура является приемлемой, которая отвечает его «пластическому воображению», как архитектора. На основании последнего соображения данную книгу мы должны рассматривать ни как теоретическое обоснование основ архитектуры, ни как историческое исследование, а как манифест определенного художественного направления, с одной стороны, и как пропаганду известных идей—с другой. И только этим объясняется самый метод книги, основанный на чрезмерном повторении одних и тех же мыслей, иногда без всякого дальнейшего развития и обоснования.

Н. Яворская.

В. ВОЛЬКЕНШТЕИН. Драматургия. Метод исследования драматических произведений. Изд. «Новая Москва». 1923 г. Стр. 181.

Книга В. Волькенштейна является по существу раскрытием одного основного положения — о драме, как процессе единого действия. В его раскрытии автор до конца и совершенно последователен и ригористичен. «Метод крайнего волюнтаризма» доведен до логического завершения. Автор дает ряд очень интересных и ценных наблюдений, в частности об «эмоциональной вибрации воли», характеризующей трагических героев, о природе фарса и т. д. Однако, такая постановка вопроса осуждает автора на некоторую односторонность. Заранее отказываясь от «исчерпывающего анализа драматического произведения» и не претендуя «на установление незыблемых драматургических законов», автор существенною задачей считает установление «метода драматургической критики» на основе рассмотрения «основного типа драмы». Метод В. Волькенштейна в указанных рамках сводится к обнаружению

костяка драмы, ее «волевого» скелета, ее основной драматургической схемы. В проведении своей волюнтаристической точки зрения Волькенштейн бесспорен и убедителен. Не вызывает возражений и большинство выводов, делаемых автором.

Однако, книга вызывает несколько возражений не столько по существу, сколько с точки зрения методологической. Рекомендуемый Волькенштейном «метод анализа» оставляет в тени некоторые явления драмы и оказывается не в состоянии всецело и до конца объяснить ряд отдельных драматургических приемов. Причину следует искать в преобладании литературно-поэтического подхода автора к драме, как «поэтически-изобразительному действию—иногда действию-поступку, выраженному в ремарках, иногда действию-слову». Между тем специфические особенности драмы находят преимущественное объяснение в тех специально сценических заданиях, которые ставит драма. В книге отсутствует наиболее существенная глава: «драма, как материал для сценического представления и актерского творчества». Рассмотрение этого поэтического жанра, вне его непосредственного сценического воздействия—не на читателя, а на зрителя — осуждает на сужение основную тему книги. Многое из того, что согласно схеме Волькенштейна или противоречит природе драмы или является исключением из общего правила—параллелизм интриг, лирические отступления, шутовские выходки в трагедии, характер диалога—будут вполне объяснены из сценических требований эмоционального воздействия на зрителя, если мы, конечно, не имеем дела с типичной «драмой для чтения».

В свою очередь, «метод крайнего волюнтаризма» часто переходит у Волькенштейна в «метод крайнего рационализма». Увлеченный схемой «действия» и «контрдействия», изображая «драму» как сражение и каждую ее отдельную сцену как «поединок»—автор придает героям трагедии печать сознательных и хитрых стратегов, отодвигая элемент «бессознательности» и «подсознательности» на второй план. Вместе с этим характеристика героев становится упрощенной и схематичной. Волю *автора* Волькенштейн приписывает *героям* драмы. Таких же рационалистов автор видит и в читателях драматических произведений, захваченных схемой, а не содержанием развертывающегося драматического действия. Остается неясной причина *эстетического воздействия* драмы на зрителя,—воздействия, при помощи которого единственно возможно довести до зрителя ясно вычерченную Волькенштейном основную схему построения драмы. Так возникает вопрос об *эстетических приемах* драмы, об ее формальном анализе.

Автор же стоит на перепутьи между формальным и психологическим анализом. Он в гораздо меньшей степени обращает внимание на *приемы* творчества драматурга, чем на психологическое разъяснение переживаний трагических и комедийных героев. Отказываясь от введения исторического, социологического и сценического анализа, автор лишает книгу твердой опоры и нерушимого фундамента. Драма Шекспира необъяснима всецело вне театра его эпохи и требований зрителя к его театру; также испанская и романтическая драма, в какой-то мере противоречащая схемам Волькенштейна.

Следствием такой оторванности драмы, как поэтического произведения, от формальных особенностей театра и конкретных условий эпохи, ее родившей, является схоластический в отдельных частностях характер книги, приближающий ее к типу учебников «теории словесности». Особенно явно обнаруживается этот схоластицизм в ряде примеров, подтверждающих основные положения автора и упрощающих основной смысл разбираемой драмы. Волькенштейн находится под явным влиянием «системы Станиславского» и применяет методы, а иногда и терминологию «системы» к целому ряду явлений драмы. Вряд ли, однако, можно согласиться, что «ключ единого действия» гоголевского городничего можно найти «в мечтах о петербургской жизни» и исчерпать его «грубейшим карьеризмом провинциального чиновника». Вряд ли можно признать исчерпывающим следующее толкование «Моцарта и Сальери». «В «Моцарте и Сальери» Сальери отравляет Моцарта. Это существенно. Далее: он отравляет из зависти.

При этом он борется с самим собой, пользуясь острой глубокомысленной диалектикой. Он явно страдает; его эмоциональная вибрация богата. Все это создает образ патетического злодея».

С другой стороны, Волькенштейн часто останавливается на вполне бесспорных и ясных самих по себе вещах, как, например, на том, что «драматическая сцена должна быть хорошо развита», и других, не вызывающих сомнения, пунктах.

Однако, следует всецело признать заслугу Волькенштейна в теоретической постановке вопроса о драме, до настоящего времени во всей широте не поставленного, и—при всех методологических опущениях книги—нельзя не согласиться и с основной тенденцией автора о «волюнтаристической» природе драмы, как поэтически-сценического жанра.

П. Марков.

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. По германской кинематографии. (С 4-мя иллюстрациями.) Издательство «Кино». Москва, 1924. Стр. 62. Тираж 4000.

Семь небольших статей составляют книжку. В них бегло, но все же четко и выразительно описан еще для многих таинственный мир современного кино, чье значение мы лишь недавно научились понимать. Особенно любопытны и занимательны описания того, как производятся съемки в большом стеклянном ателье в Берлине, под открытым небом, в «городе Фильмы»—Нейбабельсберге и, наконец, при искусственном освещении в гигантском помещении бывшего эллинга для цеппелинов.

Автор интересуется не только техникой и бытом, но и экономикой кино. Фильмовая индустрия Германии, как и всюду в Европе и Америке, трестирована. Она—лишь послушное и весьма действенное орудие в руках финансового капитала. И это не только отражается на идеологическом содержании кинолент, но и не позволяет кинематографии в должной мере проявить себя в качестве особого вида художественного творчества.

Как подлинных создателей искусства экрана Лебедев выдвигает не актеров, а режиссеров, чьи имена публике почти совсем неизвестны. Самые популярные из них—обычно всего лишь ловкие дельцы и предприниматели или просто хорошие знатоки того, что требует зритель. Но на ряду с ними автор называет нескольких талантливых и высоко культурных деятелей, пытающихся быть независимыми в своей работе. Наибольшие же симпатии он питает к представителям левой кинематографии, смелым искателям-новаторам, нам в России совершенно неизвестным (Вегенер, Робинзон, Лупу Пик).

Книжка написана увлекательно и рассчитана на массового читателя. Свои впечатления от поездки в Берлин Лебедев изложил, по его же признанию, в форме «полу-фельетонов, полу-корреспонденций». А жаль! Неужели не скоро найдется издатель для более серьезной книги о кино, написать которую обещается автор.

Л. Розенталь.

Проф. К. А. КУЗНЕЦОВ. Введение в историю музыки. Часть первая. Государственное Издательство. Москва — Петроград, 1923. Стр. 125.

Если у нас существует и развивается довольно значительная по объему и качеству литература по истории русской музыки, разрабатываемая, впрочем, путем монографическим, то в отношении самостоятельных трудов на русском языке по всеобщей истории этого искусства дело обстоит не так успешно. Выходившие в течение десятков лет работы носили характер учебников или весьма кратких компиляций иностранных исследований. Было несколько переводов, однако крупнейшие для того или другого времени сочинения представителей западной науки оставались почти неизвестными русскому читателю. Незадолго до войны издательством «Шиповник» был начат выпуск обширного труда ленинградского профессора Л. А. Сакетти, имевшего целью охватить все периоды музыкальной жизни народов, применяя, главным образом, критерии эстетические и психологические. Издание прервалось в самом начале и дальнейшего продолже-

ния не предвидится, да и едва ли оно бы сейчас могло отвечать потребности времени. Некоторый пробел в указанном отношении заполняет вышедший в 1922 г. в Государственном Издательстве первый том «Всеобщей истории музыки» (до конца шестнадцатого столетия) Е. М. Браудо. Автор нового «Введения в историю музыки», известный московский исследователь К. А. Кузнецов, предлагает опыт иного, но очень немаловажного значения. Он ограничивается задачей проследить три основных этапа в жизни музыкального стиля: монодизм, полифонизм и гармонизм. Первые два он, естественно, рассматривает в их законченной, исторически закристаллизовавшейся форме, научное овладение последним этапом представляется много сложнее—в наше время музыка говорит еще сохраняющимся гармоническим языком, несмотря на ряд отдельных признаков возникновения новой стадии стилистического развития. Для осуществления намеченной задачи автор идет путем установления самых общих вех, по которым движется конкретизованная в формах выражения музыкально-творческая эволюция. Вскрывая основания общего движения звукового искусства, исследователь пользуется отдельными историческими явлениями лишь как материалом для своего синтеза и указывает на тот или иной индивидуальный культурно-исторический факт лишь в предположении его сверх-индивидуальной показательности. К. А. Кузнецов привлекает обширный научный аппарат для своих выводов и дает ряд схем в прошлом мировой музыки, освещая их общими культурно - историческими данными, являвшимися действенными предпосылками к установлению и развитию музыкальных проблем. Такой вновь вводимый в нашей литературе прием, хотя на первый взгляд и отвлекает непривычного читателя-специалиста от главной задачи, в действительности представляется, однако, неизбежным, ибо мысль наша уже не может более отрывать эволюцию того или иного искусства от культурной почвы его времени (хотя бы и в далеких ее отслоениях), тех климатических условий, в которых зарождались первые ростки новой жизни. Иногда автор как бы уходит слишком далеко за пределы тех ближайших влияний, какие воздействовали на ход собственно музыкальных событий, но, при новизне постановки основного задания и стремлении захватить как можно глубже, такие «уклоны» вполне объяснимы и не подлежат придирчивой критике. Очень существенны приводимые исследователем соображения о моменте преодоления античной культуры и о возникновении нового хорового начала в церковной музыке средневековья. Культурно-политически, а равно и этически утверждалась грандиозная система восприятия вещей, в основании которой лежало преодоление исконного индивидуализма Эврипида и еврейских пророков. Выдвигается своеобразный идеал социальности, соборности. Часть живет в неотщепленном от целого виде, как некоторая потенция к дифференциации, — не более того, всего менее, как самостоятельный центр, мерило всех вещей. Совершался как бы возврат к давно оставленному позади принципу органической спаянности, как бы оживали старые родовые узы, хотя, конечно, дело идет уже не об узкой группе, а о всем человечестве, растворенном в понятии братства (стр. 21). Стоило голосам зазвучать не раздельно, а слитно, в один голос, в унисон, и задачи подчинения музыкального искусства требованиям духа времени с его соборным уклоном разрешались с полною легкостью (стр. 25). Церковный хор, поющий в унисон, есть, таким образом, лишь частный, более узкий случай применения начала созвучия, какое существует между согласно чувствующими, думающими, верующими, хотя бы они и были разделены временем и пространством (стр. 25—26). Быть-может, не совсем убедительно звучит категоричность суждения автора об исключительном влиянии народной музыки на церковную. Мы знаем примеры и обратного воздействия. Вообще при таком сконцентрированном изложении многих исторических вопросов частные анализы могли бы вскрыть спорность некоторых обобщений, но для этого нужно было бы проследить здесь те разнородные влияния, какие приводили западных музыковедов к определенным, издавна сложившимся схемам. Автор

обнаруживает прекрасное знакомство с современной иностранной (французской, немецкой и английской) литературой, и его «введение», вернее сказать, самостоятельные итоги изучения историко-музыкальной мысли Запада, заслуживает большого внимания.

Вас. Яковлев.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ. Том I. Под ред. проф. К. А. Кузнецова. Музсектор Госиздата. М. 1924. Стр. 204. Тираж 2000 экз.

Сборник, составленный из докладов в исторической ассоциации Гос. Института Науки о музыке, свидетельствует о невыясненности основных вопросов методологии истории музыки и прежде всего о неопределенности объекта исследований в этом сборнике. Все исследования сборника, пожалуй, за исключением анализа стиля С. Прокофьева, сделанного Жиляевым, не могут быть объединены общим заглавием «История русской музыки», понимаемой или как история музыкального языка и его высших форм, или как история творческих процессов. Все статьи и материалы сборника исследуют не музыку, а сопутствующие ей социальные отношения, занимаются историей внешней музыкальной культуры, при чем, по сложившейся инерции, часто переносят центр внимания на биографический материал. Все это, конечно, полезно, но это еще не история музыки, а предварительные, побочные и дополнительные изыскания, помогающие установлению связей в области истории музыки; поэтому сборник должен был носить иное заглавие, а предисловие редактора — выяснить значимость печатаемых материалов.

Самой оригинальной и методологически четкой работой сборника является статья М. П. Алексеева о музыкальной жизни Киева в начале XIX века. Ценно наблюдение о преобладании в концертах, начиная с 20-х годов, немецкого репертуара, вытесняющего итальянский. Тому же автору принадлежит биографическая заметка об А. Д. Жилине, русском музыканте начала XIX века.

Статья Попова о пребывании Вагнера в Москве в 1863 году интересна как характеристика «просвещенного дилетанта» Одоевского и по выпискам из статей Мельгунова о Вагнере, не потерявших, пожалуй, интереса и в наше время.

«Очередные задачи в изучении древнерусской музыки», статья проф. Металлова,—полезное напоминание о забытом.

Заметка проф. Иванова-Борецкого знакомит читателя с редким театрально-музыкальным журналом 1795 года.

Статья С. Толстого «Лев Толстой и Чайковский» не вносит существенно нового в творческий образ того и другого художника.

Много ценных наблюдений в области стиля С. Прокофьева дает Жиляев в статье «Характерные черты творчества Прокофьева». Не слишком ли много предков, совсем не родственных друг другу композиторов, нашел исследователь у Прокофьева? Быть-может, его наблюдения сходных черт стиля у разных авторов и Прокофьева часто объясняются независимыми результатами общего звукосозерцания и эстетики конца XIX, начала XX века?

Из материалов самый интересный текст — дневник С. И. Танеева, раскрывающий психологический тип композитора довольно ясно.

Записки Демидовой-Даль и перепечатка писем Чайковского к Н. Рубинштейну, хотя бы и с добавлениями, могли бы уступить свое место более ценным материалам.

Сергей Бугославский.

«МУЗЫКАЛЬНАЯ НОВЬ». Госиздат. №№ 1—7. Москва.

Еще в первом номере редакция этого журнала определила направление «Музыкальной Нови», как идущее в сторону от чистого эстетизма, академических традиций, лабораторных опытов и кабинетных изысканий к сближению с современностью, пропаганде социально-художественных принципов, проникновению в музыкальные низы (клубы, хор-кружки и оркестры) для поднятия уровня их музыкальной грамотности и для со-

общения им известной агитационной значимости.

Такого типа музыкальных журналов у нас еще не было, и эту инициативу нельзя не приветствовать. Руководители журнала все — добромыслящие марксисты, но, кроме одного, С. М. Чемоданова, мало искусные, и потому облик большинства передовых и основных статей носит смелый, безапелляционный, но очень часто дилетантский характер. Отгородившись от сотрудничества многих видных музыкантов - литераторов (да и объявленные почти не участвуют), редакция обесценивает журнал в научном отношении, и то специальное, что там случайно находит себе место, оказывается механическим придатком.

Впрочем, последние номера понемногу меняют свой облик к лучшему. В № 5 имеются заслуживающие внимания статьи М. Брюсовой «Основы работы в классах теории музыки», Е. Вилковира «К вопросу о музыкальной науке», в отделе «По клубам и кружкам» статьи Н. Демьянова и С. Чемоданова, обзоры музыкальной жизни Б. Браудо.

Чтобы представить серьезную ценность и чтобы «продержаться» в наших трудных финансовых условиях, при скудости музыкальных потребностей вообще, специальный журнал должен непременно быть интересным не только в общественном, но и в научно-художественном отношении, чего пока нет. А к этой цели следует стремиться руководителям.

К сожалению, последний двойной номер—6—7, вышедший, как орган Всероссийской Ассоциации пролетарских музыкантов, ликвидировал все надежды на улучшение. В нем взят твердый курс на презрение ко всей прошлой музыкальной культуре. Не будет слишком сильным сказать, что этот номер, за исключением пары статей,—сплошное музыкальное комчванство и малограмотность.

Как один из важных рецептов деятельности, ответственная статья А. Сергеева рекомендует, например, такой: «В наших пивных, чайных, где часто бывает рабочий и где он слушает и гармонику и хор и «романс», необходимо создать и положить на ноты для гармоники, балалайки, мужского хора, записать на валиках те популярные песни, которые рабочий и слушает и сам поет. Изложите эти песни грамотно, простым гармоническим языком. Используйте чрезвычайно ценный ритмический материал «частушки». Дайте нам новые слова. Подходите к тому материалу, который близок пролетариату, без брезгливости, с одной стороны, и без «культурнического» сюсюканья—с другой, и только тогда будет возможно медленно и неуклонно поднимать музыкальный вкус масс».

Повидимому, это почитается «марксистским подходом», оказываясь на деле древле - народнической идеализацией исконной некультурности. Здесь полнейшее расхождение с тем, что намечено, например, Пролеткультом в сфере театральных постановок или изобразительных исканий, где мы действительно видим, хотя бы еще несовершенные по результатам, но свежие боевые и революционно - художественные устремления.

Автор неудачно опирается на статьи Л. Д. Троцкого «О новом быте», спасительно забывая, что в своей борьбе, напр., с нашей бытовой нецензурной бранью, т. Троцкий вовсе не рекомендует сначала «без брезгливости» опуститься до нее, а потом уже «возможно медленно» поднимать вкусы.

Но то, что мы слышим «в пивных, чайных», с точки зрения музыкального искусства, относится преимущественно к категории пошлого по вкусу и бездарного по исполнению, Исключения редки до чрезвычайности. С влиянием кабацкой музыки надо решительно бороться, а не искать там несуществующих ценностей. В ней совершенно отсутствуют те бесконечно своеобразные в своем примитивизме элементы, которыми изобиловала старая крестьянская песня.

Грубость авторов и редакции доходят до таких стилистических оборотов: «одно выступление NN может взбесить любого слушателя, если только тот не глухой. Вообразите тучную фигуру с голосом, который скромно называют «хороший бывший тенор, а теперь профессор» — это в одной рецензии. В другой: к низам «нужно итти с чле-

нораздельной речью и говорить не только о собственном, из пальца высосанном, величии».

А журнал начал приобретать общественное значение, связываться с работой кружков и клубов. Будет жаль, если его влияние внесет такую дешевую анти-художественную струю в массовую работу. «Музыкальную Новь» надо сохранить, но дать ей умного редактора.

Антон Углов.

П. ДУЛЬСКИЙ. Э. П. Турнерелли. Изд. автора. Казань, 1924. Стр. 1 нен.+32+1 нен.+8 табл. in 8°; 500 нум. экз.

Рецензируемая книжка—вторая в ряду небольших предпринятых автором монографий о казанских художниках прошлого столетия [1]). Она посвящена автору хорошо известного всем знатокам русских иллюстрированных изданий альбома «Видов Казани», немного чудаковатому иностранцу, волей судеб или, вернее, своего непоседливого характера, сына «страны путешественников», занесенному в эту древнюю столицу Татарии, англичанину Турнерелли. Но, зная его по имени, мало кто знал его биографию и его другие, уже не живописные, а литературные, произведения, в частности—«Казань и казанцы», не менее альбома интересное в историко-бытовом смысле. Тщательно и с любовью написанная по справочным и архивным материалам, эта монография вместе с личностью далеко не заурядного рисовальщика воскрешает перед нами и образную картину провинциального быта 30—40-х годов минувшего века. К сожалению только, автор, очевидно, не имел под руками исчерпывающего материала о творчестве Турнерелли, которое далеко не ограничивалось зарисовками видов Казани. (Это было указано Лукомским в его рецензии, помещенной в одном из иностранных журналов.) Так что, собственно, заглавие книги несколько шире ее содержания. Это, конечно, не так важно, потому что Турнерелли—в общем дилетант — может быть нам интересен в художественном отношении только как автор своего альбома, вышедшего чуть только спустя после такого же альбома Василия Турина. Его книга «Казань и казанцы» интересна, с этой точки зрения, опять-таки для уяснения именно «казанского Турнерелли», что и дано автором в описании печальных последствий выхода книги. Тем не менее, все-таки следовало подчеркнуть это, чтобы не создавать впечатления; что художественная деятельность Турнерелли протекала только в России.

Любовное отношение сказалось и на издании, очень изящном, с гармонирующими с текстом старинными виньетками и недурными воспроизведениями на отдельных табличках. Появление таких монографий о провинциальных мастерах заслуживает всяческого одобрения.

Федоров-Давыдов.

[1]) См. нашу рецензию на его же «Лев Крюков»; «Печать и Рев.», 1924, № 1.

Л. И. СВИОНТКОВСКАЯ-ВОРОНОВА. Российский Исторический музей. Резная кость. Москва, 1923 г. Стр. 52 in 4°+218 рис. на 48 таблицах in 4°.

Исторический музей восстановил хороший обычай всякого музея,—в том числе и свой собственный,—опять начал издавать свои коллекции в составе ученого очерка, описаний и альбома. Для нашего времени такое предприятие должно вызывать чувство благодарности и всякого поощрения для будущего. С предшествующими изданиями Исторического музея себя связали имена проф. В. Н. Щепкина, А. В. Орешникова. В настоящем случае перед нами выступает Л. И. Свионтковская-Воронова, сколько нам известно,—имя совершенно новое в ученой литературе искусствознания, археологии, бытовой истории и проч. и проч., к ведению какой бы дисциплины мы ни отнесли трактат о резной кости. Это обстоятельство создает и особую атмосферу вокруг книги, как вокруг пробы пера.

В кратком предуведомлении от редакции акад. М. Н. Сперанский сообщает,

что публикуемое собрание принадлежало известному московскому коллекционеру П. И. Щукину и было «подготовлено в значительной мере к печати еще самим» собирателем. Мы сожалеем, что Л. И. Свионтковская-Воронова в своем тексте скрыла от нас эту часть работы покойного П. И. Щукина по изданию резной кости, указав на стр. 8 лишь неровный характер собрания, как плод личных вкусов коллекционера; впрочем, Л. И. Свионтковская-Воронова не находит сама в этом большой беды при полноте собрания. Далее на стр. 14—15 говорится о падении мастерства с начала XIX в. Не сюда ли относятся «плохие» образцы коллекций? Не заслугой ли П. И. Щукина является введение в коллекцию даже плохих образцов? Мы предпочли бы более точных разъяснений и более осторожного упоминания вкусов коллекционера.

Гораздо досаднее другой недосмотр автора. Подбирая для своего текста литературу, правда, очень скудную, где хоть в какой-либо мере упоминалась резная кость, автор пропустил уже опубликованные материалы по тому же собранию П. И. Щукина!

Три гребня таблицы 12, гребенка и гребень таблицы 14 были описаны В. К. Трутовским и воспроизведены в № 6 «Художественных Сокровищ России», за 1902 г., стр. 130—132, №№ 70, 1—5, в общем описании музея Петра Ивановича Щукина. В. К. Трутовский отлично объяснил стиль воспроизводимых вещей, их происхождение, значение изображений и даже дату. Если Л. И. Свионтковская-Воронова была ограничена в своих описаниях и не могла входить в подробности исследования, что мы видим у В. К. Трутовского, то все же было необходимо считаться с уже добытыми результатами, даже не соглашаясь с ними. Полное умолчание скорее указывает на досадное незнание, что коллекции П. И. Щукина уже восходили до общих очерков в научно-художественной литературе.

Сам П. И. Щукин в своих изданиях также касался кости своего собрания; можно указать и еще упущения из русской литературы о кости применительно к ее истории с древнейших времен. Все же следует признать, что общий исторический очерк резьбы по кости в России, извлеченный из историко-бытовых заметок Айнальба, Забелина, Костомарова, Успенского и др., достаточно удачен. Хуже дело обстоит с иностранной литературой, а также и с заключениями о смысле и характере костяной резьбы на Западе. Литература о кости очень велика и блещет значительными именами (Dalton, Maskell, Molinier—единственно упомянутый нашим автором, Garucci, Stuhlfauth, Graeven, Koechlin и т. д. и т. д.). В отдельных трудах по искусству Востока и Запада мы находим громадное количество страниц, посвященных резной кости. Вся эта литература никак не отразилась в труде Л. И. Свионтковской-Вороновой, и как предисловие, так и описание автора нисколько не похожи на образцовые таковые же, выполненные, например, Дальтоном по Британскому музею. Между тем, если не по сложности, то по принципам научности, методам, наличию ученой литературы следовало бы иметь «Каталог» Дальтона за образец.

Быть-может, в ученом методе скрывается вся ахиллесова пята Л. И. Свионтковской-Вороновой. Более широкий горизонт избавил бы автора от досадных недомолвок и даже ошибок. Не будем входить в подробности. Достаточно сказать, что ларцы «характерной русской формы теремком» (стр. 13) целиком пришли к нам из Византии, что «прорезные» ажурные кости известны там же и сохранились от VI в. с античными сюжетами, что ажурные двухсторонние костяные гребни встречаются на Западе уже в XII веке.

Развитие русской светской кости со второй половины XVII в.—прямое воздействие Запада. Для XVII в. Л. И. Свионтковская-Воронова это учитывает, насколько может; но с отдельными суждениями вряд ли можно согласиться; напр., вряд ли архангельское рококо имеет бо́льшую закругленность, чем подлинное (стр. 10); сам же автор отлично говорит на стр. 14 о грубоватой сочности русской резьбы, на стр. 9 — о плоскостности и переполнении форм. Чаще всего русский рокайль в костяной резьбе дает мятые формы, чем закругленные

(привлекать сюда конфигурацию оленьих рогов, стр. 10—совершенно искусственно).

Еще менее того можно согласиться с автором относительно принципиального отличия западной кости от русской, как, собственно, скульптуры от прикладного искусства. Русская резьба по кости совершенно идет в уровне со всей русской скульптурой, в которой вообще почти не было круглой пластики. Западная же скульптура и в прикладном творчестве сохраняет свой специфический характер, различный в эпохи романскую, готическую, ренессанс, барокко, рокайль и пр. и пр. Когда Л. И. Свионтковская-Воронова касается аналогий между резьбой по кости и дереву, касается народной резьбы, она делает ряд метких замечаний, столь нам известных из интересных этюдов Н. М. Воронова о народном искусстве. Но если бы Л. И. Свионтковская-Воронова отчетливее нарисовала себе картину эволюции стиля древне-русской скульптуры и русской народной скульптуры XVIII—XIX вв., ее наблюдения над упадком резьбы в XIX в. получили бы свое историко-художественное объяснение, а резьба «на проем», т.-е. ажурная, стилистически примкнула бы к рельефу. Методологически неправильно понятие стиля подменять то понятием назначения предмета («чистое» искусство, «прикладное»), то понятием техники и фактуры (рельеф, прорезь и проч.).

Сюжетные перечисления интересны и достаточно полны; но нельзя утверждать, что изображения «господской» среды говорят за распространение предметов лишь в этой среде; иногда мы находим совершенно обратное, и притом совершено обоюдно.

Не вдаваясь в подробности описания, мы должны отметить, что отнесение той или иной вещи к месту и времени требует если не доказательств, то хоть мотивировки; ведь были же для того данные у автора!

Так, следовательно, и в общем и в частностях у автора мы видим существенные промахи, столь понятные для лишь вступающего на научный путь, да еще в неизвестной (в России) области. Что приятно поражает в авторе, это необыкновенная литературность изложения, совершенно не носящая следов долгой выдумки. Автор—хороший литератор и книгу его приятно читать; в суждениях же о памятниках сквозит несомненный вкус.

Издание по нашему времени выполнено хорошо, без роскоши, но с хорошей академичностью. Только, пожалуй, некоторые прорези были бы более четки на черном фоне. Опечаток мы почти не видим; но английская надпись на терке № 151 (табл., 31) прочитана неверно (t вместо Z, M. вм. J, S вм. M, n вм. П, да к тому же наставлены отсутствующие в подлиннике ударения).

Проф. Д. Некрасов.

В. А. НИКОЛЬСКИЙ. Старая Москва. Историко-культурный путеводитель. Ленинград. Издательство Брокгауз-Эфрон. 1924. In 8°. Стр. 208. Тираж 2000.

«Монография о генерал-губернаторском доме, вернее, о том, кто в нем жил и что в нем происходило, если она будет когда-нибудь написана, несомненно, представит громадный интерес и будет читаться, как роман» (стр. 131). Эти слова, сказанные про одно лишь здание старой Москвы, еще в большей степени применимо ко всей Белокаменной Столице. К сожалению, однако, автор разбираемой книжки не только не дал увлекательного очерка бытовой жизни города в былые времена, но даже не справился с задачей путеводителя. Прежде всего в работе В. Никольского поражает отсутствие плана. Страницы, посвященные Кремлю и Китай-городу (1—48), дающие, правда, очень хороший конспективный обзор памятников старины, совершенно не оправданы бытовым уклоном, далее проводимым автором. Архитектурные памятники, часто очень образно охарактеризованные, отвлекают В. Никольского от поставленной им задачи, отнимая вместе с тем очень много места в книге.

Последующий обзор московских улиц с рассказами о жизни людей, некогда соорудивших ряд до сих пор сохранившихся домов, ценных памятников русского зодчества, страдает крайней калейдоскопичностью. Для специалиста труд-

ной, даже головоломной задачей является желание связать как-то всех тех, о ком упоминает автор, представить себе общую картину былой жизни. Для неподготовленного же читателя мелькание имен недостаточно ярко обрисованных москвичей просто скучно и утомительно. Нам кажется, что В. Никольский лучше поступил бы, если, выбрав какой-нибудь дом, особенно популярный и известный (напр., С. С. Апраксина на Знаменке), описал бы празднество хлебосольного владельца и затем уже последовал за гостями в различные уголки опальной столицы. Этим впечатление целостности в смысле эпохи и бытового уклада было бы достигнуто, несомненно, с большим успехом.

Впрочем, мы не стремимся вовсе считать обязательным именно такой подход к теме и потому переходим к разбору книги по существу. И здесь сразу поражают некоторые досадные пропуски и ошибки. Автором забыт ряд интереснейших фигур старой Москвы. Мы не находим среди них «дяди-поэта», В. Л. Пушкина, неизменного участника домашних спектаклей, щеголя и модника, острослова и шутника, своего рода «arbiter elegantiarum»; не упомянуты митрополит Филарет, грозный для многих «князь церкви», к которому на поклон съезжалась вся Москва; чудак сенатор Кашкин; известный библиофил гр. Бутурлин; владелец драгоценнейшей, сгоревшей в 1812 году, библиотеки, известный исследователь московской старины Снегирев; масон И. В. Лопухин, оставивший громадный след в культурной жизни общества своими изданиями, красавицы книж.: Урусова, Н. Н. Гончарова, «разгуляевские красавицы», гр. Мусины-Пушкины и многие другие представительницы женского общества. До бесконечности можно было бы продолжить этот список пропущенных людей; согласимся, однако, с автором, что скромные размеры книги не позволяли широко развернуть картину прежней жизни. Тем внимательнее все же следовало отнестись к выделению той или иной индивидуальности, той или иной по-своему колоритной личности. Жаль также, что автор почти ничего не сообщает о собирательстве в старой Москве (коллекции Растопчина, Окулова, Погодина и др.), мало говорит и о художниках, пропуская, например, бытописателя московского общества В. А. Тропинина, жившего около Каменного моста.

Размеры настоящей заметки не дают нам возможности исправить все ошибки; отметим здесь лишь важнейшие.

В доме б. градоначальства на Тверском бульваре знаменитая П. Ю. Кологривова никогда не жила (стр. 80); мужу ее П. А. (а не А. С.) принадлежал дом в Грузинах, казавшийся маленькой усадьбой в черте города, с деревянным домом, службами, садом и небольшим прудом. Нескучный сад не являлся местопребыванием гр. А. Г. Орлова-Чесменского, что совершенно убедительно доказано Л. П. Александровым в его недавно вышедшей книжке «Прошлое Нескучного сада». Все, рассказанное здесь В. Никольским, относится к дому Орлова под Донским. Особняк Хрущовых на Пречистенке Жилярди не строил (стр. 166), по крайней мере, об этом не имеется никаких сведений; по стилю же своему он едва ли может быть включен в oeuvre'ы этого художника. Стиль итальянского зодчего, повидимому, вообще не уловлен автором. «В орнаментальных декорациях, в узорах решеток — всюду встречаются, характерные для Жилярди, любимые им лебеди и лиры, в извивах которых повторяются те же линии лебединой шеи. И самое зодчество Жилярди — лебединая песнь стиля империи, последнее его слово, высочайшее достижение» (стр. 157). Ошибочность этой характеристики уже вскрыта нами в рецензии на «Историю Русского искусства» того же автора («Печать и Революция», 1924, № 2, стр. 290),—надо думать, что здесь В. Никольский страдает некоей навязчивой идеей. Дом Долгоруких на площади б. Колымажного двора принадлежал раньше не кн. Хованскому (стр. 61), а кн. А. И. Вяземскому, отцу поэта (кн. П. А. Вяземский. «Полное собр. соч.», т. VIII, стр. 394). К. Г. Разумовскому принадлежал Воздвиженский наугольный дом (см. С. Д. Шереметев — цит. название, вып. II, стр. 3), а не здание б. Охотничьего клуба. как на то указывает В. Никольский в путеводителе. Таких, казалось бы, незначительных, но в данном случае крайне досадных ошибок можно было бы най-

ти довольно большое количество в разбираемой нами книжке.

Не менее обидно, что В. Никольским почти совершенно игнорирована славянофильская Москва — нигде не говорится о Хомяковых, несмотря на то, что их дом едва ли не единственный в Москве, сохранивший прежнюю обстановку (Музей 40-х годов). Ничего не рассказано также о домах Самариных на Поварской, Леонтьевых в Гранатном, Бобринских на М. Никитской, Лазаревых в Армянском, Булгаковых на Басманной, наконец, о загородных дачах—Бекетова, Михайлова (так наз. «Голубятня»), гр. Закревского. Кстати нельзя вполне согласиться и с характеристикой последнего, приводимой автором (стр. 77). Если Москва при Закревском и была «великомученицей», то только для тех, кому трудно было поживиться казенным достоянием, ревностно оберегаемым, быть-может, иногда не в меру попечительным графом. Недоумение вызывает оценка д-ра Гааза «утрированным филантропом» (119), что как-то не вяжется с деятельностью этого бескорыстного и искреннего друга человечества.

Все указанные недочеты, впрочем, не умаляют значения книжки Никольского, как первого *бытового путеводителя* по Москве,—путеводителя, к сожалению, составленного только несколько наспех и без должной внимательности.

Д. Греч.

А. Н. КУБЕ. Венецианское стекло. «Аквилон». Петербург, 1923 г. Стр. 98 + 6 ненум. 12 иллюстраций на отдельных страницах и 15 в тексте. Отпечатано 1000 экземпл.

Многообразно выявившее себя издательство «Аквилон», давшее значительное количество прекрасно изданных книг, еще в начале прошлого года приступило к выпуску серии по прикладному искусству. Первый выпуск был посвящен работе П. П. Вейнера «О бронзе». Теперь нашему вниманию предложен второй выпуск, посвященный венецианскому стеклу, с текстом хранителя Эрмитажа А. Н. Кубе.

Появление данной книги, при общем развитии интереса к прикладному искусству и при отсутствии, не только в России, но и на Западе, всесторонних исследований данного производства, должно быть признано весьма своевременным, а цель, поставленная автором,—вполне оправданной. Стеклоделие, достигшее в XVI веке мирового значения, было в Венеции несколько веков наравне с шелкоделием, оплотом всей промышленности. Но хрупкость материала уже давно сделала эти предметы высокой художественной ценности крайне редкими. Немногие собрания могут гордиться хорошо сохранившимися экземплярами. И тем более приятно, что Эрмитаж в своих отделениях Средних веков и «Возрождения» имеет весьма ценные образцы венецианского стекла, в большинстве случаев поступивших из собрания Базилевского.

Небольшая, популярно написанная книжка легко прочитывается. В начале автор в сжатой форме дает исторический обзор венецианского стеклоделия, важный не только с историко-художественной, но и с социально-производственной точки зрения.

Первые случайные сведения о производстве в Венеции стекла относятся к X, XI и XII векам, но до XIII века это производство мало чем отличалось от ремесленных изделий других стран. Старейшие, дошедшие до нас, предметы венецианского стекла могут быть датируемы не ранее XV века. Венецианская стеклянная промышленность, первоначально привлекавшая восточных мастеров, уже в свой золотой век, то-есть в XVI столетии, достигла такого совершенства, что восточные страны из первых учителей должны были превратиться в крупнейших заказчиков на изделия своих же учеников. Лишь в XVII столетии появление богемского стекла производит полный переворот во всей стеклянной промышленности и уничтожение венецианского стеклоделия. Города приморские, как, например, Венеция, богатые содой, выделывали очень тонкое, легкое, хрупкое так называемое натровое или содовое стекло. Богемия же, окруженная лесами, богатая поташем, выделывала стекло калиевое или поташевое—очень толстое, тяжелое, легко поддающееся гранению и шлифованию. И этот именно новый

способ изготовления стекла калиевого, близкого к природному горному хрусталю, в конечном результате и уничтожает стеклоделие венецианцев. Разность же материалов не допускала никаких подражаний. Тем самым всякая попытка к подобному подражанию, как, например, в XVIII веке Джузеппе Бриати, должна была потерпеть полный крах. Так называемое же «возрождение» в середине XIX столетия прежнего венецинского стеклоделия было явлением, искусственно к жизни вызванным и также не смогшим дать положительных результатов.

Обращаясь же к самим памятникам венецианского стекла, мы должны отметить, что автор, говоря о развитии форм венецианского стеклянного предмета, на наш взгляд делает значительную ошибку, не иллюстрируя ту или иную особенность формы соответствующим наглядным примером. Иллюстрации существуют в тексте обособленно, и для них в конце текста отведена отдельная глава с полным точным музейным описанием. Связать их с текстом представляется крайне трудным; и вообще для столь обще изложенной работы едва ли требуется давать целой главой приложение чисто музейного характера. Вопросу же весьма интересному, как, например, венецианское стекло в венецианской живописи, могущему даже быть отдельным серьезным исследованием, автором уделено мало внимания.

Весьма приятно отметить, что к книге приложен указатель литературы, позволяющий интересующимся глубже познакомиться с затронутыми автором вопросами.

Что же касается издания самой книжки, то надо сказать, что каждого любителя художественных изданий она должна всячески обрадовать. Прекрасно исполненная технически, с безупречно отпечатанными на желтоватого тона бумаге отдельными таблицами, значительно лучшими, чем в первом выпуске, она еще раз убеждает нас в том, что «*Аквилон*» относится к нашим лучшим издательствам. Очень хорошо и просто выполнена обложка и весьма интересны заставки и концовки работы Д. Д. Бушена—мастера уже многим себя зарекомендовавшего. Правда в этих иллюстрациях, умело связанных с текстом, мы замечаем больше наклонности автора не к Италии, а к излюбленному им французскому XVIII веку.

Закрывая очень приятную книжечку, невольно хочется отметить, что по своей непомерно высокой цене в пять золотых рублей она может оттолкнуть многих, желающих ее приобрести, а при тираже в тысячу экземпляров едва ли сумеет найти себе быстрое распространение.

М. Базыкин.

РАЗНЫЕ.

1. «Общество» Международное обозрение социализма и политики. *М. Константинов.* — 2. Крестьянский Интернационал. *Ю. Спасский.*

DIE GESELLSCHAFT. Internationale Revue für Socialismus und Politik. Herausgegeben von D-r Rudolf Hilferding. Berlin. №№ 1 и 2. April, Mai. 1924. 1—216.

«ОБЩЕСТВО» МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА и ПОЛИТИКИ. Изд. д-р Рудольф Гильфердинг. Берлин. № 1 и 2. Апрель, май. 1924 г. Стр. 1—216.

Перед нами первые два номера только что появившегося на свет «нового» журнала старых знакомых путаников из меньшевистского II Интернационала. По правде говоря, мы также мало приобрели нового и поучительного от знакомства с этим журналом, как мало потеряли бы, не читая его. Да и что можно было бы найти в литературных упражнениях «командиров» разбитого корабля, покинутых былой армией, оказавшихся на запятках истории и с серьезной миной бегущих «петушком-петушком» за громыхающей по миру колесницей империалистической реакции. Можно

было бы вообще пройти мимо этого «библиографического» явления,—не так уж оно значительно само по себе, да и заранее можно догадаться, что за истины изрекает на страницах «нового» журнала «старый», вернее, застарелый меньшевизм. Но в этом «библиографическом» явлении заключен или, лучше сказать, пытается укрыться, некоторый *политический* смысл. А выяснение этого смысла может дать нам несколько поучительных выводов.

Журнал представлен—цветом (правда, давно уж основательно поблекшим) всей западно-европейской части желтого Интернационала,—за именами Каутского и Гильфердинга мелькают характерным палевым оттенком имена Вандервельде, Отто Бауэра, Брантинга; за ними мало известные блеклые имена, получающие свое значение от приставок: «министр-президент», «министр народного образования» и пр.,—и, наконец, даже совсем уже серенькое имя русского меньшевика-цекиста Югова. Букет, как видите, стильный. Можно с уверенностью сказать, что в «Die Gesellschaft» слетелись,—как мухи перед смертью,—все остатки теоретических сил европейского меньшевизма. В нескольких статьях первых двух номеров, как в фокусе, собрались лучи теоретических взглядов и социально-политических вожделений отщепенцев социализма, продолжающих цепляться за всякую возможность политического влияния на трудовые массы. Тем показательнее содержание и направление журнала,—даже беглое знакомство с ним позволит нам установить, до какой черты докатился в своем развитии меньшевизм в его наиболее типичной развитой форме—германской соц.-дем. Хотя—и это следует прежде всего заметить — Каутский в специальной статье «Phasen und Zeitschriften des Marxismus» (№ 1) настаивает на том, что «Gesellschaft'у» суждено стать органом «новой», четвертой, фазы марксизма, «и как таковому — приобрести не только местное или национальное, но и международное значение». Так что на новый журнал приходится смотреть, как на выражение единства мнений международного меньшевизма.

Каутский делит развитие марксизма на 4 периода: первый период—до 1848 г. включительно; второй—60-е, 70-е годы—эпоха Первого Интернационала,—когда марксистские методы достигают полного выявления и высокого развития, когда классовая борьба пролетариата учитывает опыты революций 1848 года и базирует на широкой политической организации рабочих. Третья фаза — эпоха Второго Интернационала до мировой войны,—которая, по мнению Каутского, положила начало новой, четвертой, фазы марксизма. «Этой четвертой фазе марксизма,—говорит Каутский,—уже нужно подсчитать немало новых и глубоких опытов, она стоит уже перед колоссальными проблемами и потому настойчиво нуждается в таком органе, в котором лучшие головы могли бы подвергнуть обмену, сравнению и дискуссированию свои воззрения и взгляды. С такой быстротой меняются ситуации, так стремительно всплывают новые задачи, что книжная литература гораздо меньше, чем когда-либо, достаточна для необходимого уяснения воззрений. Только регулярно выходящий журнал... и может выполнить эту задачу».

Вполне понятны претензии Каутских собрать свои разбитые силы—осколки Второго Интернационала и стараться на опыте современности «обмениваться взглядами»,—но нельзя здесь не отметить эту ни на чем, кроме недоразумения и присущего всем банкротам желания блеснуть «предками», не основанную претензию журнала причислять себя к марксистской журналистике. Если б это было так, это означало бы—закат марксизма, не более и не менее. В самом деле,—что осталось у этой компании «вождей» Второго Интернационала марксистского — не говорим уж в политике, а хотя бы в их «безответственных» «взглядах и воззрениях», коими они находят необходимым обмениваться в «Gesellschaft». В этом отношении одного первого номера, даже первых двух статей, — Гильфердинга и Каутского, — вполне достаточно, чтобы сделать вполне определенное заключение.

В статье «Probleme der Zeit» (№ 1) Гильфердинг считает бесспорным положение, что в современном иерархически

организованном капиталистическом народном хозяйстве видоизменяется к лучшему положение труда,—безработица делается все менее и менее угрожающей, так как ее последствия смягчаются путем страхования, и т. п. Вера в благодетельность «социальных реформ», с которыми всегда носились утописты и либералы как с панацеей всех капиталистических зол, — стала достоянием теперешних «марксистов 4-й фазы», — Каутских-Гильфердингов. В полном согласии с этими воззрением стоит признание, что «капитализм, как только он достигает высшей ступени организованного по-новому хозяйства, ставит проблему хозяйственной демократии». «Чем более прогрессивна организация (хозяйства), чем более сознательно управление им,—тем невыносимее становится для массы производителей присвоение экономической власти и общественного продукта владельцами концентрированных средств производства». «Сознательно направляемый характер хозяйства оказывается в открытом противоречии с «случайными», вышедшими из ранней эпохи неорганизованного капитализма противоположными основами собственности. Противоречие это устраняется превращением иерархически организованного в демократически организованное хозяйство». Таким образом, то, что у Маркса и его прямых последователей образует неизбежность стремительного социального переворота с «экспроприацией экспроприаторов»,—у Гильфердинга в «Gesellschaft» и у всей меньшевистской братии изображается лишь как «хозяйственная демократия». С марксизмом это находится в таком же родстве, как, например, английское «рабочее» правительство Макдональда с диктатурой пролетариата в России. Но «wer A sagt muss auch *B* sagen»,—назвавшись груздем, полезай в кузов,—меньшевизм устами «Gesellschaft» выражает дальнейшее развитие тактики отрицания революционной классовой борьбы. По мнению Гильфердинга, преобразование хозяйственных отношений есть процесс продолжительного органического развития, т.-е. процесс эволюционный. Революция заменена эволюцией. Если для Маркса и Ленина проблема государства в переходный период к социализму была проблемой диктатуры пролетариата, организованного в господствующий класс,—в государство,—то для Гильфердинга это—проблема «соверховенства (Mitsouveränität) экономических союзов». Одним словом, пресловутое сотрудничество классов.

В таком случае совершенно отпадают задачи организации революционных сил пролетариата и его сознательная борьба за власть в целях коренного преобразования общества на началах коммунизма,—и на их место выступает,—что бы вы думали? — Проблема педагогики. «Проблема педагогики обнаруживает свое основное значение для общественного преобразования». «Психологическое преобразование—необходимая предпосылка хозяйственной демократии». «Мы должны воспитать наших правителей» (we must educate our rulers); этот фабианский лозунг меньшевизм вполне воспринимает и всю задачу пролетарского движения и воспитания сводит к завоеванию знания и культуры, которыми располагает современное общество, т.-е. буржуазной науки, буржуазной культуры.

Дальше итти некуда. «Gesellschaft» всесторонне выразил на своих страницах современные воззрения международного меньшевизма. Он показал,—и в этом заслуга первых двух его номеров,—что меньшевизм докатился до последней черты, за которой он становится уже не желтым, реформистским и предательским социализмом мелкой буржуазии, а доподлинной черной армией защиты изживающего себя капитализма. Вера в благодетельность социальных реформ, затушевывание зияющих противоречий между классами современного общества, проповедь сотрудничества классов, отрицание революции, признание достаточным методом усвоение буржуазных знаний и буржуазной культуры,—всего этого вполне достаточно, чтобы исчерпать политическое и теоретическое содержание международного меньшевизма, дерзающего пришивать свое убогое рубище к марксизму.

К этому можно было бы не прибавлять ничего, но есть еще один пункт, который лучше всего оттеняет буржуазные прелести меньшевизма в «Gesellschaft»,

это — отношение к российской революции.

Меньшевизм вообще никогда не отличался способностью ни воспринять, ни понять действительной сущности пролетарской революции и особенно ее конкретного воплощения в Советской России. В этом отношении он всецело разделяет печальную участь всех буржуазно-обывательских воззрений на историческую роль Октябрьской революции. И это в одинаковой мере относится как к российскому, так и к западно-европейскому меньшевизму. Разница лишь в том, что российский меньшевизм уже вполне завершил свою эволюцию и на собственной шее испытал последствия своего непонимания Октябрьской революции и своих преступлений против пролетариата,—тогда как западно-европейскому меньшевизму еще только предстоит завершить свое политическое банкротство ожидающими его в ближайший период поражениями. Поэтому западно-европейский меньшевизм все еще твердит те же «мудрые» пошлости и обывательские сплетни, которыми международная буржуазная свора вкупе и влюбе с меньшевиками всюду стремилась «подмочить репутацию» происходящих в России социально-экономических преобразований. Это тупое непонимание сущности рабочей революции и ее неприятие выражается по преимуществу в извращении смысла совершающихся у нас событий октябрьской эпохи, в змеином шипении, в извержении потоков явной лжи и инсинуации на единственное пока в мире рабочее государство. По мнению Каутского, напр., «большевизм, провозглашающий себя пред всем миром истинным марксизмом, является не более как новейшим изданием национально-русского бакунинского социализма» (!) «Пролетариат нигде не может утвердить неограниченно своей власти,—а меньше всего в России, где он, после короткой эпохи анархической свободы, снова вынужден был подпасть под вечное ярмо ни перед чем не останавливающейся бюрократии, которое не делается легче от того, что огромная часть этой бюрократии сама происходит из среды пролетариата. Бюрократия эта представляет тонкий слой строго дисциплинированных и централистски организованных пролетариев и интеллигентов, который угнетает и эксплоатирует совершенно неорганизованные трудящиеся массы и препятствует какой бы то ни было свободной организации и духовной самостоятельности» (!). А Гильфердинг в тон Каутскому утверждает, что «советская система в России первоначально изображалась как замена совершенно отсутствующих там рабочих организаций,—чтобы, наконец, стать чисто политическим орудием господства *олигархически организованной* партии». Как характерно здесь это «олигархически организованной партии». Много ли нужно понимания того, что совершается в России, чтобы в немногих словах нагородить так много благоглупостей. Нам кажется, что тут и понимание и непонимание даже не при чем — достаточно одного желания извратить действительные факты в угоду преступной политике предательства интересов рабочего государства международному фашизму. Но кто из меньшевиков когда останавливался перед этим. Пристроившийся при Каутском и Гильфердинге в качестве ябедника по русским делам, «премудрый пескарь» Югов в статье «Город и деревня в России», прикрываясь добрым намерением «осветить проблему социально-экономических отношений города и деревни в общей системе народного хозяйства России», занимается на досуге цифровой эквилибристикой, дабы потешить себя и своих единомышленников надеждами на скорое падение Советской власти и пр. Послушайте: «современная политика Советской власти ведет к отчуждению крестьянской массы от революции» (!), «возрастающее недовольство крестьян присоединяется к недовольству широких рабочих масс» (!). Югов не в состоянии скрыть, чего он хочет: «освобождение производительных сил сельского хозяйства от сковывающих их цепей (как?) *путем беспрепятственного притока частного, отечественного и иностранного капитала* и путем изменения действующей сейчас системы внутренней и внешней торговли». Какой стариной веет от этой песни! Меньшевики ничего не забыли и ничему не научились в Советской России, а попавши за границу, образуют там «русский

дух», который «азы твердит и лжет за двух».

Как прежде «все дороги вели в Рим», так теперь *«все пути идут от Москвы»*, это значит—в своих политических суждениях и оценках исторического момента не только наши друзья, но и наши враги исходят от Москвы, от центра величайших событий, полагающих начало новой исторической эре человечества. Именно на отношении к российской революции познается теперь природа того или иного политического направления. Приведенные здесь суждения характерны как показатель того убожества политической мысли, которое стало уделом еще цепляющегося за жизнь международного меньшевизма. Кроме того, они говорят о полнейшей солидаризации последнего со всеми враждебными международному коммунизму реакционными течениями различных слоев буржуазного класса. Вот куда пришел меньшевизм, старавшийся всегда драпировать свои реформистские и мелкобуржуазные грешки тогой последовательного «марксизма». Нужна была российская рабочая революция, нужен был яркий пролог мировой революции, чтобы тога оказалась сброшенной и меньшевизм предстал пред нами в полном рубище промотавшегося наследника, которое едва скрывает отвратительно зияющие язвы политического, идейного, организационного разложения.

«Die Gesellschaft» и являет собою выражение этого убожества политической мысли зап.-европ. меньшевиков и их реформистского перерождения, и если уж ставить его в какую-либо связь с развитием марксистской журналистики,—то разве как «антимарксистский журнал».

М. Константинов.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. Орган Международного Крестьянскаго Совета. № 1. Апрель 1924 г. Изд. «Новая Деревня». Стр. 190.

В своей общей части журнал формулирует основы и цели международного объединения крестьянства: крестьянский интернационал организуется как теснейший и ближайший союзник Коминтерна. Чтобы достигнуть цели, пролетарский корабль должен на буксире подтянуть за собой тяжелую крестьянскую баржу. И в то же время рабочий класс является для крестьянства как бы теми дрождями, на которых поднимается крестьянское движение. Без пролетариата крестьянство бессильно добиться коренного улучшения своей участи. В рамках капитализма, в хвосте буржуазной политики нет спасения для подавляющего большинства крестьянских масс.

Если безземельные сельские батраки и батрачествующие карликовые крестьяне вырождаются под тяжестью аграрного капитализма, то в условиях современного капиталистического распада мучительно разоряется также и среднее крестьянство. Аграрный кризис нашего времени больно бьет крестьянина как товаропроизводителя. Так наз. «ножницы» неизбежно влекут за собой прогрессирующее оскудение крестьянского хозяйства. Вздутая земельная рента пригвождает крестьянина к колеснице ипотечного банкового капитала. И, наконец, воинствующий империализм в связи с неустойчивой валютой и чрезмерными налогами делают крестьянина козлом отпущения за грехи буржуазных правительств.

Перед лицом капитала крестьянин страдает от своего положения мелкого и мельчайшего товаропроизводителя. В окружении феодальных латифундий крестьянин превращается в полубатрака, глубоко пустившего корни в клочок собственной земли. Перефразируя слова Маркса, можно сказать, что крестьянин страдает не только от развития капитализма, но также и от недостатка этого развития. И чем дальше на восток, тем гуще феодальное насыщение, тем туже петля, захлестываемая вокруг крестьянской шеи.

Конкретно описательную часть номера составляют краткие—иногда слишком краткие—очерки крестьянского вопроса в отдельных государствах Старого и Нового Света. О Юго-Славии, Венгрии, Японии приведены данные распределения земельной собственности. Опустошая крестьянское хозяйство, феодальное зе-

млевладение, вместе с тем политически принижает крестьянина, уродует его культурный уровень. В Юго-Славии, наприм., есть отсталые деревенские округа (Македония), где 99% населения безграмотно. Характерно также преобладание арендных отношений в Японии. По данным т. Катаямы, из 5.484.000 семейств, возделывающих землю, только 1.682.000 или менее одной трети работают на собственной земле. Но и сверхкапиталистический запад Соед. Штатов сосет крестьянина-фермера щупальцами, не мягче феодальных. По очень приблизительному подсчету т. Амтера фермеру достается только 20% цены пшеницы. Остальная доля пожирается жел. дорогами, элеваторами, биржевыми спекулянтами, оптово-розничной торговлей.

Будем надеяться, что следующие выпуски «Крестьянского Интернационала» принесут нам конкретный материал, марксистски продуманный и систематически разработанный. Лишь изучив крестьянское движение в его действительном живом многообразии, можно овладеть им.

Ю. Спасский.

НА ЗАПАДЕ.

ГЕРМАНИЯ.

Художественная литература.

▫ В Лейпцигском изд-ве Insel Verlag вышел новый том стихов австрийского поэта T. Däubler «Das Sternenkind».

▫ В Берлине в изд-ве Schmiede Verlag вышла новая пьеса Георга Кейзера «Kolportage».

▫ Очень занимательную книгу представляет собой одно из немногих описаний путешествий, написанное женщиной Ina Reck, отправившейся со своим мужем - исследователем в глубь восточной Африки. Книга эта «Mit der Tendaguru-Expedition im Süden von Deutsch Ostafrica» (изд-во Dietrich - Reimer'a в Берлине) дает необычайно яркую картину местности, характера туземцев и т. п.

▫ Изд-во W. Hadecke в Штутгарте издало собрание сочинений и писем Клейста в 4-х томах под редакцией M. Schneider'a («Heinrich von Kleist; Werke und Briefe».

▫ Изд-во E. Lichtenstein'a в Веймаре выпускает новое полное собрание произведений Э. Т. А. Гофмана в 15 томах под редакцией W. Havich'a. Собрание включает также письма и дневники Гофмана. До сих пор вышло шесть томов.

Творчеству Гофмана посвящена интересная книга W. W. Havich'a (редактора вышеупомянутого издания) «E. T. A. Hofmann», вышедшая в Берлине в изд. E. Reiss'a.

▫ В выпускаемой издательством B. Behrs-Verl. (Берлин — Лейпциг) серии, посвященной Геббелю—«Hebbel-Forschungen», вышли следующие новые работы: 1) Hebbel und Rötscher» (обращающая главное внимание на отношение обоих к Гегелю) — д-ра W. Schnyder'a, 2) «Fr. Hebbels Sonette» — др. A. Mohrhenn'a и 3) «Fr. Hebbels Ahnen» H. Nagel'я.

В изд-ве F. Kistner und C. F.-W. Siegel вышел целый ряд небольших работ A. Prüfer'a, посвященных анализу произведений Вагнера. Отдельные тома носят название: «Die Meistersinger von Nürnberg», «Parsifal und der Kulturgedanke der Regeneration», «Der Ring des Nibelungen und Wagners Weltanschauung».

Новые переводы.

В Германии вышел новый перевод произведений Уота Уитмэна в двух томах. Переводчик Hl. Reisinger.

▫ В мюнхенском изд-ве A. Langen вышел шестой том полного собрания сочинений Гамсуна (в 12 томах), редактируемого I. Sandmeier'ом. Том содержит три вещи: «Im Märchenland», «Unter dem Halbmond» и «Kinder ihrer Zeit».

▫ Роман Пьера Лоти «Islandsfischer» вышел в изд. A. Kröner в Лейпциге в переводе Carmen Sylva.

Изд-во G. Kiepenheuer в Потсдаме выпустило перевод четырех произведений Бернарда Шо «Der Amateur-Sozialist»; «Cashel Byrons Beruf», «Die törichte Heirat», «Künstlerliebe».

Философия и история.

▫ К 100-летию со дня рождения Куно Фишера изд-во Carl Winter'a в Гейдельберге выпустило небольшую книгу, в которой собраны отзывы и суждения о главной работе К. Ф.—«Истории новейшей философии», за годы 1852—1924. В качестве дополнения дано несколько

отзывов об историко-литературных работах Фишера.

▭ Вышел пятый том отмеченной нами серии «Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen» («Философия современности в авторефератах»); настоящий том содержит статьи следующих авторов: A. Aall, A. Bilharz, A. Chiappelli, A. Drews, A. Dyroff, A. Phalen и Z. Stumpf.

▭ Вышли дальнейшие работы Макса Шеллера в отмеченной нами ранее его серии «Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre», печатаемой в изд. Der Neue Geist-Verlag в Лейпциге. Работы эти носят название «Christentum und Gesellschaft» и «Arbeits-und Bevölkerungsprobleme».

▭ Небольшую историческую работу о Германии в 1555—1763 годах, дающую очень живую и интересную картину эпохи, опубликовал недавно историк W. Classen. Книга, под названием «Deutschland auf schwerem Wege 1555—1763», вышла в изд-ве Hanseatische Verlagsanstalt в Гамбурге.

▭ C. H. Becker, известный востоковед, опубликовал первый том своей капитальной работы по истории Ислама, «Islamstudien» (изд. Quelle und Meyer в Лейпциге). Некоторые из входящих в эту книгу статей были ранее опубликованы в специальных журналах и изданиях. Первый том освещает историю Ислама с точки зрения культуры, политики и религии. Второй том будет посвящен современному Исламу.

▭ Вышли три интересные книги по языковедению, освещающие проблемы языкознания с точки зрения истории культуры и взаимных влияний разных языков. Работа D. Behrens'a «Ueber deutsches Sprachgut im Französischen» (изд. Selbstverlag des Rumanischen Seminars Giessen) посвящена немецким словам, укоренившимся во французском языке за последние столетия, и исследованию способа их перенесения во Францию. Две другие работы принадлежат H. Hatzfeld'y, который главное внимание уделяет сдвигам значения слова, также рассматривая их с точки зрения истории культуры. Обе книги «Ueber Bedeutungsverschiebung durch Formähnlichkeit im Neufranzösischen» и «Leitfaden der vergleichenden Bedeutungslehre» вышли в Мюнхене в изд-ве Verlag der Hochschulbuchhandlung Max Hueber.

▭ Очень полезная работа выполнена проф. H. Rabe, выпустившим в изд-ве Deutsche Verlags-Anstalt (Штутгарт) англо-немецкий словарь, в котором он дает перевод не только отдельных слов, но и целых выражений. В словарь включены выражения экономические, технические и коммерческие. «Deutsch-Englisches Satzlexikon der allgemeinen und wirtschaftlichen Sprache». Тем же автором уже выпущен аналогичный немецко-французский словарь.

Медицинские книги.

▭ Цюрихское издательство Verlag Seldwyla приступило к изданию серии «Züricher medizingeschichtliche Abhandlungen». Целью этой серии является предоставление возможности немецким историкам медицины напечатать свои труды. Первой книгой этой серии явилась работа A. Huber'a «Theodor Billroth in Zürich 1860—1867». Книга представляет собой собрание материалов к биографии Billroth'a.

▭ Психомеханике и анализу теорий Фрейда и Семона посвящена работа W. Gutmann'a «Psychomechanik», вышедшая в Вене в изд-ве H. Heller und C°.

▭ Институт прикладной психологии в Берлине (Institut für angewandte Psychologie) выпустило работу O. Lipmann'a, посвященную проблеме рабочего времени «Das Arbeitszeitproblem».

▭ Интересную работу о Робеспьере, в которой автор рассматривает с медицинской, психо-патологической точки зрения характер Р., опубликовал недавно в изд-ве Hoffman'a в Штутгарте H. Hentig («Robespierre Studien zur Psycho-Patologie des Machttriebes).

Книги о России.

▭ Немецкий поэт I. R. Becher (Иоганн Бехер) выпустил книгу стихов, посвященных В. И. Ленину «Am Grabe Lenins» (изд-во Malik Verlag, Берлин).

▭ Книга Л. Троцкого «О Ленине» вышла в переводе на немецкий («Ueber Lenin») в Берлине в изд-ве Neuer Deutscher Verlag.

Из книг, посвященных России, отметим вышедшую в Ревеле на немецком языке (изд-во Estlandische Verlags-Gesellschaft W. Kentmann und C⁰) книгу A. de Vries'a «Die Sowjetunion nach dem Tode Lenins», а также книгу R. Bürgi «Als deutscher Bauer in Sowjetrussland» (Берлин, изд-во Neues Dorf). В том же изд-ве вышел отчет первого международного крестьянского конгресса, состоявшегося в Москве в октябре 1923 г.

▫ В Германии непрерывно продолжают выходить переводы с русского, при чем круг переводимых книг расширяется и немецкого читателя знакомят с новыми представителями русской литературы; так, недавно вышел перевод тома рассказов и сказок Салтыкова, почти совсем до сих пор неизвестных в Германии. Перевод выполнен A. Luther'ом и вышел в серии «Meyers Klassiker Ausgabe», выпускаемой библиографическим институтом в Лейпциге.

▫ Изд-во G. Kiepenheuer в Потсдаме выпустило «Записки из мертвого дома» Достоевского в переводе N. Strasser и «Записки охотника» Тургенева в переводе A. Eliasberg'a; обе книги входят в серию «Das neue Buch».

▫ Два тома повестей и рассказов Пушкина в переводе I. Guenther'a вышли в изд-ве C. H. Beck в Мюнхене. «Царь Иван Грозный» Алексея Толстого вышел в новом переводе с иллюстрациями Z. Pickerott в изд. F Schneider в Берлине.

Вышла на немецком языке книга В. Розанова о Достоевском («Dostojewski und seine Legende vom grossinquisitor») в Берлинском изд-ве Rasum-Verl. Переводчик—A. Ramm.

▫ Воспоминания Сухомлинова вышли в переводе на немецкий язык в изд-ве Verlag W. R. Hobbling в Берлине под названием «Erinnerungen»

ФРАНЦИЯ.

В «Mercure de France» от 1 августа помещена интересная статья о современной турецкой литературе Ahmed Hachim'a «Les tendances actuelles de la littérature turque». В том же номере помещены материалы о Николае II,— «Полицейские воспоминания; Николай II в Париже». — E. Raynaud'a. В Revue de Paris от 1 августа помещена статья Гальперина-Каминского: «14-е декабря 1825 года».

В «L'Europe напечатана очень интересная статья P. Colin'a; отмечающего рост интереса к Шекспиру по всей Европе.

▫ На выставке «Le deuxième Salon des Tuileries», помещавшейся в этом году в Porte Maillot принимали участие A. Бенар, A. Jean, Desvallières Migsnnet, Матисс, Шагал, Barbey, Dufresne, Laprade, Klingsor и др.

▫ Вновь начинает выходить литературный журнал «Les Loups». Редактором журнала является M. Wolff.

▫ Скончался член академии Гонкуров Henry Céard. В настоящее время в академии имеется два свободных места и предполагаются в скором времени новые выборы.

▫ Изд-во Nouvelle Revue Française выпустило два тома литературных статей. Книга B. Crémieux «XX-e Siècle» посвящена, главным образом, Марселю Прусту, а также Полю Морану, Дювернуа, Пьеру Бенуа и др. Вторая книга является собранием статей, заметок, предисловий и пр. Paul'я Valery, появившихся в печати с 1919 г.

▫ Морис Палеолог написал книгу «О романтизме и дипломатии», в которой рассматривает фигуры Таллейрана, Меттерниха и Шатобриана. («Romantisme et diplomatie». Изд-во Hachette). Палеолог является одним их кандидатов на место Пьера Лоти во Французской Академии.

Премии.

▫ E. Figuière и F. de Ioannis организовали фонд «Les Vacances du Poète» с целью предоставить ежегодно одному поэту возможность летнего отдыха. Всякий, вносящий не менее 5 франков в фонд, имеет право голоса при распределении премии.

▫ Премия «Prix National de Literature» за 1924 год присуждена Florian-Parmentier за его книгу стихов «La Lumière de L'Aveugle ou le Miracle de la Vie Intérieur».

▫ Премия романа присуждена Эмилю Энрио за его последний роман: «Aricie Brun ou les vertus bourgeoises». Книга его заключает подробную хронику буржуазной семьи в Жиронде в XIX веке. Недавно вышел сборник критических очерков о современной французской литературе того же автора под заглавием «Книги и портреты».

▫ «Премия литературы» присуждена Абелю Боннару за совокупность его литературных трудов. Критика отмечает его книгу о Китае. Автор путешествовал по Китаю, предварительно изучив страну и ее культуру. Книга представляет значительный интерес. («En Chine». Изд-во Plon).

▫ Премия Майе-Лятур-Ландри, выдаваемая раз в два года молодому, выдающемуся писателю, присуждена Жоржу Удару за его книгу «Ma Jeunesse».

▫ Молодой писатель Thierry Sandre, выпустивший недавно любопытный роман «Mienne» и две книги стихов, опубликовал книгу воспоминаний о войне и жизни в плену, написанную просто и искренно. Автор этой книги недавно получил премию Катюль Мандеса.

Художественная литература.

▫ Обращает на себя внимание книга молодого писателя Maurice Genevoix (получившего известность за его роман «Remi des Rauches») «La joie». Критика говорит, что в лице Genevoix во французскую литературу вступает крупный писатель, обладающий подлинным дарованием.

▫ Увлекательный роман написал Jacques Lombard «Les serpents rôdent». Автор дебютировал воспоминаниями «Три месяца в Дарданеллах» и небольшим романом. Новая его вещь обнаружила, как отмечает критика, большую зрелость автора, очень интересную разработку фабулы и выдающуюся технику письма.

▫ Критика отмечает необычайно интересный роман недавно скончавшегося молодого писателя R. Radiguet «Le Bal du comte d'Orgel», выпущенный уже после смерти автора издательством B. Grasset.

▫ Вышел новый роман A. Savignon'a, несколько лет тому назад получившего премию Гонкуров «Tristesse d'Elsie» (изд. Calmann Levy.) Роман рисует жизнь английской девушки из рабочей среды и, по словам критики, несколько трафаретен и сантиментален.

▫ В июле вышла новая книга P. Henry Bordeaux «Lady Stanhope en Orient». Неоднократная переработка автором своей книги задерживала ее появление, давно ожидавшееся в литературных кругах.

▫ Леон Доде (Léon Daudet) опубликовал новый роман «Le Drame des Jardies (1877—1882); roman contemporain».

▫ Изд-во Plon за последнее время выпустило следующие книги: «L'an prochain à Jerusalem» — братьев Tharaud; «La maison de Patrice Perrier»—G. Chérau, «La Circé du Désert»—P. Henry-Bordaux и др.

▫ Поэт Abel Léger выпустил новый том стихов «L'ombre invisible».

▫ В изд-ве Nouvelle Revue Française вышел том стихов «Anabase», посвященных Азии. Критика подозревает, что под псевдонимом Saint-John Perse скрывается то же лицо, что и под псевдонимом Saint Léger-Léger,—автора, недавно вышедшей книги стихов «Eloges». Обе книги заключают в себе стихи большого мастерства, хотя по форме скорей приближаются к свободному, полупрозаическому стиху.

▫ R. de Brimont, потомок Ламартина, опубликовавшая недавно ряд его любопытных стихотворных посланий выпустила в изд-ве Plon-Nourrit том своих стихов под названием «Psyché».

Переводы.

▫ Вышел в изд-ве Payot перевод романа американской писательницы W. Cather «Mon Antonio».

Переводу романа венского писателя R. Auernheimer'a «Der Geheimniskrämer», озаглавленному по-французски—«Le marchand de secrets» и вышедшему в изд-ве Plon Nourrit, посвящена большая критическая статья G. Raphaël'я в «L'europe Nouvelle» от 9 августа.

▫ На французском языке вышел том избранных произведений Мицкевича «Chefs d'oeuvre d'Adam Mickiewicz» (изд-во Bossard) с биографическим очерком, написанным Ладиславом Мицкевичем.

▫ Роман Гарнетта «Женщина-Лиса» вышел на французском языке в переводе André Maurois («La Femme changée en renard).

▫ Вышел следующий том полного собрания сочинений Джека Лондона, выходящего в изд-ве Crès в переводе P. Gruger и L. Postif—«La Peste écarlate».

▫ Парижское изд-во Plon выпустило перевод нашумевшей в Америке книги Ossendowski «Beats, Men and Gods». Перевод этот встречен с большим интересом.

Разное.

▫ В изд-ве Fraguiese вышла книга G. de Reynold'a о Швейцарии. Автор рассматривает своеобразную историю и характер народа; в своих объяснениях этих явлений основывается, главным образом, на географическом положении Швейцарии. Книга носит название «La Suisse une et diverse.

▫ Очень подробную и хорошо изложенную историю французской социалистической партии опубликовал в изд-ве Rivière'a в Париже A. Levaes «Le Parti Socialiste 1904—1923». В книге приводится ряд интереснейших документов.

▫ Из вышедших книг о России отметим книгу сенатора де-Монзи «Du Kremlin au Luxemburg» (изд-во A. Delpench в Париже), где он описывает свое путешествие в Россию в 1923 году и выступает в защиту возобновления сношений с Россией. Переведена на французский язык книга I. D. Levine'a о Ленине («Lenin», изд-во Plon), пользовавшаяся большим успехом в Америке. Автор книги ограничивается, главным образом, описанием 1917—18 годов и основывается преимущественно на книге Г. Зиновьева и воспоминаниях Н. Суханова.

▫ В «L'Europe Nouvelle» в номере от 5 июля помещена статистическая заметка об эмигрантской периодической печати, согласно которой в 1923 году выходило всего 33 периодических издания вместо выходивших в 1922 г. 109. В текущем году количество выходящих за рубежом журналов понизилось еще значительнее.

АНГЛИЯ.

По журналам.

▫ Июльский номер «Labour Monthly» содержит статью Л. Троцкого, в которой он критикует уэллсовскую характеристику Ленина, а также интересную статью E. Roy о революции в Бухаре и образовании там в 1920 г. Советской Республики.

▫ В августовском номере «The Adelphi» помещена новая вещь Д. Лауренса «The Dance of the Sprouting Corn», там же напечатано несколько писем Чехова к его жене в переводе S. S. Koteliansky.

▫ Интересен августовский номер «Criterian», содержащий отрывок M. Пруста «The Death of Albertine», несколько любопытных статей и пьесу-балет W. B. Jeats'a—«The Cat and the Moon»

▫ В английском журнале «The New Statesman» от 2 августа напечатан большой обзор H. Ould'a, посвященный немецкому современному театру. Ould рассматривает экспрессионистские пьесы и драматургию, «ушедшую на шаг дальше экспрессионизма», как выражается автор, однако не создавшую еще определенного направления. В числе обсуждаемых пьес произведения Keiser'a, Toller'a, Brecht'a, Mohr'a, Werfel'я и др.

Художественная литература и театр.

▫ Критика восторженно встретила недавно вышедший новый роман молодого английского писателя E. M. Форстера «Путешествие в Индию» (E. M. Forster «A Passage to India»). В рецензиях отмечается зрелость художественных приемов автора, юмор, богатство диалога, четкость изображаемых характеров. Фабула романа—путешествие двух женщин в Индию—развертывается на фоне общественных и политических отношений в Индии. Характер одного из действующих лиц романа — индуса — обрисован столь художественно, что критика готова признать его чуть ли не единственным подлинным индусом во всей английской художественной литературе. Книга эта вышла также и в Америке. Форстер дебютировал ранее двумя книгами («Where Angels Fear to Tread» и «Howards End»), привлекших внимание

критики, но не имевших крупного успеха.

▫ Изд-во Chapman and Dodd выпустило перевод на английский язык пьесы Кейзера «Газ». Перевод выполнен H. Scheffawer'ом. В качестве иллюстраций взяты фотографии постановки пьесы в Birmingham Repertory Theatre и эскизы костюмов, использованные при постановке «Газа» в Москве.

▫ W. I. Locke в скором времени выпустит из печати новый роман под заглавием «The Coming of Amos».

▫ Арнольд Беннет опубликовал недавно свою пьесу, принятую к постановке Drury-Lane-Theatre в истекшем сезоне. Пьеса называется «London Life», написана в реалистических тонах. Критика холодно встретила постановку, считая пьесу наивной и дилетантской.

▫ В конце июня театр в Кембридже поставил пьесу Луиджи Пиранделло «Генрих IV». Постановка прошла с большим успехом и обратила на себя внимание. По поводу нее на страницах журнала «The Nation» имела место интересная полемика между театральным критиком F. Birrel'ем, пишущим театральные обзоры в упомянутом журнале, и режиссером кембриджского театра F. Birch'ем, возникшая, однако, не по вопросам постановки, а вследствие разногласия в трактовке основной идеи пьесы.

▫ Очень хорошую поэму полуфантастического полуреалистического характера написала R. Manning-Sander «Lachy Trenoy» (изд-во Christophers).

Критика и история литературы.

▫ Вышла книга литературных статей Д. Лауренса «Studies in Classic American Literature» (изд. Secker). Рецензент («The New Statesman» от 2 августа vol. XIII, № 583) обрушивается на эту книгу, называя ее грубой, плоской, написанной скверным языком и недостойной даже стоять рядом с книгами статей, трактующих аналогичные темы,— Strachey'я и Eliot'а.

▫ Вышли две новые книги о Шекспире, обе имеющие очень узкий и специальный интерес. Первая представляет собой монографию о существующих портретах Шекспира и составлена M. H. Spielman'ом («The Title-Page of the First Folio of Shakespeare's Plays»; изд-во Milford). Вторая книга является последним томом интересной и очень научно поставленной серии «The Arden Shakespeare's Plays», выходящей в изд-ве Methuen под общей редакцией R. H. Case (ранее редактором был W. I. Craig). Настоящий том «Much Ado About Nothing» («Много шума из-за пустяков») вышел под редакцией и с примечаниями G. R. Trenery.

▫ К большому числу новых книг о Байроне прибавилось еще две. Первая представляет собой очень серьезную биографию и характеристику Байрона, дающую много деталей из его детства, а также основательный разбор творчества Байрона. Автор книги J. D. Symon («Byron in Perspective». Изд-во Seckeria). Вторая книга «Byron and Greece» изд-во Murray, содержит сопоставление целого ряда выдержек из писем и поэм Байрона, освещающих его отношение к Греции, собранных и снабженных вступительной статьей, примечаниями и приложением H. Spender'ом.

▫ Изд. Scribner's Sons приступило к изданию серии «Великие Голландцы» («Great Hollanders Series»), первой книгой которой является перевод работы проф. Лейденского ун-та J. Huizing'а, посвященной Эразму Ротердамскому. Книга эта дает очень яркую картину жизни и творчества Эразма.

Одновременно в изд-ве Clarendon Press в Оксфорде вышел пятый том полного собрания писем Эразма Ротердамского, печатаемого на латинском языке под редакцией и с примечаниями D-га Allen «Erasmi Epistolae». 1522—1524.

▫ В изд-ве Murray вышел исторический роман R. Vansittart'а «Pity's Kin», рисующий французскую революцию. Место действия романа Нант в период Carrier'а. Центральное лицо—героическая фигура девушки. Манера, в какой написан роман, количество разбросанных в нем афоризмов и эпиграмм,— приближают его к роману философскому.

▫ E. Rickword опубликовал недавно большую работу, посвященную жизни и творчеству французского поэта Артура Римбо. Книга эта вышла в изд-ве Heinemann. Английский историк литературы

посвящает юноше Римбо восторженные страницы. Этот интерес и восхищенье поэтом-скитальцем, бродягой и его странной судьбой, чрезвычайно характерны для изменившихся после войны, отошедших от былой чопорности, английских литературных нравов и вкусов.

▫ Интересную книгу о современном немецком искусстве, его направлениях, состоянии и перспективах написал H. S. Scheffauer «The New Vision in the German Arts» (изд-во Benn).

История и история культуры.

▫ В Лондоне вышел первый том десятитомного собрания санскритских сказок, выходящего под общим заголовком «The Ocean of Story»—«Океан сказок». Английская критика сравнивает это собрание с Шехеразадою по богатству и разнообразию сказочных мотивов.

▫ Историк культуры E. Smith выпустил новую книгу, посвященную вопросам древне-американской культуры (Maya) «Elephants and Etnologists» (изд-во Kegan Paul). Центральной темой книги служит исследование рисунка, вырезанного на камне за несколько столетий до открытия Америки Колумбом и найденного в Copan (Honduras). На рисунке изображен индусский слон с сидящим на нем mahout. Вокруг этого слона и сгруппированы все доводы Smith'a о раннем проникновении в Америку восточной культуры.

▫ В изд-ве Rider'a вышла новая книга, посвященная проблеме Атлантиды. («The Problem of Atlantis» Lewis Spence'a). Автор останавливается на вопросе о происхождении культуры, рассматривает всесветно распространенные мифы и сказания о «счастливой стране».

▫ Изд-во Allen and Unwinn выпустило первую на английском языке полную историю Исландии, с момента ее заселения до наших дней («A History of Iceland» K. Gjèrset). До сих пор английские историки интересовались лишь исландским фольклором и чрезвычайно своеобразными социальными и политическими учреждениями ранней эпохи в Исландии.

▫ В изд-ве Oliver and Boyd в Лондоне вышла работа (в 2 томах) S. Grieve'a о двух очень интересных и мало до сих пор исследованных шотландских островах—Colonsay и Oronsay. Книги эти содержат результаты исследований Grieve'a—ботаника, археолога и историка, ведшихся им в продолжение 40 лет («The Book of Colonsay and Oronsay»).

▫ В лондонском изд-ве I. W. Arrowsmith Ltd. вышло описание путешествия G. I. Finch'a и подъема на Эверест, совершонного им в 1922 г. Книга эта написана самим путешественником.

Книги по общественным и политическим вопросам.

▫ Очень интересную историю проблем воспитания в Англии (с XVI века и до наших дней) написала H. Wodehouse A Survey of the History of Education» (изд-во Arnold). Книга содержит целый ряд сведений и фактов, чрезвычайно живо характеризующих воспитание и школы в Англии в различные эпохи.

Robert Smillie—член рабоч. партии и парламента, бывш. углекоп, самоучка, написал свою биографию (вышла в изд-ве Mills and Boon под заглавием «My Life for Labour). Биография состоит из целого ряда отрывочных воспоминаний и дает очень яркую картину тяжелого положения английскнх углекопов и их борьбы. Написанные с большим юмором сценки из деревенской жизни необычайно оживляют книгу; книга вышла с предисловием Макдональда.

▫ Недавно вышел из печати официальный отчет комиссии по обследованию аграрного положения Англии («Agricultural Tribunal of Investigation, Final Report», изд-ве H. M. S. O.).

Книга содержит подробные данные об английском сельском хозяйстве, статистику продукции и т. д. «Комиссия по обследованию» была организована еще прошлым английским правительством в ответ на требование о помощи, предъявленное английскими фермерами парламенту в 1922 г. В комиссию вошел ряд профессоров в том числе и Д. H. Macgregor.

▫ E. C. P. Lascelles и S. S. Bullock выпустили в изд-ве King книгу о положении докеров и движении среди них: «Dock Labour and Decasualisation». Интересна часть книги, относящаяся к послевоенному периоду.

▫ Современному экономическому положению в Англии, особенно вопросу цен, посвящена книга P. W. Martin'a «The Flaw in the Price System» (Изд-во King'a).

▫ В издании Methuen вышла книга H. Key'я «Банкротство Европы и эмиграция» (European Bankruptey and Emigration).

J. van Walre de Bordes—голландец, член экономической и финансовой секции секретариата Лиги Наций, и в качестве такового близко знакомый с положением Австрии, написал очень подробную работу о разрушении и восстановлении Австрии. «The Austrian Crown; Its Depreciation and Stabilisation». Изд-во King'a. Книга снабжена статистическими таблицами, диаграммами и очень полной библиографией.

▫ Под редакцией J. S. Keltie и M. Epstein вышел в изд-ве Macmillan 61-й ежегодник «The Statesman's Jear-book» за 1924 г., являющийся хорошим политическим справочником.

О России.

▫ Изд-во Labour Publishing C⁰ (Рабочее издательство) выпустило две книги о России. Первая является переводом книги K. Wiedenfeld'a, бывшего представителя Германии в Москве, «The Remaking of Russia». Перевод выполнен E. и S. Paul. Вторая книга—«The First Time in History» A. L. Strong— описание ее путешествия по России, снабженное предисловием Л. Троцкого.

▫ В изд-ве King and Son вышел перевод книги С. Н. Прокоповича «Экономическое положение Советской России» («The Economic Condition of Soviet Russia»). Перевод выполнен M. Struve.

▫ Вышел новый перевод чеховской «Чайки» и «Вишневого сада». Перевод, предисловие и примечания G. Calderon'a. По словам рецензента, предисловие, помеченное 1911 г., немного странно читать сейчас, когда в Англии столько уже писалось о Чехове. Перевод, как отмечает рецензент, очень хороший. В ту же книгу включен перевод пьесы Альфреда Мюссэ («On ne badine pas avec l'amour»). Этот том вышел в изд-ве G. Richards'a (под заглавием «Две пьесы А. Чехова и одна Мюссе»).

▫ Большую работу (600 стр.) о новом русском театре написал H. Carter «The New Theatre and Cinema of Soviet Russia» (Изд-во Chapman and Dodd). Книга написана на основании личных наблюдений автора, который изучал не только столичные театры, но побывал и в провинции и в деревнях. В книге описывается большое количество рабочих и крестьянских театров. Рецензента этой книги (в «The New Statesman» Vol. XIII № 584) особенно поражает культ машины в новом русском театре. Он подчеркивает любопытный факт, что культ этот возник в России, наименее из всех крупных стран обладающей машинами, в то время как в Америке, стране машин, театр все еще пытается «воспроизводить природу».

Художественные издания.

▫ Из числа книг по искусству отметим два альбома современных художников. Первый—«Living Art»— содержит 20 репродукций картин и 10 снимков со скульптур. В этот альбом, составленный по выбору редакции журнала «Dial» (изд-во «Dial» Publishing C-⁰ в Нью-Йорке), входят произведения следующих мастеров: Signal, Дерен, Матисс, Пикассо, Фламинк, Marin, Demuth, Crant, Segonzac, Robinson, Lachaise, Maillole, Lembruck и Dobson. Второй альбом—«Contamporary Art»—составлен Мейер-Греффе (изд-во Hans von Marées Gesellschaft) и заключает в себе 37 репродукций. Представлены в нем, кроме перечисленных выше, также и Шагал, Руссо, Боннар, Мунх и Hooler.

Второй альбом отличается более удачным и систематическим подбором вещей. Технически репродукции обоих альбомов выполнены по изобретенному Мейер-Греффе и одному ему известному способу, отличающемуся необычайной точностью и рельефностью передачи.

▫ Вышла из печати монография, посвященная Лондону и включающая 80 воспроизведений рисунков и картин ряда современных художников и 4 статьи. Из статей отметим очерк английского поэта John Drinkwater'a «Поэзия Лондона». Альбом вышел в изд-ве J. Castle под названием «The Artist's London»—«Лондон художника».

Разные.

▫ Одна из самых выдающихся премий—Оксфордского университета имени Sir Roger Newdigate за 1924 год впервые присуждена американскому поэту Franclin Mc Duffee за поэму «Микель-Анджело», прочитанную им на торжественном акте в Оксфорде. Поэма эта опубликована Оксфордским изд-вом B. Blackwell'я.

АМЕРИКА.

▫ В последнее время участились случаи предоставления американскими университетами степени доктора выделившимся писателям, даже в случае, если они не получили высшего образования. Так, Bucknell university в Lewisburg'е предоставил степень доктора права I. I. Davis'y, автору книги на социальные темы «The Iron Puddler»; другой ун-тет—Syracuse univ. присудил степень доктора литературы H. Quick'y, работающему сейчас над третьей книгой своей трилогии, первые тома которой носили название «Vandermarn's Folly», «The Hawkeye». Затем Miami university в Оксфорде (штат Огио) предоставил степень доктора литературы P. Mac Kaye, поэту и драматургу, чья новейшая пьеса «This Fine—Pretty World» недавно вышла в изд-ве Macmillan; Гамильтонский колледж присудил степень доктора литерат. драматургу и критику A. Woollcotty, автору «Enchanted Aisles». Ун-тет в Мичигане предоставил степень доктора литерат. популярной писательнице W. Cather; из наиболее известных книг ее упомянем «One of Ours» и «A Lost Lady». Осенью в изд-ве A. Knopf выйдет новый ее роман.

▫ Институт Графических Искусств (Institute of Graphic Arts) в Нью-Йорке присудил медаль за лучшее издание из-ву Гарвардского университета, выпустившему очерк P. H. Houston'a «D-r Jonson»—о гуманизме XVIII в. За лучшее художественное издание медаль присуждена книге о китайской живописи, выпущенной изд-вом Duffield and C-o. Институтом была организована выставка 50 лучших книг. В течение июня текущ. года выставка находилась в Нью-Йорке, а с июля она отправлена, в качестве передвижной, в ряд американских городов.

▫ Премия имени D. A. Franc в 500 долларов, выдаваемая Техасским ун-том за лучший роман студенту или бывш. студенту названного ун-та предоставлена R. Cross за ее роман «The Golden Cocoon», вышедший в изд-ве «Harper and Brothers».

▫ Существующая с 1922 года премия-медаль имени Johna Newbery за лучшую детскую книгу, выдаваемая ежегодной конференцией Американской Ассоциации Библиотек, в этом году присуждена скончавшемуся в 1923 году Ch. B. Hawes за его книгу «The Dark Frigate», вышедшую уже после смерти автора.

▫ «The Stratford Monthly» свою очередную премию в 100 долларов за лучшую поэму, напечатанную за последние 3 месяца, присудил R. Hillyer'y за его поэму «The Halt in the Garden».

Художественная литература.

▫ По сведениям журнала «The Bookman», следующие романы пользовались наибольшим спросом в библиотеках в течение июня: 1) «So Big» E. Ferber 2) «The Call of the Canyon» Z. Grey'я, 3) «The Able M'Laughlins» M. Wilson, 4) «Black Oxen» G. Atherton (темой этого романа служит омоложение). 5) «Told by an Idiot» R. Macauley. 6) «Bread» Ch. G. Norris'a. Из прочих книг наибольший спрос был на «Life of Christ G. Papini, «Life and Letters of Walter. Hines Page» B. I. Hendrick'a, «The Dance of Life» H. Ellis, «My Garden of Memory», K. Douglas-Wigging и «The outline of History» H. G. Wells'a.

▫ Существующий при Колумбийском ун-те специальный практический литературный курс выпустил антологию рассказов, стихов, пьес и статей, написанных студентами этого курса. Антология чрезвычайно интересна и отличается высоким уровнем помещенных в ней вещей. Из произведений слушателей того же курса составлена также антология, вышедшая под редакцией и с предисловием B. C. Williams'a «Thrice told Tales», изд-во Dodd, Mead and C-o. Помещенные в обоих книгах произведения большей частью уже появлялись в периодической печати.

▫ Большое внимание критики обратил на себя роман T. F. Powys «Mark Only» (изд. A. Knopf). Роман этот рисует жизнь английского деревенского захолустья, и центральной темой его является жизнеописание чудака-полуидиота. Роман написан в реалистических тонах. Автор, живущий в английской провинции и долгое время не желавший публиковать своих произведений, обратил на себя в прошлом году внимание своими романами «The Left Leg» и «Black Bryony».

▫ Критика отмечает роман John'a Buchan'a «John Burnet of Barnes», вышедший в изд-ве Dodd Mead and C-o. Джон Бьюкенен сейчас работает над новым романом «The Three Hostages», который он думает опубликовать в конце осени.

▫ В Бостоне в изд-ве Hougthton Mifflin C-o вышел очень удачный юмористический, сатирический роман. Фамилия автора не обозначена. Роман называется Augustus Carp Esq.»—«Август Карп—эсквайр», с подзаголовком: «Автобиография действительно хорошего человека», и снабжен очень удачными рисунками.

▫ На отмеченный нами роман Гарнетта «Lady into fox» (Женщина-Лиса) появилась в Америке пародия под заглавием «Gentleman into Goose» (Джентльмен-гусь). Книга снабжена великолепными сатирическими рисунками. Автор пародии — Ch. Ward; издательство H. Holt.

▫ В изд-ве Boni and Liveright вышел роман О'Флаэрти «Thy Neighbor's Wife».

▫ Популярный автор целого ряда авантюрных и детективных романов I. S. Fletcher выпустил в изд-ве A. Knopf свой новый роман «The Time Worn Tower».

▫ В бостонском изд-ве Houghton Mifflin C⁰ вышел роман R. Sabbatini «The Historical Nights Enter tainments» (в 2-х томах).

▫ В изд-ве Doran C⁰ вышла новая книга A. Huxley «Joung Archimedes and Other Scetches».

▫ В изд-ве A. Knopf вышел новый роман I. Hergesheimer'a «Balisand» и том рассказов M. Armstrong'a «The Bazaar and other Stories».

▫ Из прочих романов, вышедших за лето, отметим: E. Phillpots «Redcliff» (изд-во Macmillan), G. Frankau «Men Maids and Mustard Pot» (изд. Century C⁰. I. D. Beresford'a «Unity» (изд-во Bobbs Merril C⁰). Ch. Kaye-Smith «The Isle of Thorns» (изд-во Dutton and C⁰) и R. Forbes «A. Fool's Hell» (изд-во Holt and C⁰).

▫ В числе готовящихся нью-йоркским изд-вом Doran к осеннему сезону романов и рассказов имеются произведения следующих авторов: A. Беннетта Э. Хиченса, A. Гекслей (Huxley), К. Маккензи, Флетчера, Р. Коннора и др.

▫ Из нововышедших книг стихов можно отметить сборник поэтессы M. Wilkinson, выпущенный изд-вом Macmillan'a в Нью-Йорке под заглавием «The great Dream». Книга включает поэму и ряд лирических стихов; критика отмечает достоинства последних и талантливость автора.

▫ Вышла книга стихов романиста и публициста H. Belloc'a «Sonnets and Verses» (изд-во R. M. Mc Bride в Нью-Йорке).

В нью-йоркском изд-ве Macmillan вышел новый сборник стихов поэта Masefield'a «Salt Water Poems and Ballads».

▫ Обращают на себя внимание критики недавно вышедшие книжки стихов трех молодых американских поэтесс: 1) «Apples here in my Basket» H. Hoyt: (изд-во Harcourt, Brace and C⁰), 2) «The Crimson Cloack» L. L. Montrose (изд-во Boni and Liveright) и 3) «Black Babylon» D. Dow, вышедшая в том же изд-ве.

▫ Осенью в изд-ве Boni and Liveright выйдет новый том стихов известного поэта Edgar Lee Masters'a «The New Spoon River».

▫ Новое издание (изд-во Holt and C⁰) книги поэта Walter de la Mare «Peacock Pie» вышло с сорока иллюстрациями известного художника Claud Lovat Fraser'a.

▫ В числе пьес, вышедших за последнее время отметим новую пьесу O'Нейля «All God's Chillun got Wings» (изд-во Boni and Liveright), вышедшую в том же изд-ве пьесу S. Vane «Outward Bound» и пьесу C. Dane «The Way Things Happen» (изд-во Macmillan).

▫ Пьеса венгерского писателя Ernest'a Vajda «Фата-Моргана» (Fata Morgana) переведена на английский язык и вышла в изд-ве Doubleday Page and C⁰

в Нью-Йорке. Критика отмечает блестяще выполненный перевод этой интересной пьесы, обладающей крупными литературными и театральными достоинствами.

▫ Второй том пьес Луиджи Пиранделло переведен на английский язык (переводчик A. Livingston) и вышел в изд-ве Dutton and C°. Том включает три пьесы «Каждый в своем роде», «Удовольствие честности» и «Нагой».

Первая из этих пьес опубликована впервые, еще до своего появления в Италии. Вторая—в прошлом году была поставлена в Париже. Пиранделлю привлекает к себе все большее внимание и европейского и американского театра. Недавно на русский язык переведена его пьеса «Шесть действующих лиц в поисках автора» и опубликована в журнале «Современный Запад».

▫ Перевод пьесы Толера «Человек-масса» вышел в изд-ве Doubleday Page and C° под заглавием «Man and Masses».

▫ Изд. Huebsch'a выпустило VIII т. драматических произведений («Dramatic Work») Гергардта Гауптмана.

▫ В изд-ве Scribner's Sons вышел четвертый том пьес Бенавенте «The School of Princesses and Other Plays».

Критика, теория и история литературы.

▫ Очень основательную критическую работу об американской поэзии последних 50 лет написал B. Weirick «From Whitman to Sandburg in American Poetry» (изд-во Macmillan). Особенное внимание автор уделяет Уитмэну, которого он считает «основателем самостоятельной американской поэзии».

▫ Истории рассказа как литературной формы посвящена книга американского писателя F. Newman'a, вышедшая в изу-ве Huebsh'a под заглавием: «Короткий рассказ от Петрония до Поля Моран» («The Short Story from Petronius to Paul Morand»).

▫ Недавно в нью-йоркском изд-ве Ch. Scribner'a вышла книга статей M. Hewlett'a «Last Essays», включающая ряд общих и критических его очерков.

▫ Изд-вом Чикагского университета опубликована книга статей P. H. Boynton'a под общим заголовком «Some Contemporary Americans» («Несколько американских современников»), посвященная критическим очеркам о поэтах, драматургах и писателях Америки: Робинсоне, Роберте Фросте, Мастерсе, Теркингтоне, О'Нейли и других.

▫ Отметим также книгу статей J. Collins'a, посвященных современной американской литературе и дающих ряд живых характеристик. Книга вышла в изд. Doran и носит название «Taking the Literary Pulse».

▫ Scherwin Cody опубликовал свою работу об Эдгаре По, в которой особенно подробно останавливается на деятельности По в качестве критика, до сих пор мало освещенной в истории литературы. Книга называется «Poe — Man, Poet and Creative Thinker»—«По—человек, поэт и мыслитель» (изд-во Boni and Liveright в Нью-Йорке).

▫ Впервые опубликованы английские баллады XVI в. по рукописям, хранящимся в британском музее—в книге проф. H. E. Rollins'a. Книга вышла в изд-ве Гарвардского университета под заглавием «A Handful of Pleasant Delights (1584)» Тем же автором в изд-ве Нью-Йоркского университета изданы баллады XVII века, снабженные вступительной статьей и примечаниями. Критика отмечает огромное количество нового и ценного материала, заключенного в этих изданиях, и высокое научное качество редакции и статьи. Вторая из названных книг озаглавлена: «Cavalier and Puritants Ballads and Broadsides Illustrating the Period of The Great Rebellion 1640—1660».

▫ В изд-ве F. A. Stokes вышел том частью неопубликованного до сих пор биографического материала о Диккенсе «Dickens's Own History». Материал этот найден и собран был недавно скончавшимся W. Robertson Nicolle—страстным любителем Диккенса и коллекционером его писем.

▫ Изд-ве Doran выпустило книгу G. K. Chesterton'a о Франциске Ассизском (St. Francis of Asisi»). Необычайно удачную и острую критику творчества Честертона дает G. Bullett в своей книге «The Innocence of G. K. Chesterton (изд-во H. Holt and C-°.).

▫ Творчеству поэта и писателя James'a Joyce'a посвящена книга H. S.

Gorman'a «James Joyce; His First Forty Jears», вышедшая в изд-ве Huebsch в Нью-Йорке.

▫ Изд-во Dutton and C-o приступило к изданию полного собрания сочинений в 20 томах Somuel'я Butler'a под редакцией H. F. Hones'a и под общим заглавием «The Shrewsbury Edition of the Works of S. Butler». Пока вышло два тома. Издание «роскошное» и выходит лишь в количестве 750 нумерованных экземпляров.

▫ Lloyd Osbourne, пасынок R. L. Stevenson'a, опубликовал книгу воспоминаний о своем отчиме, с которым был очень близок. Книга, носящая название «An Intimate Portrait of S.» (изд-во Scribner's Sons), дает много материала о Стивенсоне-человеке.

▫ Воспоминания Конан Дойля вышли недавно в изд-ве Little Brown and C-o под названием «Memories and Adventures» —«Воспоминания и приключения».

▫ Изд-во Jale University Press выпустило переписку Фенимора Купера, изданную его внуком («Correspondence of James Fenimore Cooper»).

▫ Внук Брет-Гарта—Geoffrey Bret-Harte предполагает издать собрание писем своего деда, для чего обратился в печати с просьбой ко всем обладающим письмами Брет-Гарта предоставить ему копии.

▫ Работу, посвященную творчеству Скриба и современному ему французскому театру, опубликовал недавно (в изд-ве Гарвардского ун-та) N. C. Arvin. Книга носит название «Eugene Scribe and the French Theathre».

▫ Бенжамену Констант, его жизни и современной ему эпохе посвящена книга E. W. Schermerhorn, вышедшая в изд-ве Houghton and Mifflin C-o в Бостоне («Benjamin Constant, his Private Life and his Contribution to the Cause of Liberal Government in France»).

Книги на общественные и политические темы.

▫ Изд-во Harcourt Brace and C⁰ переиздало вышедшую в Англии книгу W. A. Bone, преподавательницы ун-та в Sheffield, дающую материалы и руководство для рассказывания и бесед с детьми. Книга дает очень полную библиографию. К американскому изд. предисловие написала M. Massee «Childeren's Stories and how to tele Them».

▫ Изд-во Appleton and C-o выпустило недавно вторым изданием биографию Роберта Овена, впервые изданную в 1906 году. Биография составлена F. Podmore'ом («Robert Owen»).

▫ Истории развития рабочего класса в Америке в 1840—1860 г.г. посвящена книга N. Ware «The Industrial Worker 1840—1860», вышедшая в изд-ве Houghton Mifflin C⁰. Книга представляет интерес, так как касается ранней эпохи рабочего движения, до сих пор мало освещенной исследователями.

▫ С. Гомперс написал свою автобиографию. Книга вышла в изд-ве Dutton and C-o и озаглавлена «Seventy Jears of Life and Labor».

▫ Также политическим воспоминаниям посвящена книга I. C. Wedgwood'a, озаглавленная «Essays and Adventures of a Labor» (изд-во Huebsch'a).

Изд-во Hold and C⁰ приступило к изданию в 12 томах обзора политического, экономического и социального положения Английской империи под общим заголовком «The British Empire». Следующие четыре тома уже вышли из печати: «История империи».—Ch. Lucas'a «Конституция, управление и законы И.» проф. A. Berriedale Keith'a; «Экономические источники и их развитие» — E. Lewin'a и «Проблема народного здравия (исторический обзор)», написанный совместно д-р. A. Balfur'ом и д-р H. H. Scott'ом.

▫ В изд-ве Harper and Brothers выходит собрание всех статей Вудро Вильсона в шести томах. Первые два тома, вышедшие под редакцией R. S. Baker и W. E. Dodd, носят название «The Education, Literary and Public Papers of W.— College and State (1875—1913)» —«Литературные, общественные и педагогические статьи Вильсона за годы 1875—1913».

▫ Вышли две новые книги о Вудро Вильсоне, одна I. Daniels'a «The Life of Woodrow Wilson» вышла в Филадельфии в изд-ве I. C. Winston C-o. Вторая— D. Lawrence'a «The True Story of Woodrow Wilson» в Нью-Йорке в изд-ве Doran.

Переводы.

▫ Изд-во Чикагского ун-та выпустило перевод книги статей Анатоля Франса о французской литературе: «The Latin Genius». Перевод выполнен W. S. Jackson'ом.

▫ Нью-йоркское изд-во Boni and Liveright и лондонское Chatto and Windus с осени приступают к изданию перевода полного собрания сочинения Стендаля, включая также его статьи, записки и письма. Переводчик—Scott-Moncrieff, редактор—E. Boyd. Издание предполагается в 10—12 томов. Первые три тома предполагается выпустить еще в 1924 году.

▫ Изд-во Seltzer выпустило перевод романа Марселя Пруста «A L'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs». Переводчик Scott Moncrieff. В переводе роман носит название «Within the Budding Grove».

▫ Осенью в изд-ве A. Knopf выйдет перевод третьего тома трилогии испанской писательницы Pio Baroja, посвященной жизни мадридских низов «Red Dawn». Появление в переводе первых томов «The Quest» и «Weeds» было нами своевременно отмечено.

▫ В изд-ве Macmillan'a вышла новая книга Рабиндраната Тагора «Thought Relics and Stray Bird», объединяющая ряд философских заметок, афоризмов и мыслей Тагора.

О России.

▫ В нью-йоркском изд-ве Mc Graw Hill Book C-o в серии Экономического Института (The Institute of Economics Series) вышла книга о «Русских долгах и восстановлении России». Книга написана Leo Pasvolsky и Har. G. Moulton'ом и называется «Russian Debts and Russian Reconstruction».

▫ Литературное приложение к New Iork Times'y от 6 июля посвящает большую статью «Былому и Думам» Герцена, о выходе которых на английском языке нами уже сообщалось. Автор статьи, I. D. Adams, дает подробную характеристику Герцена и его времени. Статья иллюстрирована репродукцией с Вульфовского портрета Герцена.

▫ M. S. Mandell'ем переведен и опубликован в нью-йоркском из-ве Macmillan'a том пьес Тургенева, включающий 10 произведений Т. для театра.— Книга названа в переводе «The Plays of Ivan Turgeniev».

▫ Изд-во R. M. Mc Bride and C-o выпустило в переводе на англ. языке неизданную до сих пор пьесу Горького «Судья» («The Judge»).

▫ В изд-ве Jale University Press вышел том литературных заметок и писем Чехова «Letters on the Short Story, the Drama and Other Literary Matters». Интерес к Чехову в Америке особенно усилился в настоящее время, в связи с оживленным обсуждением на страницах журналов и в литературных кругах проблем формы повеллы,—«короткого рассказа», исключительным мастером которого был Чехов.

▫ Американский писатель Middleton-Murry выпустил в изд-ве Small, Maynard and C-o книгу о Достоевском «Fyodor Dostoevsky, a critical study».

▫ В журнале «The American Labour Monthly» печатается перевод пьесы Льва Лунца «Вне закона» (Beyond the Law), выполненный F. Hural. Последний акт напечатан в сентябрьском номере.

Разное.

▫ В Англии и в Америке разрослось движение в пользу введения в школьное преподавание курса истории науки. В связи с этим течением стал выходить ряд книг, из которых отметим интересную работу I. B. Hart'a «Makers of Science» (вышло в Американском отделении изд-ва Оксфордского ун-та), дающую историю науки, главным образом, в лице ее выдающихся деятелей. Последняя глава посвящена Эйнштейну.

▫ Американское Географическое Общество (American Geographical Society) пятым в серии своих специальных выпусков издало описание путешествия в мало-исследованные области Андов J. Bowman'a «Desert Trails of Atacama». Книга имеет специальный интерес для геологов.

▫ За последнее время в Америке вышло три книги, посвященные полинезийскому фольклору. Две из них дают

народную поэзию гавайских островов. «More Hawaiian Folk-Tales» (изд-во Mc Clurg в Чикаго; автор—T. G. Thrum) и «Hawaiian Historical Legends» W. D. Westervelt'a (Fleming R. Revell C-o в Нью-Йорке), при чем, вторая книга посвящена исключительно легендам исторического характера. Третья книга содержит мифы и сказки племени Tonga и носит название «Tongan Myths and Tales» E. Winslow-Gifford'a (изд-во Bishop Museum в Гонолулу).

▫ Нью-йоркское изд-во Brentano приступило к изданию большого 14-ти томного словаря технических терминов и выражений на шести языках (английском, французском, немецком, русском, итальянском и испанском).

СПИСОК КНИГ, ПОЛУЧЕННЫХ РЕДАКЦИЕЙ ДЛЯ ОТЗЫВА.

Издательство «Красная Новь». Москва.

К. Радек.—Пять лет Коминтерна. Ч. I. Основы программы и тактика Коминтерна.

Л. Каменев.—Очередное звено. (Вопросы внутренней торговли.)

Г. Зиновьев.—Политический отчет ЦК. к XIII Съезду РКП (б).

В. Волынский.—Английская рабочая партия.

А. Чекин (В. Яроцкий).—Азбука профессионального движения.

И. Устинов.—Новый орфографический справочник к вопросу о программе Коммунистического Интернационала.

И. Трайнин. — СОР и национальная проблема.

Ф. Кон.—Современная Польша.

В. Владимирова. — Контр-революция в 1917 году. Корниловщина.

Ф. Булкин (Семенов).— На заре профдвижения. История петербургск. союза металлистов 1906—1914 г.г.

А. Венедиктов.—История международного рабочего движения.

В. Виленский-Сибиряков.—Сунь-Ят-Сен. Отец китайской революции.

М. Покровский.—Русская история в самом сжатом очерке. Ч. III. Вып. I. XX век. 1896—1906 г.г.

Е. Варга.—Подъем или упадок капитализма?

Эрих Штерк.—Прикладная психология.

А. Леонтьев.—Коммунистическая партия Германии.

Л. Чекис.—Томас Гоббс. Родоначальник современного материализма.

Н. Ленин (В. Ульянов).—Коммунистический Интернационал. Статьи и речи.

С. Гожанский.—Очерки по полит. экономии. Вып. I. Заработная плата.

Н. Попов.—Национальная политика Советской власти.

М. Брикнер.—Страдающий бог в религиях древнего мира (2-е издание).

Я. Сейфуллина. — Преступление. (Рассказ.)

И. Доронин.—Гранитный луг.

В. Маяковский.—О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и проч.

СССР и другие страны. Пособие по комплексному методу для чтения и работы в кружках и школах малограмотных.

К живому Ильичу.—Дни траура 1924 г.

С. Томинский.—Борьба классов и партий во 2-ой Гос. Думе. Под ред. М. Покровского.

В. Фридман.—Беседы по естествознанию на основе сельского хозяйства.

А. Шестаков.—Наемный труд в сельском хозяйстве России.

М. Покровский.—Очерки по истории революционного движения в России 1919 и 1920 г. г.

К. Радек.—5 лет Коминтерна. Ч. II.

Ю. Красный.—Польский фашизм.

Б. Лившиц.—Профсоюзы Германии.

Два года борьбы и работы.—Обзор деятельности Исполкома и секции Коминтерна за период IV и V Конгресса.

Ленин о национальном вопросе.—Предисловие Н. Попова.

В помощь совпартшколам и школам взрослых повышенного типа.—Сборник. Вып. IV. Под ред. Н. Крупской

Уроки германских событий.—Германский вопрос в Президиуме Исполкома Коминтерна. (Январь 1924 г.)

М. Сигал.—По пути ленинизма. (Пропаганда постановлений XIII Съезда РКП среди молодежи.)

М. Сигал.—Кружок ленинизма в Комсомоле.

Манифест Коминтерна к мировому пролетариату. К 10-летию империалистической войны.

Издательство «Новая Москва». Москва.

Д. Магеровский.—Государственная власть и государственный аппарат.

В. Фуфаев.—Юные правонарушители.

Этьен Кабэ.—Путешествие в Икарию. Под ред. Б. Горева.

П. Посвянский.—Покушение на Ленина 30 августа 1918 года.

М. Баскин.—Ленин как материалист и диалектик.

Н. Бухарин.—Работа среди молодежи.

В. Зоф.—Комсомол и красный флот.

Е. Ярославский.—Ильич и молодежь.

С. Баматер.—Капиталистическая Англия и рабочая молодежь.

Бирбраер.—Работа юных пионеров.

Г. Краснощеков. А. Кузнецов, Б. Трейвас.—К школе крестьянской молодежи.

Западные Сборники. Литература—искусство. Вып. II.

А. Кузнецов.—Уезжающему в деревню и деревенской ячейке.

Г. Рыбинский.—Праздник Ивана-Купала.

Г. Рыбинский.—Петров день.

Издательство «Московский Рабочий». Москва.

Дискуссионный сборник. Вопросы партийного строительства.

Ю. Ларин.—Уроки кризиса и экономическая политика.

В. Ваганян.—*В. И. Ленин.*—О задачах внутрипартийного строительства.

Н. Ленин.—Статьи и речи. По вопросам партийного строительства.

Б. Дальний.—Товарищ Лиза.

Ш. Двойлайцкий.—Германия в 1923 году. Финансово-экономические очерки.

В. Куйбышев.—Задачи внутренней торговли и кооперации.

Л. Каменев.—Отчет делегата XIII Съезда РКП (б) Московской организации.

С. Диманштейн.—Прошлое и настоящее. Жизнь народов СССР.

Г. Бройдо.—Национальный и колониальный вопросы.

Н. Ленин и Г. Зиновьев.—О Коминтерне. Статьи и документы.

З. Серебрянский. — Десятилетие мировой войны. Сборник-хрестоматия.

Очерки по аграрному вопросу. Под ред. Е. Варга. Том I-й. Вып. I-й.

Герои и мученики пролетарской революции. Вып. I-й.

Десятилетие мировой войны.

Задачи печати. Речи и воспоминания. Г. Зиновьева, Я. Яковлева, А. Енукидзе, С. Данилова, И. Степанова-Скворцова, Д. Бедного, И. Раскольникова. Со вступит. статьей Х. Кантора.

Высший Военный Редакционный Совет. Москва.

Б. Доливо-Добровольский. — Тихоокеанская проблема. Со вступ. статьей М. Павловича «Борьба за Тихий океан.

А. Поливанов.—Мемуары. Под ред. А. Зайончковского.

Л. Троцкий.—Как вооружалась революция. Том II. Кн. II.

Б. Шапошников.—На Висле. История кампании 1920 года.

Издательство «Книга». Москва. — Ленинград.

Циммервальдская и Кинтальская Конференция. (Официальные документы с предисл. В. Святловского.)

И. Ридель.—Рационализация труда.

А. Бонд. — У героев техники. Ч. II.

М. Адлер.—Маркс как мыслитель.

Г. Коппер.—Металлист.

Р. Киплинг.—Приключения на суше и на море.

Джк. Лондон.—Мартин Идэн.

Издательство «Круг». Москва — Ленинград.

Б. Пильняк.—Рассказы.

Издательство «Френкель». Москва — Ленинград.

Проф. Б. Словцов.—Питание и работа (3-ье издание).

Шервут Андерсон. — Уайнсбург, Огайо.

В. Язвицкий.—Побежденные боги. Фантастический роман.

Л. Гроссман.—Исповедь одного еврея.

В. Никольский.—Первобытная культура. Критико - библиографический указатель.

А. Гемфри. — История рабочего представительства в Англии.

Франк Джильбред.—Азбука научной организации труда.

Я. Сангурский.—Здоровье и брак.

Гильберт *Кастертон.*—Жив человек. Роман.

Шарль-Луи Филипп.—Мари Донадье. Роман.
А. Каю.—Молитвенник любви.

Издательство «Земля и Фабрика». Москва.

В. Шишков.—Краля. (Рассказ.)
С. Григорьев.—С мешком за смертью. Повесть.
В. Александровский, А. Дорогойченко, М. Герасимов.—Мост. Стихи.
В дебрях Конго.—Рассказ о современных черных рабах. Сб. X.
Подводные люди. — Необычайные рассказы из жизни водолазов разных стран и народов. Сб. IV.
А. Неверов.—Гуси-лебеди. Роман.
Морские охотники.—Под ред. В. Попова. Сб. V.
Н. Лещинский.—В пути.
П. Дорохов.—Колчаковщина.
К. Вейль.—Химическая технология первобытных народов.
А. Свирский.—Убийцы (Повести и рассказы.)
М. Сивачев.—Желтый дьявол. Повесть.
А. Грин.—Блистающий мир. Роман.
Д. Конрад.—Фрейя семи островов. Рассказы.
История одного предательства по В. Гюго. В переработке С. Иванчиной-Писаревой.
Восстание. (Жакерия).—По Мериме. в обработке А. Феличе.
«Свиток».—3. Альманах.
А. Неверов.—Серые дни. Рассказы.
А. Брэм.—Человекообразные обезьяны.
Э. Пименова.—Страна землятресений.
А. Чеглок.—На верблюдах. По Африке. Рассказ из жизни животных.
А. Чеглок.—Фемер.
А. Чеглок.—Маго.
О. Виннер.—Физика и развитие культуры.
А. Неверов.—Радушка. Маленькие рассказы.
Я. Гумилевский.—Стальные дни. (Рассказы.) П.
Песни работницы и крестьянки. Сборник стихотворений.

Издательство «Academia» Москва — Ленинград.

М. Кузьмин.—Новый Гуль. Стихи
Зигмунд Фрейд.—Я и оно.
А. Наль.—Элегии и стансы. —
Н. Евреинов.—Азазель и Дионис. О происхождении сцены в связи с зачатками у семитов.
Вяч. Полонский.—Уходящая Русь. Статьи об интеллигенции.

Издательство МГСПС «Труд и Книга». Москва.

М. Мытник.—Охраняйте труд.
М. Бухов.—О сохранении среднего заработка и выходном пособии.
С. Гиринс.— Что такое профессиональный производственный союз.
Д-р А. Штейнберг.— Что дает рабочему социальное страхование. (3-е издание.)
Материалы по союзной культработе. Вып. 3.
По фабрикам и заводам. Руководство по организации производственных экскурсий.

Изд. М. и С. Сабашниковых. Москва.

П. Б. Ганнушкин.—Психиатрия. *Ее* задачи, объем преподавания.
Б. Модзалевский.—Анна Петровна Керн. (Друзья Пушкина, под общей ред. М. О. Гершензона.)
Леонид Леонов.—Конец мелкого человека 1924 г.

Центр. т-ва Кооперативное издательство. Москва.

А. Тейтель.— Сельскохозяйственная кооперация и агрономическое дело в их взаимодействии.
А. Фабрикант.—Основы агрономической помощи населению.
Я. Кирпичев.—От общинного принуждения к вольному объединению (о поселковых товариществах).
С. Маслов.—К вопросу о работе в первичных кооперативах
С. Фридолин и А. Юрмалиат.— Спутник по молочному хозяйству и скотоводству.
Устав машинного кооп. товарищества.
Устав кооп. товарищества.—По переработке и сбыту винограда.

Издательство коллектива рабоче-крестьянских писателей. Москва.

Дева-Хомяковский и Ф. Нефедов.— Сарафан. Простые песни.

Издательство «Работник Просвещения». Москва.

П. Блонский.—Педагогика 4 издание.

Издательство «Вопросы Труда» НКТ. Москва.

Ф. Нога. Вопросы рационализации промышленности.
С. Струмилин.—Бюджет времени русского рабочего и крестьянина. 1922—1923.
Н. Баевский.—Дома отдыха, санатории, курорты и здоровье застрахованных.
Д-р Е. Яковенко. Гигиена ручного труда.
Е. Виленс-Горович и арх. *А. Иванова.*—Рабочие жилища. Примерные проекты.
Проф. С. Фалькнер.—Причины расхождения и сближения сельскохозяйственных и промышленных цен.
Действующее законодательство о труде. Вып. 3-й.

Издательство комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК. Москва.

Х. Абрикосов.—Рассказы о пчелах.
В. Бонч-Бруевич.—Как печатались за границей и тайно доставлялись в Россию запрещенные издания нашей партии.
В. Бонч-Бруевич.—Живая церковь и пролетариат.
Очередные педологические задачи охраны здоровья детей и подростков.
Дети беспризорные—психопаты.

Издательство всесоюзной научной ассоциации востоковедения. Москва.

С. Аргашев.—1. Парида. (Повесть IX в.)
2. Цветы на льду. (Дегестанская лирика.)
3. Песни о вождях.
Жером и Жан Таро.—Приключения Самба Диуфа.

Издательство «Мосполиграфа». Москва.

Гереберт Уэллс.—История мира.
В. Иванов. Возвращение Будды.
А. Серафимович.—Живая тюрьма. Рассказы 1905 года.
А. Серафимович.—Желтый поток.
А. Серафимович.—Ледоход.—Рассказы.
Д. Анисимов.—Кавказский край. Путеводитель.
В. Бохметьев.—На земле. Рассказы.

Издательство «Молодая Гвардия». Москва.

Е. Пиотровский.—Эбер и его естественный метод физического воспитания.
В. Гончаров.—Психо-машина (фантастический роман).
Ю. Лебединский.—Завтра.
Н. Заровнядный.—Беседы с деревенской молодежью. Хрестоматия.
П. Рымкевич.—Труд и техника. (Чудеса XX века.)
В. Мирошевский.—Хрестоматия по истории международного пролетарского движения.
Вопросы жизни и борьбы.—Сборник под ред. Е. Ярославского.
I Всероссийский Съезд РКСМ.
II Всероссийский Съезд РКСМ.
Наши Съезды.—Сборник резолюций и постановлений съездов РКСМ.
А. Шиффес.—Коммунист и комсомолец.
М. Волошин.—Очерки по истории рабочего подростка.
В. Каржинский.—Что заповедал нам Ленин.
А. Михайлов.—Спартак.
Е. Ярославский, Л. Шацкин, М. Зорький-Мунин.—Ленин на III Съезде РКСМ 4 октября 1920 года.
XIII Съезд РКП (б). О молодежи.
Зайцев. — Положение труда подростков и его оплата в промышленности.
Г. Шварц.—Броня подростков в производстве.
А. Залкинд.—Пионерское детское движение.
О. Тарханов.—Ленинскому призыву.
В. И. Ленин.—Каким должен быть комсомолец.
У костра.—Беседа десятая. Международная детская неделя.
У костра.—Беседа шестая. В. Васильева.—Законы пионеров. Заветы Ильича.
Н. Богданов.—Пионер в деревне.
П. Орловец.—Оголтелый.
Р. де ла Бретонн.—Ночи революции.
Проф. К. Баев.—На чем земля держится.
Тивель и Гольдберг.—Индия наших дней (Нечаянное путешествие двух комсомольцев.)
А. Иркутов.—Святой Пионерий.
А. Тарасов-Родионов.—Линев (Повесть.)
Половой вопрос.—Под ред. С. Калмансона.

Издательство «Прибой». Ленинград.

Н. Сталин. — О Ленине и ленинизме.
К. Шелавин.—Введение в изучение ленинизма.
В. Львов-Рогачевский.—Книга для чтения по истории новейшей русской литературы.
Ю. Каменев.—Марксизм и ликвидаторство. Изд. 2.
Протоколы II Съезда РСДРП. с заключительной статьей Л. Лещинского.
К. Маркс.—Теории прибавочной ценности. Т. III.
Н. Сталин.—О Ленине и ленинизме. Лекции, читанные в Свердл. у-те.

Н. Ленин (В. Ульянов).— О религии.

Н. Ленин (В. И. Ульянов).—Государство и Революция.

Н. Ленин (В. Ульянов).—Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения.

К. Шелавин.—Введение в изучение ленинизма.

Г. Зиновьев.—По пути Ильича. Политический отчет ЦК на XIII Съезде РКП.

Г. Зиновьев.—Пролетарская революция и учительство.

С. Канатчиков.—История одного уклона.

И. Книжник.—В помощь начинающему читателю.

Проф. С. Ф. Паранцук.—Выращивание молодняка.

Г. Зиновьев.—Что должен знать и помнить каждый рабочий, вступающий в РКП.

Об Ильиче.—Сб. статей, воспоминаний, документов и некоторых материалов.

К. М. Тахтарев.—Рабочее движение в Петербурге 1893—1901.

П. Коржинский.—В зеленях.

Мих. Левидов.—Все об Англии.

В. Бельше.—Происхождение человека. Научно-поп. очерк.

К. Шелавин.—Очерки русской революции. 1917 г.

Н. Ленин (В. И. Ульянов).—О Марксе и марксизме.

Лесной кодекс.—Изд. 2-е.

И. Сталин.—Об итогах XIII Съезда РКП (б).

П. Лященко.—Очерки аграрной эволюции России т. I. Разложение натурального строя и условия образования сельско-хозяйственного рынка. Изд. 3-е.

Г. Зиновьев и Н. Ленин. — Социализм и война. Отношение РСДРП (б) к войне.

Сборник статей под ред. К. Шелавина.—Империалистическая война и ее причины и следствия.

К. М. Тахтарев.—Рабочее движение в Петербурге 1893—1901.

Г. Дрязгов.—На пути к комсомолу.

Эрнст Пуль.—Гавань. (Роман.)

Проф. Я. Барсков.—К десятилетию империалистической войны.

Империалистическая война. — К 10-летней годовщине.

Уроки Ильича.

Издательство «Сеятель» Ленинград.

Я. Френкель.—Строение материи. Ч. II. Сочленение материи. Вып. II-й. Квантная теория сочленения материи.

Акад. *Е. Карский.*—Русская диалектология.

Стефан Гроссман.—Партия. (Роман из жизни австрийских соц.-демократов.)

Р. Лотце.—Древность земли в свете современной науки.

Эрнст Пуль.—Гавань. Роман из рабочей жизни Нью-Йоркского порта.

Жером и Жан Таро.—Злоключения из Самба Диуфа.

Ромэн Роллан.—Махатма Ганди.

Э. Энгельгард.—Рабиндранат Тагор как человек, поэт и мыслитель.

Леонард Франк.—Буржуа.

Инж. Д. Бизюкин.—На железнодорожной станции.

Издательство «Петроград» Ленинград — Москва.

Рабиндранат Тагор.—Гора. Роман.

Ллойд Джордж.—Европейский хаос.

П. Бурже.—Тюрьма.

Пушкин.—Очерк жизни и творчества. (Труды Пушкинского Дома.)

Издательство журнала «В мастерской природы». Ленинград.

А. Чекин.—Самодельная астрономическая труба из очковых стекол.

Дж. Лондон.—Джерри.

Издательство «Время». Ленинград.

Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения.

Н. С. Лесков.—Амур в лапоточках.

А. Толстой.—Бунт машин.

К. Чуковский.—Пираты-людоеды. Краснокожие. Рассказы для детей.

Б. Житков.—Злое море.

С. Маршак.—Приключения стола и стула.

Проф. И. Кулишер.—Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г.

Издательство «Брокгауз-Ефрон». Ленинград.

В. Никольский.—Старая Москва. Историко-культурный путеводитель.

Н. Дружинин.—Русские мореплаватели в старой реформе.

С. Андреевский.—Книга о смерти. (Мысли и воспоминания.) Со вступ. статьей А. Кони.

И. Герд.—Игры для детей всех возрастов. Изд. 6-е.

Л. Глаголева.—Площадки как один из видов летних занятий с детьми.

Вопросы комплексного обучения в школе.—Под ред. С. Иванова, С. Йорданского, И. Симонова.

Издательство «Атеней». Ленинград.

Якоб Вассерман.—Перуанское золото.

Мих. Слонимский.—Машина Эмери.

Проф. И. М. Кулишер.—Основные вопросы международной торговой политики. (Изд. 2-е, ч. I и II).

Е. Колосов.— Государева тюрьма Шлиссельбург.

В. Шкловский.—Сантиментальное путешествие.

А. Толстой.—Черная пятница.

Атеней.—Историко-лит. временник. Книги I—II.

ИР